9. 1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия»
Москва

Год издания 19-й

СЕНТЯБРЬ 1973

№ 9

СОДЕРЖАНИЕ

ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ — Скачки верблюдов. Лунный сонет. Чай из росы *(Стихи. Перевод с монгольского Якова Белинского)* 3

Из вьетнамской прозы. ДОАН ЗИОЙ — Ночью в лодке. МА ВАН КХАНГ — Песни мео *(Перевод с вьетнамского И. Зимониной)* 5

ОКОТ П'БИТЕК — Жалоба Лавино *(Из поэмы «Песнь Лавино». Перевод с английского Михаила Курганцева)* 20

ЯСУНАРИ КАВАБАТА — Стон горы *(Роман. Перевод с японского В. Гривнина)* 25

Поэты Сингапура. ДЖЕРАЛД ДЕ КРУЗ. МОХАММАД БИН ХАДЖИ САЛЕХ. ГО БО-СЕН. *(Стихи. Перевод с английского Роберта Рождественского)* 96

ПХАНИШВАРНАТХ РЕНУ — Третья клятва *(Рассказ. Перевод с хинди В. Чернышева)* 101

МУКУМБУТА ЛИСИМБА — Заклинатель. Назад, в дом отца. Письмо матери *(Стихи. Перевод с английского Андрея Сергеева)* 126

НАДИН ГОРДИМЕР — Пробуждающаяся Африка *(Рассказ. Перевод с английского С. Митиной)* 130

ШАМСУР РАХМАН — «Быть может...» Чахотка. Необъезженный конь. Предрассудки. «О аллах...» Мать *(Стихи. Перевод с бенгали Александра Сенкевича)* 142

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС — Кабильский соловей *(Рассказ. Перевод с французского Н. Световидовой)* 145

АХМАД СУЛЕЙМАН АЛЬ-АХМАД — Слова. Твоя любовь *(Стихи. Перевод с арабского И. Ермакова)* 151

АЛАН СИЛЛИТОУ — Начало пути *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Р. Облонской)* 154

Навстречу Алма-Атинской конференции

ЮРИЙ РЫТХЭУ — Мост через континенты. МУЛК РАДЖ АНАНД. МУЛУД МАММЕРИ. ГАУССУ ДИАВАРА — Выступления на IV Конференции писателей стран Азии и Африки 194

Критика

Н. Т. ФЕДОРЕНКО — Революционные десятилетия (О китайской литературе 20—30-х годов) 211

Е. ГАЛЬПЕРИНА — Трагедии и фарсы Тропической Африки 221

Культура и современность

Заметки на полях

Л. СТЕПАНОВ — Новый подход к старому наследию 231

Очерки

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Какого ты племени? *(Главы из книги. Перевод с итальянского Ю. Добровольской. Предисловие «Африка в суждениях европейского писателя» А. Давидсона)* 236

Изобразительное искусство за рубежом

С. ПЮТАБЕНКО — Краски Индии 259

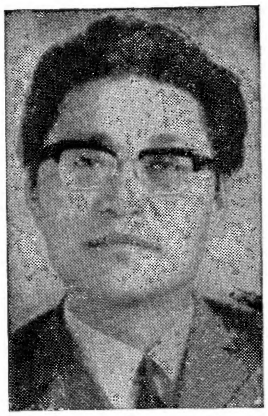
Среди книг

Михаил Курганцев — Пути, ведущие к свободе. А. Клышко — Реализм в политике — реализм в литературе. Казбек Султанов — Гордись собою, человек! Алим Кешоков — Новый Нил. О. Горчаков — Солдаты правого дела. И. Серебряков — Плодотворность конкретного историзма. Илья Фоняков — Исповедь безымянного. А. Розенфельд, Н. Рычкова — Персидский поэт Баба Тахир. 260

Из месяца в месяц 274

На обложке. картина монгольского художника С. ДОНДОГА «Вьетнамские друзья».
На цветной вкладке: картины современных художников Индии.

© «Иностранная литература», 1973 г.



ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ

■

Перевод с монгольского ЯКОВА БЕЛИНСКОГО

Скачки верблюдов

Сожженная солнцем гобийская желтая пыль...
Во взвихренных клубах — виденьем невиданно-странным —
бескрайний простор, пропыленный иссохший ковыль
и — рыжий мираж — устремленные вдаль караваны.

И топот галопа, глухие удары копыт,
двугорбые кони, гортанно кричащие люди:
стремительный всадник, пригнувшись упруго, летит —
здесь гонки верблюжьи, гобийские скачки верблюдов.

Животных нескладных я знал вековую судьбу:
по желтой пустыне, по тропам, заваленным снегом,
несли они кладь и влачили угрюмо арбу...
Сегодня они поражают стремительным бегом!..

Верблюд гужевой, как немыслимо тяжек твой труд...
Но скачки сегодня! И смерчем живым над песками
бежит, окрыленный свободой, двугорбый верблюд —
и равного по быстроте не сыщешь меж скакунами!

ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ (род. в 1935 г.) — видный монгольский прозаик и поэт, лауреат Государственной литературной премии (1971), заместитель председателя Союза писателей МНР. В 1956 г. окончил Государственный педагогический институт в Улан-Баторе, в 1967 — аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Автор романов «Горный поток» (1960), «Кочевья» (1964), повести «За Полярной звездой» (1968), сборников рассказов и стихов. Л. Тудэв — автор книги «Горький и монгольская литература» (1969), а также ряда статей, посвященных проблемам новой монгольской литературы.

Роман «Горный поток», повесть «За Полярной звездой», многие рассказы и стихи Тудэва изданы на русском языке. Публикуемые стихи взяты из сборника «Высота» («Оргил»), Улан-Батор, 1972.

Лунный сонет

Луна и лотос... Все стихи Востока
вас воспевали. Прославлял Восток
лучистый диск, сияющий высоко,
любви и славы сладостный цветок.

Луна и лотос... Источает лотос
свой нежный запах над безмолвьем вод,
и лунный свет все так же тихо льется...
Но на Луне сегодня — Луноход.

Была Луна им заново открыта,
И, связь наладив, известил он нас,
что найден им кусок метеорита,
что плоть Луны — базальт и диабаз...

Все так же льется древний лунный свет,
но я пишу по-новому сонет.

Чай из росы

Если из капель росы, ночевавшей на листьях,
собранной в спящем саду в предрассветную тишь,
сваришь для матери чай, согревающий душу, душистый,
и благодатным напитком щедро ее напоишь —
то и тогда не сумеешь той, что тебе подарила
солнечный мир, что когда-то тебя родила,
долг возвратить — нет на свете мерила
для материнской любви... Всякая плата мала...
Чем ты оплатишь ночей беспокойных бессонье,
всю непомерную тяжесть ее бесконечных тревог,
теплую нежность усталых всесильных ладоней
и — лишь один! — молока материнского сладкий глоток?..
Древней монгольской пословицы мысли красивы и мудры,
сердцем своим повторяю, как в детстве далеком азы:
если собрать с лепестков розовеющим утром
чистый напиток для матери — чай из росы...
Нет, не оплатишь!.. Шагая сквозь зори и грозы,
помни одно — если хочешь ты долг свой отдать:
пусть твоя жизнь будет чистой и ясной, как росы,
чтоб улыбнулась счастливо об этом узнавшая мать!..

■

Из вьетнамской прозы

Перевод с вьетнамского И. ЗИМОНИНОЙ

ДОАН ЗИОЙ

Ночью в лодке

Чем дальше, тем у́же, тесней становилась извивавшаяся змеей протока. Крупные листья кустистых пальм[1], спутанные клубки вьющихся растений, которые свисали с наклонившихся почти к самой воде деревьев, то и дело, шурша, задевали навес лодки. В кромешной тьме стоял нескончаемый комариный звон, монотонно плескалась вода под размеренными взмахами весел. Молча, сосредоточенно греб старый Тхать Нук, и убаюканная лодка, казалось, скользила куда-то в темную глубину, забирая то вправо, то влево, уклоняясь от голых, сухих ветвей кустарника и корней деревьев, выступавших из воды, и тогда мне еще страшнее становилось от непомерно больших, навыкате, глаз старого лодочника-камбоджийца.

Я попал, что называется, в положение человека, вскочившего на тигра. Сойти на берег или вернуться в Линькуинь — деревушку, откуда мы выехали, не было уже никакой возможности.

В Кампонгспы я наконец сбросил с себя солдатскую форму и переодетым дошел до Такео; мне необходимо было попасть в Тиньбьен[2], но я не рискнул выйти на шоссе и вынужден был больше месяца пробираться сквозь джунгли. Так я оказался здесь, в этом глухом краю, рядом с вьетнамо-камбоджийской границей. Не знаю, спасло ли меня

[1] Кустистая, или водяная, пальма — невысокое растение; произрастает в заболоченных местах вдоль проток и рек. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

[2] Кампонгспы — город в Камбодже на дороге, соединяющей Пномпень с Сиамским заливом; Такео — железнодорожная станция на дороге, соединяющей Пномпень с морским портом; Тиньбьен — город на границе Камбоджи и Вьетнама.

ДОАН ЗИОЙ — DOAN GIOÏ (род. в 1925 г.).

Вьетнамский писатель (ДРВ), уроженец Юга. Начал печататься в конце сороковых годов и быстро завоевал признание вьетнамских читателей. Наиболее известны его повести «Форель» («Ca bong mu», 1956), «Подсолнухи» («Hoa huong duong», 1960), «Поиски склада с оружием» («Cuoc truy tam kho vu khi», 1962), книга очерков и рассказов «Вершина радуги» («Ngon tam vong», 1956).

На русском языке в издательстве «Детская литература» в 1972 г. вышла его повесть «В джунглях Юга».

Рассказ «Ночью в лодке» был напечатан в газете «Единство» («Thong nhat»), Ханой, апрель, 1972 г.

какое-то чудо или непреодолимое желание жить придало мне сил, только я вынес все — голод, и жажду дневных переходов, и кошмарное ощущение затерянности в ночных джунглях.

Черные глянцевитые тела кобр, с вкрадчивым шуршанием скользящих в густой листве, зловонный гнилостный запах, приносимый резкими порывами ветра, которые внезапно налетают на вас среди вымороченного безмолвия полуденных джунглей; деревья-исполины, чьи стволы под силу обхватить разве что доброй дюжине мужчин и от чьих покрытых наростами, скрюченных, как щупальца спрута, корней веяло такой жутью, напоминая о растениях-людоедах, что я, втянув голову в плечи, бежал без оглядки; рык тигра в слепой черноте ночи, треск деревьев, ломаемых стадом слонов на другом, невидимом берегу ручья, вселяющие ужас пронзительные крики гиббонов, отрывистые вопли обезьян, созывающих стаю, мерцающие огоньки — глаза выслеживающего добычу зверя...

Угроза, таившаяся в девственной чаще, нагоняла на меня такой трепет, такой животный страх, какой, наверно, тысячелетия назад испытывали наши предки в своей незащищенности перед природой; но этот страх, преследовавший меня все время моего единоборства с лесом, оказался ничтожным по сравнению с тем ужасом, который охватил меня сейчас, когда я оказался один на один со стариком.

— Эй, не спишь?

— Нет, нет!..

Стоило мне услышать этот голос, как у меня мурашки побежали по телу. И, чтобы убедить его в том, что я и не думаю спать, я добавил:

— Как тут уснешь, когда комаров такая прорва. Да мне, собственно, спать и не хочется.

— А ты забирайся в ноп[1]: я его для тебя приготовил. Поспи хоть немного, устанешь так-то, не спавши!

Ну вот, он снова пытается расставить мне силки. Если я сейчас, как последний дурак, заберусь в ноп, ему не придется даже поднимать свое здоровенное весло, чтобы огреть меня по голове; эти крепкие руки с выпирающими, как узлы канатов, бицепсами — на них был отчетливо виден зеленоватый узор татуировки: слова заклинания, расположенные в форме башни,— внушали мне ужас еще вчера, когда я впервые встретился с Тхать Нуком в харчевне, где он пил вино. Ему ничего не стоит расправиться со мной, как с котенком, для этого достаточно лишь схватить ноп и опустить его в воду.

— Хотите сигарету?..— Я приподнялся, открыл пачку сигарет с фильтром «Джет» — подарок вьетнамца, хозяина харчевни, и протянул Тхать Нуку.

— Кури сам, мне нёохота.

Я долго щелкал зажигалкой, пока, наконец, не зажег сигарету. Пламя зажигалки запрыгало над кончиками моих пальцев: выхваченное из темноты широкое лицо Тхать Нука, в отблесках огня принявшее оттенок закопченной меди, его огромные, дико вытаращенные глаза, зияющий рот показались мне вдруг такими откровенно чудовищными, что я, содрогнувшись, поспешно убрал зажигалку.

— Ха-ха... А мы тут к таким штукам не привычны, мы табачок курим.

Эти звуки, отброшенные плотным, темным сводом листвы, многократно повторились, перейдя в демонический хохот, который точно гнался за мной. Я затаился, не решаясь даже затянуться посильней.

---

[1] Ноп — вид спального мешка, который обычно плетут из сыти.

Тхать Нук все так же упорно греб. Мы больше не сказали друг другу ни слова.

Неожиданно на дереве резко вскрикнула ящерица. «...Смотри только, чтобы Нук не узнал, что ты из сайгонской армии, он тогда тебе шею свернет, у него в прошлом году ваши солдаты всю семью вырезали. Он у нас один из лучших борцов...» Шепот хозяина харчевни еще звучал у меня в ушах. Тогда уже начинало темнеть и было точно известно, что утром батальон «клыкастых черных тигров» совместно с силами Лон Нола развернет карательные операции,— в окрестных деревушках весь день готовились к эвакуации. Замешкаться и остаться здесь означало верный конец. Но и отправляться в путь с таким, как Тхать Нук, было страшновато.

— Ну, если у тебя дело неспешное, подожди день-два, кто-нибудь поедет в Тиньбьен, подвезет,— сказал мне тогда же Тхать Нук, опуская стакан с вином на стол; от него, видно, не укрылась моя нерешительность.

«Дело твое,— снова вспомнил я слова хозяина харчевни.— Тхать Нук эти места как свои пять пальцев знает. Он уже немало лет всех наших возит. Хочешь — оставайся, а хочешь — поезжай, смотри сам».

Я подумал еще немного и решительно кивнул. Хозяин тут же, в присутствии Тхать Нука, дал мне с собой немного денег. Когда я подошел к лодке, Тхать Нук уже ждал на корме и, готовый помочь, протянул обе руки. Я почувствовал, как эти руки, подхватив меня, легко прошлись по моим бокам, проверяя, не спрятан ли у меня под рубахой пистолет. Значит, я у него на подозрении. Почем знать, может, какой-то дурак шепнул ему, что я тайный агент... Хорошо, что я предусмотрительно так пристроил гранату, повесив ее на нейлоновом шнурке через плечо, что одним движением мог передвинуть ее за спину,— если бы мне даже пришлось поднять руки и дать какому-то обыскать себя, гранату ни за что бы не обнаружили.

Лодка пошла значительно медленнее, видимо, протока здесь становилась более мелкой. Докурив сигарету, я лег и, несколько раз притворно зевнув, постарался дышать как можно ровнее и глубже, делая вид, что сплю: решил посмотреть, как поведет себя старик.

Продолжая неутомимо грести, Тхать Нук силился приглушить кашель. Какая-то ночная птица пронеслась с неприятным криком и чуть не задела его по лицу, сделав круг над нашей лодкой, но он и бровью не повел.

Поздняя луна уже взошла, но туман и дым окуривателя закрывали ее, и вдруг несколько лучей пробилось сквозь просветы в густой листве и заиграло на водной ряби у бортов лодки. Было очень тихо. Насекомые, обычно дружным хором приветствовавшие приближение ночи, сейчас уже спали, и даже крик выпи не нарушал всеобщего безмолвия. Только я смежил глаза, как вдруг что-то с силой ударило по носу лодки. Тхать Нук отложил весло и, став на колени, вынул кривой нож с длинной ручкой. В ту же секунду я нащупал предохранитель гранаты. С ножом в одной руке и веслом в другой Тхать Нук поднялся: сильным рывком весла он отогнал лодку назад и со всего размаха рассек ножом какие-то ветки.

— Что там такое?

— Да вот ветки торчат — сплошные колючки. Не срубишь, кто-нибудь ночью наткнется, глаз выколет...

Я еле сдержал вздох облегчения. В самом деле, к чему старику убивать меня? Чтобы забрать эти жалкие гроши, на которые он даже не сможет как следует выпить? Но я тотчас вспомнил прикосновение его крепких, словно стальные клещи, рук, и тревога снова камнем легла на сердце.

Лодка пошла совсем медленно, еле-еле продвигаясь вперед.

— Ну вот, здесь уже мелко! — сказал старик и, положив весло, принялся отталкиваться шестом.

Господи, этим длинным шестом такому силачу ничего не стоит достать меня на берегу, если бы мне даже удалось выпрыгнуть из лодки. Я сидел, поджав под себя ноги, и не мог оторвать глаз от крепких, мускулистых рук старика, ловко управлявшихся с шестом.

Так прошло довольно много времени; наконец я решился взглянуть за борт, прикинуть глубину на случай, если придется прыгать из лодки.

Оказалось, и в самом деле очень мелко. Множество рыбы, вынесенной потоком на мелководье, плескалось, прыгало и билось о борт, брызги летели во все стороны. Несколько крупных рыбин упало в лодку, они судорожно прыгали по дну и наконец, перелетев через борт, снова шлепнулись в воду.

Тхать Нук вынул шест из воды, смыл с него ил и тину и положил на помост. Сняв майку и обмотав ее вокруг головы, он подоткнул повыше саронг[1] и, спрыгнув в протоку, принялся толкать лодку.

— Давайте я буду помогать вам шестом...

— Нет, ничего не получится. Илистое дно, можно потом шест не вытащить. Я привык толкать, так легче. Да мель небольшая, скоро пройдем!

Протока между тем все больше мелела. Иногда было слышно, как днище лодки скребет по песку. Тхать Нук, сгорбившись и тяжело дыша, шлепал по воде. Вдруг он, сморщившись, вскрикнул:

— Черт! Белый сом!

Наклонившись, он потер щиколотку, но тут же снова стал толкать лодку. Минут через десять он забрался в лодку, достал из-под навеса маленький фонарик и посветил на ногу. Ранка оказалась очень глубокой, и, хотя вся была залеплена тиной, из нее все еще сочились красные капли. Старик сел на дно и стал выдавливать из ранки кровь. Я поспешно разорвал сигарету, чтобы засыпать ранку, но Тхать Нук махнул рукой.

— Не поможет! Вот если эту рыбину поймать, оторвать хвост да приложить к больному месту — тогда все пройдет!

— Господи, да как же ее теперь поймаешь!

— Ну, случается иногда. Ладно, подай мне баночку с известью, придется смазать.

Тхать Нук закрыл ранку плотным слоем извести и потом, словно уступая мне, присыпал сверху табаком из разорванной сигареты.

— Вот так лучше. Боль-то какая, небось это не белый сом, от него тоже больно, но не так!

Щиколотка распухала прямо на глазах. Как ни удерживал меня старик, я закатал повыше брюки, засучил рукава рубашки и прыгнул вместо него в протоку. Однако мне пришлось приложить немало усилий, пока лодка наконец не сдвинулась с места.

— Ну, тебе с непривычки трудно. Вот отдохну немного, боль поутихнет, сам возьмусь.

— Ничего! Ничего... я... тоже... могу...

Но уже через каких-нибудь полчаса я был совершенно мокрый от пота, точно искупался. Лодка, правда, пошла значительно легче, видимо, приближалась большая вода.

— Поднимайся, теперь можно грести... Отдыхай, я сам!

Я забрался в лодку. Для того чтобы умерить охватившее меня нервное возбуждение и показать, что я не из белоручек и не новичок на реке, я взялся за весло и стал грести.

[1] Саронг — вид юбки, национальная одежда камбоджийцев.

— Ну вот и утро скоро,— вдруг пробормотал старик, который сидел, обхватив больную ногу.

Я прислушался: далеко в деревне, невидимой за туманом, кричали петухи. У развилки я спросил:

— Направо поворачивать или налево?

— Направо. Поедем в Бамбуковую деревню.

Где-то совсем близко раздалось несколько винтовочных выстрелов, а за ними автоматная очередь. И почти тут же над нашими головами появились два вертолета.

— Черт, повадились охотиться каждую ночь. Видно, партизаны из Бамбуковой деревни один все же подстрелили. Те ведь всегда звеньями по три летают...

Мне незачем было знать, сбит один из вертолетов или нет. Я пытался представить себе людей, которые только что стреляли. Какие они? Добрые, жестокие? Может, старик везет меня в Бамбуковую деревню, чтобы сдать партизанам?

По листьям пальмы побежал прохладный ветерок, он принес запах гари.

Тхать Нук велел мне передохнуть.

— Ну-ка, выпей со мной вина, согрейся!

— Спасибо, я не пью.

— А настойку?

— Нет, не люблю.

— Тогда я тебе чай сделаю.

Он налил себе небольшой стаканчик, осушил его залпом и принялся разжигать огонь в глиняной жаровне, пристроенной на корме. Мы перебросились еще какими-то пустыми, ничего не значащими фразами, и вдруг он спросил:

— Ты сам-то откуда будешь?

— Из Тяккадао[1].

— Ну, дорога дальняя... Что-то ты не похож на наших вьетнамцев[2]!

— Последние года четыре я работал в Намаванге[3].

Не знаю, поверил ли мне старик, но я принялся пересказывать все, что я когда-либо слышал о Стране Пагод, лишь бы только доказать, что я действительно из местных вьетнамцев.

Тхать Нук вздохнул, налил чашку чая и протянул мне.

— Палочки для еды бывают длинные, а бывают и короткие, вода случается большая и малая — то прилив, то отлив. И в Камбодже так, и во Вьетнаме так. Повсюду есть люди и хорошие и плохие. Сайгонские солдаты и солдаты Лон Нола сожгли мой дом и убили жену, а невестку и внука бросили в огонь... Один я остался... Так-то вот, а некоторые считают меня вором. Враки все это! Просто раньше главари здешних шаек побаивались меня и частенько стаканчик подносили. Людям всегда подозрителен тот, о ком мало знают. Вот я, к примеру, как про тебя поначалу думал...

— Что я тайный агент, шпион?

— Вот-вот!

Большие, влажно поблескивающие глаза старика смотрели на меня простодушно и смущенно. Я опустил голову. Значит, нелегко пришлось нам обоим — и ему и мне,— и все это из-за тех, кто сделал меня своим слугой. Я мог обмануть еще кого-нибудь, обмануть раз, другой, но не-

---

[1] Тяккадао — населенный пункт на северо-западе Камбоджи.

[2] Имеются в виду вьетнамцы, постоянно живущие в Камбодже.

[3] Намаванг — населенный пункт на северо-востоке Камбоджи у границы с Южным Вьетнамом.

возможно обмануть всех. И главное, нельзя обманывать самого себя. Я почувствовал необходимость во всем признаться Тхать Нуку.

— Скажу вам правду, я солдат сайгонской армии.

— Ну! Выходит...

— Да. Меня взяли насильно, привезли в Кампонгспы. Я бежал...

Так бывает, когда долго сдерживаемая вода вдруг прорвет плотину,— я рассказал ему все до мельчайших подробностей: про то, как блуждал в джунглях, и про то, как боялся его...

— А сейчас я думаю только о том, как бы поскорее добраться домой,— закончил я.

Небо заволокло облаками. Наша лодка шла теперь уже не в Бамбуковую деревню. Тхать Нук повернул к деревне Капоки, где мы с ним должны были расстаться. Прямо по носу лодки тянулся ровной лентой канал, вода в нем постепенно становилась бледно-розовой и вдруг вспыхнула ярким огнем в лучах наступающего дня. Зелень вокруг — и кустарники, и большие деревья — зазвенела птичьими голосами, приветствующими зарю.

Перед тем как проститься, Тхать Нук снова спросил меня:

— Значит, ты твердо решил идти в Тяккадао?

Я кивнул. Он долго молчал, потом с сомнением покачал головой:

— Уж больно далеко. Боюсь, не доберешься... А... Ну да ладно. Возьми-ка мой кальян. Через день будешь в Главном селе, спросишь там старейшину и передашь ему кальян, он тебе поможет.

— А вдруг он мне не поверит? Может, вы напишете несколько слов?

— Господи, да я же ни одной буквы не знаю!.. Ну ладно. Ты вот что — отдай ему кальян и скажи: «Ры сэй теонг кап, бонг ла чроу кса... Лон Нол ры си да, тиа бон ла руа по А ме ри ка...» Ясно?

— Нет... не совсем...

Тхать Нук рассмеялся:

— Это значит: хочешь срубить бамбук, сровняй колючки, солдаты Лон Нола — это шипы американцев. Запомнил?

— Да, запомнил. А можно одновременно и сровнять колючки, и срубить бамбук, как вы думаете?

— Вот-вот! Срезают колючки, чтобы срубить бамбук!

Тхать Нук показал мне: вот там лежит Главное село, оно еще под контролем сайгонских властей, а в той стороне, где высокие пальмы,— освобожденная зона. Он дал мне на дорогу баночку тигровой мази и двести риелей[1]. Да, дорога, которую я прошел, таила в себе много опасного. Но всюду находились хорошие люди, готовые помочь мне.

Я распрощался с Тхать Нуком. Отойдя довольно далеко, я оглянулся: старик все еще стоял у канала. Со стороны Линькуиня, деревушки, из которой мы выехали вчера вечером, донеслась ожесточенная стрельба. Значит, утром, как и говорили, там начался бой между партизанами и карателями. Впереди в деревне залаяли собаки. Удастся ли мне благополучно проскочить эти места? Но ведь даже если я доберусь до дома, за мной рано или поздно снова придут.

Бегом бросился я назад к каналу. Наверно, люди часто принимают неожиданные решения, но они всегда — результат долгих размышлений.

Тхать Нук, увидев, что я повернул назад, громко крикнул:

— Эй, ты что, разве там уже враг?

Я помолчал, потом достал спрятанную под рубашкой гранату и протянул старику:

---

[1] Риель — основная денежная единица в Камбодже.

— Возьми, может, пригодится для защиты. Я решил не возвращаться в Тяккадао. Пойду к тем высоким пальмам!

Тхать Нук еще шире открыл глаза, отшатнулся и тут же бросился ко мне, обнял, слегка приподняв от земли.

— Ха-ха-ха... Ну! Вот так-то лучше. Может, встретишь там моего сына. Он как две капли воды на меня похож. Как увидишь, сразу поймешь, что это он.

1971 г.

МА ВАН КХАНГ

Песни мео

Суан Фу из рода Зианг сказал девушке по имени Шео Тяй:

— Я — черный мео.

— Я этому не верю,— ответила Шео Тяй.

Да и все остальные жители горного селения Шеоми ответили бы точно так же. А старики еще добавили бы: «Больно ты много китайских слов мешаешь. У нас, черных мео, они не в ходу».

Так оно на самом деле и было. Люди мео пошли от одного корня, но побеги все были разные; вот и у дерева — ствол один, зато веток много! Белые мео, пестрые мео, красные мео, черные мео, синие мео — все они отличались друг от друга главным образом одеждой и цветом отделки. Только потом уже шли расхождения в словах и совсем, казалось бы, незначительные различия в том, как произносились некоторые из них. Когда, например, синие мео хотели сказать «далеко», они говорили «клиа», а пестрые мео — «кле». Ничего особенного, просто более коротко. Но ведь как раз эти почти незаметные расхождения и отличали их друг от друга!

Суан Фу был родом с востока провинции, он был пестрый мео. Пестрые мео жили вдоль границы совсем рядом с Китаем, и в речи их, конечно, встречалось больше заимствованных у китайцев слов, чем, скажем, в языке черных мео, которые жили в самой глубине провинции. К тому же Суан Фу еще в детстве пришлось распроститься с родными краями. Родителей его убили бандиты, и он десятилетним мальчиком ушел вместе с бойцами. Много разных мест он с тех пор повидал, и речь его не могла сохранить всех красок родного края. Зато он научился говорить и на языке хани, и на языке сафо, таи, зао, наконец, окончил семь классов вечерней школы и вот теперь приехал на работу в местный уездный комитет.

Работа в уездном комитете требовала постоянных разъездов по горным селениям. Самым дальним из них и было Шеоми. Добираться туда приходилось целых три дня, и все три дня дорога шла вверх и вверх по крутым склонам. Ох уж это Шеоми, шла молва, непри-

---

МА ВАН КХАНГ — MA VAN KHANG.

Вьетнамский писатель (ДРВ), автор многих рассказов. Особенно популярен у читателей сборник «Са Фу» («Ха Phu», 1970) и повесть для детей «Соловушка» («Chim hoa mi», 1972).

В своих произведениях Ма Ван Кханг рассказывает о горцах Севера, о национальных меньшинствах.

Рассказ «Песни мео» был напечатан в газете «Литература и искусство» («Van nghe»), Ханой, март, 1971 г.

ступная крепость, да и только. Одно слово — скала! Там не то что движения никакого не наладишь, простой сход — и то не созовешь. Пусть уж идут туда те, кто не знает, что такое клещи да зеленые мухи!

Так говорили люди, которые хоть раз побывали в Шеоми. Надо признать, что они не особенно преувеличивали. Уж очень высоко и в самом деле лежало Шеоми. Да и дворов там было не так уж много, всего каких-нибудь семьдесят, и очень разбросаны — один тут, другой там... Вот и получилось, что в то время как в других горных селениях уже вовсю шла кооперация, здесь, в Шеоми, все еще были группы трудовой взаимопомощи. А уж на каких шатких ногах эти группы стояли!

Суан Фу из рода Зианг вызвался сам:

— Пошлите меня в Шеоми.

Секретарь уездного комитета подумал немного и кивнул головой.

— Хорошо, обсудим кое-какие детали и завтра же отправитесь.

Суан Фу из рода Зианг отправился в Шеоми, и ноги его, привычные к горным тропам, проделали этот путь всего за два дня. Он не взял с собой ни рюкзака, ни дорожной сумки, какие обычно берут в дорогу командированные, только перекинул через плечо холщовую котомку, куда запихал свои нехитрые пожитки. Одежда его, как у всех пестрых мео, состояла из длиннополой холстинковой куртки ярко-синего цвета с матерчатыми застежками-жгутиками поперек груди, с матерчатыми же маленькими пуговками и из широченных, сильно расходящихся книзу штанов.

Юноши черных мео в Шеоми одевались совсем иначе. Они носили облегающие рубашки, которые сзади были намного длиннее, чем спереди, поверх рубашек надевали еще безрукавки со стоячим воротником, вышитым желтым, и с каймой персикового цвета понизу, а на голову — матерчатые шапочки из шести клиньев.

Потому-то, когда Суан Фу, придя в дом старой Зу, старейшины местного рода Зиангов, сказал ей и ее дочери Шео Тяй: «Я — черный мео», обе протестующе замотали головами.

— Никакой ты не мео, ты зиай!

Так сказала сама старая Зу, и для этого у нее были основания. Суан Фу с его вихрастой головой и небольшим удлиненным лицом, на котором выделялись живые черные глаза, говорившие о бойкости ума, был и в самом деле очень похож на людей народности зиай.

Суан Фу, не вытерпев такой несправедливости, спросил:

— Почему же я тогда говорю на языке мео?

— Вот те на,— рассмеялась Зу,— да еще в то время, когда тут ловили бандитов, канбо[1] и бойцы, что к нам приходили, говорили совсем как мео. Они все слова точь-в-точь по-нашему выговаривали, а к тому же еще и петь умели.

— Господи, да у меня еще зубов-то не было, а я уже, как все мео, бобовую лапшу ел, и меня, едва я родился, сразу в холстинковые пеленки завернули! Кто же я тогда, если не мео? Петь? И петь я умею, и на кхене[2] играю!

Суан Фу совсем пал духом. Ведь все это означало, что его не признали и он остался за той чертой, которая ограждала людей Шеоми от остального мира. В Шеоми, так же, впрочем, как и в других горных селениях, эту черту никто не осмелился бы переступить. Ведь этот край населяло множество разных народностей, да и история его сложилась весьма необычно. Революция, конечно, в какой-то мере стерла эту от-

---

[1] Канбо — кадровый работник. После победы Августовской революции в горах Севера скрывались многочисленные банды, состоявшие из бывших богатеев и их наемников; на борьбу с ними были брошены кадровые работники и регулярные части.

[2] Кхен — музыкальный инструмент народности мео.

чужденность, но следы ее были еще свежи, и отношение к чужакам оставалось пока очень сдержанным.

■

Зу — старейшина рода Зиангов — была удивительно проницательной. Достаточно было ей услышать одну только фразу, чтобы тут же определить, настоящий вы черный мео или самозванец. Такой необычайной чуткостью наделены лишь те, у кого связи со своим народом проходят через самое сердце.

Суан Фу пришлось сознаться в том, что он пестрый мео с востока и с детства, можно сказать, оторван от своих корней. Довольная своей прозорливостью, Зу расцвела в улыбке, и лицо ее засветилось, словно по нему разлилось лунное сияние.

— Верно, ты тоже мео, но только не черный. Мне ли этого не знать, я вон уже сколько на свете прожила!

Зу, хотя и была совсем старой женщиной с седыми волосами и поблекшей кожей, но глаза ее оставались все еще зоркими — нитку в иголку сама вдевала, и спина у нее совсем не согнулась. Зу бодро ходила в лес за хворостом, готовила свиньям пойло, носила воду. Но если здоровье у Зу, как говорится, было серебряным, то ум был и впрямь золотым. Обо всем, что только касалось ее народа, она хранила массу ценнейших сведений. Канбо из отдела по делам нацменьшинств проделывали путь до Шеоми с единственной целью — выяснить у Зу, как пришли сюда когда-то — много сотен лет назад — люди мео. Управление культуры присылало однажды человека, чтобы он собрал ее рассказы об обычаях и обрядах мео. Даже несколько музыкантов со своими инструментами добрались сюда и записали песни, которые она пела.

Ах, как прекрасно может петь человек, даже если ему и за семьдесят! Голос старой Зу по чистоте можно было уподобить только водам горного ручья; он звенел, как драгоценный металл, играл, как водяные пузырьки в кальяне, шелестел, как ветер, нежно перебирающий листья деревьев.

Шео Тяй было восемнадцать лет, она была робка, стыдлива и прекрасна, как луна. Стоило ей услышать, что мать поет, как она все бросала, устраивалась поближе и затаив дыхание слушала, а руки ее тем временем пряли лен. Стоило только старой Зу начать песню, как все вокруг замирало. Не стучала каменная ступа. Не трещал огонь в очаге. Не ссорились кузнечики и цикады. Не перекликались птицы.

Про хмурое небо забудем,
Новое небо встает...

Песня мео! Ты сложна и глубока, ты проста и неприхотлива. Твоя мелодия взлетает на невидимые высоты, мягкая и нежная, словно льняные волокна, вымоченные в воде, легкая, словно шелковая паутинка. Звуки, резвясь, взмывают вверх и разлетаются во все стороны, точно ягодки па-пао — веселые и беспечные,— они проникают в глубины души человеческой, замирают в бесконечности.

Песня мео! Ты легкий шаг человека на горном склоне, тихий, ласковый шепот кхена и дана мой[1]. Только тот, кто разделил с народом своим все его страдания и муки, кто пронес любовь к нему через всю свою жизнь, может петь так, как пела старая Зу, старейшина рода Зиангов.

Серебряные денежки, серебряные денежки...
Твой белый конь на ярмарку понес тебя чуть свет.
Везет тебе: на ярмарке ты, ничего не делавши,
Три звонких связки выиграл, и в каждой — сто монет.

[1] Дан мой — щипковый музыкальный инструмент.

Отец и мать бранят тебя: на случай ты надеешься,
Пора остепениться бы, но нынче, как вчера,
Твоя забота — только лишь серебряные денежки,
Серебряные денежки, удачная игра [1].

Суан Фу, дослушав песню до конца, спросил:

— Это «Серебряные денежки»?

— Да, а откуда ты знаешь? — спросила старая Зу.

— Когда-то эту песню часто пела моя мама. Я тоже ее знаю...

— А где сейчас твоя матушка?

— Душа ее уже отошла к предкам. Мама помогала революционерам, бандиты схватили ее и убили. Она хорошо пела и знала много песен. Вот я сейчас попробую:

Серебряные денежки, серебряные денежки,
Вот белый конь...

Суан Фу запел, и голос его оказался высоким, чистым, как девичий. Только звучал он робко, скованно, на долгих нотах дрожал и прерывался — ему не хватало свободы и глубины. И все же старая Зу заслушалась. Песня будто окутала ее, и женщина погрузилась в нее, отдалась на волю этой издавна милой сердцу мелодии.

Исчезло все, остались одни только звуки — то низкие и глубокие, то упруго вздымающиеся и парящие в вышине,— это была сама душа певца, открывшаяся слушателям, передававшая волнение его сердца.

Всю ласку и негу, всю свежесть и легкость улавливало чуткое ухо старой Зу. Она сидела зачарованная. А потом вдруг очнулась — слова-то песни были совсем иные:

Снова весной день окрылен,
Девушки сеют весело лен.
Персик расцвел, он рад январю.
Парни на пашне встречают зарю.
А в феврале совсем не до сна
И борона в поле нужна.

— Да ведь это мотив «Серебряных денежек», только слова другие! — всплеснула руками старая Зу.— Никак ты и впрямь мео!

Суан Фу засмеялся:

— Это моя мама сама придумала новые слова и назвала песню «Календарь пахаря».

Только сейчас они заметили, что их слушает уже человек десять,— это собрались соседи. Кто знает, привлек ли их голос Зу или позвала новая песня, но к тому времени, когда с охоты вернулся муж Зу, дом был битком набит.

Старый Зу, высокий краснолицый мужчина с ружьем через плечо и в шапочке черных мео на макушке, бросил к очагу фазана в золотых и огненно-красных перьях и воскликнул:

— Гость в доме! Как хорошо!

В тот вечер он сам приготовил фазана и курицу, поставил вино и пригласил Суан Фу к торжественной трапезе. Так черные мео в Шеоми проявляют свое уважение к гостю.

Каких только яств тут не было — и мясо с приправой, и похлебка из фазаньих потрохов, и тушеные куриные крылышки с маринованными побегами бамбука и, конечно же, непременное на праздничном столе у мео блюдо, приготовленное из крови птицы!

Зу был намного старше своей жены, но выглядел совсем молодцом — гладкое румяное лицо, редкие пучки седых усов, торчащих над уголками рта. Задорно блестели его повеселевшие от вина большие глаза с припухшими нижними веками:

[1] Стихи даются в переводе Риммы Казаковой.

— Ешь, канбо! Будь как дома.

Старый Зу взял палочки, порылся среди кусков и торжественно положил на тарелку перед Суан Фу хорошо прожаренное, темно-фиолетовое сердце фазана.

— Нет, я не буду,— решительно замотал головой Суан Фу и поспешно убрал сердце со своей тарелки, положив его рядом с блюдом.

— Почему?

— Я из рода Зианг. А люди моего рода никогда не станут есть сердце животного и птицы.

— Канбо! Значит, ты и вправду из Зиангов? Выходит, ты чтишь обычаи предков!

Старый Зу разволновался. Но Суан Фу невозмутимо продолжал:

— Предание говорит: жили когда-то на свете два родных брата, были братья людьми мео и принадлежали к роду Зиангов. И вот однажды решили они принести в жертву петуха. Сварили его братья, а когда доставали из котла жертвенное мясо, то не нашли петушиного сердца, и каждый подумал на другого, что тот тайком его съел. Злые люди подбили старшего брата на неслыханное зверство — убить младшего и отыскать петушиное сердце. Так он и сделал, но сердца не нашел. А когда вычерпали все из котла, увидели: петушиное сердце пригорело и пристало ко дну. С того самого дня и поклялись люди рода Зиангов никогда не есть сердце птицы или животного и помнить: брат должен верить брату; не должны братья причинять друг другу боль и слушать злых людей.

Старый Зу положил палочки на стол и долго сидел задумавшись. Оставляя на щеке дорожку, сбежала слеза и застряла, блеснув, в его редкой бородке.

Старая Зу и Шео Тяй застыли, не проронив ни звука, и даже перестали прясть лен. Слышно было только, как в очаге тихонько потрескивают горящие сучья.

■

С того дня Суан Фу был окружен в доме Зу горячей и искренней любовью.

Старая Зу обошла все село, она заходила в каждый дом, где теплился очаг, и рассказывала:

— Он наш, мео. Он из рода Зиангов, он умеет петь и не стал есть сердце птицы.

А Шео Тяй говорила своим подружкам:

— Суан Фу в самом деле мео. И песни знает, и истории всякие. Приходите сегодня к нам — услышите.

Теперь эта небольшая семья заботилась о Суан Фу, словно о своем родном сыне, которого долго не было дома. А потом случилось совсем уж неожиданное. Старая Зу однажды сказала:

— Отныне ты, Суан Фу, будешь моим младшим братом.

Суан Фу растерялся, щеки его жарко вспыхнули.

— Мне всего только двадцать пять лет, я могу осмелиться назвать себя лишь вашим сыном.

— Нет, так не годится: ты канбо и потому будешь моим младшим братом.

А старик Зу подозвал Суан Фу к алтарю предков. Он зарезал петуха, капнул его кровью в две чашечки с вином и швырнул птицу в угол. Они вместе с Суан Фу подняли чашечки.

— Мы, мео, так говорим: есть поле, но нет братьев — пропадешь; нет поля, но есть братья — выживешь. Отныне ты, канбо, мой младший брат. Пусть наши предки станут свидетелями. А тому, кто с этим не согласится, я сверну шею, как этому петуху!

От винных паров слегка раскраснелось простодушное лицо старого Зу. Родственные чувства в их семье, как и во всех остальных семьях черных мео в Шеоми, традиционно строились на давнишних клановых связях. Здесь люди очень легко дарили свою любовь и веру сородичам, если обнаруживали взаимную слаженность мыслей и чувств и уважение древних обычаев.

На следующее утро Суан Фу, которого переполняла растроганность и благодарность, сказал старой Зу и ее мужу:

— Уважаемые старшие брат и сестра, пригласите в дом все село — я хочу познакомиться с сородичами. Нам ведь очень многое нужно сказать друг другу...

И старая Зу, старейшина рода Зиангов, обошла все село. А ее муж обошел соседей.

— Милости просим, приходите познакомиться с нашим младшим братом. Он хочет поговорить с вами.

На что уж просторен был их дом, но даже он оказался тесен — столько пришло народу. Те, кому не хватило места, остались стоять, но никто не ушел. Плясали в печурке золотые язычки огня. И радостно удивлялись люди Шеоми:

— Так вот он какой, младший брат Зу... Красивый парень! Как же это до сих пор мы про тебя не знали?

— Господи! Да ведь страна наша так велика и столько в ней нас, братьев, как всех узнать? — смеясь, говорил старый Зу.

А Суан Фу кивал головой, показывая в улыбке ровные зубы, и подтверждал:

— Вот именно! Помните предание о том, как родились земля и небо: их соткали дева Гау А и юноша Драу Онг. Земля широка — ей нет конца и края, а небо высоко — его никогда не достанешь.

— Вот-вот! Верно говорит!

— Так оно и было!

Прыгал, резвился в печурке огонь. Едва кончалось одно предание, как память уже подсказывала другое, столь же древнее, так продолжалось ночь напролет. Спать никому не хотелось, и гостей в доме Зу становилось все больше и больше.

Одними только преданиями да сказками беседа в ту ночь не ограничилась. После того как старая Зу усладила слух гостей песней, Суан Фу встал и, обращаясь ко всем, сказал:

— Уважаемые, вы сами можете судить, сколь прекрасна эта песня. Так недаром же в ней поется: «Мы, мужчины, сообща дела решаем; мы, женщины, сообща лен прядем». Именно поэтому Хо Ши Мин и партия призывают нас: «Объединяйте свои хозяйства в кооперативы!»

И беседа сразу пошла об ином, точно в песне: там тоже каждое слово непременно ведет за собой другое. Люди Шеоми принялись обсуждать свои дела, свою жизнь. Раздавались голоса:

— Страшновато нам кооператив затевать, не умеем мы!

— Не умеем, так научимся!

— Почему никогда раньше к нам такой канбо не приезжал, с нами так не говорил?

— Ну, говорили, только неинтересно, нам непонятно было, вот мы и не слушали!

Допоздна затянулось в тот раз собрание.

— Партия посылала меня на работу в разные края. Я много мест повидал, был и там, где наши братья — мео — уже создали кооперативы. Многие села добились больших успехов, например Панфо, Нгайтхау, Лунгтинь, Зеншанг. Я сейчас вам о каждом из них расскажу...

Самые прекрасные чувства между людьми рождает доверие. По-

сле нескольких таких бесед Суан Фу подружился с жителями Шеоми. Одному он помогал обрабатывать поле, с другим ходил на охоту, а то, бывало, вместе с девушками примется прясть лен или носит воду старым людям. И частенько видели, как он что-то рассказывает окружившей его ребятне.

Недоверие и подозрительность к чужаку — стена, испокон века окружавшая такие обособленные горные селения,— постепенно стали таять.

А тут случилось еще и то, что для молодого канбо, поселившегося в доме Зу, наверно, было неизбежным: с каждым днем Суан Фу и Шео Тяй все больше и больше тянулись друг к другу. Сами-то старики Зу очень быстро признали в Суан Фу человека одной с ними крови, а вот Шео Тяй почему-то совсем не хотелось видеть в нем родственника. Еще до того как Суан Фу был объявлен членом их семьи, Шео Тяй ощутила, что между ними зародилось совсем другое чувство — какое обычно испытывают юноша и девушка.

— Канбо, почему ты все время один дома сидишь, ни песен не поешь, ни бесед не ведешь, ты ведь молодой...— попеняла ему как-то Шео Тяй.

Суан Фу рассмеялся:

— Не пристало молодым только песни петь, нужно еще и работать, учиться, думать о серьезных делах.

Старый Зу одобрительно закивал.

— Если хочешь собрать молодежь, вели ей позвать всех к нам.

Со всего села собрались девушки и юноши. Шео Тяй села напротив Суан Фу. В отсветах огня он хорошо видел ее тонкое продолговатое личико, блестящие глаза, белую шейку и высокую грудь.

Шео Тяй готова была, казалось, проглотить каждое его слово. А Суан Фу из рода Зианг рассказывал юношам и девушкам о Севере и о Юге. В его речи стало гораздо меньше чужих слов, теперь он говорил совсем как настоящий черный мео. Но не в этом было главное. Главным оказалось другое — Суан Фу первым рассказал молодежи черных мео многое такое, о чем они, как это ни удивительно, до сих пор ничего не знали. Да, конечно же, нужно создать кооператив и расширить поля, лежащие на горных склонах, нужно сдать поставки государству и послать парней в армию, чтобы они били врага.

В этот и другие вечера старый Зу сидел и слушал вместе с молодыми. А однажды, после того как юноши и девушки разошлись по домам, он задал Суан Фу вопрос:

— Скажи мне, почему мы обо всем этом узнали только теперь?

— Как же, ведь вам все это уже рассказывали канбо из уезда, которых часто сюда посылали!

— Верно, бывать-то у нас они бывали и говорить говорили, да только слушать их никто не ходил. Наши жаловались, что говорят они больно непонятно.

Суан Фу скромно ответил:

— Вы, мой старший брат, наверно, просто хотите сделать мне приятное. У нас в уезде многие говорят гораздо лучше меня.

— Быть того не может! Сколько их к нам ни наезжало, все сразу созывали собрание. Соберут людей и давай говорить. Но говорят-то обо всем сразу, ничего и не упомнишь. Вот нашим и надоело на собрания ходить. Шеоми — самое отсталое селение, мы и сами знаем, и сознавать это горько и обидно. Мы ведь раньше так ждали канбо, а они приезжали ну прямо все на одно лицо, как же нашему Шеоми не плестись в хвосте...

Суан Фу слушал старика и думал обрадованно: «Вот, значит, какое оно, Шеоми. Вовсе не отсталое!» И он с энтузиазмом принялся за

дело. Он вникал во все нужды и заботы жителей селения и скоро сделался здесь совсем своим человеком. Люди доверились ему и посвящали его теперь в самые сокровенные свои тайны.

Но вот однажды старый Зу отозвал юношу за угол дома; глянул на него с опаской, помялся и нерешительно сказал:

— Ты мой младший брат, и я хочу тебя спросить напрямик. Вот тут один говорит, что правительство придумало кооператив, чтобы легче было собирать налоги. Я ему не поверил и хочу у тебя узнать, так ли это?

Суан Фу взглянул ему прямо в глаза и сдавленным от волнения голосом произнес:

— Старший брат, ты веришь мне? Я ведь уже объяснил тебе все это. Ты мне веришь?

Старый Зу поспешно схватил его за руку, затряс ее и, отвернувшись, сконфуженно шмыгнул носом.

— Я тебе верю. Верю! Просто тот обманщик... вот я и хотел тебе сказать... А я ведь тебе верю, младший брат, и не слушаю тех, у кого черная душа.

Суан Фу кивнул и крепко пожал старику руку.

— Все, что говорит партия,— правда. Нужно в нее верить, старший брат!

А назавтра у них состоялся серьезный разговор.

— Суан Фу, скажи мне, вот если, к примеру, мы пожелаем стать кооперативом, что для этого надобно? — спросил старик.

— Нужно, чтобы каждый написал личное заявление. Ведь партия никого не принуждает. Каждый должен сам хорошенько все взвесить, ну а потом поступать по своему разумению. Кооператив — дело добровольное.

— Ну держи тогда, вот они, твои листки!

Суан Фу бережно взял пухлую пачку заявлений. Глаза его радостно светились и голос прерывался от волнения, когда он сказал:

— Знаешь, мой старший брат, мне нужно будет обязательно рассказать об этом в уезде. Только партия подскажет нам, с чего начинать. И потом, нужно, чтобы кто-то еще пришел сюда и помог нам.

На следующий день старая Зу приготовила Суан Фу все, что носят юноши черных мео: безрукавку, вышитую желтым, с узором персикового цвета понизу, матерчатую шапочку из шести клиньев, серебряный обруч-ожерелье на шею и еще дала ему на дорогу сверточек с клейким рисом.

■

Суан Фу ушел, а Шео Тяй, старая Зу и ее муж, как, впрочем, и все остальные жители Шеоми, нет-нет да и поглядывали в сторону дальних гор, за которыми он скрылся,— очень уж им хотелось, чтоб он поскорее вернулся.

Но дни тянулись за днями, а Суан Фу все не показывался. Прошла неделя, в Шеоми пришел совсем другой человек и принес листок бумаги, на котором рукой Суан Фу было написано: «Я еще занят и должен немного задержаться. Уезд посылает этого канбо, его зовут Данг, он поможет нам создать кооператив. Дорогие старшие брат и сестра, вы привечали меня; прошу вас, примите и Данга. Он совсем такой же, как я. Ведь все канбо нашей партии — это дети народа мео, народа зао и вообще всех наших народов». Старики Зу рассудили: родич их младшего брата им не чужой и друзьям своих детей следует оказывать теплый прием. Старики Зу, а с ними и все остальные семь десятков домов в Шеоми приняли Данга с открытым сердцем.

Данг, высокий сухощавый кинь[1], в одежде, какую носили все канбо, не умел петь, да и слов мео знал совсем мало. Когда люди Шеоми собрались побеседовать с ним, он заговорил на языке киней, и старому Зу пришлось переводить его слова, иначе старики ничего бы не поняли. И все же старый Зу рассудил: «Этот канбо говорит почти то же, что наш младший брат. Значит, мы можем ему доверять».

Вот так и расширялись связи Шеоми с внешним миром. Доверие, на первых порах зародившееся между людьми одного рода, в конце концов освободилось от рамок клана. Связь Шеоми с уездным центром теперь была налажена, и в этом селении — последнем белом пятне на карте уезда — все говорило о создании кооператива в самом скором времени.

■

Суан Фу пробыл в уезде еще целую неделю.

— Скажи, как удалось тебе собрать людей и добиться того, чтоб они тебя выслушали? — расспрашивал его секретарь уездного комитета.

— Да ведь люди в Шеоми такие хорошие!

— Конечно, это так. Но ты все же вспомни, как тебе удалось привлечь их?

Суан Фу нахмурил брови, задумался. Но тут же решил просто рассказать все по порядку. А под конец, пожав плечами, добавил:

— Сам не знаю, как это вышло. Я пел, рассказывал легенды и сказки, просто знал, что они любят, и старался это делать, знал, чем они дорожат, и тоже дорожил этим, вот и все. А потом они поверили мне, стали относиться с уважением и назвали своим младшим братом. Правда, мне повезло — я умею петь, а песни мео пою с детства.

— Ну вот и возвращайся в Шеоми,— рассмеялся секретарь.— Молодец! Тому, кто несет идеи революции горцам, нужно быть именно таким человеком. И знаешь, дело-то ведь совсем не в том, умеет он петь или нет!

— Может, лучше кто другой туда пойдет...— нерешительно сказал Суан Фу.

— А что такое?

— Да как сказать... В общем, Шео Тяй, выходит, мне теперь вроде как племянница. Ну, а она и я... мы...

Но что бы там Суан Фу ни рассказывал еще секретарю, а на следующий день он в рубахе черных мео, в матерчатой шапочке и с обручем на шее, перекинув через плечо холщовую котомку, шагал в Шеоми.

1971 г.

■

[1] Кинь — собственно вьетнамцы — самая большая группа в многонациональном составе Вьетнама.

ОКОТ П'БИТЕК

Перевод с английского МИХАИЛА КУРГАНЦЕВА

Жалоба Лавино

Из поэмы «Песнь Лавино»

I

Муж глядит на меня
с презреньем,
злится, рычит,
все ему не по нраву,
говорит:
я глупей своей тетки,
ни на что не гожусь,
как старая рухлядь,
тошнотворна,
как мусорная свалка.

Муж,
сын вождя,
одумайся, милый!
Что ты меня позоришь, Окол,
равняешь с облезлой обезьяной?
За то, что азбуки не учила?
За то, что не сидела в школе?
За то, что живу, как все, -
некрещеной?

ОКОТ П'БИТЕК (ОКОТ P'BITEK). Родился в 1931 году в г. Гулу (Северная Уганда). Получил образование в Бристольском и Оксфордском университетах. В настоящее время — профессор литературы Найробийского университета (Кения). Поэма «Песнь Лавино» («The Song of Lawino») опубликована в 1966 году в кенийском издательстве «Ист африкэн паблишинг хауз». Поэма написана на языке аколи и самим автором переведена на английский. Это произведение посвящено одному из самых острых конфликтов современного африканского общества — столкновению традиционного образа жизни и западной цивилизации.

Мы публикуем первые две главы, открывающие поэму.

Муж,
ровесник моего брата!
Что ты несешь?
Опомнись, Окол!
Придержи язык,
посмотри на себя —
мужчина зрелый,
а ведешь себя как младенец,
пузыри пускаешь.
Банан зеленый...

Сын вождя, ты себя унизил.
О тебе судачит вся деревня.
Вместо похвал — одни насмешки.

Плюешь на всех,
дурачок несчастный,
на меня глядишь,
будто я бесплодна,
никудышна,
пуста, как зола без соли [1].

Поле отца своего ты топчешь,
вырываешь Заветную Тыкву
предков!

Родичи, плачу!
Что мне делать?
Больше нет сил выносить обиды.
Муж родителей моих поносит.
Родную мать мою обзывает
такими словами — стыдно
вспомнить.
Он теперь стал важная шишка —
по-английски жену облаял.

Кричит:
никуда не годишься, рожа,
мне не нужна
и нужна не будешь.
Кроет меня и так, и этак.
Кричит: ты — древесная обезьяна,
не умеешь играть на гитаре,
пустоглазая жаба —
читать не умеешь.
Кричит, что я,
как овца, скудоумна,
глупа, как муха
на бочке с пивом.

Ну, конечно, я ничему не училась,
английской ругани не понимаю,
не умею считать монету.

Родичи, он всех костит и песочит,
с утра до вечера сквернословит.
Речи его — больнее палок:
моя мать — ведьма,
родные — свихнулись,
крысоеды, кафры,
живем в пещерах,
не знаем Священного писания.
Мать на шее носит
зуб крокодила,
мы все — колдуны,
и ждет нас пекло.

С его языка стекает ругань,
дурная, как кровь бездетной бабы.
Язык — ядовитый корень лионно,
осиное жало, зуб змеиный.
Послушаешь — и тянет на рвоту,
как от сока прокисшей тыквы.

Мой муж оплевывает черных.
Он как спятившая наседка,
клюющая собственные яйца, —
такую бы в котел отправить!

Брызжет слюной,
глаза таращит,
как нильский окунь,
когда идет нерест.
Весь трясется,
дрожит от злости —
ополоумевшая гиена.
Кричит: черномазые подонки,
дикари, обычаи ваши мерзки,
ваши танцы — срам, разврат и
пакость,
вы — покрытые сыпью, нищие
дурни!
А себя называет он современным,
прогрессивным, цивилизованным
мужчиной.
Он, видите ли, так умен и начитан,
что спать со мною больше
не может.

Я — деревенщина,
отстала от моды,
добро от зла не отличаю,
красоту свою потеряла...

Я мешаю ему расти, развиваться.
Он кричит на меня: слониха!
Толстые кости — мало мозгу!
Говорит: зря с тобой теряю время...

---

[1] В Кении добывают соль, сжигая стебли растений, выросших на солончаках; золу промывают водой и образовавшийся соляной раствор используют. Золу, из которой удалена вся соль, выбрасывают.

II

Окол от меня отвернулся,
завел «современную»,
молодую...
Говорят, что она смазлива
и лопочет с ним по-английски.

А еще недавно каждый вечер
мы сидели рядом, прижавшись.
А еще недавно каждый вечер
пели вместе старую песню.
А еще недавно он мне клялся
до смерти быть верным.
Шептал по-английски —
ничего не понимала я, дура...
Окол от меня отвернулся,
на стороне завел молодую...
Звать ее Клементина, Тина.
Эта тина его засосала...

Родичи,
видели б вы Клементину!
Черная кожа, все как обычно.
Ночи не спит, лезет вон из кожи,
чтоб походить на белую леди,
а смахивает на дикую кошку
с усами, вымазанными кровью.
Всегда накрашенные губы,
будто два раскаленных угля.

Рот ее — клубень сырого ямса [1],
пахучая, открытая язва,
красная глотка злого духа.
Лицо посыпано белой золою —
серо-зеленое, как у трупа.
Страшненькое оно, как маска
колдуна, танцующего в полночь;
губы — будто в кровь разбиты;
волосы — прямые, как прутья;
кожа в опалинах, как у лисицы,
которой ткнули под хвост
головешку,
чтобы из норы ее выгнать.

Меня мутит от мыла с карболкой,
от вонючей золы — от пудры
привиденья в мозгу танцуют.
У родного дяди, у брата мамы
выпрошу козла, его зарежу,
помажу щеки жертвенной кровью.
Козлиный запах куда сильнее!
И призраки злые меня покинут,
и покой поселится в сердце...

Родичи, видели б вы Клементину!
Лохматая, похожа на ведьму
или на полоумную бабку,
которую запирают на ночь
в святилище родовом и лечат.
Шея длинная, как веревка,
лицо желто-синее, как у трупа...

Родичи,
думаете — ревную?
Из-за того, что эта девица
теперь со мною делит мужа,
от злости я потеряла разум?

Что скрывать, немного ревную.
Врать не буду — есть и обида.
От ревности никто не избавлен.
Она приходит нежданно, сразу,
как дух, напускающий лихорадку,
в глазах мелькают желтые пятна,
и земля из-под ног уходит...
Да хватит! Поглядите на Тину,
не надо мной, а над ней поплачьте!

Грудь ее съежилась, усохла,
сморщилась, одрябла, отвисла.
Она подвязала два мешочка,
набила их пучками ваты
и называет это грудью!

[1] Ямс — распространенный в Африке корнеплод.

Родичи,
ох, «современная» хочет
молоденькой девушкой казаться!

Какие-то проволочки вставляет,
чтоб грудь казалась упругой,
твердой,
и острыми проволочками трется
о мужчину, когда танцует.
А дурень мой разомлел, поверил:
облапил девственницу,
съел цыпленка,
свеженького, едва из скорлупки...

«Современные» даже на ночь
не снимают с себя этих штучек!
А спросишь:
сколько детей вскормили
груди твои — сухие мешочки?
Семья твоя — выкидыши
сплошные,
Все потомство твое — на помойке.

Вот и мстят ей духи
бездетного чрева,
вызывают хворь,
туманят разум,
насылают раннюю старость...

Женщина, с которой делю мужа,
ничего не ест — располнеть боится.
Бледная, немощная, худая —
настоящая белая леди.
Она идет —
гремят все ребра,
талия тощая, как у шершня.
Что за красотка — тоньше щепки!
Мяса в ней, как в пустой ракушке.
С нею жить — все равно что
плавать
в речке, пересохшей от зноя.

Окол мой
меня гонит в шею,
измывается надо мною.
Говорит: я ему не пара.
Говорит: жить со мною — стыдно;
он не какой-нибудь старый олух —
век вековать
с неграмотной дурой.
Говорит: я ничем не лучше
бабки своей,
что ходит вечно
немытая и в звериной шкуре.

Я не жалуюсь.
Что мне делать,
если ему нужна другая?

Кто может помешать мужчинам
женщин хотеть?
Никто на свете.

И если уж явилась такая,
что придется делить с ней мужа,
давай посмотрим, кто проиграет!
Ревнивая
потому и ревнует,
что сама ленива, нерасторопна,
глупа, холодна,
скучна,
болтлива,
неприветлива,
неуклюжа...

Муж возвращается с охоты,
приходит с поля,
голодный,
грязный,
утомленный...
Жена, за дело!

Та жена, что подаст умыться
и приготовит сытный ужин,
чье лицо добрее,
сердце мягче,
глаза сверкают,
на губах — шутка,
та, что ест при всех,
а не втихомолку [1],
что не ворчит,
как скисшее пиво,—
становится
первой хозяйкой в доме!

[1] С точки зрения племенной морали есть в одиночестве безнравственно.

Пусть
обзаводится новой женою!
Пусть для нее, если хочет, строит
дом на холме, крытый железом.
Мне моей хижины довольно,
в долине,
под соломенной кровлей.

Я не завидую новым женам.
Не боюсь состязаться с ними!
Хочу одного —
чтоб муж перестал
ругать меня
и родных позорить.

Окол, послушай!
Одумайся, милый!

Обычаи предков твоих надежны,
привычки — прочны,
заветы — мудры.

Их не выкорчуешь,
не вырвешь.
Корни их —
глубоко в почве.

Обычаи белых мне непонятны.
Но уважаю чужие нравы.
Не презирай же
моих привычек.

Муж,
сын вождя!
Не топчи свое поле,
не вырывай Отцовскую Тыкву!

◆

ЯСУНАРИ КАВАБАТА

Стон горы

РОМАН

Перевод с японского В. ГРИВНИНА

Стон горы

1

Синго Огата чуть нахмурился, чуть приоткрыл рот — у него был такой вид, будто он о чем-то задумался. Со стороны, может быть, и не заметно, что он задумался. Кажется — он грустит.

Его сын, Сюити, сразу заметил это, но такое случалось часто, и он не встревожился.

Сюити понимал состояние отца — он не просто задумался. Он пытается что-то вспомнить.

Отец снял шляпу и опустил ее на колени, крепко сжимая пальцами. Сюити молча взял у него шляпу и положил в багажную сетку.

— Э-эта, как ее...

В такие минуты Синго с трудом подыскивал слова.

— Прислуга, которая недавно уехала в деревню, как ее звали?

— Каё, по-моему.

— Да, да, Каё. Когда она уехала?

— В четверг на прошлой неделе, значит, пять дней назад.

— Пять дней назад? Прислуга взяла расчет всего пять дней назад, а я уже не помню ни ее лица, ни как она была одета. Это ужасно.

ЯСУНАРИ КАВАБАТА (1899—1972).

Крупный японский писатель, лауреат Нобелевской премии, присужденной в 1968 году «за писательское мастерство, с которым Кавабата выражает сущность японского восприятия жизни и образа мышления».

К наиболее известным произведениям писателя относятся повести «Танцовщица из Идзу» (1926), «Снежная страна» (над этой повестью, принесшей ему мировую известность, Я. Кавабата работал с 1935 по 1947 г.), «Тысяча журавлей» (1949), романы «Стон горы» (1954) и «Киото» (1962).

Книги Я. Кавабата переведены на многие языки мира. На русском в серии «Мастера современной прозы» в 1971 г. вышел однотомник его произведений, в «Иностранной литературе» (№ 6, 1972) напечатан рассказ «Голос бамбука, цветок персика».

Роман «Стон горы» печатается нами по изданию 1971 г. (Токио, Тюфу-но томося, т. 16).

Отец преувеличивает, подумал Сюити.

— Это случилось дня за два, за три до отъезда этой самой Каё. Я собрался на прогулку, стал надевать гэта и говорю: «Что это у меня на ноге, уж не экзема ли?» А Каё отвечает: «Ну что вы, просто натерли любимый мозоль». Честно говоря, меня это даже тронуло. Я, видимо, действительно натер мозоль на прогулке. Так вот, я подумал, что «любимый» ко мне относится. И растрогался. А теперь понимаю, что она говорила о «любимой мозоли». Так что умиляться было не от чего. Просто неграмотно выразилась. Это и сбило меня с толку. Я только сейчас сообразил,— сказал Синго.— Понимаешь мою ошибку?

— Понимаю.

— Да, да. Она просто неграмотно выразилась, и это сбило меня с толку.

Отец был из провинции и чувствовал себя в грамматике не слишком уверенно. А Сюити учился в Токио.

— Сейчас я понял свою ошибку, а вот имени прислуги никак вспомнить не мог. Не помню ни лица ее, ни как она была одета. Каё прожила у нас, пожалуй, с полгода?

— Да.

Сюити давно привык к забывчивости отца и не выразил ему ни малейшего сочувствия.

А сам Синго, хоть и пора уже было привыкнуть, все же встревожился немного. Сколько он ни старался вспомнить Каё, ясно представить себе служанку не удавалось. Он пытался оживить память сентиментальностью.

Вот и сейчас он вспоминает, как Каё, склонившись, провожала его в прихожей. Вспоминает, как она сказала: «Ну что вы, просто натерли любимый мозоль».

Видя, как трудно восстановить в памяти один-единственный случай, когда прислуга, прожившая в доме полгода, провожала его в прихожей, Синго, наверно, чувствует, что уходит жизнь.

2

Ясуко, жена Синго, старше его на год, ей шестьдесят три.

У них сын и дочь. Старшая — дочь, Фусако, у нее две девочки.

Ясуко выглядит молодо. Она не кажется старше мужа. И не потому, что Синго такой уж дряхлый,— просто считается, что жена обычно моложе мужа и если она не выглядит старше его, то в этом нет ничего неестественного. К тому же она небольшого роста, плотная, крепко сбитая.

Ясуко никогда не была красавицей, а в молодости выглядела старше мужа и потому не любила выходить с ним на люди.

Синго, сколько ни думал, так и не вспомнил, с какого возраста исчезло ощущение, что жена старше его. По его расчетам, после пятидесяти. Женщина, как правило, стареет раньше, а тут все наоборот.

В шестьдесят лет у Синго случилось кровотечение. Видимо, легочное, но он не стал ни серьезно обследоваться, ни лечиться. Правда, больше оно не повторялось.

Болезнь не состарила Синго. Наоборот, кожа разгладилась. И за те полмесяца, что он лежал в постели, губы у него стали яркими, как в молодости.

Синго раньше не жаловался на легкие. И когда в шестьдесят лет у него вдруг пошла горлом кровь, он помрачнел, приуныл, но лечиться отказался. Сюити считал это старческим упрямством, но Синго избегал врачей совсем не из упрямства.

Ясуко спит хорошо, видимо, потому, что здорова. Иногда Синго кажется, что по ночам он просыпается только от храпа Ясуко. Она начала храпеть лет с пятнадцати, и родители без конца таскали ее по врачам, но после замужества перестала. И снова стала храпеть после пятидесяти.

Обычно Синго сжимает пальцами нос Ясуко и теребит его. Если это не помогает, он хватает ее за шею и трясет. Это когда он в хорошем расположении духа, а когда в плохом — просто остро чувствует старческую немощь этого тела, многие годы лежащего рядом с ним.

В эту ночь Синго был в плохом расположении духа — он зажег свет и искоса взглянул на Ясуко. Потом схватил ее за шею и стал трясти. Шея чуть потная.

Синго подумал: «Чтобы жена перестала храпеть, может быть, достаточно просто протянуть руку и дотронуться до нее»,— и он вдруг испытал к ней острую жалость.

Он взял лежавший у изголовья журнал, но было невыносимо душно и жарко; тогда он встал, вышел на веранду, широко раскрыл ставни и сел на корточки.

Была лунная ночь.

За ставнями висело платье Кикуко. Какого-то неопределенно-белого цвета. Наверно, выстирала его и забыла снять, подумал Синго, а может быть, нарочно оставила пропотевшее платье на улице, чтобы его вымыла ночная роса.

Гья, гья, гья, гья, послышался из сада стрекот. Это цикада, которая сидит на вишне, что растет слева, почти касаясь карниза. Неужели у цикады такой противный голос? — усомнился Синго. И все-таки это цикада.

Интересно, цикады тоже боятся страшных снов?

Цикада подлетела и опустилась на сетку от москитов.

Синго схватил цикаду, но она не стрекотала.

— Немая,— пробормотал Синго.— Это другая цикада, не та, что верещала «гья».

Чтобы ее снова не приманил свет, Синго с силой подбросил цикаду к самой макушке вишни. Цикада так и не застрекотала.

Взявшись за створки ставней, он перегнулся через перила веранды и стал осматривать вишню, но так и не определил, села на нее цикада или нет. Лунная ночь кажется глубокой. И эта глубина ощущается как бесконечность.

Еще не наступило десятое августа, а цикады уже стрекочут.

Слышен такой звук, как будто с листа на лист падают капли ночной росы.

Потом Синго услыхал стон горы.

Ветра нет. Вот-вот наступит полнолуние, все залито светом, и в сыром ночном воздухе чуть колышется тусклый контур деревьев, очерчивающий невысокую гору. Колышется не от ветра.

Неподвижны и листья папоротника внизу под верандой, на которой стоит Синго.

В иные ночи слышен шум волн на болотистом побережье Камакура, и поэтому Синго подумал, не стон ли это моря, но нет, это был стон горы.

Он был похож на далекий стон ветра, и в нем чувствовалась глубоко скрытая мощь, как в подземном гуле. Казалось, стонет у

тебя в голове, и Синго, подумав, не шумит ли у него в ушах, помотал головой.

Стон прекратился.

Стон прекратился, но Синго охватил страх. Он похолодел — может быть, это весть, что настал его смертный час?

Стон ветра? Стон моря? Звон в ушах? Синго нужно было все спокойно обдумать. Может быть, он слышал один из этих звуков, подумал он. Нет, то был в самом деле стон горы.

Точно пронесся дьявол и заставил гору застонать.

Оттого, что ночной воздух был полон влаги, гора, и так-то крутая, казалась мрачной, неприступной стеной. Гора подступала почти вплотную к дому Синго и, хотя поэтому ее можно было назвать стеной, походила скорее на половину огромного яйца.

Рядом с горой и за ней высятся другие горы, но застонала, пожалуй, именно эта гора, у дома Синго.

Из-за верхушек деревьев там и тут проглядывают звезды.

Задвигая ставни, Синго вспомнил один странный случай.

Дней десять назад он ждал гостя в новом чайном домике. Того все не было, и гейша пришла пока только одна — две другие опаздывали.

— Снимите галстук. Жара невыносимая,— сказала гейша.

— Угу.

Синго позволил гейше снять с себя галстук.

Они не были близко знакомы, но, положив галстук в карман его пиджака, лежавшего у ниши, где висела картина, гейша начала рассказывать о себе.

Месяца два назад гейша и подрядчик, строивший этот чайный домик, полюбили друг друга и решили вместе покончить с собой. Но когда пришло время выпить цианистый калий, гейша засомневалась — хватит ли того количества, которое у них было, чтобы умереть без мучений.

— Доза смертельная, это точно,— говорил мне тот человек.— Посмотри, каждая доза в отдельном пакетике, верно? Значит, насыпано сколько надо.

Но я все равно не верила. Мои подозрения только усиливались.

— Кто тебе дал порошки? Может быть, насыпали так мало, чтобы просто проучить нас обоих и заставить помучиться? Я тебя не спрашиваю, какой врач или аптекарь дал тебе это, а ты твердишь одно — не могу сказать. Странно. Решили вместе умереть, а ты почему-то не можешь сказать. Ведь потом я так и не узнаю.

— Просто фарс какой-то,— хотел было сказать Синго, но промолчал.

Гейша настояла на том, чтобы отложить самоубийство и совершить его только после того, как она попросит кого-нибудь взвесить цианистый калий.

— Вот он весь, я его с собой ношу.

Подозрительная история, подумал Синго. В памяти осталось, что речь шла именно о подрядчике, строившем этот чайный домик.

Гейша достала из сумочки пакетик и, развернув, показала содержимое.

— Хм,— пробормотал Синго, скользнув взглядом по пакетику. Он не мог определить, действительно ли это цианистый калий.

Задвигая ставни, он вспомнил ту гейшу.

Синго снова лег в постель, но не мог заставить себя разбудить шестидесятитрехлетнюю жену и рассказать ей о страхе, который он испытал, услыхав стон горы.

3

Сюити служил в той же фирме, что и Синго, и кроме того, выполнял обязанности «напоминателя» при отце.

Обязанности «напоминателя» взяли на себя также Ясуко, что было вполне естественно, и Кикуко — молодая жена Сюити. Так что три члена семьи восполняли угасавшую память Синго.

В фирме памяти Синго помогала секретарша.

Сюити зашел в кабинет отца, вынул книгу из небольшого книжного шкафа в углу и стал листать ее.

— Ой-ёй-ёй,— воскликнул он, подходя к столу секретарши и показывая ей открытую страницу.

— Что такое? — спросил, чуть улыбнувшись, Синго.

Сюити подал ему раскрытую книгу. Там было написано:

«Здесь не утрачена идея целомудрия. Видеть друг в друге не просто любовников — вот средство, которое позволяет мужчине не страдать от любви к женщине, а женщине — от любви к мужчине, позволяет им наслаждаться и дольше любить друг друга. Таков, в общем, способ сохранить внутреннюю гармонию...»

— Где это «здесь»? — спросил Синго.

— В Париже. Писатель путешествовал по Европе.

Мозг Синго стал слишком неповоротлив, чтобы воспринимать остроты и парадоксы, но то, что он прочел, показалось ему не остротой, не парадоксом, а прекрасным прозрением.

Вряд ли эти слова произвели такое уж сильное впечатление на Сюити. Ему просто понадобилось договориться с секретаршей вместе пойти домой. Синго сразу это понял.

Сойдя с электрички в Камакура, Синго подумал, что хорошо бы ему договориться с Сюити об одновременном возвращении домой или приходить позже Сюити.

Автобусы были переполнены, и Синго пошел пешком.

У рыбной лавки он остановился и заглянул внутрь; хозяин поздоровался с ним, и он вошел. Вода в бочонке с креветками мутно-белая. Синго потрогал кончиком пальца лангустов. Видно, еще живые, хотя и не двигаются. Лежала гора моллюсков, и Синго решил купить их.

— Сколько? — спросил хозяин.

Синго немного растерялся.

— И правда, сколько? Три. Покрупнее.

— Минутку, сейчас все сделаем. Мы их вам приготовим.

Синго были неприятны натужные звуки, с какими хозяин и его сын вскрывали неподатливые раковины концом кухонного ножа.

Когда мясо моллюсков было вымыто и хозяин проворно нарезал его, в лавку вошли две девушки.

— Что вам? — спросил он, продолжая нарезать моллюсков.

— Нам ставриды.

— Сколько?

— Одну.

— Всего одну?

— Да.

— Всего одну?

Ставрида была мелкая. Девушки не обратили внимания на издевательский тон хозяина.

Хозяин завернул ставриду в обрывок бумаги и протянул ее девушкам.

Девушка, стоявшая сзади, видимо посмелее, тронула подругу за локоть.

— Может, возьмем еще и закуски, а?

Та, что была впереди и держала ставриду, все время разглядывала лангустов.

— Эти лангусты и в субботу еще будут, наверно? Мой их очень любит.

Вторая ничего не ответила.

Синго украдкой взглянул на девушку.

Современные проституточки. Спина голая, на ногах матерчатые тапочки. А сложены хорошо.

Хозяин сгреб нарезанное мясо моллюсков к середине кухонной доски и, укладывая его снова в три раковины, бросил презрительно:

— Таких теперь и в Камакура развелось, хоть пруд пруди.

Синго возразил хозяину:

— Ну и что же в этом плохого? Наоборот, прекрасно.

Хозяин небрежно раскладывал мясо моллюсков по раковинам, и Синго обратил внимание на такую, казалось бы, мелочь, что теперь все оно перемешалось и уже не попадет в свои раковины.

Сегодня четверг, и до субботы еще чуть ли не три дня, но в последнее время лангусты почти всегда бывают в рыбных лавках, подумал Синго. Неужели этим неотесанным девицам удается так искусно приготовить лангустов, что ими можно угощать гостей? Нет, лангусты, хоть жарь их, хоть парь, хоть вари, все равно остаются грубой, простой пищей.

Синго действительно думал о девушках с симпатией и даже потом вспоминал их с некоторой грустью.

В семье четыре человека, а он купил трех моллюсков. Просто Синго знал, что Сюити к ужину не придет, но он не сообразил, что поставит свою невестку Кикуко в неловкое положение. Когда торговец спросил «сколько?», Синго, не подумав, исключил Сюити.

По дороге он зашел в магазин и купил еще плодов гинго.

4

Что Синго пришел с покупками из рыбной лавки, было делом беспримерным, но ни Ясуко, ни Кикуко даже виду не подали, что удивлены.

Может быть, этим они пытались скрыть свои чувства, не увидев Сюити, который должен был прийти вместе с отцом.

Отдав Кикуко моллюсков и гинго, Синго обошел ее сзади и направился в кухню.

— Чашечку подслащенной воды.

— Сейчас, минутку,— сказала Кикуко, но Синго уже сам открыл водопроводный кран.

В мойке лежали лангусты и креветки. Какое совпадение. В рыбной лавке он колебался, не купить ли креветок. Но покупать и креветок и лангустов он, разумеется, не стал бы.

Посмотрев, какого цвета креветки, Синго сказал:

— Хорошие.

Они были еще живые и блестящие.

Раскалывая гинго тупой стороной кухонного ножа, Кикуко сказала:

— На вид спелый, но все равно есть его будет нельзя.

— Ты думаешь? Мне, правда, тоже казалось, что в это время года гинго несъедобны.

— Давайте позвоним в магазин и скажем.

— А, ладно. По вкусу моллюски, которых я купил, то же самое, что креветки. Я и решил — покупать еще и креветок совсем ни к чему.

— Удивительная предусмотрительность.— Кикуко на мгновение высунула кончик языка.— Моллюсков мы сварим, не вынимая из раковины, лангустов поджарим, а креветок запечем в тесте. Грибы я уже купила. Вы, отец, не нарвете баклажанов на огороде?

— Хорошо.

— Помельче которые. И еще немного молодой зелени. Может, действительно хватит одних креветок?

На ужин Кикуко подала двух вареных моллюсков.

Синго, немного поколебавшись, сказал:

— По-моему, должен быть еще один.

— Я подумала: у бабушки с дедушкой зубки слабенькие и они с удовольствием поедят вдвоем,— сказала Кикуко.

— Что?.. Не говори глупостей. В доме нет никаких внуков, а ты вдруг «дедушка».

Ясуко опустила голову и тихо засмеялась.

— Простите.— Кикуко легко поднялась и принесла еще одного вареного моллюска.

— Лучше бы мы поели вдвоем, как предлагала Кикуко,— сказала Ясуко.

Синго в душе восхитился словами Кикуко, он понимал, что они очень кстати. Ее слова помогали сгладить неловкость из-за того, что он купил не четырех, а трех моллюсков. И с каким невинным видом она произнесла их — нет, она далеко не глупа.

Может быть, Кикуко все время обдумывала, как лучше поступить: оставить моллюска Сюити и самой не есть или разделить с матерью одну порцию на двоих?

Однако Ясуко не обратила внимания на то, что творится в душе Синго.

— Ты же знаешь, что было всего три моллюска. Нас четверо, а ты почему-то купил три штуки,— бестактно вернулась к старому Ясуко.

— Я знал, что Сюити не придет к ужину, зачем же было покупать для него?

Ясуко грустно улыбнулась. Но, может быть, благодаря ее возрасту улыбка не выглядела такой уж горькой.

Кикуко тоже не подала вида, что ей грустно. И даже не спросила, куда пошел Сюити. Кикуко была младшей в семье среди восьми братьев и сестер.

Семеро старших переженились, и у них была масса детей.

Синго иногда думал об удивительной плодовитости родителей Кикуко.

Кикуко порой жаловалась, что Синго до сих пор не может запомнить имена ее братьев и сестер.

Она родилась, когда мать решила, что детей с нее хватит, и была уверена, что уже не сможет забеременеть. Она стыдилась рожать в таком возрасте, проклинала свое нестареющее тело и пыталась выкинуть, но ничего не получилось. Роды были тяжелые — пришлось накладывать щипцы.

Кикуко говорила, что слышала об этом от самой матери, и рассказала Синго всю эту историю.

Синго не понимал, как может мать рассказывать такое дочери, не понимал, как может Кикуко рассказывать такое свекру.

Кикуко откинула тогда волосы со лба и показала легкий шрам от щипцов.

Увидев этот чуть заметный шрам от щипцов, Синго полюбил Кикуко еще сильнее.

В семье к Кикуко относились, как обычно относятся к младшему ребенку. Правда, ее не столько баловали, сколько просто нежно любили. Она была не особенно крепкого здоровья.

Когда Кикуко пришла невесткой в дом Синго, он обратил внимание, что она, сама не сознавая этого, как-то очень грациозно поводит плечами. Он чувствовал в ней светлое, чистое кокетство.

Глядя на стройную, белокожую Кикуко, Синго вспоминал иногда старшую сестру Ясуко.

В молодости Синго был влюблен в нее. После ее смерти Ясуко поселилась в доме зятя, чтобы присматривать за сиротами. Она работала, не жалея себя. Ясуко мечтала занять место старшей сестры. Она любила красавца зятя, да и память о сестре была ей дорога. Сестра была удивительно красива — просто не верилось, что их родила одна мать. Муж сестры представлялся Ясуко чуть ли не сказочным героем.

Ясуко была очень удобна и зятю и детям, но зять делал вид, что не понимает ее сокровенного желания. Он жил в свое удовольствие. Казалось, Ясуко уготовано судьбой удовлетвориться жертвенным служением семье покойной сестры.

Узнав об этом, Синго решил жениться на Ясуко.

Сейчас, через тридцать лет, Синго не думает, что их брак был ошибкой. Многолетний брак не определяется тем, с чего он начался.

Но все равно образ сестры Ясуко прочно поселился в их сердцах. Ни Синго, ни Ясуко никогда не заговаривали о ней, но и забыть ее не могли.

Когда сын женился и в дом пришла Кикуко, воспоминания Синго вспыхнули, словно их осветило молнией, но они не были для него так уж болезненны.

Еще и двух лет не прошло, как Сюити женился на Кикуко, а уже завел себе женщину. Для Синго это было удивительно.

В отличие от Синго, выходца из деревни, которому пришлось много пережить в юные годы, Сюити никогда не страдал от любви, его не мучали страсти.

По нему никогда не было заметно, что его что-то угнетает. Синго так и не удалось установить, когда Сюити впервые узнал женщину.

Сейчас Сюити определенно связался с какой-нибудь гейшей, а может быть, даже с проституткой, осуждал его Синго.

А эта секретарша из фирмы — с ней он, наверно, просто ходит на танцы, и не исключено, что она служит ему лишь для того, чтобы усыплять отцовскую бдительность, думал Синго.

Во всяком случае, его любовница не такая красавица. Красавицей Синго считал Кикуко. С тех пор как у Сюити появилась женщина, их близость с Кикуко, казалось, стала иной. Весь облик Кикуко изменился.

Проснувшись среди ночи — это произошло, когда на ужин был вареный моллюск,— Синго услышал голос Кикуко, такого голоса у нее еще не было никогда.

Кикуко не знает, что у Сюити есть женщина, подумал Синго.

— Неужели отец стал бы затевать всю эту историю из-за какого-то моллюска? — шептала она.

Кикуко ничего, разумеется, не знает, но неужели она догадывается, что здесь замешана женщина?

Не успел он задремать, как наступило утро. Синго вышел взять газету. Луна стояла еще высоко. Наскоро просмотрев газету, он снова нырнул в постель.

5

На вокзале в Токио Сюити быстро вскочил в электричку и занял место, а когда вслед за ним вошел Синго, он встал и уступил место отцу.

Потом достал из своего кармана очки отца и вместе с вечерним выпуском газеты протянул Синго. У Синго тоже были с собой очки, но обычно он их где-нибудь оставлял, и поэтому Сюити носил для него запасные.

Перегнувшись через газету к Синго, Сюити сказал:

— Сегодня я говорил с Танидзаки — у нее есть школьная подруга, которая хочет пойти в прислуги. Нам ведь нужна.

— Да? А это ничего, что она подруга Танидзаки?

— А что тут такого?

— Эта прислуга все выспросит у Танидзаки и, чего доброго, расскажет о твоих делах Кикуко.

— Глупости. Что она может рассказать?

— Тебе бы надо знать, какого сорта эти девицы, что идут в прислуги.— Синго снова уткнулся в газету.

Когда они сошли в Камакура, Сюити сказал:

— Танидзаки рассказывала тебе что-нибудь обо мне?

— Ничего не рассказывала. Она со мной как немая.

— Правда? Это неприятно. Послушай, отец, я немного приударяю за твоей секретаршей, а ты недоволен, ты чуть ли не издеваешься надо мной.

— Ничего удивительного. Во всяком случае, постарайся, чтобы Кикуко ничего не узнала.

Сюити, словно теперь-то уж скрывать нечего, сказал:

— Нет. Все-таки Танидзаки что-то рассказала тебе.

— Неужели Танидзаки хочет с тобой развлекаться, зная, что у тебя есть женщина?

— Да, пожалуй. Отчасти из ревности.

— Чепуха.

— Я ее брошу. Хочу бросить.

— Мне непонятны твои рассуждения. Раз уж на то пошло, давай поговорим откровенно.

— Когда брошу, все начистоту расскажу.

— Так или иначе, постарайся, чтобы Кикуко ничего не узнала.

— Хорошо. Но Кикуко, наверно, уже все знает.

— Ты думаешь?

Синго помрачнел.

Вернувшись домой, он все еще был мрачен, а после ужина молча встал из-за стола и ушел в свою комнату.

Кикуко принесла кусок арбуза.

— Кикуко, соль забыла,— вошла вслед за ней Ясуко.

Кикуко и Ясуко присели на корточки у двери.

— Ты не слыхал, как Кикуко кричала: отец, арбуз, арбуз? — сказала Ясуко.

— Не слыхал. Я знал, что его положили охладить.

— Кикуко, он не слыхал,— обернулась к ней Ясуко.

— Отец почему-то сегодня сердитый.

Немного помолчав, Синго сказал:

— Что-то в последнее время у меня плохо с ушами. На днях открыл ставни на веранде, чтобы проветрить комнату, и мне послышалось, будто стонет гора за домом. А бабка спокойно спала себе.

Ясуко и Кикуко посмотрели на гору.

— Разве бывает, чтобы гора стонала? — сказала Кикуко.

— Когда-то давно я спрашивала об этом у матери. И она мне сказала, что ее старшая сестра слышала стон горы перед смертью.

Синго вздрогнул. Забыть такое непростительно, подумал он. Как же он не вспомнил об этом, услышав стон горы?

Кикуко, взволнованная, тоже молчала, ее красивые плечи не шелохнулись.

Крылья цикады

1

Приехала дочь Фусако с двумя детьми.

Старшей четыре года, младшей еще и года нет. Если она и дальше будет рожать с такими промежутками, о следующем ребенке говорить еще рано, но Синго все-таки спросил невзначай:

— Заведешь еще одного?

— Нет, отец, больше не хочу. Разве я тебе не говорила?

Фусако небрежно положила девочку на спину и, распеленывая ее, сказала:

— А ваша Кикуко еще не решила завести?

Она тоже сказала это невзначай, но лицо Кикуко, повернутое в сторону ребенка, застыло.

— Оставь ее, пусть полежит так,— сказал Синго.

— Кунико, а не «ее». Ты же знаешь, что имя дали по деду.

Каким стало лицо Кикуко, заметил, по-видимому, только Синго. Но и он не придал этому значения и с нежностью глядел, как сучит ножками освобожденный младенец.

— Оставь ее. Видишь, как ей хорошо. Раньше было, наверно, жарко,— сказала Ясуко, пододвигаясь на коленях к ребенку и поглаживая ему животик и ножки.— Сейчас твоя мамочка и сестричка примут ванну и будут чистенькие.

— Дать полотенце? — вскочила Кикуко.

— Я привезла с собой,— сказала Фусако.

Значит, приехала не на один день.

Фусако стала вынимать из фуросики[1] полотенце и смену белья; к ее спине угрюмо прижалась старшая дочь Сатоко. С тех пор как они пришли, она не произнесла ни слова. У Сатоко были черные густые волосы.

Синго вспомнил этот фуросики, в котором Фусако принесла свои вещи; он даже вспомнил, что она взяла его из дому, когда выходила замуж.

Фусако с Кунико на спине, одной рукой волоча Сатоко и с тяжелым узлом — в другой, пришла с вокзала пешком. Ну и дела, подумал Синго.

Противный ребенок эта Сатоко, которую нужно вот так волочить за собой. И капризная, а матери и без того тяжело, она из сил выбивается.

Интересно, думал Синго, как смотрит Ясуко на то, что Кикуко всегда следит за собой,— наверно, ей это не особенно приятно?

Когда Фусако ушла в ванную, Ясуко стала поглаживать запревшие места на ножках девочки.

— По-моему, она покрепче Сатоко, тебе не кажется?

---

[1] Большой яркий платок, в котором носят вещи.

— Может быть, потому, что родилась уже, когда у родителей все разладилось и они перестали ругаться,— сказал Синго.

— А Сатоко родилась, когда у родителей как раз все стало разлаживаться, и это на нее повлияло.

— Что понимает четырехлетний ребенок?

— Все понимает. Это определенно на нее повлияло.

— Нет, Сатоко с самого рождения...

Ребенок неожиданно проворно перевернулся на живот, пополз вперед и, ухватившись за сёдзи[1], встал на ножки.

— Ой-ой,— Кикуко расставила руки, схватила за ручки девочку и повела в соседнюю комнату.

Ясуко тоже встала. Подняла кошелек, лежавший рядом с вещами Фусако, и заглянула в него.

— Что ты делаешь? — Синго сказал это тихо, но он весь дрожал от возмущения.— Положи.

— Это еще почему? — сказала Ясуко спокойно.

— Сказано положи, значит положи. Зачем ты его взяла? — У Синго дрожали пальцы.

— Во всяком случае, не для того, чтобы что-то украсть.

— Это хуже, чем воровство.

Ясуко положила кошелек на место. Но все же сказала:

— Чем это плохо, присмотреть за своей дочерью? Вернется домой, а детям еды купить не на что, что она будет делать? Да и просто хотела узнать, как у Фусако с деньгами.

Синго зло взглянул на Ясуко.

Фусако вернулась из ванной.

Ясуко, чтобы поскорей закончить неприятный ей разговор, сказала:

— Послушай, Фусако, я заглянула сейчас в твой кошелек, а дед изругал меня. Может, я и вправду плохо поступила. Ты уж меня прости.

— Что значит «и вправду плохо поступила»?

Синго стало еще противнее от того, что Ясуко рассказала обо всем Фусако.

По мнению Ясуко, между матерью и дочерью такие отношения вполне естественны и, может быть, так оно и есть, думал Синго, а то, что он весь дрожит,— это, наверно, потому, что откуда-то из глубины поднимается старческая усталость.

Фусако заметила, каким красным стало лицо отца, и испугалась его гнева гораздо больше, чем материнского обыска.

— Пожалуйста, смотри сколько хочешь. Пожалуйста,— сказала она чуть ли не с отчаянием и положила перед матерью кошелек.

Это еще больше разозлило Синго.

Ясуко не притрагивалась к кошельку.

— Аихара уверен, что если у меня не будет денег, я не смогу уйти из дому,— поэтому в кошельке пусто,— сказала Фусако.

Девочка, которую вела Кикуко, потеряв вдруг равновесие, упала. Кикуко подхватила ее и поднесла к остальным.

Фусако, подняв кофту, дала дочери грудь.

Фусако никогда не отличалась красотой, но тело у нее приятное и сложена хорошо. Грудь еще не потеряла формы. Налитая молоком, она большая и упругая.

— Воскресенье, а Сюити почему-то нет дома? — спросила о брате Фусако.

Кажется, она поняла, что своим вопросом не улучшила настроения отца и матери.

[1] Раздвижная перегородка в доме.

2

Синго подошел уже почти к самому дому, но остановился и стал рассматривать в соседнем дворе подсолнухи.

Задрав голову, он приблизился к ним. Подсолнухи, склонив свои головы, высились по обе стороны калитки, и когда между ними встал Синго, проход оказался загорожен.

Подошла девочка, жившая в этом доме. Она остановилась за спиной Синго и терпеливо ждала.

Она, конечно, могла пройти в калитку, протиснувшись боком между Синго и подсолнухом, но девочка узнала Синго и поэтому терпеливо ждала.

Наконец Синго заметил ее.

— Какой огромный цветок. И красивый,— сказал он.

Девочка чуть смущенно улыбнулась.

— У каждого по одному цветку.

— По одному. Вот почему они такие большие. Давно расцвели?

— Да.

— Сколько дней, как расцвели?

Девочка, которой было лет двенадцать-тринадцать, не смогла ответить. Задумавшись, она посмотрела на Синго, потом вместе с ним снова уставилась на подсолнухи. Девочка была загорелая, круглолицая, а руки и ноги худые-прехудые.

Отступая, чтобы пропустить девочку, Синго посмотрел на другую сторону улицы — там, у домов, тоже росли подсолнухи.

На одном было даже три цветка. Правда, вдвое меньше, чем эти, у дома девочки, и все на самой верхушке.

Синго пошел к своему дому, все время оглядываясь на подсолнухи.

— Отец,— раздался голос Кикуко.

Кикуко стояла за спиной Синго. Из корзины торчали стручки сои.

— Идете домой? И по дороге любуетесь подсолнухами?

Кикуко было неприятно — не оттого, что Синго любуется подсолнухами, а оттого, что он снова пришел без Сюити и как ни в чем не бывало любуется ими у самого дома.

— Какие великолепные цветы,— сказал Синго.— Как головы великанов, правда?

Кикуко безучастно кивнула.

Слова «головы великанов» пришли ему на ум только сейчас. Раньше, глядя на них, он совсем так не думал.

Но, сравнив цветы подсолнуха с головами великанов, Синго вдруг ощутил их мощь. И одновременно — поразительное их совершенство.

Лепестки как венец, а в центре, занимая большую часть круглого цветка, тычинки и пестики. Плотно пригнанные друг к другу, они буквально усеивают цветок. Но нет и намека на борьбу — между ними царят мир и спокойствие. И бьющая через край мощь.

Цветы больше, чем голова человека. Поразительное совершенство этих цветов, которое так остро ощутил Синго, связалось у него в мыслях с совершенством человеческого мозга.

В этом удивительном богатстве, созданном природой, есть могучее мужское начало, подумал Синго. Диск набит тычинками и пестиками — значит, в нем сразу оба начала: и мужское и женское, но Синго ощущал в цветке лишь мужское начало.

Солнце садилось, и вместе с ним опускалась вечерняя тишина.

Лепестки вокруг диска, набитого тычинками и пестиками, казались девушками в желтых нарядах.

Рядом стояла Кикуко, и она могла найти странным его поведение. Синго отвернулся от подсолнухов и пошел домой.

— В последнее время, знаешь, у меня что-то с головой не в порядке. Может быть, поэтому, глядя на подсолнухи, я все время думаю о голове. Разве голова не так же прекрасна, как этот цветок? И раньше, в электричке, я думал, как хорошо бы отдать голову в чистку или в починку. Конечно, отрубать голову было бы чересчур жестоко, но осторожно снять голову с шеи и сдать, как белье в стирку, в университетскую клинику, разве это немыслимо? В клинике промоют мозги, починят неисправные части, а твое тело пока — три дня или, если нужно, неделю — будет спокойно спать. Спокойно, без всяких сновидений.

Кикуко чуть опустила веки.

— Вы, наверно, устали, отец? — сказала она.

— Да. Сегодня в фирме у меня не было отбоя от посетителей. Не успею затянуться сигаретой, тут же кладу ее в пепельницу. Снова закуриваю и снова кладу в пепельницу. Смотрю — лежат три одинаковых окурка и дымят. Мне даже неловко стало.

Синго и впрямь мечтал в электричке о промывке мозгов, но мечтал он не столько о промытых мозгах, сколько о спокойно спящем теле. Как прекрасен сон тела, лишенного головы. Он устал, это верно.

Сегодня под утро он два раза видел сны, и в обоих снах появлялся покойник.

— Может быть, вам взять отпуск? — сказала Кикуко.

— Я действительно думаю взять отпуск и поехать в горы. Ведь снять голову и сдать ее в ремонт невозможно. Хочу посмотреть горы.

— Хорошо, если бы вы в самом деле поехали,— сказала чуть кокетливо Кикуко.

— Да. Но ведь сейчас у нас Фусако. Она, наверно, тоже приехала, чтобы немного отдохнуть. Пожалуй, из-за Фусако мне лучше побыть дома? Или, может, наоборот, лучше не быть дома? Как ты думаешь?

— О, как я завидую Фусако — у нее такой хороший отец.

Кикуко сказала это странным тоном.

Не потому ли Синго рассказывал Кикуко всякие выдумки, морочил ей голову, чтобы невестка не заметила, как ему неприятно, что сын снова не пришел вместе с ним? Может быть, он делал это безотчетно, но такая причина тоже существовала.

— Ох, какая ты сегодня ехидная,— Синго сказал это без всякой злобы, но Кикуко удивилась.— Нет, если бы я был хорошим отцом, с Фусако всего этого не случилось бы.

Кикуко стало неловко. Щеки покраснели, покраснели даже уши.

— Нет, отец, это не ваша вина.

В голосе Кикуко Синго уловил нотки утешения.

3

Синго не любил холодных напитков даже летом. Так повелось издавна — Ясуко никогда не поила его холодным.

И утром, встав с постели, и вечером, вернувшись домой, он первым делом выпивал несколько чашек горячего чая — так было заведено, и Кикуко сразу же усвоила это.

Вот и сейчас, не успел Синго прийти домой, полюбовавшись подсолнухами, как Кикуко уже подала ему чай. Отпив половину, Синго

переоделся в легкое кимоно и с чашкой в руках вышел на веранду. Прогуливаясь по ней, он отхлебывал чай.

Кикуко принесла ему влажное холодное полотенце и сигареты и снова наполнила чашку горячим чаем. Потом принесла вечерний выпуск газеты и очки.

Синго обтер лицо холодным полотенцем, очки надевать не хотелось, и он стал осматривать сад.

Заросший сад. В дальнем углу беспорядочно разрослись кустистый клевер и пампасовая трава, уже почти одичавшие.

В зарослях клевера летали бабочки. Они мелькали между ярко-зелеными листьями, и казалось, что бабочек множество. Синго все ждал, что вот они взлетят над зарослями или полетят прочь от них, но бабочки упорно порхали в зарослях клевера.

Синго неотрывно глядел на заросли, и ему вдруг показалось, что там существует какой-то свой, крохотный мир. Показались загадочно-прекрасными крылья бабочек, мелькавшие между листьями.

Синго неожиданно вспомнил, как однажды ночью, незадолго до полнолуния, между деревьями на горе мерцали звезды.

На веранду вышла Ясуко и опустилась на колени. Обмахиваясь веером, она сказала:

— Сюити сегодня опять поздно придет?

Синго не повернул головы.

— Посмотри, в клевере летают бабочки. Видишь?

— Вижу.

Вдруг бабочки взлетели над зарослями, будто им стало неприятно, что их видит Ясуко. Их было три.

— О, целых три.

Бабочки были маленькие и невзрачно-тусклые.

Прочертив на дощатом заборе косую линию, бабочки полетели к сосне у соседнего дома. Три бабочки, одна за другой, четко сохраняя дистанцию, стремительно поднялись к самой верхушке сосны. Сосна не была ухоженным садовым уродцем — она взмывала высоко вверх.

Вскоре неизвестно откуда выпорхнула одна из бабочек, пересекла сад и снова закружилась над клевером.

— Сегодня утром, перед тем как проснуться, я дважды видел во сне покойников,— сказал Синго.— Тацумия угощал меня гречневой лапшой.

— И ты ел эту лапшу?

— А что, не надо было?

Синго подумал, неужели можно умереть, поев во сне того, чем тебя кормит покойник?

— Как же это было? Я вроде бы ее не ел. Но лапша была вкусная.

Кажется, действительно он проснулся, так и не поев гречневой лапши.

Синго и сейчас помнит четырехугольный бамбуковый поднос с высокими бортами — черными снаружи и ярко-красными внутри, даже цвет лапши, которая лежала на нем, и то помнит.

Не знает только, видел ли эти цвета во сне или они появились, когда он проснулся. Во всяком случае, сейчас он отчетливее всего представляет себе эту гречневую лапшу. Все остальное поблекло.

На циновке — поднос с лапшой. И перед ним как будто стоял Синго. А Тацумия и его семья как будто сидели. И как будто Синго не хватило подушки для сидения. Было странно, что Синго стоит, но он как будто остался стоять. Вот и все, что он помнит.

Этот сон пробудил Синго, но и проснувшись, он отчетливо помнил его. Утром еще помнил. А к вечеру почти совсем забыл. В памяти всплывала лишь сцена с гречневой лапшой, а все, что было до и после нее,— стерлось.

Тацумия — так звали умершего несколько лет назад столяра, которому было за семьдесят. Синго любил мастера, работавшего в старой манере, и время от времени заказывал ему что-нибудь. Но Тацумия был ему не настолько близок, чтобы видеть его во сне через три года после смерти.

Лапша появилась во сне, наверно, потому, что сразу же за мастерской была столовая, и, находясь в мастерской, Синго нередко разговаривал со стариком, когда тот сидел в столовой, но в саму столовую Синго ни разу не заходил. Поэтому он даже представить себе не мог, откуда все-таки взялся этот сон с лапшой.

У Тацумия было шестеро детей, все дочери.

Сейчас, вечером, Синго никак не может вспомнить, была ли эта девушка одной из дочерей Тацумия. Но во сне он дотрагивался до девушки.

Он точно помнит, что дотрагивался. А вот кто была эта девушка, никак не может вспомнить. Даже не представляет себе, за что ухватиться, чтобы вспомнить.

Проснувшись, он, кажется, прекрасно знал, кто эта девушка. И даже сегодня утром, задремав и снова проснувшись, отчетливо представлял себе, кто она. А вот сейчас, вечером, никак не может вспомнить.

Это было продолжение сна о Тацумия, и поэтому он предположил, что девушка — одна из его дочерей, но уверенности не было. Начать с того, что Синго просто не мог вспомнить лицо ни одной из дочерей Тацумия.

Это, безусловно, было продолжением того сна, но он не помнил ничего, кроме лапши. Сейчас он припоминает, что когда проснулся, отчетливее всего виделась ему именно гречневая лапша. Но не была ли суть сновидения в том, что оно должно было рассыпаться от страха прикоснуться к девушке?

Нет, страх этот не был столь велик, чтобы он проснулся от него.

Никаких обстоятельств, с которыми все это было связано, он тоже не помнил. И облик девушки исчез, и вспомнить его не удавалось. Единственное, что осталось в памяти Синго,— ощущение чего-то мягкого. Он коснулся ее только рукой, и она никак не ответила на его прикосновение. Она уклонилась.

Синго даже наяву не позволял себе так вольничать с женщинами. Это было тем более немыслимо, что тут была молодая девушка.

Синго исполнилось уже шестьдесят два года, и было странно, что ему снятся такие легкомысленные сны, собственно, даже не легкомысленные, а, скорее, бесконечно унылые, недоумевая, подумал он, когда проснулся.

Но он сразу же заснул снова. И сразу же увидел еще один сон.

Толстый, обрюзгший Аита с графинчиком сакэ в руке вошел в дом Синго. Он, видимо, много выпил, лицо у него красное, как будто его ошпарили, и ведет себя как пьяный.

Из всего сна Синго помнит только это. Но он не представляет себе, где все это происходило — в теперешнем его доме или в том, где он жил раньше.

Аита лет десять назад был директором фирмы, где работает Синго. В конце прошлого года он умер от кровоизлияния в мозг. За несколько лет до смерти он сильно похудел.

— Я видел еще один сон. Это был Аита с графинчиком сакэ в руке. Он пришел к нам домой,— сказал Синго, обращаясь к Ясуко.

— Аита-сан? Если это действительно был Аита-сан, разве мог он напиться? Странно.

— Это верно. У него ведь была астма, и, когда у него случилось кровоизлияние в мозг, мокротой забило горло, и он задохнулся. Он действительно не пил. И всегда носил с собой пузырек с лекарством.

И все-таки во сне в мозгу Синго удивительно отчетливо всплыл облик Аита, широко шагающего пьяной походкой.

— Значит, вы с Аита устроили пирушку?

— Нет, совсем не пили. Аита только подошел ко мне, даже сесть не успел, как я проснулся.

— Плохо это. Покойники, да еще двое.

— Пришли, наверно, забрать меня с собой,— сказал Синго.

В этом году умерло много близких. Так что появление покойников во сне, видимо, вполне естественно.

Однако и столяр и Аита явились не покойниками. В снах Синго они были живыми людьми.

Лица и весь облик Тацумия и Аита, как они предстали ему сегодня утром во сне, Синго видел вполне отчетливо. Гораздо отчетливее, чем если бы он вспоминал их. Пьяное красное лицо Аита — такого он никогда не видел в жизни, но сейчас он помнит каждую черточку.

Так ясно стоят перед его глазами и Тацумия и Аита, а вот вспомнить лицо девушки, до которой он дотрагивался, никак не удается. Синго даже не знает, кто она. Почему? Непонятно.

Синго подумал: может быть, угрызения совести заставили его забыть девушку? Нет. Он ведь тогда еще спал, еще не проснулся как следует, чтобы подумать о нравственной стороне дела. Он испытал лишь отчаяние.

Синго не удивило, почему он увидел во сне отчаяние.

Ясуко об этом он, разумеется, ничего не сказал.

Из кухни доносились голоса Кикуко и Фусако, которые готовили ужин. Пожалуй, слишком громкие голоса.

4

Каждую ночь в дом залетают с вишни цикады.

Выйдя в сад, Синго подошел к вишне.

Со всех сторон засвистели крылья цикад, взлетавших с дерева. Синго поражало количество цикад, но еще больше поражал свист их крыльев. Казалось, летят не цикады, а стая воробьев.

Синго снова и снова осматривал огромное дерево — цикады все еще взлетали с него.

Облака, сплошь застлавшие небо, неслись на восток. Судя по погоде, двести десятый день не сулит бед [1]. Но сегодня ночью подует, наверно, ветер с гор и температура понизится, подумал Синго.

Пришла Кикуко.

— Что случилось, отец? С чего это цикады так всполошились?

— Действительно, переполох такой, как будто стряслась страшная беда. Есть выражение «свистящие крылья уток», но я просто поразился, до чего пронзительно свистят крылья цикад.

Кикуко держала в руке иголку с красной ниткой.

[1] Двести десятый день от начала весны (примерно 1 сентября) считается несчастливым, так как в этот период часто случаются тайфуны, наводнения и другие стихийные бедствия.

— А меня не так поразил свист, как ужасный стрекот, который они подняли.

— Я как-то не обратил внимания на стрекот.

Синго посмотрел, что делала Кикуко. Она шила красное детское кимоно. Из старого нижнего кимоно Ясуко.

— Сатоко все еще забавляется с цикадами? — спросил Синго.

Кикуко кивнула. Потом сказала, почти не разжимая губ:

— Да.

Для Сатоко, которая жила в Токио, цикады были диковинкой, а может быть, таков уж был ее нрав, но первое время она их боялась, и тогда Фусако обрезала однажды ножницами крылья певчей цикаде и дала ее дочери. После этого Сатоко, стоило ей поймать цикаду, всегда просила Ясуко или Кикуко обрезать крылья.

Ясуко это было очень неприятно. Она говорила, что в детстве Фусако не была такой жестокой. Говорила, что такой жестокой сделал Фусако ее муж.

Ясуко прямо-таки побледнела, увидав, как певчую цикаду с обрезанными крыльями тащит полчище рыжих муравьев.

Синго был этим озадачен, даже поражен — раньше никогда такой пустяк не вывел бы Ясуко из себя.

Но сейчас она так разволновалась, вероятно, потому, что ее охватило дурное предчувствие. Синго прекрасно понимал, что дело тут совсем не в цикаде.

Девочка приставала до тех пор, пока взрослые не сдавались и не обрезали крылья цикаде, а Сатоко потом не знала, куда ее девать. Она притворялась, что собирается как следует спрятать цикаду, и мрачно выбрасывала ее в сад. Понимая, что взрослые следят за тем, что она делает.

Фусако каждый день жаловалась Ясуко на свою жизнь, но не говорила, когда собирается вернуться домой, из чего можно было заключить, что самый важный для нее разговор еще впереди.

Ложась в постель, Ясуко пересказывала Синго жалобы дочери. Большую часть жалоб Фусако Синго пропускал мимо ушей, но чувствовал, что она рассказывает не все.

Конечно, она приехала, чтобы посоветоваться с родителями, но тридцатилетней женщине, имеющей собственную семью, делиться с родителями совсем не легко. И взять обратно в дом дочь с двумя детьми тоже нелегко. Так разговор все откладывался со дня на день — событиям предоставляли идти своим чередом.

— Очень уж ласков отец с Кикуко,— сказала однажды Фусако.

Это было во время ужина, когда за столом сидели и Сюити и Кикуко.

— Конечно. Мы и должны быть ласковы с Кикуко,— невозмутимо ответила Ясуко.

Слова Фусако не требовали ответа, но Ясуко все же ответила. Хотя она при этом улыбалась, слова ее были рассчитаны на то, чтобы одернуть Фусако.

— И в этом нет ничего удивительного — ведь Кикуко тоже ласкова с нами.

Кикуко покраснела от удовольствия.

Ясуко говорила как будто добродушно. Но в ее голосе слышалось и осуждение дочери.

Слышалось, что она любит счастливую на вид невестку и не любит несчастную на вид дочь. Казалось даже, что в ее словах таился жестокий, злой умысел.

Синго объяснил это тем, что Ясуко была недовольна собой. Нечто схожее испытывал и сам Синго. Но для Синго это все-таки было не-

сколько неожиданно, он сомневался в том, пристало ли Ясуко, пожилой женщине, матери, обнаруживать свои чувства перед несчастной дочерью.

— Я не согласен. С ее мужем вы не так ласковы,— сказал Сюити, и это не было шуткой.

Что Синго трогательно относится к Кикуко, прекрасно знала и сама Кикуко, не только Сюити и Ясуко, и об этом уже никто не заговаривал, а Фусако вдруг взяла и заговорила — Синго стало очень грустно.

Для Синго Кикуко была единственным светлым оконцем в их угрюмом, мрачном доме.

Дети Синго не такие, как ему хотелось бы, да и сами они не способны жить, как хотелось бы им, и от этого бремя кровного родства было для Синго еще невыносимее. Только молодая невестка радовала его.

Он действительно был с нею ласков — еще бы, она была слабым лучом во мраке его одиночества. Так он баловал себя — его трогательное отношение к Кикуко было для него сладким бальзамом.

Переживания Синго, связанные с его возрастом, нисколько не волновали Кикуко. Она его вовсе не остерегалась.

Слова Фусако как бы нарушили маленькую тайну Синго.

Это было за ужином дня три-четыре назад.

И вот сейчас, стоя под вишней и вспоминая о цикадах Сатоко, он вспомнил и слова, сказанные тогда Фусако.

— Фусако решила поспать днем?

— Да, она укачивала Кунико и сама заснула вместе с ней,— ответила Кикуко, глядя в глаза Синго.

— Забавная эта Сатоко. Как только Фусако начинает укачивать Кунико, Сатоко тут как тут — прижмется к матери и тоже засыпает. Так приятно на них смотреть.

— Ласковая.

— Бабка не любит внучку, а ведь когда ей исполнится лет четырнадцать-пятнадцать, она будет очень похожа на нее — даже храпеть начнет, как она.

Кикуко растерялась.

Она вернулась в комнату, где до этого шила, Синго направился в другую комнату, но она его окликнула:

— Отец, оказывается, вы ходите на танцы?

— Что? — Синго обернулся.

— Это уже всем известно. Я так удивилась.

Синго действительно позавчера ходил со своей секретаршей в дансинг-холл.

Сегодня воскресенье. Значит, за вчерашний день эта Хидэко Танидзаки проболталась Сюити, а Сюити рассказал Кикуко — не иначе.

Уже много лет Синго не ходил на танцы. И когда он пригласил Хидэко, та была поражена. Сказала, что если она пойдет с Синго, в фирме начнутся пересуды, и ей это будет неприятно. А мы никому не скажем, предложил Синго. И вот на следующий же день она поспешила рассказать обо всем Сюити.

Все выведав у Хидэко, Сюити и вчера и сегодня делал вид, что ничего не знает. А сам тут же все разболтал жене.

Сюити, видимо, часто ходил с Хидэко на танцы, и поэтому Синго решил пригласить ее. Он надеялся, что в дансинг-холле, куда он пойдет с Хидэко, возможно, будет и женщина, с которой встречается Сюити.

Однако, придя туда, Синго не смог определить эту женщину по внешности, а спрашивать не стал.

У Хидэко, когда она оказалась с неожиданным для нее кавалером — Синго, словно бы закружилась голова, девушка стала вести себя неестественно, и Синго весь сжался, почувствовав в ней опасность для себя.

Хидэко всего двадцать два года, но ее грудь уже достаточно велика, чтобы наполнить ладонь. И Синго неожиданно стал вспоминать порнографические открытки.

Вспоминать порнографические открытки в такой безумной толчее было смешно и даже как-то нелепо.

— В следующий раз пойду с тобой, Кикуко,— сказал Синго.

— Правда? В самом деле, сводите меня.

Кикуко вся раскраснелась.

Интересно, догадывается ли она, что он пошел на танцы только из-за любовницы Сюити?

Синго совсем не волновало, что дома узнали о его походе на танцы, и растерялся он только от неожиданности, испугавшись, что Кикуко разгадает его тайное намерение увидеть любовницу Сюити.

Вернувшись на веранду, Синго прошел по ней в комнату Сюити и, стоя в дверях, сказал:

— Обо всем выведал у Танидзаки?

— Это ведь новость, которая касается нашего дома.

— Подумаешь, какая новость. Когда ты снова пойдешь с ней на танцы, купи ей летнее платье. Ладно?

— Ха-ха. Неужели ты, отец, осрамился?

— Оставь, пожалуйста. Просто она была в кофточке и юбке, а это не годится.

— У нее все есть. Только ты пригласил ее неожиданно, поэтому она была плохо одета. Если договориться с ней заранее, найдет что надеть,— сказал Сюити и отвернулся.

Пройдя мимо спавших Фусако и двух ее детей, Синго вошел в столовую и посмотрел на большие стенные часы.

— Уже пять часов,— пробормотал он, словно бы проверяя время.

Пламя облаков

1

Газеты писали, что двести десятый день пройдет, по всей вероятности, благополучно, но как раз в ночь на двести десятый день разразился тайфун.

Синго уже давно забыл, что видел эту заметку. Да ее, собственно, и нельзя было назвать прогнозом погоды. Впрочем, когда тайфун стал приближаться, появились и прогнозы и предостережения.

— Давай вернемся сегодня домой пораньше,— торопил сына Синго.

Секретарша Синго Хидэко помогла ему одеться, а потом и сама стала поспешно собираться. Когда она надела белый прозрачный плащ, грудь у нее исчезла, точно ее раздавили.

С тех пор как Синго заметил на танцах невзрачную грудь Хидэко, эта грудь все время привлекала его внимание.

Хидэко быстро сбежала вслед за Синго и Сюити по лестнице и теперь стояла вместе с ними у выхода. Шел такой проливной дождь, что страшно было даже выглянуть наружу.

— Тебе куда? — начал было Синго, но тут же осекся. Он задавал

этот вопрос уже раз двадцать, но запомнить ответ не мог. На вокзале в Камакура тоже стояли под навесом люди, сошедшие с поезда, и смотрели на бушующие потоки дождя.

Подойдя к дому, у которого росли подсолнухи, они услышали сквозь рев ветра и дождя песню из «Парижского праздника».

— Какая она легкомысленная,— сказал Сюити.

Они знали, что это пластинка Лиз Готи и поставила ее Кикуко.

Песня кончилась и тут же началась снова.

Примерно в середине песни послышался шум закрываемых ставней.

Потом они услышали, как Кикуко, захлопывая ставни, подпевает пластинке.

Из-за бури и песни Кикуко не заметила, что они вошли в прихожую.

— Ужас какой. Промочил ноги,— сказал Сюити, снимая в прихожей ботинки.

— О, вы уже вернулись,— прибежала Кикуко. Ее переполняла радость.

Сюити протянул ей ботинки.

— Наверно, отец тоже промок,— сказала Кикуко.

Пластинка кончилась. Кикуко опустила иглу снова и теперь стояла, держа в охапке мокрую одежду Синго и Сюити.

Завязывая пояс, Сюити сказал:

— Кикуко, твой проигрыватель на улице слышен.

— Мне было страшно, вот я и сделала погромче. Я места себе не находила — так за вас беспокоилась.

Кикуко действительно была весела и оживлена, словно в нее вселился тайфун.

Идя на кухню, чтобы налить Синго чаю, она все время напевала.

Сюити любил парижских шансонье и покупал их пластинки.

Он знал французский. Кикуко совсем не понимала по-французски, но Сюити научил ее произносить французские слова, и она пела, довольно хорошо подражая тем певцам. Например, Лиз Готи в «Парижском празднике» поет о девушке, которой так грустно, что она готова умереть. У Кикуко и в мыслях не было умирать — она просто наслаждалась, неумело выводя песню своим слабым голоском.

Когда Кикуко выходила замуж, школьные подруги подарили ей набор пластинок с колыбельными песнями мира. И она первое время без конца ставила их. Если не было никого поблизости, она подпевала пластинке.

Синго очень нравились эти песни.

Они, казалось ему, созданы в честь женщины. Кикуко, слушая колыбельные песни, вспоминала свое девичество.

— Когда я умру, поставьте на моих похоронах пластинку с колыбельной песней. Ладно? И никаких молитв, никаких надгробных речей не нужно,— попросил однажды Синго невестку. Он говорил как бы шутя, но на глаза его навернулись слезы.

Но Кикуко до сих пор не родила ребенка, и колыбельные песни ей, по-видимому, наскучили — Синго давно их не слышал.

Песня из «Парижского праздника» уже кончалась, но вдруг стала еле слышна, а потом совсем умолкла.

— Отключили свет,— сказала из столовой Ясуко.

— Да, действительно отключили. И сегодня света уже не будет.— Кикуко сняла пластинку.— Мама, давайте пораньше поужинаем.

Во время ужина ветер, пробивавшийся в щели, три раза задувал тонкую свечу.

Сквозь бурю слышался рев моря, и этот рев взвинчивал страх еще сильнее, чем вой бури.

2

Синго преследовал запах погашенной у изголовья свечи.

Дом содрогался под порывами ветра, Ясуко нащупала коробок спичек, заранее положенный около постели, и встряхнула его, чтобы убедиться, что он не пустой, и чтобы напомнить Синго, что спички приготовлены.

Потом она нашла руку Синго. Она не схватила ее, а лишь слегка прикоснулась к ней.

— Все в порядке?

— В порядке. Если в саду ветром и унесет что-нибудь, выйти все равно невозможно.

— Как ты думаешь, у Фусако тоже все в порядке?

— У какой Фусако?

Синго забыл, о ком речь.

— А-а, ну конечно, все в порядке. В такую бурю она с мужем, наверно, рано легла спать.

— Ладно, давай спать,— уклонилась от продолжения разговора Ясуко и замолчала.

Было слышно, как разговаривали Сюити и Кикуко. Кикуко ласкалась к Сюити.

Через некоторое время Ясуко заговорила снова:

— Двое маленьких детей. Не то что у наших.

— Да и у его матери с ногами плохо. Что-то нервное.

— Конечно, конечно, и если она уйдет от Аихара, все заботы о матери ему придется взвалить на свои плечи.

— Она совсем не может ходить?

— Нет, кажется, немного передвигается. В такую бурю... Тоска там сейчас.

Синго было странно услышать от шестидесятитрехлетней Ясуко слово «тоска».

— Везде тоскливо,— сказал он.

— В течение жизни женщина делает себе множество самых разных причесок — об этом я прочла в одной газете. Это очень правильно.

— В какой газете?

По словам Ясуко, с этого начинался некролог, написанный одним художником, который рисовал красавиц, и посвященный художнице, которая тоже рисовала красавиц.

На самом деле в статье все было наоборот, в ней говорилось о художнице, всю жизнь не менявшей прически. С двадцати лет и до самой смерти в семьдесят пять, больше пятидесяти лет она неизменно закручивала волосы пучком и закалывала их гребнем.

Ясуко, видимо, заинтересовалась: как это может быть, чтобы женщина всю жизнь носила одну и ту же прическу, и, наверно, подумала, что, напротив, женщина делает себе множество самых разных причесок за жизнь.

Ясуко имела привычку складывать просмотренные газеты за несколько дней и потом перечитывать их подряд. Поэтому, когда она пересказывала какую-нибудь статью, невозможно было определить, в какой газете она ее прочитала. Кроме того, она самым внимательным образом слушала по радио вечерний обзор новостей и иногда отпускала поразительные замечания.

— Ты думаешь, Фусако тоже будет делать себе самые различные прически? — спросил Синго.

— Конечно. Она ведь женщина. Чем она хуже нас, которые носят старинную японскую прическу? Фусако тоже приятно менять прическу, мол, чем я хуже Кикуко.

— Когда Фусако была здесь, ты обходилась с ней очень уж бессердечно. Мне кажется, она уехала в полном отчаянии.

— Может быть, мне передалось твое настроение? Ведь это ты никого не любишь, кроме Кикуко.

— Ничего подобного. Придумаешь какую-то чепуху и сама в нее веришь.

— Прекрасно знаешь, что я права. Ты всегда был равнодушен к Фусако и любил одного Сюити. Будешь отрицать? Такой уж ты человек. Вот и сейчас — Сюити завел себе женщину на стороне, а ты ему и слова не скажешь. Жалеешь Кикуко, а делаешь ей же только хуже. И она тоже, чтобы не огорчать отца, даже ревновать не смеет. Тоска. Хоть бы этим тайфуном меня унесло, что ли.

Синго был потрясен.

Но в ответ на слова все более распалявшейся Ясуко сказал только:

— Тайфун.

— Да, тайфун. Может быть, Фусако хотела, чтобы мы заговорили с ней о разводе, а мы повели себя с ней подло.

— Быть не может. Неужели у них уже дошло до развода?

— А я не думаю ни о разводе, ни о чем, я только представляю себе, какое ты сделаешь лицо, если на тебя свалится дочь с двумя детьми...

— А у тебя всегда такое лицо.

— И к тому же у тебя есть еще Кикуко, которая тебе очень по душе. Ладно, оставим Кикуко. Честно говоря, я тоже хороша. Стоит Кикуко заговорить, на сердце сразу становится легко, а с Фусако одни неприятности. Тяжело это... До замужества она все-таки не была такой. Никогда не думала, что родители могут так относиться к своей дочери и внукам. Ужасно. Это ты во всем виноват.

— Значит, я еще хуже, чем Фусако.

— Вот и сейчас ты притворяешься. Когда я сказала, что это ты во всем виноват, ты, наверно, ехидно показал мне язык, только в темноте я не разглядела.

— До чего же ты болтлива. Говоришь невесть что.

— Жалко Фусако. Тебе тоже ее жалко?

— Можно хоть сейчас забрать ее от мужа.

Потом Синго неожиданно вспомнил:

— Ты видела фуросики, с которым Фусако приезжала к нам?

— Фуросики?

— Да, фуросики. Мне тогда сразу показалось, что где-то я уже видел его, но никак не мог вспомнить где,— по-моему, это наш старый фуросики.

— Не тот большой, хлопчатобумажный? Когда Фусако выходила замуж, мы, наверно, завернули в него зеркало от туалетного столика. Помнишь, зеркало было громадное.

— А-а, возможно.

— Мне тоже стало неприятно, когда я увидела, что она увязала свои вещи в тот самый фуросики. Я еще подумала, лучше б вместо фуросики упаковала вещи хоть в чемодан, с которым ездила в свадебное путешествие.

— Чемодан тяжелый. Да еще с двумя детьми. За модой она не гоняется.

— Но ведь с нами живет Кикуко, хоть бы ее постеснялась. К тому

же это тот самый фуросики, в котором были мои вещи, когда я пришла в твой дом.

— Неужели?

— Ему еще больше лет. Это память о сестре. После ее смерти в этот фуросики увязали горшок с карликовым кленом и вернули нам.

— Вот оно что,— тихо сказал Синго.

Любимым занятием отца Ясуко — он жил в деревне — было выращивание карликовых деревьев. Особенно он любил выращивать карликовые клены. Сестра Ясуко всегда помогала отцу ухаживать за деревцами.

Лежа в постели, окруженный грохотом бури, Синго представил себе этого человека стоящим между двух карликовых кленов.

Видимо, отец подарил дочери деревце, когда она вышла замуж. Может быть, дочь сама попросила его об этом. А когда она умерла, ее муж, зная, как дорог отцу покойной этот клен, и не имея прислуги, которая бы ухаживала за деревцем, вернул его. Может быть, даже сам отец привез его обратно домой.

Сейчас этот краснолистый клен, поглотивший все мысли Синго, стоял у алтаря в деревенском доме Ясуко.

Кажется, сестра Ясуко умерла осенью, вспоминал Синго. В Синано осень наступает рано.

И как только она умерла, деревце вернули обратно. Листья на нем покраснели, и это тоже очень подходило, чтобы поставить его у алтаря. Может быть, Синго думал об этом просто от тоски по воспоминаниям? Он не мог ответить с уверенностью.

Синго забыл, когда годовщина смерти сестры Ясуко.

Но у Ясуко не стал спрашивать.

— Я никогда не помогала отцу ухаживать за деревцами. Такой уж, наверно, у меня характер. К тому же мне всегда казалось, что отец любит только сестру. Я действительно во всем уступала ей, и мне было очень обидно, что я не могу делать все так, как делает она.

Именно эти слова Ясуко всегда мешали Синго спросить у нее о дне смерти сестры.

И когда заходила речь о привязанности Синго к Сюити, она развивала эту мысль, говоря:

— Я, пожалуй, была похожа на Фусако.

Синго удивился — даже фуросики и тот напомнил ему о сестре Ясуко, и когда разговор зашел о ней, он замолчал.

— Давай спать. Трудно стало засыпать нам, старикам,— сказала Ясуко.

— Такая буря, а эта Кикуко смеется-заливается... А то без конца ставит пластинки. Жалко мне девочку.

— Ты противоречишь сам себе.

— В чем противоречу?

— Просто повторяешь мои слова — и все. Стоит пораньше лечь спать, и на тебя все набрасываются.

У Синго не выходил из головы карликовый клен.

Может быть, Синго думал об этом багровом клене потому, что и сейчас, через тридцать лет после женитьбы на Ясуко, любовь к ее сестре — все еще незажившая рана.

Синго, который лег в постель на час позже, чем Ясуко, проснулся от грохота.

— Что такое?

С веранды послышались шаги Кикуко, ощупью пробиравшейся в темноте.

— Вы проснулись? Кажется, с храма сорвало кровлю и листы железа занесло на нашу крышу,— сказала она.

3

С храма сорвало всю кровлю.

На крыше дома Синго и в саду валялись листы железа, и служители храма пришли рано утром, чтобы собрать их.

На следующий день Синго кружным путем, через Иокосука, добрался до Токио и появился в фирме.

— Ну как? Совсем, наверно, не спали?

Синго посмотрел на секретаршу, которая принесла ему чай:

— Да. Глаз не сомкнул.

Хидэко рассказала, что натворил тайфун,— она это видела из окна электрички, когда ехала на работу.

Выкурив две сигареты, Синго сказал:

— Сегодня не смогу пойти на танцы.

Хидэко подняла на него глаза и усмехнулась.

— На следующее утро, после того как мы с тобой танцевали, у меня болела поясница. Годы,— сказал Синго; по лицу Хидэко, от глаз к носу, поползла озорная улыбка.

— Может, это потому, что вы слишком выгибались?

— Выгибался? Возможно. Ты хочешь сказать, нагибался?

— Когда мы с вами танцевали, то, прикоснувшись ко мне, вы каждый раз выгибались, как будто вам неприятно, как будто старались быть от меня подальше.

— Вот ты о чем. Это я непроизвольно. Нет, нет, нарочно я этого не делал.

— И все же.

— Может быть, я просто старался держаться прямее. В общем, я не обратил на это внимания.

— В самом деле?

— Тебе так показалось потому, что вы, молодые, танцуете вульгарно, прилипнув друг к другу.

— О, как это ужасно.

Синго еще тогда подумал, что Хидэко возбуждена и танцует не в такт, но все равно танцевать с ней ему было очень приятно. Может быть, именно этим и объяснялась его скованность?

— Ну что ж, давай сходим еще раз — обещаю склониться к тебе и танцевать прижавшись.

Хидэко опустила голову и тихонько засмеялась.

— Пойдемте. Только не сегодня. Никак не могу, вы уж меня простите.

— Разумеется, не сегодня.

Синго обратил внимание, что Хидэко в белой кофточке и волосы перехвачены белой лентой.

Белая кофточка — одежда самая обычная, но, видимо, белая лента подчеркивала ее белизну. Лента, довольно широкая, плотно охватывала волосы и сзади была завязана узлом. В общем, одежда для тайфуна.

За ушами волосы собраны, и у кромки туго стянутых прядей видна незагорелая кожа.

И еще на ней темно-синяя юбка из тонкой шерстяной ткани. Юбка старая.

— После этого Сюити тебя не приглашал?

— Нет.

— И тебе обидно, да? Отец танцует с тобой, а молодой сын держится на почтительном расстоянии. Бедняжка.

— Что поделаешь. Придется самой пригласить его.

— Хочешь сказать, не ваша, мол, забота?

— Будете издеваться, в следующий раз не пойду с вами на танцы.

— Не буду. Раз уж ты сама обратила внимание на Сюити, я склоняю голову.

Эти слова подействовали на Хидэко.

— Ты, наверно, знаешь женщину, с которой встречается Сюити?

Было заметно, что Хидэко почувствовала себя неуютно.

— Она из дансинг-холла?

Хидэко промолчала.

— Сколько ей лет?

— Сколько лет? Она старше его жены.

— Красивая?

— Да, очень красивая.

Хидэко запиналась на каждом слове.

— Правда, голос у нее хриплый. Даже не хриплый, а какой-то дребезжащий, надтреснутый. Она говорит, что у нее очень чувственный голос.

— Что это значит?

Хидэко разоткровенничалась, а у Синго появилось желание заткнуть уши.

Он почувствовал стыд, почувствовал брезгливость, когда понял, что представляет собой любовница Сюити да и сама Хидэко.

Синго был потрясен, услыхав, что хриплый голос считается чувственным. В общем, Сюити есть Сюити, как, впрочем, и Хидэко есть Хидэко.

Увидев выражение лица Синго, Хидэко умолкла.

В тот день Сюити тоже вернулся домой рано, вместе с Синго, и, заперев дом, они вчетвером, всей семьей, отправились смотреть фильм «Кандзинтё»[1].

Когда Сюити снял верхнюю рубаху и стал переодеваться, Синго заметил, что на груди и на плече у него красные пятна, и подумал, что, наверно, это следы от пальцев Кикуко — она обнимала его тогда, во время бури.

Три актера, исполнявшие главные роли в «Кандзинтё» — Косиро, Удзаэмон и Кикугоро,— уже умерли.

Синго, Сюити и Кикуко восприняли их игру по-разному.

— Ты не помнишь, сколько раз мы видели с тобой этого прославленного воина в исполнении Косиро? — сказала Ясуко, обращаясь к Синго.

— Забыл.

— Быстро же ты все забываешь!

Улица была освещена луной, и Синго посмотрел на небо.

Луна словно центр пламени. Так вдруг показалось Синго.

Облака вокруг луны были на редкость причудливой формы, и пламя казалось не то заревом, не то сиянием фейерверка.

Но это пламя облаков было холодным и бледным, и луна тоже была холодной и бледной, и на Синго вдруг пахнуло осенью.

Луна и была почти круглая. Одетая облаками, она воспламеняла их вокруг себя.

Кроме белопламенных облаков, окутавших луну, других поблизости не было видно, и небо после бури было непроглядно-черное.

Все магазины и лавки закрыты — ночное запустение. Только те, кто идет из кино,— больше на улице ни души.

— Прошлую ночь не спали — давайте ляжем сегодня пораньше,— сказал Синго грустно.

[1] Одна из популярных пьес театра Кабуки.

Вот так постепенно приходит в жизни минута решения, подумал он. Неотвратимо надвигается минута, когда неизбежно нужно принять решение.

Каштан

1

— Смотрите, на гинго распустились почки.

— Неужели, Кикуко, ты только что заметила? — сказал Синго.— Я уже давно их вижу.

— Ничего удивительного, ведь вы, отец, сидите так, что вам всегда виден гинго.

Кикуко, сидевшая напротив Синго, повернула голову назад, в сторону гинго.

В столовой у каждого свое постоянное место.

Синго сидит лицом к востоку. Слева от него Ясуко — лицом к югу. Справа — Сюити, лицом к северу. Кикуко сидит лицом к западу и, значит, напротив Синго. Сад примыкает к южной и восточной частям дома — старики, можно сказать, занимают лучшие места. Что же касается мест двух женщин, то они сидят так, что во время еды им удобно ходить на кухню за кушаньями и расставлять их на столе.

Все четверо всегда занимают за столом одни и те же места, даже когда не едят,— это получается само собой.

Вот почему Кикуко неизменно сидит спиной к гинго.

И все же, видимо, с Кикуко не все ладно, если она не заметила, что на огромном дереве не вовремя распустились почки. Синго забеспокоился.

— Неужели ты не обратила на это внимания? Ведь тебе приходится каждый день открывать ставни, подметать веранду,— сказал Синго.

— Так уж получилось.

— Странно. Начать хотя бы с того, что когда ты входишь во двор, то идешь к дому прямо в сторону гинго, правда? Хочешь не хочешь, тебе приходится на него смотреть. Или, может быть, ты ходишь, опустив голову, погруженная в свои мысли?

— Не знаю даже, что сказать.— Кикуко повела плечами.— Теперь буду всегда внимательно смотреть на то, на что смотрите вы, отец.

Синго ответил грустно:

— Никуда не годится.

Ему хочется, чтобы она видела все, что видит он,— у Синго еще никогда в жизни не было такого любимого человека.

Кикуко все смотрела на гинго.

— Там, на горе, тоже есть деревья, на которых распустились листочки.

— Совершенно верно. Видимо, и с тех деревьев тоже сорвало бурей листву, как ты думаешь?

Гора за домом Синго высится почти от самого храма. Его ограда проходит прямо у ее подножия. И за оградой растут гинго — из столовой их дома кажется, что эти деревья растут на горе.

Гинго за одну ночь, когда бушевал тайфун, стали совсем голыми.

Бурей сорвало листья и с гинго и с вишни. Это самые большие деревья у дома Синго, и им легче противостоять ветру, но листьям на сильном ветру все равно не удержаться.

После бури на вишне еще сохранилось немного жухлых листьев, но потом и они опали, и теперь она тоже стоит голая.

Даже листья бамбука на горе сморщились. Может быть, оттого, что море близко и ветер пропитан соленой морской водой. У бамбука буря срезáла верхушки и заносила их в сад — они там и сейчас валяются.

И вот на огромном гинго распустились новые листья.

Поворачивая с улицы в переулок, Синго идет домой, а прямо перед ним гинго, и он видит его каждый день. Видит и из столовой.

— Гинго в чем-то сильнее вишни. Я смотрю на эти могучие деревья и думаю, чем отличаются они друг от друга,— сказал Синго.

— Какую силу должно иметь это старое дерево, чтобы уже осенью покрыться молодой листвой. Но все-таки листочки жалкие, правда?

— Да. Глядя на них, я думаю, могут ли они стать такими же большими, как листья, которые появились весной, нет, пожалуй, не станут.

Листья были не только маленькие, но и редкие. Их было не так много, чтобы укрыть ветки. Они были какие-то жидкие. Чуть зеленоватые, почти желтые.

Когда утреннее осеннее солнце освещало гинго, казалось, что дерево уже голое.

Гора за храмом сплошь заросла вечнозелеными деревьями. Их листьям не страшна никакая буря.

Кое-где на макушках густо разросшихся вечнозеленых деревьев появились зеленоватые молодые листочки. Их-то и увидела Кикуко.

Ясуко вошла, видимо, с черного хода. Послышался звук льющейся из крана воды. Она что-то говорит, но из-за шума воды Синго не может ничего разобрать.

— Что? — громко кричит он.

— Мама говорит, красиво клевер цветет,— пояснила Кикуко.

— А-а.

— Говорит, зацвела и пампасовая трава,— продолжала Кикуко.

— А-а.

Ясуко все еще что-то говорила.

— Перестань, пожалуйста. Я ничего не слышу,— не выдержал, наконец, Синго.

Кикуко опустила голову и улыбнулась украдкой.

— Я буду вам передавать.

— Передавать? Ни к чему. Просто бабка сама с собой разговаривает.

— Прошлой ночью она видела сон, что дом в деревне весь развалился.

— Хм.

— Что вы сказали, отец?

— Кроме «хм» мне нечего сказать.

Звук льющейся воды прекратился, и Ясуко крикнула:

— Кикуко, поставь, пожалуйста, цветы в вазу. Красивые, вот я их и срезала. Поставь, пожалуйста.

— Сейчас. Только сначала покажу их отцу.

Кикуко вошла с охапкой клевера и пампасовой травы.

Ясуко помыла руки, налила воду в керамическую вазу из Сигараки и с вазой в руках вошла в комнату.

— Амарант рядом с домом очень красиво расцвел.

С этими словами Ясуко села.

— Амарант есть и у того дома, где подсолнухи,— сказал Синго, вспомнив, что прекрасные цветы подсолнухов сорваны бурей.

Стебли были разломаны на мелкие кусочки и разбросаны по до-

роге. Несколько дней валялись и цветы. Казалось, это валяются человеческие головы.

Лепестки на цветах увяли, толстые стебли ссохлись, поблекли — и все это вываляно в земле.

Возвращаясь домой, Синго поневоле наступал на них, но смотреть не хотелось.

Куски голых стеблей с оторванными головами и без листьев по-прежнему торчали у ворот. Рядом с ними росло несколько гинго со спелыми плодами на ветвях.

— И все-таки таких гинго, как у соседей, ни у кого поблизости нет,— сказала Ясуко.

2

— Я видела сон, что дом в деревне весь развалился,— сказала Ясуко, это был ее родной дом.

После смерти родителей Ясуко он уже много лет стоял пустой.

Отец собирался завещать дом Ясуко и поэтому отдал ее старшую сестру в дом мужа. Отец, любивший старшую дочь, поступил так просто потому, что пожалел Ясуко, понимая, что у ее красавицы сестры больше возможностей устроить свою жизнь.

Вот почему, наверно, он разочаровался в Ясуко, когда та после смерти сестры ушла в ее дом и стала работать изо всех сил, надеясь занять ее место. Может быть, Ясуко поступила так оттого, что испугалась ложившейся на нее ответственности за родителей и родительский дом, и отец раскаялся в своем решении.

Брак Ясуко и Синго как будто обрадовал отца.

Казалось, он примирился с тем, что после его смерти некому будет следить за домом.

Сейчас Синго больше лет, чем отцу Ясуко, когда они поженились.

Мать Ясуко умерла первой, и ко времени смерти отца вся земля уже была продана, остался лишь небольшой участок леса и усадьба. Даже никаких ценных вещей не осталось.

Лес и усадьба были записаны на имя Ясуко, и она поручила присмотреть за ними деревенским родственникам. Чтобы выплачивать налоги, им, наверно, пришлось постепенно свести весь лес.

В течение многих лет Ясуко совсем не тратилась на дом в деревне, но зато и дохода никакого не получала.

Одно время, когда в годы войны в деревню приехали эвакуированные, на дом можно было найти покупателей, и Синго до сих пор жалел, что Ясуко не проявила решительности.

Свадьбу Синго и Ясуко отпраздновали в ее доме. Бракосочетание единственной оставшейся в живых дочери устроили не у жениха, а в ее доме — такова была воля отца.

Синго помнит, что когда они обменивались чашечками сакэ, упал каштан.

Ударившись о тяжелые каменные плиты садовой дорожки, он, видимо, из-за ее крутизны отлетел далеко в сторону и упал в быструю горную речку. Полет каштана, после того как он ударился о камень, был так удивительно красив, что Синго чуть не вскрикнул в восторге: «О-о».

И тут же посмотрел на окружающих.

Никто из них, кажется, не обратил внимания на какой-то упавший каштан.

На следующее утро Синго спустился к горной речке. У самого берега он увидел каштан.

Каштаны падали поблизости все время, и этот мог быть совсем не тем, который упал во время брачной церемонии, но Синго подобрал его и решил рассказать о случившемся Ясуко.

Но история с каштаном выглядела слишком по-детски. Поверит ли в нее Ясуко или кто-либо другой, услышав ее?

Синго выбросил каштан в прибрежную траву.

Он не столько боялся, что Ясуко не поверит ему, сколько стыдился мужа ее старшей сестры.

Если бы свояк не видел, как упал каштан, Синго еще во время вчерашней брачной церемонии смог бы рассказать об этом.

Присутствие свояка на свадьбе подавляло Синго, он чувствовал себя чуть ли не оскорбленным.

Синго, который и после свадьбы был влюблен в сестру Ясуко, чувствовал себя униженным и не мог относиться к этому человеку спокойно даже сейчас, когда старшая сестра умерла и он, Синго, женился на младшей — Ясуко.

Больше того, роль самой Ясуко была достаточно унизительной. Все время, пока Ясуко после смерти сестры жила в его доме, он делал вид, будто ему неведомы истинные ее намерения, и пользовался ею просто как добросовестной прислугой.

Было совершенно естественно пригласить его как близкого родственника на свадьбу Ясуко, но Синго испытывал такую неловкость, что даже старался не смотреть в его сторону.

Свояк по-прежнему был ослепительно красив — что правда, то правда.

Синго казалось, что вокруг того места, где сидит свояк, разлито сияние.

Для Ясуко сестра и ее муж были людьми какой-то необыкновенной сказочной страны, и, женившись на Ясуко, Синго тоже уверовал, что свояк — человек, за которым ему никогда не угнаться.

Синго все время казалось, что свояк с высоты своего величия наблюдает за брачной церемонией холодно и презрительно.

И то, что Синго так и не рассказал тогда Ясуко о таком пустяке, как упавший каштан, навсегда наложило мрачную тень на их супружескую жизнь.

Когда родилась Фусако, Синго втайне надеялся: вдруг она станет красавицей, похожей на старшую сестру Ясуко. Жене он, разумеется, не мог сказать об этом. Но Фусако выросла некрасивой, даже некрасивее, чем мать.

Как говорил Синго, кровь старшей сестры не возродилась через младшую. Он тайно разочаровался в жене.

Через три-четыре дня, после того как Ясуко видела сон о своем доме, от родственников из деревни пришла телеграмма — они сообщали, что туда приехала Фусако с детьми.

Телеграмму получила Кикуко и передала ее Ясуко, и та еле дождалась возвращения Синго.

— Мой сон о доме в деревне, наверно, и был предзнаменованием,— сказала Ясуко, но, глядя, с каким невозмутимым видом Синго читает телеграмму, она вдруг успокоилась.

— Хм, приехала в деревню?

Во всяком случае, жива-здорова — первое, о чем подумал Синго.

— Интересно, почему ей было не приехать к нам?

— Может быть, она подумала, что если приедет сюда, это сразу же станет известно Аихара?

— А сам Аихара говорил тебе что-нибудь?

— Нет.

— Наверно, у них действительно полный разлад. Жена забирает детей и уходит из дому...

— Может быть, и самой Фусако не захотелось, как в прошлый раз, возвращаться к родителям. Да и Аихара тоже не очень-то ловко показываться в нашем доме.

— Все равно, не нравится мне это.

— Я просто поражена — как она смогла добраться до деревни.

— Лучше бы сюда приехала.

— «Лучше бы» — у тебя это звучит так безразлично. Мы сами виноваты в том, что Фусако не решилась вернуться домой и что она несчастна. Все это время я с грустью думала: неужели между родителями и дочерью возможны такие отношения?

Синго нахмурился и, выставив вперед подбородок, стал развязывать галстук.

— Ладно, потом. Где мое кимоно?

Кикуко принесла домашнюю одежду Синго. Взяв его костюм, она молча вышла.

Все это время Ясуко стояла потупившись, но когда Кикуко ушла, пробормотала:

— Не исключено, что Кикуко тоже уйдет из дому.

— Неужели родители до такой степени ответственны за семейную жизнь своих детей?

— Тебе не понять душевного состояния женщины... Женщина страдает совсем не от того, от чего страдает мужчина.

— Значит, по-твоему, любая женщина может легко понять душевное состояние другой?

— Сегодня Сюити снова не пришел вовремя. Почему он не может возвращаться вместе с тобой? Всегда ты приходишь без него. И Кикуко убирает только твой костюм.

Синго промолчал.

— Ты не хочешь посоветоваться с Сюити насчет Фусако? — сказала Ясуко.

— Нужно, наверно, просто послать Сюити в деревню. Пусть привезет ее сюда.

— Фусако может не понравиться, что приехал Сюити. Ведь Сюити всегда издевается над ней.

— Теперь не время об этом думать. В субботу пошлем Сюити.

— Опозорила нас на всю деревню. Сами мы ни разу туда не ездили, будто ни деревни, ни родных у нас нет, а Фусако, хотя там ей совсем не на кого рассчитывать, потащилась в деревню.

— Кому она там нужна?

— Придется ей жить в нашем пустом доме. Тетка вряд ли сможет ее приютить.

Тетке Ясуко было уже за восемьдесят. С двоюродным братом, нынешним главой семьи, Ясуко тоже не поддерживала отношений. А Синго даже не мог вспомнить, сколько человек в семье Ясуко, оставшейся в деревне.

Синго было не по себе оттого, что Фусако убежала в деревню и теперь живет в доме, который привиделся Ясуко во сне совсем развалившимся.

3

Утром в субботу Сюити вышел из дому и вместе с Синго зашел в фирму. До отхода поезда еще оставалось время.

Сюити вошел в кабинет отца.

— Зонтик я оставлю у тебя,— сказал он секретарше отца Хидэко.

Хидэко, чуть склонив голову набок, прищурилась:

— Едете в командировку?

— Да.

Сюити поставил чемодан и сел на стул напротив Синго.

Хидэко следила глазами за Сюити.

— Не простудитесь — как будто должно похолодать.

— Угу, ладно.— Сюити обратился к Синго, глядя на Хидэко: — Сегодня я обещал пойти с ней на танцы.

— Вот как?

— Пойди с ней ты, отец.

Хидэко покраснела.

Синго растерянно молчал.

Когда Сюити встал, чтобы уйти, Хидэко взяла чемодан, собираясь проводить его.

— Не надо. Зачем?

Сюити отнял у нее чемодан и скрылся за дверью.

Хидэко, словно ее бросили, остановилась у двери, смущенно развела руками, а потом уныло вернулась на свое место.

Действительно ли ей было неловко или она только притворялась? Синго не хотел в это вдаваться, но легкомысленный вид, который она напустила на себя, вселил в него беззаботность.

— Обещал тебе обязательно пойти — и вот... Жаль.

— В наше время обещания вещь ненадежная.

— Я могу взять на себя обязанности его заместителя.

— Хм.

— Что, не гожусь?

— Почему же?

Хидэко удивленно вскинула на него глаза.

— Женщина, с которой встречается Сюити, тоже должна прийти на танцы, да?

— Нет.

О любовнице Сюити Синго знал от Хидэко только, что у нее хриплый чувственный голос. И ему не хотелось узнать о ней еще что-нибудь в этом роде.

Даже его, Синго, секретарша встречалась с этой женщиной, а семья Сюити с ней незнакома — на свете всегда так, но принять это как должное Синго не мог.

Он не мог примириться с этим, в особенности сейчас, когда перед ним была Хидэко.

На вид Хидэко миниатюрная, легкая, а стоит перед Синго неприступно, словно тяжелым занавесом скрывая жизнь человека. И ведь не узнаешь, о чем она думает.

— Ты встречалась с этой женщиной, когда он водил тебя на танцы? — сказал Синго, сделав вид, что ему это в общем-то безразлично.

— Да.

— И часто?

— Нет, нет.

— Сюити вас познакомил?

— Да нет, не то чтобы познакомил...

— Ничего не понимаю. Он для того и взял тебя с собой, чтобы ты встретилась с этой женщиной? Зачем? Чтобы ревность в ней возбудить, что ли?

— Я не собираюсь им мешать,— сказала Хидэко, покачав головой.

Синго понял, что Хидэко действительно по-дружески относится к Сюити, но все-таки немного ревнует.

— Лучше бы уж помешала.

— Вам бы этого хотелось?

Хидэко, опустив голову, засмеялась.

— Она тоже приходит не одна.

— Что? Эта женщина приходит с мужчиной?

— Зачем же с мужчиной? С другой женщиной.

— Вот оно что? В таком случае я спокоен.

— Дело в том,— Хидэко выразительно посмотрела на Синго,— что они и живут вместе.

— Живут вместе? Две женщины вместе снимают одну комнату?

— Нет. Снимают домик, хоть и совсем маленький.

— Что ты говоришь? Ты к ним ходила?

— Да.

Хидэко замялась.

Синго снова удивился. И несколько поспешно сказал:

— Где этот дом?

Хидэко вспыхнула.

— Не знаю, как мне поступить,— прошептала она.

Синго молчал.

— В Хонго, недалеко от университета.

— А-а.

Хидэко, чтобы отвязаться от него, продолжала:

— Узенькая улочка, там всегда полумрак, но домик симпатичный. Вторая по-настоящему красивая, мне она больше нравится.

— Вторая — это подруга женщины, с которой встречается Сюити?

— Да. Она такая приятная.

— Странно. И что же делают эти две женщины? Они обе одинокие?

— Да. Хотя точно не знаю.

— Две женщины живут вместе — странно.

Хидэко кивнула.

— Такой приятной женщины я еще в жизни не видела. Я готова хоть каждый день с ней встречаться,— сказала она чуть кокетливо. Хидэко говорила так, словно приятность той женщины освобождала ее от какой-то скованности.

Синго не переставал удивляться.

Ему даже стало казаться, что Хидэко хвалит эту женщину, чтобы косвенно очернить любовницу Сюити, но до конца понять истинные намерения Хидэко ему не удавалось.

Хидэко посмотрела в окно.

— Как будто выглядывает солнце.

— Да, похоже. Открой окно.

— Когда Сюити-сан оставил зонтик, я подумала, как он обойдется без него. Хорошо, что погода разгулялась, как раз когда он поехал в командировку.

Хидэко думает, что Сюити уехал в командировку от фирмы.

Она подняла оконную раму и замерла, не опуская рук. Подол платья с одной стороны приподнялся. Казалось, она задумалась. Потом, опустив голову, отошла от окна.

Вошел посыльный и принес несколько писем.

Хидэко взяла их у него и положила на стол Синго.

— Опять панихида. Надоело. Кто на этот раз? Торияма? — бормотал Синго, просматривая почту.— Сегодня в два часа. Все-таки его женушка добилась своего.

Хидэко привыкла, что Синго разговаривает сам с собой, и лишь украдкой наблюдала за ним.

Синго сидел с отсутствующим видом, приоткрыв рот.

— Сегодня не удастся пойти на танцы. Панихида,— сказал он.—

Жена этого человека, когда у нее начался климакс, стала со света его сживать. Даже кормить перестала. Действительно перестала кормить. Только утром ему удавалось что-нибудь перехватить, да и то еда эта предназначалась не ему. Украдкой от жены он ел то, что она готовила детям. Вечерами, боясь жены, он допоздна не возвращался домой. Слонялся по городу, смотрел кино, бывал даже в кабаре и приходил домой, лишь когда жена и дети уже угомонятся и заснут. Дети тоже помогали своей мамаше — попросту издевались над отцом.

— Как же все это случилось?

— Без всякой причины. Всему виной климакс. Страшная штука этот климакс.

Хидэко, казалось, решила, что Синго смеется над ней.

— Может быть, виноват был сам муж?

— Когда-то он был образцовым чиновником. Потом перешел в частную фирму. Во всяком случае, панихиду служат вполне пристойно, в храме. В бытность чиновником он тоже вел себя скромно.

— И семью свою прилично содержал, наверно?

— Естественно.

— Ничего не понимаю.

— Да. Таким, как ты, не понять. Но есть сколько угодно уважаемых людей лет пятидесяти — шестидесяти, которые до смерти боятся своих жен и, стараясь меньше времени проводить дома, бродят по улицам до поздней ночи.

Синго попытался вспомнить лицо Торияма, но ему это не удалось. Ведь лет десять уже не виделись.

Интересно, Торияма умер у себя дома?

4

Придя на панихиду, Синго зажег ароматическую палочку и остановился у ворот храма в надежде встретить кого-нибудь из своих однокурсников, но никого не было видно.

Не появлялся никто в возрасте Синго.

Видимо, он опоздал.

Заглянув внутрь храма, Синго увидел, что люди, стоявшие у входа, сломали стройный ряд и пришли в движение.

Члены семьи умершего находились в глубине храма.

Жена покойного, по всей вероятности, еще жива, подумал Синго, и точно: у гроба стоит худая женщина — видимо, это она.

Волосы крашеные, но, кажется, уже давно не была в парикмахерской — у корней они совсем белые.

Поклонившись этой пожилой женщине, Синго подумал: Торияма, наверно, очень долго болел и, ухаживая за ним, она не успевала покраситься. Но, выпрямившись после поклона и зажигая у гроба еще одну ароматическую палочку, он прошептал про себя: «Кто может знать?»

Поднявшись по лестнице и войдя внутрь храма, Синго, низко кланяясь членам семьи покойного, совсем забыл, что жена Тория-ма жестоко обращалась с мужем. Но сейчас, склонившись в поклоне у гроба, он вспомнил об этом. Синго был потрясен.

Он вышел из храма, чтобы не видеть вдову.

Потрясла Синго его поразительная забывчивость, а совсем не Торияма и его жена, и обратно к воротам храма по вымощенной камнем дорожке он шел в отвратительном настроении.

Все будет забыто, все пойдет прахом, стучало в висках Синго.

Мало осталось людей, которые знают, какие были отношения у То-

рияма с женой. И даже если они и проживут еще немного, ничего не изменится — все уже ушло в прошлое. И придется полагаться лишь на воспоминания жены. Не останется никого, кто бы мог честно и непредвзято оглянуться на прошлое.

Когда собирались однокурсники Синго и заходила речь о Тория-ма, никто из них не вспоминал о нем всерьез. Все только смеялись. И тот, кто рассказывал, стремился к одному — изобразить Тория-ма покомичнее.

Из тех, кто обычно собирался, двое умерли раньше, чем Тория-ма. Синго вдруг пришло в голову, что ни сам Тория-ма, ни его жена просто не в состоянии были понять, почему она издевается над ним и почему Тория-ма позволяет издеваться.

Тория-ма так и сошел в могилу, ничего не поняв. А для жены, оставшейся в живых, все это превратилось в прошлое, в прошлое, в котором уже нет Тория-ма. Жена его тоже умрет, так ничего и не поняв.

В доме человека, который рассказывал о Тория-ма, когда собрались однокурсники, было пять-шесть старых масок Но. Однажды к нему зашел Тория-ма, и он показал их ему. Тория-ма засиделся тогда допоздна и, рассматривая маски, никак не уходил. По словам этого человека, Тория-ма не уходил не потому, что так заинтересовался масками, которых он прежде никогда не видел, а просто ему нужно было убить время, пока не уснет жена, чтобы можно было спокойно вернуться домой.

Интересно, подумал Синго, какие мысли обуревали главу семьи, которому перевалило за пятьдесят, когда ему приходилось каждый день допоздна бродить по городу.

Висевшая над гробом фотография Тория-ма была сделана на Новый год или в какой-то другой праздничный день — на ней был изображен умиротворенный круглолицый человек в парадной одежде. Ретушь фотографа не оставила на его лице и тени мрачности.

Этот благообразно-умиротворенный Тория-ма такой молодой — не чета стоявшей у гроба жене. Казалось даже — жена так состарилась оттого, что всю жизнь Тория-ма издевался над ней.

Жена Тория-ма невысокого роста, и поэтому Синго видел ее белые у корней волосы даже на макушке; плечи у нее были покатые, и чувствовалось, что она очень худа.

Сын и дочь, не оставляя мать, стояли рядом с ней, но Синго они были плохо видны.

— Как у тебя дома?

Синго стоял у ворот храма, готовясь задать этот вопрос, если встретит кого-нибудь из своих старых приятелей.

А если и его об этом спросят, он ответит:

— Пока все как будто в порядке, но, к сожалению, и в семье дочери, и в семье сына не совсем благополучно.

Это если ему уж очень захочется с кем-нибудь поделиться.

Но этого не будет — никакая сила не заставит старых приятелей быть откровенными. Да и вмешиваться в чужие дела они не привыкли. Они дойдут, переговариваясь, до трамвайной остановки и расстанутся.

А как приятен был бы Синго такой разговор:

— Вот и Тория-ма мертв, и теперь, глядя на фотографию, не скажешь, что жена издевалась над ним, правда?

— Сын и дочь Тория-ма прекрасно устроили свою жизнь — в этом, пожалуй, заслуга его жены, ты согласен?

— В наш век за семейную жизнь детей ответственны в первую очередь родители.

Эти слова Синго приготовил, чтобы перебросить ими со своими

старыми приятелями. Эти слова без конца вертелись у него в голове — что послужило для них толчком?

На крыше храмовых ворот галдела стая воробьев.

Они опускались на резко выступавший карниз, потом взлетали на конек крыши, потом снова опускались на карниз.

5

Когда он вернулся из храма в фирму, его ждали два посетителя.

Синго попросил Хидэко достать из шкафчика, стоявшего позади стола, виски и налил немного в чай. Виски помогало восстановить память.

Принимая посетителей, Синго вспомнил почему-то воробьев, которых он видел за домом вчера утром.

Они сидели на пампасовой траве, что росла за домом. Интересно, клюют они там что-нибудь или ловят насекомых? — думал Синго и вдруг, присмотревшись, увидел, что в стайке, которую он считал воробьиной, есть и овсянки.

И увидев, что среди воробьев есть и овсянки, Синго стал присматриваться еще внимательнее.

Несколько птичек беспрерывно перелетали с колоска на колосок, и колоски под их тяжестью пригибались к самой земле. Овсянок всего три. Они приятнее. Овсянки не суетливы, как воробьи. Редко перелетают.

Глянцевые блестящие крылья, яркая грудка овсянок делали их какими-то праздничными. А воробьи рядом с ними казались вывалявшимися в пыли.

Синго нравились овсянки — их свист отличался от чириканья воробьев, отличие проявлялось и в их повадке.

Синго некоторое время смотрел, не возникнет ли ссора между воробьями и овсянками.

Но воробьи, точно сговорившись, вспархивали все вместе, и овсянки тоже собирались отдельной стайкой — и те и другие чувствовали себя независимо, но даже если они и слетались в одну кучу, ничего похожего на ссору не возникало.

Синго пришел в восторг. Это случилось утром, когда он умывался.

Видимо, он вспомнил этот случай из-за воробьев на воротах храма.

Проводив посетителей, Синго прикрыл за ними дверь и, обернувшись к Хидэко, сказал:

— Ты мне не покажешь дом, где живет женщина, с которой встречается Сюити?

Синго решил попросить ее об этом, еще разговаривая с посетителями, но для Хидэко его вопрос был неожиданным.

Всем своим видом Хидэко выражала протест, она побледнела, но сразу же сдалась. И все же сказала холодно, звенящим голосом:

— Что вы собираетесь там сделать?

— Тебе я никаких неприятностей не доставлю.

— Хотите встретиться с ней?

Синго не собирался встречаться сегодня с этой женщиной.

— Разве вы не можете пойти туда вместе с Сюити, когда он вернется? — уже более спокойно сказала Хидэко.

Синго заметил, что Хидэко холодно улыбнулась.

Подавленность не покинула Хидэко и в машине.

У Синго тоже было тяжело на душе оттого, что он унижает Хи-

дэко, топчет ее. Своей просьбой он унизил не только Хидэко, но и самого себя, и своего сына Сюити.

У Синго была надежда покончить с этим делом в отсутствие Сюити. Но он чувствовал, что надежда его так и останется надеждой.

— Если вы хотите поговорить, то, я думаю, лучше поговорить с женщиной, которая живет вместе с ней,— сказала Хидэко.

— С той, которая тебе симпатична?

— Да. Давайте я приглашу ее к нам, в фирму, там и поговорите?

— Ну что ж, пожалуй,— сказал Синго нерешительно.

— Однажды Сюити много выпил и, сильно опьянев, начал буйствовать. Приказал этой женщине — пой, и когда та запела приятным голосом, Кинуко заплакала. А уж если Кинуко заплакала от пения этой женщины, значит, она ей во всем подчинится.

Странная у нее манера рассказывать. Кто же эта Кинуко? Наверно, любовница Сюити.

Синго и в голову не приходило, что Сюити так ведет себя, когда выпьет.

Возле университета они вышли из машины и свернули в узкую улочку.

— Если Сюити узнает, что я сделала, мне лучше из фирмы уйти, он мне этого никогда не простит,— тихо сказала Хидэко.

Синго стало не по себе.

Хидэко остановилась.

— Нужно свернуть у той каменной ограды, оттуда четвертый дом, на нем табличка с именем Икэда. Я не пойду — они знают меня.

— На сегодня хватит — и так я доставил тебе массу хлопот.

— Но почему? Мы ведь уже почти пришли... Разве плохо, если вам удастся восстановить мир в семье?

Хидэко уговаривала его, но чувствовалось, что вся эта история ей неприятна.

Синго обогнул угол дома, обнесенного бетонной оградой — Хидэко назвала ее каменной,— за которой в саду возвышался огромный клен,— четвертым в ряду стоял совсем неприметный маленький старый домик, принадлежащий Икэда. Вход, обращенный к северу, мрачный, стеклянная дверь на втором этаже, выходящая на веранду, закрыта, никаких звуков из дома не доносится.

Синго прошел мимо. Ничто не привлекло его внимания.

Проходя мимо дома, Синго приуныл. Что в жизни его сына скрывает этот дом? Но Синго не считал себя вправе вторгаться в него.

Он вернулся другой дорогой.

На прежнем месте Хидэко не было. Не оказалось ее и на широкой улице, где они вышли из машины.

Вернувшись домой, Синго, стараясь не смотреть в глаза Кикуко, сказал:

— Сюити на минутку заглянул в фирму и сразу же уехал. Хорошо, что погода улучшилась.

Он чувствовал себя совсем разбитым и рано лег спать.

— На сколько дней Сюити взял отпуск? — спросила из столовой Ясуко.

— Знаешь, я его не спросил. Но у него всего и дел-то — привезти сюда Фусако, наверно, дня на два-три,— ответил он, уже лежа в постели.

— Сегодня Кикуко с моей помощью простегала ватное одеяло.

Приезжает Фусако с двумя детьми — сколько забот свалится на Кикуко, думал Синго.

А что, если придется поселить Сюити отдельно? — подумал Син

го, и сразу же в памяти всплыл дом любовницы Сюити, который он видел в Хонго.

Синго вспомнил, как противилась Хидэко. Каждый день она рядом с ним, но он ни разу не видел, чтобы Хидэко так возмущалась.

Может быть, ему никогда не придется увидеть, как возмущается Кикуко. Однажды Ясуко сказала Синго, что Кикуко старается не ревновать, чтобы не огорчить отца.

Синго, разбуженный храпом Ясуко, зажал ей нос.

Ясуко, словно она и не думала еще спать, сказала бодро:

— Как ты думаешь, Фусако снова приедет с тем самым фуросики?

— Наверно.

Они замолчали.

Сон об острове

1

Под полом ощенилась бродячая собака. Ощенилась — так могут сказать лишь посторонние, но ведь собака и для семьи Синго была чужой. Ощенилась под полом, и никто из домашних не знал, когда это случилось.

— Мама, Тэру не приходила ни вчера, ни сегодня, может быть, потому что принесла щенят? — дней семь назад сказала на кухне Кикуко.

— Не знаю, возможно,— равнодушно ответила Ясуко.

Синго, грея ноги у жаровни, заваривал себе зеленый чай. С этой осени у него вошло в привычку пить по утрам зеленый чай, он сам заваривал его.

Кикуко заговорила о Тэру, готовя завтрак, и на этом разговор оборвался.

Когда Кикуко, опустившись на колени, поставила перед Синго миску с супом из соевых бобов, Синго налил ей чаю:

— Может, выпьешь чашечку?

— Выпью, пожалуй.

Такого еще не бывало, и Кикуко уселась поудобнее.

Синго взглянул на нее.

— И на оби [1] и на кимоно у тебя хризантемы. А ведь сезон хризантем уже кончился. В этом году из-за неприятностей с Фусако забыли о твоем дне рождения.

— Почему же, на моем оби — все четыре благородных растения. Так что его можно носить круглый год.

— Что это значит «четыре благородных растения»?

— Орхидея, бамбук, слива, хризантема...— сказала Кикуко звонко.— На чем-нибудь вы их, конечно, видели, отец, и должны знать. И на картинах они бывают и на кимоно.

— Скромный рисунок.

Поставив чашку, Кикуко сказала:

— Очень вкусно было.

— Этот зеленый чай я получил в подарок от семьи покойного, память которого я почтил — как же его звали? — и теперь я снова стал пить зеленый чай. Раньше я его пил всегда. У нас дома другого чая вообще не бывало.

Сюити в то утро ушел в фирму раньше.

Надевая ботинки в прихожей, Синго пытался вспомнить имя по-

[1] Длинный, широкий кусок материи, служащий поясом для кимоно.

койного приятеля, семья которого прислала в подарок зеленый чай. Можно было бы, конечно, спросить у Кикуко, но он промолчал. Этот приятель умер внезапно в гостинице на горячих водах, куда он поехал с молодой женщиной.

— Давно что-то Тэру не приходила,— сказал Синго.

— Да, ни вчера, ни сегодня,— ответила Кикуко.

Обычно, услыхав, что Синго собирается выйти из дому, Тэру подходила к крыльцу и провожала его до ворот.

Совсем недавно, вспомнил Синго, Кикуко гладила на крыльце Тэру по животу.

— Неприятный какой-то, вздутый,— сказала, нахмурившись, Кикуко, пытаясь нащупать щенков.— Сколько их там?

Тэру посмотрела на Кикуко странно побелевшими глазами, потом легла на бок и подставила живот.

Живот Тэру не был настолько вздутый, чтобы вызвать неприязнь, как это сказала Кикуко. В паху кожа, словно став тоньше, порозовела, у сосков на нее налипла грязь.

— Сосков десять?

Услыхав это от Кикуко, Синго тоже стал издали пересчитывать соски собаки. Самые верхние — маленькие, словно бы увядшие.

У Тэру был хозяин, она носила даже ошейник с номером, но, видно, хозяин плохо ее кормил и она постепенно превратилась в бродячую собаку. Раньше Тэру вертелась около кухонь соседей. Но когда Кикуко стала добавлять к остаткам от завтрака и ужина припасенные для нее вкусные кусочки, собака большую часть времени проводила у дома Синго. Часто по ночам в саду слышался лай Тэру, и можно было подумать, что она вообще прижилась у них. Но даже Кикуко не считала ее своей дворовой собакой.

Ну, а щенков она всегда приносила в доме хозяина.

Поэтому, когда Тэру не появлялась в течение нескольких дней, Кикуко и подумала, что, наверно, она ощенилась в доме хозяина.

Синго было даже обидно, что щениться она все-таки возвращается в хозяйский дом.

Но на этот раз Тэру ощенилась под полом в доме Синго. Никто не знал об этом дней десять.

Однажды, когда Синго вернулся вместе с Сюити из фирмы, Кикуко сказала:

— Отец, Тэру ощенилась.

— Что ты говоришь? Где?

— Под полом, под комнатой служанки.

— Хм.

Когда прислуга уехала, ее маленькую комнатушку превратили в чулан и стали складывать в нее разные вещи.

— Тэру, оказывается, забралась под пол, я заглянула туда — похоже, там есть щенки.

— Хм. И сколько же их?

— Темно, как следует не рассмотрела. Они в самом дальнем углу.

— А, ну тогда понятно. Значит, ощенилась в нашем доме?

— Мне мама еще раньше говорила. Тэру все время вертится в сарае, странно себя ведет, роет лапами землю. Это она искала себе место. Подстелить бы ей в сарае соломки, она бы там, наверно, и ощенилась.

— Что мы будем делать, когда щенки подрастут? — сказал Сюити.

Синго тоже радовался, что Тэру принесла щенят в его доме, но ему была неприятна мысль, что придется выбрасывать детенышей приблудной собаки.

— Неужели Тэру оценилась в нашем доме? — сказала Ясуко.

— В том-то и дело.

— Ты говоришь, под полом, под комнатой прислуги, но ведь это единственная комната в доме, где никто не живет,— значит, Тэру выбрала это место сама.

Ясуко, продолжая сидеть у жаровни, исподлобья взглянула на Синго.

Синго тоже сел у жаровни и, отпив чаю, сказал Сюити:

— Помнишь, Танидзаки как-то обещала помочь нам с прислугой, ты с ней больше не говорил?

Когда Синго стал наливать вторую чашку чая, Сюити остановил его:

— Пепельница, отец.

По рассеянности Синго начал наливать чай в пепельницу.

2

— Так мы и состарились, ни разу не взобравшись на Фудзи,— бормотал Синго, сидя в своем кабинете.

Неожиданно всплывшие слова, но в них, казалось ему, был какой-то тайный смысл, и он снова пробормотал их.

Может быть, эти слова всплыли потому, что прошлой ночью он видел сон об острове Мацусима.

Синго никогда в жизни не был на Мацусима и все же видел сон об этом острове — утром это показалось ему удивительным.

До сих пор, подумал Синго, он ни разу не был ни в одном из достопримечательных мест Японии, ни на Мацусима, ни в Ама-но хасидатэ[1]. Однажды не в сезон, зимой, он побывал на острове Миядзима в Амако, да и то сделал там лишь короткую остановку, когда возвращался из командировки на Кюсю.

Утром он помнил лишь обрывки сна, но в памяти ярко запечатлелись цвет сосен на острове и цвет моря. Он отчетливо помнил, что это был остров Мацусима — остров сосен.

На лужайке под соснами Синго обнимал девушку. Они боялись, что их увидят, и прятались. Наверно, они вдвоем отделились от компании. Девушка была еще совсем молоденькая. Почти девочка. Сколько ему лет, он не знал. Судя по тому, что Синго бежал с ней между соснами, он тоже был молод. Во всяком случае, обнимая девушку, он, видимо, не ощущал разницы в возрасте. И вел себя так, как ведут себя молодые. Но ему не казалось, что он вернулся в свою молодость, что все это происходило давно. Оставаясь, как сейчас, шестидесятидвухлетним, он представлял себя юношей лет двадцати. Этим и был загадочен сон.

Компания на моторной лодке плыла далеко в море. В лодке встала во весь рост женщина и помахала им платком. Даже проснувшись, он отчетливо помнит белый платок на фоне синего моря. Синго и девушку оставили одних на маленьком островке, но это их нисколько не беспокоило. Синго думал лишь об одном — он видит лодку в море, а с лодки не видно укрытия, в котором он притаился с девушкой.

Синго проснулся, как раз когда увидел белый платок.

Утром, встав с постели, Синго уже не знал, что за девушка приснилась ему. У нее уже не было ни лица, ни даже общего облика. Не осталось никакого ощущения от прикосновений. Ярко запечатлелись

[1] Называют три достопримечательных места Японии, известных своей красотой: Мацусима, Ама-но хасидатэ и Ицукусима.

лишь цвета пейзажа. Но почему все происходило на Мацусима, почему он видел во сне Мацусима — понять этого он не мог.

Синго ни разу не был на Мацусима, ни разу не плавал на лодке к необитаемому острову.

Синго хотелось поговорить со своими домашними — не от нервного ли истощения ему снился цветной сон,— но так и не решился. Ему было неловко, что во сне он обнимал девушку. А что он видел во сне себя, сегодняшнего, молодым — разве это противоестественно?

Загадочное смещение времени во сне даже позабавило Синго.

Если бы он вдруг понял, кто была та девушка, вся загадочность этого сна мгновенно бы разрушилась, думал Синго, попыхивая сигаретой в своем кабинете, и тут раздался легкий стук и дверь распахнулась.

— Доброе утро,— вошел Судзумото.— Решил заглянуть, вдруг, думаю, пришел уже.

Судзумото снял шляпу. Хидэко подскочила, чтобы взять у него пальто, но он, не раздеваясь, сел на стул. Синго удивленно посмотрел на лысую голову Судзумото. Возле ушей выступили коричневатые старческие пятна, и весь он выглядел каким-то неопрятным.

— Что случилось? Прямо с утра ты ко мне.

Подавив улыбку, Синго стал рассматривать свои руки. Тыльная сторона ладони и запястья временами и у него покрываются коричневатыми пятнами.

— Мидзута, помнишь, тот, что умер в объятьях женщины...

— Да, да, Мидзута,— вспомнил Синго.— Совершенно верно, именно от семьи покойного Мидзута я получил в подарок зеленый чай, и снова у меня вошло в привычку пить его по утрам. Прекрасный чай они мне подарили.

— Зеленый чай — это ладно. Умереть в объятьях молодой женщины — что может быть прекраснее. Я слышал рассказы о такой смерти, но никогда не думал, что это может случиться с нашим Мидзута.

— Хм.

— Даже завидно.

— Ты тоже толстый и лысый — так что у тебя есть все шансы.

— Но зато у меня не такое высокое давление. А Мидзута всегда боялся инсульта и никогда не оставался один, особенно когда уезжал из дому.

Мидзута скоропостижно скончался в гостинице на горячих водах. На похоронах его приятели перешептывались, что он, если выразиться, как Судзумото, умер в объятьях молодой женщины. Мидзута умер оттого, что поехал с женщиной,— почему они предполагают, что он умер именно от этого, думал потом Синго и решил, что рассказ этот малоправдоподобен. Но все-таки тогда ему было любопытно — придет ли она на похороны; одни утверждают, что женщина — самое отвратительное, что есть в жизни, другие, наоборот, утверждают, что если женщина любит мужчину, то и она желанна.

Синго считал, что это одно из проявлений старческого маразма — когда его шестидесятилетние приятели, на том основании, что они когда-то вместе учились в университете, сыплют студенческими словечками. И сейчас называют друг друга по прозвищу или уменьшительными именами, запомнившимися со студенческих лет.

Они знали друг друга с юности, это не только сближало их, но и вызывало взаимную неприязнь — ведь каждый из них прочно укрылся в скорлупе замшелого эгоизма. Сейчас они острят по поводу смерти Мидзута, который недавно сам высмеивал умершего Торияма.

Судзумото и на похоронах с вожделением и завистью говорил о смерти в объятьях женщины, но Синго просто передернуло, стоило

лишь ему представить себе смерть этого человека по такой желанной для Судзумото причине.

— Нет, для пожилого человека такая смерть непристойна,— сказал он.

— Безусловно. Ведь нам уже не снятся женщины,— присмирел Судзумото.

— Тебе случалось взбираться на Фудзи? —сказал Синго.

— На Фудзи? На гору Фудзи?

На лице Судзумото было написано недоумение.

— Нет, не случалось. А почему ты об этом спрашиваешь?

— Мне тоже не случалось. Так мы и состарились, ни разу не взобравшись на Фудзи.

— Что? Здесь какая-то двусмысленность, да?

— Не говори глупостей,— пренебрежительно бросил Синго.

Сидевшая за столом у двери и щелкавшая на счетах Хидэко тихонько прыснула.

— Я убеждаюсь, что людей, которые оканчивают свои дни, так и не взобравшись на Фудзи, не повидав трех достопримечательных мест Японии, не так уж мало. Интересно, сколько процентов японцев взбиралось на Фудзи?

— Думаю, и одного процента не наберется.

Судзимото снова вернулся к своей излюбленной теме.

— А таких счастливчиков, как Мидзута, один на десятки тысяч, да нет, пожалуй, на сотни тысяч.

— Хорошо, предположим, что ему повезло, но каково семье?

— Да, так вот как раз о семье. У меня была жена Мидзута,— сказал Судзумото, переходя на деловой тон.— Она обратилась с просьбой.— С этими словами он стал развязывать фуросики, лежавший на столе.— Это маски. Маски Но. Она попросила меня купить их. Я приехал показать тебе.

— В масках я ничего не понимаю. То же самое, что с тремя достопримечательными местами: знаю, что в Японии они есть, но ни разу там не был.

В фуросики лежали две маски в футлярах. Судзумото вынул их:

— Эту называют маской Дзидо, а эту — Кацусики. Обе — маски детей.

— Это дети?

Синго протянул руку к маске Кацусики, взял ее за шнурки, продетые сквозь дырочки в ушах, и стал внимательно рассматривать.

— На лбу нарисована челка. Формой напоминает плод гинго. Это совсем ребенок еще, не прошедший обряда совершеннолетия. Улыбается во весь рот.

— Хм.

Синго, чтобы лучше рассмотреть маску, отвел ее на всю длину рук.

— Танидзаки-кун, у меня там очки,— сказал он Хидэко.

— Нет, нет, не надо. Лучше так. Маску Но лучше рассматривать, чуть подняв ее вверх на вытянутых руках. Наша старческая дальнозоркость тут даже кстати. К тому же тогда маска смотрит вниз и затемнена.

— На кого-то она очень похожа. Как живая.

Существуют термины «затемнить» маску, то есть наклонить ее вперед, и она сразу же становится грустной, и «осветить» маску — наклонить ее назад, и она кажется веселой, объяснял Судзумото. Повороты вправо и влево называют «принимать» и «отвергать».

— На кого-то она все-таки похожа,— снова сказал Синго.

— На мальчика она, пожалуй, не похожа, скорее — на юношу.

— В старые времена дети рано взрослели. К тому же это лицо сказочного персонажа. Для театра Но эта маска чудо. Присмотрись как следует — ребенок. Дзидо — это, кажется, добрый дух. Его всегда изображали вечным ребенком.

Синго стал поворачивать маску Дзидо, как только что учил Судзумото.

У Дзидо волосы впереди коротко острижены, как у Каппы [1].

— Ну так как? Входи со мной в компанию,— сказал Судзумото. Синго положил маску на стол.

— Она обратилась к тебе, ты и покупай.

— Я и купил. Дело в том, что жена Мидзута принесла пять масок. Я взял две женские. Одну уговорил купить Умино. Предлагаю и тебе купить.

— Значит, мне — остатки. Себе выбрал женские маски — хитрец.

— А женские, по-твоему, лучше?

— Конечно, лучше. Но их уже нет.

— Хорошо, я их тебе принесу. Если ты их купишь — пожалуйста. Мидзута постигла такая смерть, и когда я увидел лицо его жены, мне стало так жаль ее, что я не мог отказать. Но эти маски сделаны искуснее, чем женские. Разве плох этот вечный ребенок?

— Мидзута умер, а еще до него умер Торияма, который много лет видел эти маски в доме Мидзута. Нет, мне это будет неприятно.

— Но, может быть, маска Дзидо все же хороша? Как-никак вечный ребенок.

— Ты был на панихиде по Торияма?

— Нет, послал извинения, что не смогу быть.

Судзумото поднялся.

— В общем, я оставляю их тебе, посмотри на досуге. Если не понравятся, можешь предложить еще кому-нибудь.

— Понравятся или не понравятся — не имеет значения, я не хочу связываться с этими масками. Они, кажется, действительно великолепные, но лишить их театр Но и держать мертвым грузом — значит просто убить их. Ты не согласен?

— Пусть это тебя не беспокоит.

— Сколько они стоят? Дорого, наверно? — сказал Синго.

— Да, чтобы не забыть, я попросил жену Мидзута написать цену. Вот она на этих бумажках. Маски примерно столько и стоят, но она, видимо, уступит.

Синго надел очки, взял в руки тесемку, к которой была привязана бумажка, и в тот миг, когда все предметы перед его глазами приобрели четкие контуры, он чуть не вскрикнул, увидев, как прекрасны черты лица и особенно губы Дзидо.

Когда Судзумото вышел, к столу Синго подошла Хидэко.

— Красиво, правда?

Хидэко молча кивнула.

— Не хочешь надеть ее?

— Что вы, я в ней буду выглядеть странно. Если бы на мне было кимоно,— сказала Хидэко, но Синго подошел к ней с маской, и она сама надела ее на себя и завязала тесемки на затылке.

— Теперь, пожалуйста, медленно поворачивай голову.

— Хорошо.

Хидэко, стоя на месте, стала поворачивать голову то в одну, то в другую сторону.

— Прекрасно, прекрасно,— сказал неожиданно для себя Синго. Этих движений было достаточно, чтобы маска ожила.

---

[1] Сказочное существо, живущее в реках. То же, что водяной.

На Хидэко было вишневое платье, пышные волосы выбивались с обеих сторон маски, она выглядела очень привлекательно.

— Хватит или еще?

— Хватит.

Синго послал Хидэко купить справочник по маскам Но.

3

На обеих масках — и Кацусики и Дзидо — были имена мастеров. Сверившись со справочником, Синго установил, что это, правда, не старые мастера эпохи Муромати [1], но все же довольно известные художники более позднего времени. Во всяком случае, Синго, который впервые держал в руках маски Но, заключил, что перед ним, вероятней всего, не подделка.

— Ой, какие неприятные. Кто это? — Ясуко, надев очки, стала рассматривать маски.

Кикуко тихонько засмеялась.

— Мама, вы нарочно надели очки отца?

— Неважно. Стариковские очки — они любому подойдут,— ответил за нее Синго.

— У кого ни брала, всегда годятся.

На Ясуко были очки, которые подал ей Синго, вынув их из кармана.

— Муж всегда проворней. А у нас дома тем более — бабка-то постарше.

Синго был в прекрасном расположении духа. Не переодевшись, он сел у жаровни и стал греть ноги.

— Что плохо, когда глаза старые,— еду не видишь, которую подают. Особенно если что-нибудь мелкое — никак не разберешь, что это такое. Когда у меня начали портиться глаза, рис в миске превратился в сплошную массу — крупинки перестал различать. И сразу же рис потерял для меня всякий вкус,— говорил Синго, внимательно рассматривая маски Но.

Наконец он заметил, что Кикуко, положив перед собой его домашнее кимоно, ждет, чтобы он переоделся. Заметил также, что Сюити еще не вернулся домой.

Неотрывно глядя на лежавшую около жаровни маску, Синго встал и начал переодеваться.

Но делал он это еще и оттого, что боялся встретиться взглядом с Кикуко.

Кикуко убирала его одежду, даже не пытаясь подойти ближе и посмотреть маски,— наверно, расстроена оттого, что Сюити опять не пришел вовремя, с горечью думал Синго.

— Какие неприятные, словно человеческое лицо,— сказала Ясуко.

Синго вернулся к жаровне.

— Какая, по-твоему, лучше?

— Пожалуй, эта,— не задумываясь ответила Ясуко, дотронувшись рукой до Кацусики.— Прямо как живая.

— Хм. Думаешь, эта?

Синго считал, что решение ее слишком поспешно.

— Они относятся к одному времени, но мастера разные. Эпоха Тоётоми Хидэёси [2].— С этими словами Синго взял маску Дзидо за самый верх.

[1] 1336—1573 годы.

[2] Тоётоми Хидэёси — правитель Японии с 1585 по 1598 год.

Кацусики была мужской маской, и брови были мужские, а маска Дзидо скорее бесполой — глаза широко расставлены, а узкие серповидные брови почти девичьи.

Синго наклонился над маской — гладкая, точно девичья кожа,— ему показалось, что это действительно кожа, и в его старых глазах она вдруг приобрела мягкость, человеческую теплоту — маска улыбнулась, как живая.

— О-о,— у Синго даже дыхание перехватило. Он еще ниже склонился к маске — улыбалась живая женщина. Улыбка очаровательная, радостная.

Глаза и рот в самом деле живые. В пустых глазницах даже виделись черные зрачки. Пунцовые губы казались податливо-влажными. Затаив дыхание, Синго коснулся носа — снизу всплыли иссиня-черные зрачки, нижняя губа потянулась к нему. Синго чуть было не поцеловал маску. Потом глубоко вздохнул и отстранился от нее.

Отстранился, и все случившееся показалось ему неправдоподобным. Он прерывисто дышал.

Синго нахмурился и убрал маску Дзидо обратно в футляр. Футляр из красного дерева. Футляр от Кацусики он протянул Ясуко.

— Положи в него маску.

Ярко-красная краска — такого цвета была губная помада в старые времена — не только обрисовывала губы, но и проникала внутрь, и Синго казалось, что нижнюю губу Дзидо он видит всю насквозь, даже самые скрытые ее части. Рот был слегка приоткрыт, и губы казались красным цветком на снегу.

В маске Но есть что-то порочное, заставляющее человека снова и снова смотреть на нее, даже прикасаться к ней. Может быть, потому, что он смотрит на нее как на воплощение чистоты. Со сцены театра Но, на значительном расстоянии маска всегда видится живой. Это естественно, но и сейчас, вблизи, она тоже как живая — Синго это казалось тайной всякой порочности.

Все это из-за того, что и сам Синго испытывал к ней порочную любовь. И чаровала она его сильнее, чем живая женщина, наверно, просто потому, что у него больные старческие глаза, подумал он, улыбаясь.

Но ведь во сне он обнимал девушку. И Хидэко, когда она надевала маску, показалась ему удивительно привлекательной, да и сейчас он чуть было не поцеловал Дзидо — что станет с его семьей, если цепь этих сомнительных поступков будет продолжаться, думал Синго.

С тех пор как Синго стал страдать старческой дальнозоркостью, он не приближался к молодым женщинам. Не потому ли, что глаза старика все видят в более мягком, тусклом свете?

— Эти маски принадлежали Мидзута, помнишь, который умер на горячих водах, мы еще от его семьи получили в подарок зеленый чай,— сказал Синго, обращаясь к Ясуко.

— Какие неприятные,— повторила Ясуко.

Синго стал пить чай, подлив в него виски.

Кикуко в кухне нарезала лук, чтобы приготовить окуня с соевым творогом и овощами.

4

Утром двадцать девятого, за несколько дней до Нового года, Синго, умываясь, увидел, как Тэру выносит своих щенят на солнце. Она и раньше вытаскивала их из-под пола, но Синго не знал точно, сколько щенков — четыре или пять. Как только из-под пола появлялся щенок, Кикуко проворно хватала его и несла в дом. Стоило ей прижать щенка

к себе, тот сразу же успокаивался, но остальные, увидев человека, снова забивались под пол, так что все вместе в саду они еще ни разу не появлялись, поэтому Кикуко то уверяла, что их четыре, то уверяла, что пять.

Теперь на солнышке грелось действительно пять щенят.

Это было в том самом месте у подножия горы, где Синго как-то наблюдал воробьев и овсянок. Туда свозили землю, когда копали щели, чтобы укрываться от бомб,— во время войны на этой насыпи даже выращивали овощи. А теперь на ней лежали, греясь на солнышке, щенки.

Пампасовая трава, колосья которой начисто выклевали овсянки и воробьи, торчала у подножия горы сухими стеблями, и только на насыпи она была по-прежнему сочной. Насыпь была покрыта мягкой травой, и Синго с удивлением отметил, что у Тэру хватило ума выбрать именно это место для своих щенят.

Задолго до того, как встанут люди, а встав, начнут возиться с завтраком, Тэру вытаскивает щенят на хорошее место и кормит их, греясь на солнышке. И они успевают вдоволь насладиться минутами, когда их не побеспокоит никто из людей. Так подумал сначала Синго, умиляясь этой идиллической сценкой.

Было уже двадцать девятое декабря, а солнце в Камакура грело так, как будто осень еще в самом разгаре.

Но, присмотревшись, он увидел, что никакой идиллии нет — пять щенков, отталкивая друг друга, борются за соски и изо всех сил давят на них передними лапками, выкачивая молоко, как насосом. Он увидел, что щенки обладают огромной жизнеспособностью. Может быть, потому, что они подросли настолько, что могли уже сами взбираться на насыпь. Тэру время от времени стряхивала их с сосков и поджимала живот, чтобы они не могли добраться до сосков, которые уже расцарапали до крови своими острыми коготками.

Наконец Тэру поднялась и решительно стряхнула щенят, присосавшихся к ней. И сбежала с насыпи. Черный щенок, вцепившийся в мать крепче других, кубарем покатился вниз.

Он упал чуть ли не с метровой высоты, и Синго испугался за него. Но щенок как ни в чем не бывало вскочил на ноги и стал бегать, нюхая землю.

Вот это да, подумал Синго. Ему казалось, что он впервые видит такую картину и в то же время — что когда-то он уже видел это. Синго задумался.

— Ну, конечно, на картине Сотацу,— прошептал он.— Хм. Молодец.

Синго как-то видел репродукцию картины Сотацу «Щенок» и сначала подумал, что нарисована игрушечная собачка, просто украшение,— и теперь он был поражен, поняв, что щенок на картине совсем настоящий, чуть ли не живой. И стоит только придать этому черному щенку больше грации, изящества — сразу же появится та самая картина.

Думая об этом, Синго вспомнил, что маска Кацусики удивительно живая, напоминает кого-то.

Мастер, сделавший маску Кацусики, и художник Сотацу жили в одном веке.

Говоря попросту, Сотацу нарисовал щенка дворняги.

— Идите сюда, смотрите. Все щенки уже здесь.

Четыре щенка, ковыляя и переваливаясь, сошли с насыпи.

Синго предчувствовал, что ни черный щенок, ни остальные уже не повторят сценки, изображенной на картине Сотацу.

Он подумал, не откровение ли это, что щенок превратился в кар-

тину Сотацу, а маска Дзидо — в современную женщину, или, наоборот, одно противостоит другому?

Синго повесил маску Кацусики на стену, а маску Дзидо потихоньку спрятал в шкаф, в самую глубину.

Ясуко и Кикуко, которых позвал Синго, подошли к умывальнику посмотреть на щенков.

— Что ж это вы, мылись и не обратили на них внимания? — сказал Синго, и Кикуко, слегка обняв Ясуко за плечи, сказала:

— У женщин по утрам голова идет кругом от забот, правда, мама?

— Конечно. А где Тэру? — сказала Ясуко.— Куда-то убежала, а детеныши ее бродят, бедные, словно заблудились или их подкинули.

— Ужасно, когда приходится их выбрасывать,— сказал Синго.

— Двух мы наверняка пристроим,— сказала Кикуко.

— Что ты говоришь? Неужели кто-нибудь хочет их взять?

— Да. Один — это хозяин Тэру. Сказал, что возьмет кобелька.

— Вот как? Тэру отбилась от дома, и теперь он решил вместо нее взять ее щенка?

— Видимо.

— А что касается Тэру, мама, то она пошла, наверно, поесть,— ответила Кикуко на вопрос, который Ясуко задала раньше, и пояснила Синго: — Тэру умная — все прямо удивляются ее сообразительности. Она точно знает время, когда в каком доме на нашей улице едят, и приходит без опоздания.

— Что ты говоришь? Ловко устроилась.

Синго был немного разочарован. Неужели, когда он завтракает или ужинает, полагая, что Тэру дома, она ходит по соседям, подгадав время, когда те едят?

— Точнее говоря, приходит не к самой еде, а сразу же после нее, когда уже есть объедки,— добавила Кикуко.— Недавно, когда Тэру у нас в доме принесла щенят, я сказала об этом соседкам, и они потом всё расспрашивали меня, как Тэру. А соседские дети пришли и просят: покажите щенков Тэру. Это когда вас не было дома, отец.

— Вот это известность.

— Да, необыкновенная. Одна женщина рассказала мне интересную вещь. Если Тэру пришла в ваш дом и родила здесь, сказала она, значит, у вас должен еще кто-то родить. Тэру решила так надоумить молодую хозяйку. Разве это не радостное событие? — сказала Ясуко, и Кикуко покраснела и убрала руку с ее плеча.

— Ой, мама.

— Так соседка сказала.

— Разве можно сравнивать собаку с человеком? — сказал Синго. Эти слова тоже не были так уж кстати.

Однако Кикуко подняла голову, до этого опущенную.

— Особенно заботится о Тэру дед Амамия-сана. Может, дадите мне щенка, говорит. По-моему, он человек надежный. Он так душевно говорил со мной, что мне стало даже неудобно.

— Вот как? Ну что ж, пусть, пожалуй, возьмет,— ответил Синго.— Ладно, пошли домой.

Амамия был соседом хозяина Тэру, но, потеряв работу, продал дом и переехал в Токио. Вместе с ним жили муж с женой, старики, помогавшие по дому. В Токио у Амамия дом был слишком мал, и он не мог взять их с собой, так что они остались в Камакура и сняли себе жилье. Этого старика, всю жизнь прожившего в доме Амамия, все звали дедом Амамия.

Тэру была дружна с дедом Амамия больше, чем со всеми. Даже

когда они сняли комнату и переехали в другое место, старик приходил, только чтобы проведать Тэру.

— Надо поскорее сказать деду, что мы дадим ему щенка. Обрадовать его.— С этими словами Кикуко вышла из дому.

Синго не посмотрел ей вслед. Наблюдая за черным щенком, он вдруг увидел, что упал большой репейник, который рос у окна. Цветы с него осыпались, стебель сломался у самого корня, но был еще зеленый.

— Крепкое растение репейник,— сказал Синго.

Вишня зимой

1

В ночь под Новый год пошел дождь и лил весь следующий день.

Новый год, и можно было встать попозже, но Сатоко, дочка Фусако, с раннего утра начала бегать по веранде, и Синго проснулся.

Кикуко уже поднялась.

— Сатоко-тян, иди сюда. Давай вместе жарить рисовые лепешки с овощами, приготовим с тобой настоящий праздничный завтрак. Сатоко-тян будет мне помогать, ладно?— Кикуко зазывала Сатоко в кухню, наверно, для того, чтобы та не бегала по веранде, примыкавшей к спальне Синго, но девочка, словно ничего не слыша, продолжала топать.

— Сатоко, Сатоко,— позвала Фусако, которая еще лежала в постели. Сатоко не ответила и матери.

Проснулась Ясуко и сказала Синго:

— Дождливый Новый год.

— Угу.

— Из-за того что поднялась Сатоко, а Фусако еще лежит в постели, встать вынуждена была Кикуко.

Ясуко произнесла длинное «вынуждена была», и язык у нее немного заплетался. Синго показалось это странным.

— Меня уже давно в новогоднее утро не будили дети,— сказала Ясуко.

— Теперь это будет ежедневно.

— Вряд ли. В доме Аихара нет веранды, и сейчас Сатоко бегает там, потому что ей это в новинку. Скоро привыкнет и перестанет, я думаю.

— Не знаю. Дети ее возраста очень любят бегать по веранде. Доски скрипят с таким присвистом.

— Это потому, что ножки еще слабые,— сказала Ясуко, прислушиваясь к топоту Сатоко.— В этом году ей исполняется уже пять, а ведет она себя, как трехлетняя — прямо бес в нее вселился. Впрочем, мне шестьдесят три, а тебе всего шестьдесят два, но особой разницы между нами нет.

— Кстати сказать, ты ошибаешься. На первый взгляд это может показаться странным. Но дело в том, что я родился в начале года, а ты в конце, и, значит, какое-то время мы с тобой всегда однолетки. С моего дня рождения до твоего мы однолетки.

— Ну да, конечно,— согласилась Ясуко.

— Что ты скажешь? Великое открытие. И в то же время полный крах жизни.

— Ты прав. Но теперь уж ничего не поделаешь — мы действительно однолетки,— прошептала Ясуко.

— Сатоко, Сатоко, Сатоко,— снова позвала Фусако.

Сатоко перестала бегать и вернулась, видимо, в постель к матери.

— Смотри, как ноги замерзли,— послышался голос Фусако.

Синго закрыл глаза.

Через некоторое время Ясуко снова заговорила:

— Пусть хоть побегает, пока мы не встали. Ведь стоит нам появиться — прилипнет к матери, не оторвешь, и будет озираться исподлобья.

Они оба старались пробудить друг в друге любовь к внучке.

Во всяком случае о Ясуко определенно можно было подумать, что она пробуждает в Синго любовь.

Или, может быть, Синго сам пробуждал в себе любовь.

Топот Сатоко на веранде был, разумеется, неприятен невыспавшемуся Синго, раздражал его, но не так уж сильно.

Правда, и теплого чувства топот внучки не вызывал в нем. Вероятно, у него действительно не хватает тепла.

Синго не обратил внимания, что на веранде, где бегала Сатоко, даже ставни еще не открыты и темно. А Ясуко сразу заметила. И ей стало жаль девочку, которая бегала в темноте.

2

Неудачная семейная жизнь Фусако черным пятном легла на Сатоко. Это не могло не вызывать сочувствия Синго, но было еще множество забот, не дававших ему покоя. Да и распавшуюся семью дочери уже ничто не могло спасти.

Синго просто не знал, что делать.

Сила родителей, когда речь идет о жизни их дочери в семье мужа, очевидна, но только когда дело доходит до развода, начинают задумываться, насколько бессильна сама дочь.

Фусако с двумя детьми уйдет от Аихара и вернется к родителям, но это совсем не значит, что все устроилось. Фусако этим не исцелить. И жизнь ее тоже не наладить.

Неужели рухнувшую семейную жизнь женщины исправить уже невозможно?

Когда осенью Фусако ушла от Аихара, она не вернулась в дом родителей, а поехала в деревню, на родину матери. Из телеграммы, которую Фусако прислала оттуда, Синго и его домашние узнали, что она ушла от мужа.

Потом Сюити привез ее к родителям.

Прожив у них около месяца, Фусако уехала, чтобы, как она сказала, окончательно объясниться с Аихара.

Синго, правда, считал, что лучше бы с Аихара поговорить Сюити, но Фусако не послушалась и поехала сама.

Когда Ясуко предложила ей поехать без детей, Фусако набросилась на нее с истерическим криком:

— С детьми вопрос еще не решен. Я пока и сама не знаю, с кем они будут жить — со мной или с Аихара.

Она уехала и долго не возвращалась.

Такие дела касаются прежде всего мужа и жены, поэтому Синго и остальным домашним не оставалось ничего иного, как терпеливо ждать, пребывая в полном неведении,— это были тревожные дни.

От Фусако по-прежнему не было ни звука.

Может, она решила остаться с Аихара?

— Фусако не знает, что ей делать,— сказала Ясуко.

— А может быть, именно мы виноваты в том, что она не знает, что ей делать,— ответил Синго, и оба помрачнели.

И вот под самый Новый год Фусако неожиданно вернулась.

— Ой, что случилось?

Ясуко испуганно смотрела на Фусако и детей.

Фусако пыталась сложить зонтик, но он не слушался ее — дрожали руки и, похоже, несколько спиц было сломано.

Увидев зонтик, Ясуко спросила:

— Разве на улице дождь?

Подошла Кикуко и взяла Сатоко на руки.

Кикуко как раз помогала матери раскладывать по мискам рыбу и овощи, сваренные в соевом соусе.

В кухонную дверь и вошла Фусако.

Синго подумал было, что Фусако приехала, чтобы занять немного денег, но все оказалось иначе.

Ясуко, вытерев руки, тоже пришла в столовую и, не садясь, пристально посмотрела на Фусако.

— Что ж это такое, Аихара-сан отпускает жену под самый Новый год,— сказала она.

Фусако, не отвечая, заплакала.

— Оставь ты ее. Разве ты не видишь, что у них полный разрыв? — сказал Синго.

— Ах, вот как? Все равно, подумать только, выгнать жену под Новый год — где это видано?

— Я сама уехала,— сквозь слезы возразила Фусако.

— Тогда все в порядке. Так и решим — ты вернулась домой, чтобы отпраздновать Новый год со своими родными. Наговорила я тебе неизвестно чего. Прости меня. А в новом году спокойно все обсудим.

Ясуко ушла на кухню.

Синго неприятно кольнули слова Ясуко, но в них ему послышалась и материнская любовь.

Не потому ли, подумал Синго, что Ясуко немного стыдно перед ним, она сразу же пожалела и Фусако, когда та поздно вечером под Новый год вернулась домой с черного хода, и Сатоко, когда та на следующее утро бегала по темной веранде?

В новогоднее утро Фусако спала дольше всех.

Вся семья сидела за столом и, слушая, как Фусако полощет горло, дожидалась ее, но туалет Фусако длился бесконечно.

Всем было неловко, и Сюити со словами:

— Выпьем пока по одной,— налил в чашечку Синго сакэ.

— Отец совсем поседел.

— Ничего не поделаешь. В нашем возрасте каждый день прибавляет седых волос; да что там каждый день — прямо на глазах седеешь.

— Что ты говоришь?

— Правда. Посмотри,— с этими словами Синго наклонил голову и подался вперед.

Вместе с Сюити голову Синго стала рассматривать и Ясуко. Кикуко с серьезным видом тоже посмотрела на голову Синго.

Она держала на коленях младшую дочь Фусако.

3

Для Фусако и детей поставили еще одну жаровню, и Кикуко перешла к ним.

Ясуко подошла сбоку к жаровне, у которой, сидя друг против друга, сидели Синго и Сюити.

Обычно Сюити пил дома немного, но из-за дождя в первый новогодний день он, вероятно, превысил свою обычную норму и, наливая одну чашечку за другой только себе, как будто отец не сидел напротив, напился так, что выражение лица у него совершенно изменилось.

Хидэко как-то рассказывала Синго, что Сюити, напиваясь в доме Кинуко, заставляет петь женщину, что живет вместе с ней, а Кинуко плачет, и сейчас, увидев опьяневшего Сюити, он вспомнил об этом.

— Кикуко. Кикуко-сан,— позвала Ясуко.— Принеси сюда тоже несколько мандаринов.

Кикуко вышла и принесла еще мандаринов.

— Дай им. А то они сидят вдвоем и молча пьют,— сказала Ясуко.

— Отец, кажется, не ест их,— сказала Кикуко, скользнув взглядом по Сюити.

— Не ест, и ладно. Я немножко задумался о другом, о жизни отца,— ехидно пробормотал Сюити.

— О моей жизни? Что же ты подумал о моей жизни? — спросил Синго.

— Может быть, я неясно выражаюсь, но вот, к примеру, если человека насильно заставляют принять решение и он его принимает — что это: успех или неудача? — сказал Сюити.

— Не могу понять, к чему ты клонишь,— возразил Синго.— Наступил январь нового года. И теперь опять на нашем столе, как до войны, сушеные анчоусы и омлет с рыбой, и такие же вкусные. Разве нельзя сказать, что в этом смысле — полный успех?

— Сушеные анчоусы и омлет с рыбой?

— Вот именно. Ты ведь это имел в виду. Если, как ты говоришь, немножко задумался о жизни отца.

— Даже если немножко?

— Дожил до Нового года, на столе сушеные анчоусы, вокруг дети — вот она, жизнь обыкновенного человека. Ведь сколько людей за это время умерло.

— Ты совершенно прав.

— Но успехи и неудачи в жизни родителей — это успехи и неудачи в семейной жизни детей, тут у нас полная неудача.

— Ты так считаешь, отец?

Ясуко открыла глаза:

— Перестаньте, пожалуйста. Только наступил Новый год, а вы уже начали. Здесь же Фусако,— тихо сказала она и спросила у Кикуко: — Где Фусако?

— Пошла отдохнуть.

— А Сатоко?

— Сатоко и Кунико тоже.

— Вот так так, мать и дети — все трое — спят? — сказала Ясуко удивленно. Выражение лица у нее стало простодушным. Как это часто бывает у стариков.

Хлопнула калитка, и Кикуко вышла посмотреть. Пришла Хидэко Танидзаки поздравить с Новым годом.

— Вот так так, в такой дождь.

Синго действительно был поражен, но «вот так так» повторил вслед за Ясуко.

— Говорит, что не хочет входить,— сказала Кикуко.

— Да?

Синго поднялся и вышел в прихожую.

Хидэко стояла, держа пальто в руках. Она была в черном бархатном платье. На лице толстый слой пудры. Замершая в низком поклоне, она казалась еще миниатюрнее.

Хидэко произнесла приветствие несколько скованно.

— Такой дождь, а ты все-таки пришла. Сегодня, я уверен, больше никто не придет, да я и сам не собираюсь выходить. Замерзла, наверно, зайди, погрейся немного.

— Хорошо. Спасибо вам.

Синго терялся в догадках: действительно ли Хидэко собиралась о чем-то поговорить или просто она прошлась по дождю и холоду и потому у нее такой вид, будто она хочет пожаловаться на свою судьбу?

И все-таки он почувствовал, что она пришла к ним в такой дождь неспроста.

Хидэко уже совсем готова была войти в комнату.

— Знаешь, я тоже решил выйти. Пойдем вместе, подожди меня. Зайду только к Итакура — я поздравляю его каждый год. Он бывший директор нашей фирмы.

Тревога, владевшая Синго все сегодняшнее утро, с приходом Хидэко усилилась, и он стал поспешно собираться.

Как только Синго вышел в прихожую, Сюити прилег у стола, но когда Синго вернулся и начал переодеваться, снова поднялся.

— Пришла Танидзаки,— сказал Синго.

— А-а.

Сюити, словно это его не касалось, не собирался встречаться с Хидэко.

Когда Синго выходил, Сюити поднял голову и, провожая отца глазами, сказал:

— Смотри вернись засветло.

— Да, я скоро вернусь.

Тэру дошла с ним до ворот.

Неизвестно откуда взявшийся черный щенок, подражая матери, переваливаясь, бежал перед Синго к воротам. Шерсть у него на боках была мокрая.

— Хороший ты мой.

Хидэко наклонилась к щенку.

— Собака принесла у нас в доме пятерых щенят. Четырех мы уже раздали. Остался только этот один,— сказал Синго.— Да и его тоже берут, уже договорились.

Электричка была пустая.

У Синго, когда он смотрел из окна вагона на косые струи дождя, настроение улучшилось — хорошо, что уехал из дому, думал он.

— Каждый год в этот день электричка переполнена — едут в храм Хатимана, а сегодня ни души.

Хидэко кивнула.

— Ты ведь каждый год приходишь поздравить нас,— сказал Синго.

— Да.

Хидэко опустила голову.

— Даже когда вы уйдете из фирмы, я все равно буду приходить, чтобы поздравить вас с Новым годом.

— Выйдешь замуж — перестанешь приходить,— сказал Синго.— Что-нибудь случилось? Мне кажется, ты пришла, чтобы о чем-то поговорить.

— Нет.

— Не стесняйся, говори. Голова у меня, правда, соображает туго — понемногу выживаю из ума.

— Зачем вы так говорите? — сказала Хидэко.— Дело вот в чем — я хочу уйти из фирмы.

Для Синго это не было неожиданностью, но все же он растерялся и не знал, что ответить.

— Вы только не подумайте, что из-за этого я пришла к вам спозаранку в первый день нового года,— сказала Хидэко по-взрослому рассудительно.— Рано или поздно все равно пришлось бы сказать.

— Конечно.

Синго помрачнел.

Он подумал, что Хидэко, которая была его секретаршей в течение трех лет, сразу же превратилась в другую женщину. Совсем в другую, не похожую на себя.

Нельзя сказать, что во время работы Синго так уж присматривался к Хидэко. Она была для него секретаршей и только.

И все же он почувствовал желание удержать Хидэко. Но делать этого не собирался.

— Значит, хочешь уйти из фирмы, и виноват в этом, по-видимому, я. Ведь это я заставил тебя показать дом, где живет женщина, с которой встречается Сюити, хотя ты так этого не хотела, и теперь тебе неприятно работать в одной фирме с Сюити. Я прав?

— Мне действительно было очень неприятно делать это,— откровенно сказала Хидэко.— Но потом я подумала, что вы, как отец, не могли не попросить меня об этом. Ваша просьба вполне естественна. К тому же я прекрасно понимала, что и сама поступаю плохо. Мне бывало так приятно, когда Сюити-сан приглашал меня на танцы, что я с удовольствием соглашалась после танцев идти с ним развлекаться в дом к Кинуко. Вот как низко я пала.

— Низко пала? Это уж чересчур.

— Я действительно поступала очень плохо.— Хидэко грустно сощурила глаза.— Теперь я ухожу из фирмы и в благодарность за все, что вы для меня сделали, попрошу Кинуко расстаться с Сюити.

Синго поразили слова Хидэко. Ему стало не по себе.

— У нас в прихожей ты видела его жену?

— Кикуко? Да. И мне было очень неприятно. Я твердо решила во что бы то ни стало поговорить с Кинуко.

Синго как бы почувствовал, с каким легким сердцем делает это Хидэко, и у него тоже стало легко на душе.

И он подумал, а вдруг действительно с ее помощью все образуется?

— Но я надеюсь, ты собираешься сделать это не потому, что я тебя об этом просил.

— Я решилась на это по своей собственной воле из благодарности к вам.

Синго покоробило — слишком уж выспренные слова произнесла Хидэко этим маленьким детским ротиком.

Ему хотелось даже сказать ей — оставь свое безрассудное вмешательство.

Но, видимо, сама Хидэко была возбуждена своей «решимостью».

— Не понимаю я, мужчин — иметь такую очаровательную жену и... Мне неприятно видеть, как он развлекается с Кинуко. Вот если бы на ее месте была его жена, как бы привязан он к ней ни был, я никогда не стала бы его ревновать,— сказала Хидэко.

— Но с другой стороны, какому мужчине нужна женщина, к которой его не ревнуют?

Синго горько усмехнулся.

— Жену он называет ребенком. Она совсем еще ребенок, говорил он мне часто.

— Тебе? — Голос Синго стал резким.

— Да, и мне и Кинуко-сан... Ребенок, поэтому деду она и нравится, говорил он.

— Глупости.

Синго взглянул на Хидэко.

Хидэко немного смутилась.

— Но в последнее время не говорил. В последнее время он вообще не говорил о жене.

Синго дрожал от злости.

Он предположил, что Сюити рассказывал и о том, какая Кикуко женщина.

Неужели в молодой жене он хотел найти проститутку? Поразительная глупость, подумал Синго, отсутствие нравственности.

Сюити рассказывает о жене Кинуко и даже Хидэко — это отсутствие нравственности лишает его обыкновенного благоразумия, такта.

Синго почувствовал, что может быть жестоким к Сюити. Почувствовал, что может быть жестоким к Кинуко и Хидэко.

Неужели чистота, невинность Кикуко ничего для Сюити не значат?

Перед глазами Синго всплыло такое привлекательное, детски-нежное личико Кикуко, младшей в семье, которую все баловали.

Сам Синго, чувствуя некоторую необычность того, что из-за невестки он временами ненавидит своего сына, не считал нужным сдерживать себя.

Может быть, Синго так возмущался отношением сына к Кикуко потому, что в сокровенных глубинах его собственного естества живет необычность — влюбленный в старшую сестру Ясуко, он после ее смерти женился на самой Ясуко, которая была на год старше его.

Кикуко блуждала в потемках ревности оттого, что Сюити, едва успев жениться на ней, завел другую женщину, и при таком бездушии, при такой жестокости Сюити или, вернее, благодаря им в ней, Кикуко, видимо, проснулась женщина.

Синго подумал, что Хидэко еще меньше женщина, чем Кикуко.

Он умолк — не потому ли, что своей тоской пытался заглушить гнев?

Хидэко, сняв перчатки, стала поправлять волосы.

4

В саду гостиницы в Атами, хотя была середина января, цвела вишня. Такую вишню называют зимней — с конца года она уже начинает покрываться цветами, но Синго казалось, что он попал в весну другого мира.

Цветы розовой сливы Синго принял за цветы персика. Белые цветы сливы виделись ему цветами абрикоса.

Не заходя в свой номер, Синго, привлеченный отражением вишни в пруду, подошел к самой воде и, поднявшись на перекинутый через пруд мостик, стал любоваться цветами.

Потом перешел на противоположный берег посмотреть розовую сливу, похожую на зонтик.

Из-под сливы выскочило несколько белых уток. И в желтых клювах этих уток, и в их мокрых желтых лапках Синго почудилась весна.

Завтра фирма устраивает здесь прием, и Синго приехал, чтобы подготовить его. Договориться об этом с гостиницей — других дел у него не было.

Сев на веранде в кресло, он стал смотреть на цветущий сад.

Белая азалия тоже цвела.

Но с перевала Дзиккоку поползли тяжелые грозовые тучи, и Синго вошел в номер.

На столе лежало двое часов — карманные и ручные. Ручные спешили на две минуты.

Очень редко двое часов ходят минута в минуту. Иногда это раздражает.

— Если тебя это раздражает, носи какие-нибудь одни,— сказала ему Ясуко, но такая уж у него многолетняя привычка.

Перед ужином полил дождь, началась буря.

Электричество отключили, и Синго рано лег спать.

Проснувшись, он услышал лай собаки в саду. Вой ветра напоминал рев бушующего моря.

На лбу выступил пот. В комнате стоял спертый воздух, было жарко и душно, как бывает в весеннюю бурю у моря.

Синго тяжело дышал, он испугался, что снова пойдет горлом кровь. В шестьдесят лет с ним это уже однажды случилось, но с тех пор ни разу не повторялось.

— Это не легкие, меня тошнит из-за желудка,— прошептал Синго.

В ушах застряло что-то противное, потом оно переметнулось к вискам и наконец дошло до лба. Синго стал массировать затылок и лоб.

Рев моря — это вой бури далеко в горах, и, точно разрывая его, нарастал, приближался резкий свист ветра, смешанного с дождем.

Сквозь вой ветра слышался еще один звук, далекий и низкий.

Это грохот поезда, проходившего через туннель Танна. Так определил Синго. И он был прав. Вырвавшись из туннеля, паровоз загудел.

Но когда Синго услышал гудок, его вдруг охватил страх, и он окончательно проснулся.

Гудок был слишком долгий. Чтобы пройти туннель длиной в семь тысяч восемьсот метров, поезду требовалось минут семь-восемь, следовательно, Синго услышал гудок, когда поезд входил в туннель с той стороны. Но мог ли он в гостинице, находившейся в километре от входа в туннель у Атами, слышать гудок с той минуты, когда поезд вошел в туннель с противоположной стороны, у Каннами?

Во всяком случае, этот звук вызывал у Синго удивительно яркий образ мчащегося в туннеле поезда. Он отчетливо представлял себе этот поезд все время, пока тот мчался в туннеле. И когда он вышел из него, Синго облегченно вздохнул.

Но все это показалось Синго странным. И он решил утром расспросить служащих гостиницы, а может быть, даже справиться на железнодорожной станции, позвонив туда по телефону.

Он долго не засыпал.

— Синго-сан. Синго-сан,— услышал он, еще не проснувшись, и никак не мог сообразить, сон это или явь.

Так звала его только покойная сестра Ясуко.

Синго еще в полусне с удовольствием потянулся.

— Синго-сан. Синго-сан. Синго-сан.

Голос раздавался за окном, выходившим в сад.

Синго окончательно проснулся. За окном журчала речушка. Кричали дети.

Синго встал и раздвинул ставни.

Было ясное утро. Зимнее солнце струило теплые лучи, словно омытые весенним дождем.

По дороге, что вилась вдоль речушки, шли, направляясь в школу, дети, человек семь-восемь.

Синго послышалось, что его зовут, а это, наверно, просто кричали дети.

Но все же Синго высунулся из окна и стал внимательно приглядываться к зарослям низкорослого бамбука на берегу речушки.

Утренняя вода

1

Когда в первый день нового года Сюити сказал: отец совсем поседел, Синго ответил: ничего не поделаешь, в нашем возрасте каждый день прибавляются седые волосы; да что там, каждый день прямо на глазах седеешь, и ответил он так потому, что вспомнил о Китамото.

Университетским товарищам Синго сейчас за шестьдесят, и многих из них в годы войны и после поражения постигла горькая участь. Когда в пятьдесят лет, находясь на вершине, летишь вниз — это страшно; упадешь — снова подняться трудно. Кроме того, пятьдесят — возраст, когда уже есть сыновья, которые могут погибнуть на фронте.

Китамото тоже потерял трех сыновей. А когда фирма, где он служил, стала выполнять военные заказы, его специальность оказалась никому не нужна.

— Видимо, он свихнулся, покуда сидел перед зеркалом и выдергивал на голове седые волосы.

Это рассказывал о Китамото старый приятель Синго, как-то зайдя к нему в фирму.

— Ему уже не нужно было ходить на службу, он превратился в совершенно свободного человека и от этого немного свихнулся — стал выдергивать седые волосы. Сначала в семье на это не обращали внимания. Чепуха, мол, нечего беспокоиться... Но Китамото ежедневно усаживался перед зеркалом. На том месте, где он только вчера выдернул волосы, на следующий день снова появлялись седые. Видимо, седых волос у него стало так много, что вырвать все было невозможно. С каждым днем Китамото все дольше просиживал перед зеркалом. Если он бывал кому-нибудь нужен, его всегда можно было найти у зеркала — он выдирал волосы. Не успеет отойти от зеркала, сразу же снова возвращается к нему. И выдирает и выдирает седые волосы.

— Но ведь так можно вообще остаться без волос,— засмеялся Синго.

— В этом нет ничего смешного. В конце концов на голове у него действительно не осталось ни волоска.

Синго расхохотался.

— То, что я тебе рассказываю,— сущая правда.— Приятель и Синго невольно посмотрели друг другу на головы.— Чем больше седых волос Китамото выдергивал, тем быстрее седела его голова. Не успевал он выдернуть седой волосок, как рядом возникало несколько других, до этого совершенно черных. И, выдергивая седые волосы, он видел в зеркале, как его голова белеет все больше и больше. Зрелище неописуемое. И вдобавок волосы заметно редели.

Подавив смех, Синго спросил:

— И жена, ни слова не говоря, позволяла ему выдирать волосы?

Но приятель невозмутимо продолжал:

— Постепенно волос почти совсем не осталось. А те, что уцелели, были седые.

— Больно, наверно, ему было?

— Когда выдирал? Он очень боялся выдернуть черный волосок,

поэтому выдирал аккуратно, каждый волосок отдельно, и, наверно, больно ему не было. Но от постоянного выдирания волос кожа на голове в конце концов воспалилась, и даже простое прикосновение к ней вызывало, видимо, боль — это сказал мне один врач. Кровь, правда, не выступала, но голова вся покраснела, словно ее ошпарили. В конце концов его поместили в психиатрическую лечебницу. Оставшиеся на голове редкие волоски Китамото выдергивал уже в больнице. Жуткая история. Какая-то потрясающая глупость. Страх перед старостью. Стремление вернуть себе молодость. Оттого ли он выдергивал седые волосы, что свихнулся, или свихнулся оттого, что слишком уж увлекся выдиранием седых волос,— кто знает?

— Зато он помолодел, наверно.

— Действительно помолодел. Представь себе, произошло чудо. Через какое-то время его голая голова густо покрылась черными волосами.

— Удивительная история,— засмеялся Синго.

— Это истинная правда, поверь мне,— приятель не смеялся.

— Для сумасшедшего не существует возраста. Мы тоже, если сойдем с ума, то, по всей вероятности, превратимся в юнцов.

Приятель взглянул на голову Синго.

— Нет, я в этом отношении безнадежен, а у тебя еще есть надежда.

Приятель был почти лыс.

— Может, и мне начать выдергивать? — пробормотал Синго.

— Попробуй. Но у тебя не хватит духа выдернуть все до последнего волоска.

— Не хватит, ты прав. Да и седые волосы меня мало волнуют. Мне вряд ли захотелось бы снова стать черным ценой безумия.

— Это потому, что у тебя прочное положение. Ты спокойно плывешь среди людских горестей и страданий.

— Плоское рассуждение. Все равно что посоветовать Китамото покраситься, вместо того чтобы выдергивать седые волосы,— так, мол, проще,— сказал Синго.

— Покраситься — это обман. И если бы мы пошли на обман, с нами никогда не произошло бы такого же чуда, как с Китамото.

— Но ведь Китамото умер. Хотя и произошло чудо, о котором ты рассказывал,— волосы снова стали черными, и он помолодел...

— Ты ходил на похороны?

— Я не знал, что он умер. Услышал об этом уже после войны, когда все снова стало входить в привычную колею. Да и если бы знал, вряд ли поехал бы в Токио — ведь тогда были самые страшные налеты.

— Противоестественное явление — долго продолжаться оно не могло. Выдергивая седые волосы, Китамото, безусловно, пытался противиться ходу времени, противиться угасанию, но срок, отпущенный человеку,— нечто совсем иное. Сделав свои волосы снова черными, продлить жизнь невозможно. Может быть, даже наоборот. Может быть, появление черных волос после седых как раз и приводит к тому, что духовные силы идут на убыль и продолжительность жизни сокращается. Нет, смертельная затея Китамото не для нас,— заключил приятель, покачав головой.

Его лысое темя пересекали зачесанные набок редкие волоски, напоминавшие прутики бамбуковой шторы.

— С кем из наших ни встретишься, все уже седые. Во время войны у меня еще была проседь, а после войны стал белый как лунь,— сказал Синго.

Синго поверил далеко не всему, что услыхал от приятеля. Он воспринял его рассказ как сплетню, да еще и не очень правдоподобную.

Но что Китамото умер, было правдой — он и от других слышал об этом.

Оставшись один после ухода приятеля и вспоминая его рассказ, Синго испытал странное чувство. Если правда, что Китамото умер, то, может быть, правда, что перед смертью у него снова стали расти черные волосы вместо седых. Если правда, что у него снова стали расти черные волосы, то, может быть, правда, что он перед этим сошел с ума. Если правда, что он сошел с ума, то, может быть, правда, что он выдрал из головы все волосы без остатка. Если правда, что он выдрал из головы все волосы без остатка, то, может быть, правда, что пока он смотрел в зеркало, волосы у него на голове седели. Значит, рассказ приятеля — сущая правда. Синго был потрясен.

— Забыл спросить у него. Каким был Китамото, когда умер? Какие были у него волосы — черные или седые?

Сказав это, Синго рассмеялся. Но и говорил он и смеялся про себя. И слышал все он один.

Но даже если рассказ приятеля — сущая правда и в нем нет никаких преувеличений, тон по отношению к Китамото был издевательским. Старик рассказывает об умершем старике лицемерно, жестоко. У Синго остался неприятный осадок от его рассказа.

Среди школьных товарищей Синго необычной смертью умерли двое — Китамото и Мидзута. Мидзута скоропостижно скончался, поехав с молодой женщиной на горячие воды. В конце прошлого года Синго уговорили купить оставшиеся после Мидзута маски Но, а в память о Китамото он взял в фирму Хидэко Танидзаки.

Мидзута умер после войны, и Синго смог пойти на его похороны. О смерти же Китамото, умершего в разгар налетов, он узнал значительно позже, и лишь когда с рекомендательным письмом дочери Китамото в фирму пришла Хидэко Танидзаки, он впервые услыхал, что семья Китамото до сих пор живет в префектуре Гифу, куда она эвакуировалась во время войны.

Хидэко сказала, что она школьная подруга дочери Китамото. Для Синго было большой неожиданностью, что дочь Китамото просит устроить на службу свою школьную подругу. Он этой дочери ни разу не видел. Хидэко сказала, что и она после войны ни разу не встречалась с дочерью Китамото. И Синго подумал, что обе они легкомысленны до предела. Если дочь Китамото посоветовалась с матерью и та вспомнила о Синго, то могла бы сама написать, а не поручать дочери.

Поэтому Синго не чувствовал себя обязанным взять девушку, которую ему рекомендуют на службу.

Когда он увидел Хидэко, она сначала показалась ему малопривлекательной, какой-то легковесной.

И все же Синго взял Хидэко и сделал ее своей секретаршей. Она служила уже три года.

Три года пролетели, как один день, но сколько событий связано с Хидэко, вспоминал потом Синго. За эти три года Хидэко и на танцы ходила с Сюити, и в доме его любовницы стала бывать. Она даже показала Синго дорогу, когда он решил пойти посмотреть дом этой женщины.

Все это наконец стало Хидэко невыносимо, да и сама фирма ей опротивела.

Синго никогда не говорил с Хидэко о Китамото. И она, вероятно, не знала, что отец ее школьной подруги умер, сойдя с ума. Видимо, они с дочерью Китамото не были настолько близки, чтобы ходить друг к другу домой.

Синго считал Хидэко близким человеком, и когда она собралась

уходить, понял, какая она добрая, порядочная девушка. Ее доброту и порядочность он воспринимал как чистоту, поскольку она не замужем.

2

— Отец? Ой, как вы рано.

Кикуко выплеснула из ладоней воду, которую набрала, чтобы умыться, и стала наливать в умывальник воды для Синго.

В умывальник закапала кровь. Она расплылась в воде.

Синго сразу же вспомнил, как у него шла горлом кровь, и подумал, что эта чище, чем была у него,— ему показалось, что у Кикуко тоже пошла кровь горлом, но у нее кровь шла из носу.

Кикуко прижала к носу полотенце.

— Запрокинь голову, запрокинь голову,— Синго прикоснулся к спине Кикуко. Кикуко, словно отстраняясь от его руки, подалась вперед. Синго крепко взял ее за плечи и откинул назад, потом положил ей руку на лоб и запрокинул голову.

— Ой, отец, уже все в порядке. Простите меня.

Кикуко говорила это, а кровь струйкой текла от ладони к локтю.

— Не вертись, тихонько присядь, а теперь откинься.

С помощью Синго Кикуко села на корточки и оперлась о стену.

— Откинься, я тебе говорю,— повторил Синго.

Кикуко закрыла глаза и притихла. Бледное, словно она потеряла сознание, лицо выглядело по-детски невинным, от всего отрешенным. Синго заметил легкий шрам на лбу, прикрытый волосами.

— Все в порядке? Если кровь остановилась, иди в спальню и ложись.

— Ничего. Уже все в порядке.— Кикуко вытерла нос полотенцем.— Запачкала весь умывальник, сейчас помою.

— Не нужно, оставь.

Синго поспешно вылил из умывальника воду. Ему показалось, что вода у самого дна приобрела чуть заметный красноватый оттенок.

Не пользуясь умывальником, он набрал в ладони воды из колонки и сполоснул лицо.

Синго подумал, что надо разбудить жену и попросить ее помочь Кикуко.

Но в то же время он подумал, что Кикуко не захочет показывать свекрови свою слабость.

У Кикуко фонтаном брызнула кровь из носу, нет, это фонтаном брызнули страдания Кикуко, подумал Синго.

Когда он, стоя перед зеркалом, причесывался, появилась Кикуко.

— Кикуко.

— Да,— обернулась она и, не останавливаясь, прошла в кухню. Кикуко несла полный совок горящих углей. Синго показалось, что с угля сыплются искры. Огонь, разожженный газом, она положит в жаровню в столовой.

— Ой! — Синго даже вскрикнул, так он поразился. Он совсем забыл, что приехала его дочь, Фусако.

В столовой был полумрак, потому что в соседней комнате спали Фусако и двое ее детей и ставни на веранде не открывали.

Можно не будить старуху жену, чтобы она помогла Кикуко,— лучше разбудить Фусако.

Все это верно, но ведь когда он подумал, не разбудить ли жену, он даже не вспомнил о существовании Фусако, и это было странно.

Синго подсел к жаровне, и Кикуко налила ему горячего чаю.

— Кружится, наверно, голова?

— Немножко.

— Еще совсем рано, ты бы лучше полежала сегодня утром.

— Нет, если я потихоньку буду ходить, ничего. Пойду принесу газету, на воздухе мне станет лучше. Говорят же: когда у женщины идет кровь носом — беспокоиться нечего,— сказала Кикуко в своей обычной мягкой манере.— Такое холодное утро, зачем вы поднялись чуть свет, отец?

— Действительно, зачем? Я проснулся еще до того, как в храме зазвонил колокол. Он звонит всегда в шесть часов, и зимой и летом.

Синго встал раньше Сюити, но поехал в фирму после него. Так всегда бывало зимой.

Когда пришло время обеда, он пригласил Сюити в европейский ресторан неподалеку.

— Ты, наверно, знаешь, что на лбу у Кикуко есть шрам,— сказал Синго.

— Знаю, конечно.

— Видимо, шрам от щипцов, которые накладывал врач,— роды были тяжелые. Вряд ли это след страданий, испытанных ею при рождении, но теперь, когда Кикуко плохо, он сразу же бросается в глаза.

— Ты говоришь о сегодняшнем утре?

— Да.

— Может, это потому, что у нее пошла кровь из носу? Она побледнела, и шрам стал заметнее.

Неужели Кикуко уже успела рассказать Сюити, что у нее пошла кровь из носу? — разочарованно подумал Синго.

— Прошлую ночь Кикуко совсем не спала, да?

Сюити нахмурился. Немного помолчав, он сказал:

— Тебе бы, отец, лучше не быть таким внимательным к человеку, пришедшему к нам со стороны.

— Кого ты называешь «человеком, пришедшим к нам со стороны»? Свою собственную жену?

— Хорошо, скажу иначе: лучше не быть таким внимательным к жене сына.

— Что ты имеешь в виду?

Сюити не ответил.

3

Синго вошел в приемную, там сидела, дожидаясь его, Хидэко, а рядом стояла какая-то незнакомая женщина.

Хидэко сразу же встала.

— Давно не была у вас. Уже совсем тепло.— Ее слова вполне могли сойти за приветствие.

— Порядочно. Уже месяца два.

Хидэко немного располнела, на лице лежал густой слой пудры. Синго вспомнил, что когда он однажды ходил с ней на танцы, ее грудь, казалось ему, могла вполне поместиться в ладони.

— Это Икэда-сан. Я вам как-то говорила...— представила женщину Хидэко, сощурив свои хорошенькие глазки, словно собираясь заплакать. Она всегда это делала в ответственные минуты — такая уж у нее дурная привычка.

— Очень приятно. Огата.

Синго не мог заставить себя сказать, что он благодарен ей за ее заботу о Сюити.

— Икэда-сан не хотела с вами встречаться, говорила, что у нее

нет необходимости встречаться, что это ей неприятно,— я почти насильно притащила ее сюда.

— Вот как?

И снова обращаясь к Хидэко:

— Здесь удобно? Можно пройти в другое место.

Хидэко вопросительно взглянула на Икэда.

— Мне и здесь хорошо,— сказала Икэда неприветливо.

Синго даже растерялся, но виду не подал.

Хидэко как будто действительно говорила, что познакомит Синго с женщиной, которая живет вместе с любовницей Сюити. Но тогда Синго пропустил ее слова мимо ушей.

Через два месяца после ухода из фирмы Хидэко все-таки выполнила свое обещание. Для Синго это было большой неожиданностью.

Может быть, Сюити и женщина, с которой он встречается, решили наконец расстаться? Синго хотел подождать, пока разговор не начнет Икэда или Хидэко.

— Хидэко так настойчиво уговаривала меня, что я поняла,— сопротивляться бесполезно, вот я и оказалась у вас.— Тон у Икэда был скорее недружелюбный.— Кроме того, я и сама решила, что пойти к вам стоит. Я ведь уже давно уговариваю Кинуко-сан расстаться с вашим сыном — я и подумала, что было бы хорошо, встретившись с вами, заручиться вашим содействием, чтобы разлучить их.

— Я согласен.

— Хидэко говорила мне, что многим обязана вам и сочувствует жене Сюити-сан.

— Жена у него действительно хорошая,— вставила Хидэко.

— Хидэко-сан то же самое говорила и Кинуко-сан, но ведь сейчас очень мало найдется женщин, которые откажутся от мужчины из-за того, что у него хорошая жена. Я возвращу чужого мужа, а мне за это пусть вернут моего, погибшего на войне, так говорит обычно Кинуко-сан. Если бы мне вернули его живым, говорит она, каким бы непостоянным он ни был, скольких бы себе женщин ни заводил, я все равно бы его любила. Как ты считаешь, Икэда-сан? — спрашивает она у меня, не думайте, что я не из тех, у кого на фронте погиб муж. Разве мало мы натерпелись оттого, что наших мужей послали воевать? — спрашивает Кинуко-сан. А каково было нам, когда они погибли? Сюити приходит ко мне, это верно, но ведь жена не должна беспокоиться за его жизнь — он вернется к себе домой целый и невредимый. Разве я не права?

Синго горько усмехнулся.

— Какой бы хорошей ни была его жена, муж-то на фронте у нее не погиб.

— Странная логика.

— Верно, но она говорила это, когда была пьяна, и плакала... Они с Сюити-сан напились, и Кинуко все твердила: скажи ей — тебе не пришлось ждать с фронта мужа. Ты ждешь мужа, который все равно вернется к тебе. Скажи ей это, непременно скажи. Я тоже была с ними. Вам не кажется, что в любви вдовы, потерявшей на войне мужа, есть что-то порочное?

— Что в ней, собственно, порочного?

— Мужчине, тому же Сюити-сан, тоже не годится так напиваться. В эти минуты он очень груб с Кинуко-сан — заставляет ее петь. А Кинуко терпеть не может пения, и петь приходится мне, а голос у меня слабенький. Ведь если Сюити-сан не угомонить — стыдно будет перед соседями... Когда меня первый раз заставили петь, я почувствовала себя оскорбленной, мне было очень обидно, но я подумала, что делает он это не по пьяной, а по фронтовой привычке. Наверно, на фронте

Сюити-сан именно так забавлялся с женщинами. И тогда буйное поведение Сюити-сан показалось мне поведением моего погибшего на войне мужа, когда он на фронте забавлялся с женщинами. И сразу в груди у меня что-то оборвалось, голову наполнил туман, и я, вообразив себя женщиной, с которой забавляется мой муж, начала плакать и петь самые что ни на есть пошлые песни. Потом я рассказала об этом Кинуко. Я думаю, сказала я, что это относится только к моему мужу, а может быть, и не к нему одному. С тех пор всякий раз, когда Сюити-сан заставляет меня петь, Кинуко плачет...

Вся эта история показалась Синго болезненно-странной. Он помрачнел.

— Для вас обеих было бы лучше поскорее закончить эту историю.

— Конечно. Когда Сюити-сан уходит, Кинуко часто говорит мне серьезно: Икэда-сан, если это будет продолжаться, мы погибнем. Так что для нее было бы очень хорошо расстаться с Сюити-сан. Но ей кажется, что если они расстанутся, то она уж наверняка погибнет, и она боится остаться без него. Женщина...

— Ничего страшного не произойдет,— сказала сидевшая в стороне Хидэко.

— Конечно. Она ведь такая мастерица. Хидэко-сан тоже это знает.

— Да.

— Вот и то, что на мне, сшила ведь Кинуко-сан,— сказала Икэда и поднялась, как бы демонстрируя свой туалет.— Она, пожалуй, вторая после главного закройщика. Ее очень ценят в салоне. Стоило ей только попросить за Хидэко-сан, и ее сразу же взяли на работу.

— Ты, значит, тоже работаешь в салоне?

Синго удивленно посмотрел на Хидэко.

— Да,— кивнула Хидэко, слегка покраснев.

Синго не мог представить себе состояния Хидэко, которая по рекомендации любовницы Сюити устроилась в салон, а сегодня привела к нему Икэда.

— Кинуко-сан, я думаю, не особенно обременительна для Сюити-сан в смысле материальном,— сказала Икэда.

— Я тоже так думаю. В материальном — пожалуй, но...— начал было Синго раздраженно и тут же умолк.

— Когда я вижу, как Сюити-сан издевается над Кинуко-сан, я ей всегда говорю, что она должна расстаться с ним.

Икэда сидела, опустив голову и сложив руки на коленях.

— Сюити-сан тоже возвращается домой с тяжелым сердцем. Солдат с раной в сердце. Поэтому...— подняла она голову,— вы не могли бы поселить отдельно его с женой? Если бы они остались вдвоем, то, возможно, он расстался бы с Кинуко-сан. Я уже давно думаю об этом. Какие только мысли не приходили мне в голову...

— Хорошо. Я подумаю.

Синго кивнул. Он ответил холодно, словно отмел предложение Икэда, хотя в глубине души был согласен с ней.

4

Синго не мог позволить себе довериться такой женщине, как Икэда, и поэтому ничего больше не сказал ей. Он только выслушал ее.

Синго не пришлось держаться с ней подобострастно, но зачем, если не для откровенного разговора, она пришла к нему? Ведь она действительно была откровенна. Может быть, чтобы оправдать Кинуко? Нет, пожалуй, не только ради этого.

Наверно, я должен даже быть благодарен и Хидэко и Икэда, думал он.

Во всяком случае, никаких подозрений об истинной причине их прихода у него не возникло.

Но все же самолюбие Синго было задето, и по дороге домой он завернул в небольшой ресторан, где обычно их фирма устраивала приемы. Он уже собрался было войти в зал, но в это время одна из гейш что-то прошептала ему на ухо.

— Что? Наклонись ближе, ничего не слышу,— сказал он раздраженно, схватив гейшу за плечо. Он тут же убрал руку, но гейша вскрикнула, поглаживая плечо:

— Ой, больно.

Синго сделал недовольное лицо, и гейша, прижавшись к нему плечом, увела его на веранду.

— Сюда, пожалуйста.

Он пришел домой около одиннадцати, Сюити еще не вернулся.

— Добрый вечер.

В комнате напротив столовой Фусако кормила грудью младшую девочку — опершись на локоть, она подняла голову.

— Здравствуй,— Синго заглянул в комнату.— Сатоко спит?

— Да, только что уснула. Еще несколько минут назад она спрашивала меня: мама, что больше, десять тысяч иен или миллион иен, что больше, а? И хохотала. Сказала, чтобы я спросила у дедушки, когда он вернется, и сразу уснула.

— Хм. Довоенные десять тысяч иен и послевоенные миллион иен,— засмеялся Синго.— Кикуко, дай мне стаканчик воды.

— Сейчас. Воды? А кушать не будете?

Кикуко удивила просьба Синго. Она встала и пошла за водой.

— Только из колодца. Хлорированная мне не нравится.

— Хорошо.

— До войны я еще не была замужем, Сатоко еще не было,— сказала Фусако, уже лежа в постели.

— Что до войны, что после войны — лучше бы не выходить замуж.

Услышав шум колодезного насоса, Ясуко сказала:

— Как только начинает работать насос, от этого скрипучего звука мне становится холодно. Зимой, когда Кикуко рано утром идет к колодцу накачать воды тебе для чая, я еще в постели слышу этот скрип и сразу чувствую — холодно на улице.

— Я все думаю, не поселить ли нам отдельно Сюити с женой,— тихо сказал Синго.

— Поселить отдельно?

— Это было бы лучше, наверно.

— Может быть. Особенно если Фусако надолго останется у нас...

— Мама, я уйду. Если вы из-за меня хотите поселить их отдельно.

Фусако встала с постели и подошла.

— Лучше я поселюсь отдельно. Вот и все.

— Наш разговор не имеет к тебе никакого отношения,— раздраженно сказал Синго.

— Нет, имеет. Да еще какое. Мне Аихара говорил: отец тебя никогда не любил, поэтому у тебя такой противный характер. Мне так обидно было это слушать, прямо ком к горлу подступал.

— Успокойся, пожалуйста. Тебе уже тридцать.

— Мне не от чего успокаиваться, и я не успокоюсь.

Фусако прикрыла свою налитую грудь.

Синго устал от всего этого и поднялся.

— Бабка, давай ложиться спать.

Вошла Кикуко со стаканом воды. В другой руке она держала огромный лист. Синго залпом выпил воду.

— А это что такое? — спросил он у Кикуко.

— Лист мушмулы, еще совсем молодой. Луна светит тускло, вижу — около колодца что-то колышется, поблескивает, что это такое, подумала, смотрю — молодые листья мушмулы, большие уже стали.

— Ты совсем еще как школьница,— ехидно сказала Фусако.

Ночной голос

1

Синго разбудил крик, похожий, как ему показалось, на мужской. Он не мог понять, вой ли это собаки или голос человека. Он воспринял непонятный звук сначала просто как крик.

Он подумал, не предсмертный ли это вой Тэру. Может быть, ее отравили? У Синго отчаянно застучало в висках.

— Ой,— сдавило грудь. Спазмой сжало сердце.

Тут уж он окончательно проснулся. Это был не вой собаки, а крик человека. Язык заплетается, как будто человеку сдавили горло. Синго дрожал от холода. На кого-то напали...

— Послушай. Ну послушай же,— снова донесся крик.

Сдавленный, отчаянный крик. Почти нечленораздельный.

— Послушай. Ну послушай же.

Его убивают, а он говорит «послушай», оправдываясь или моля о чем-то.

Стук в калитку, словно кто-то ударил по ней. Синго весь сжался и сделал движение, чтобы подняться.

— Кикко-о! Кикко-о!

Голос Сюити, он зовет Кикуко. Язык так заплетается, что звук «ку» Сюити не в состоянии произнести. Мертвецки пьян.

Обессилев, Синго снова положил голову на подушку. Сердцебиение все еще не утихало. Потирая грудь, Синго старался восстановить дыхание.

— Кикко-о. Кикко-о.

Видимо, Сюити не рукой стукнул по калитке, а упал на нее всей тяжестью.

Синго вздохнул — придется открыть.

Но вдруг он подумал, что будет нехорошо, если он пойдет открывать.

Ведь Сюити с любовью и отчаянием зовет именно Кикуко. Такого голоса Синго никогда у него не слышал. Он похож на вопль ребенка, который зовет мать, когда ему нестерпимо страшно, нестерпимо больно или когда его жизни угрожает смертельная опасность. Сюити, увязший в пучине греха, зовет Кикуко. Он раскрывает ей свое страдающее сердце, заискивает перед ней. Он думает, что Кикуко не слышит, и продолжает звать ее пьяным, ласковым голосом. Он чуть ли не поклоняется ей.

— Кикко-о. Кикко-о.

Синго передается отчаяние Сюити. Сам он ни разу в жизни не звал жену с таким отчаянием и любовью. Может быть, потому, что ему не пришлось испытать такого отчаяния, какое охватывало Сюити, когда тот воевал на чужой земле.

Синго прислушался — хорошо бы, Кикуко проснулась. И все-таки ему было немного стыдно, что невестка услышит жалкий голос его

сына. Если Кикуко не встанет, разбужу Ясуко, решил он, но лучше бы встала Кикуко.

Синго отодвинул ногой горячую грелку на край постели. Кладут грелку, когда уже весна наступила, вот и стучит в висках.

Класть грелку в его постель было обязанностью Кикуко.

— Кикуко, грелочку бы,— говорил иногда Синго. Когда Кикуко клала в постель грелку, она дольше сохраняла тепло. И всегда была крепко завинчена.

Ясуко никогда не любила грелок, была ли она больна или здорова, не любит даже сейчас, достигнув уже преклонного возраста. Ноги у нее всегда теплые. Лет до пятидесяти он согревался возле жены, но в последние годы они спят врозь.

Ясуко никогда не кладет ноги на грелку Синго.

— Кикко-о, Кикко-о,— снова донеслось от калитки.

Синго зажег ночник и посмотрел на часы. Почти половина третьего.

Последняя электричка из Токио приходит в Камакура в час ночи — наверно, Сюити заглянул еще в бар у вокзала.

Прислушиваясь к его крику, Синго подумал, что связи сына с токийской любовницей, видимо, приходит конец.

Но вот Кикуко встала и через черный ход вышла во двор.

Синго с облегчением погасил свет.

— Ты прости его,— пробормотал он про себя, словно бы обращаясь к Кикуко.

Сюити шел, наверно повиснув на Кикуко.

— Больно, больно, отпусти,— сказала Кикуко.— Ты схватил меня рукой за волосы.

— Правда?

В кухне, споткнувшись, они оба упали.

— Перестань. Тише... Клади на колени... Будешь так напиваться, ноги опухнут.

— Ноги опухнут? Ври больше.

Кикуко, наверно, положила ноги Сюити себе на колени и пыталась стянуть ботинки.

Она простила. Синго еще не совсем успокоился, но в такие минуты, когда Кикуко вот так прощала своего мужа, он всегда радовался.

Кикуко, видимо, с самого начала слышала крики Сюити.

И все-таки Синго чувствовал, как она добра: положив на колени ноги пьяного Сюити, вернувшегося от любовницы, она стаскивает с него ботинки.

Уложив Сюити спать, Кикуко пошла запереть черный ход и калитку.

Храп Сюити доносился даже до Синго.

Сюити встретила жена, уложила его в постель, и вот он уже спит, а каково Кинуко, с которой Сюити напился до беспамятства? Разве не в ее доме он пьет и буянит, разве не ее доводит до слез?

Больше того, может быть, именно благодаря тому, что Сюити встретился с Кинуко, его жена, хотя часто плохо выглядит, раздалась в бедрах.

2

Громкий храп Сюити вскоре прекратился, но Синго уже не мог заснуть. Он подумал: неужели отвратительная привычка храпеть передалась от Ясуко сыну?

А если нет, то сегодня он храпит просто оттого, что сильно пьян.

Правда, в последнее время Синго не слышит, чтобы жена храпела.

Видно, пока холодно, она спит крепко.

На следующий день после бессонной ночи память у Синго ухудшается, а иногда он становится еще и сентиментален.

Уже и сейчас он с какой-то сентиментальностью прислушивался к крикам Сюити, когда тот звал Кикуко. Разве у Сюити не просто заплетался язык? Разве не пытался он прикрыть свое непристойное поведение тем, что пьян?

Любовь и отчаяние в голосе Сюити, невнятно звавшего жену, Синго уловил скорее всего потому, что именно этого он и ждал от сына.

Так или иначе, за тот крик Синго все простил Сюити. И подумал, что и Кикуко не сможет не простить его. Эта мысль была продиктована и отцовским эгоизмом.

Казалось, Синго уж так хорошо относится к Кикуко, и все равно в глубине души он всегда на стороне родного сына.

Сюити ведет себя безобразно. Напился у любовницы в Токио, приехал домой и валяется под забором.

Сюити еще повезло, что не Синго вышел открыть калитку — он бы не промолчал, и Сюити сразу бы протрезвел. С Кикуко проще. Повис на ней, и она безропотно втащила его в дом.

Кикуко — жертва Сюити — сама же и амнистировала его.

Еще не раз придется Кикуко, которой только что исполнилось двадцать лет, прощать своего мужа, если они проживут с Сюити столько же времени, сколько прожили Синго с Ясуко. Способна ли Кикуко прощать без конца?

Но ведь то, что называют семейной жизнью,— это мрачная трясина, без конца поглощающая зло, чинимое друг другу супругами. И любовь Кинуко к Сюити, и любовь Синго к Кикуко тоже без остатка поглотит трясина семейной жизни Сюити и Кикуко.

Вполне разумно, считал Синго, что в послевоенном законодательстве единицу семьи составляют не родители и дети, как было раньше, а муж и жена.

— Да, трясина семейной жизни,— пробормотал он.— Надо Сюити с Кикуко поселить отдельно.

Привычка повторять шепотом самые сокровенные мысли пришла к Синго со старостью.

— Трясина семейной жизни,— прошептал он. Это означало, что муж и жена только вдвоем должны терпеть зло, которое чинят друг другу, и топить его в трясине.

Ведь сознательность жены в том и состоит, чтобы смотреть в лицо любому злу, которое творит муж.

Скоро весна.

Синго почесал бровь.

Даже когда просыпаешься ночью, уже не так неприятно, как зимой.

Еще до того, как Синго услышал крик Сюити, он проснулся от странного сна. Тогда, сразу, он еще помнил его. Но, всполошившись из-за Сюити, почти совсем забыл.

Возможно, сон исчез из его памяти от сердцебиения.

Из всего сна он запомнил лишь, как девочке лет четырнадцати-пятнадцати делали аборт и слова: «Итак, девочка такая-то навеки становится святой».

Синго во сне читал рассказ. Он кончался именно этими словами.

Синго читал рассказ и одновременно видел его сюжет во сне,

как спектакль или фильм. Во сне Синго был не действующим лицом, а зрителем.

В четырнадцать-пятнадцать лет сделать аборт и стать святой — удивительная вещь, но этому предшествовала длинная история. Синго читал во сне рассказ о чистой любви мальчика и девочки. Когда он окончил чтение и проснулся, растроганность осталась.

Кажется, девочка даже не знала, что она беременна, и не помышляла ни о каком аборте, а только тосковала по мальчику, с которым ее разлучили,— примерно такова была эта история. Неестественная и неприглядная.

Забытый сон потом не воссоздашь. Сном были и чувства, испытанные от чтения рассказа.

Во сне у девочки, должно быть, имелось имя, он, должно быть, видел и ее лицо, но в памяти осталось лишь тусклое воспоминание о том, сколь велика ростом, вернее, сколь миниатюрна была девочка.

Кажется, одета она была в европейское платье.

Синго попытался убедить себя, что у девочки было лицо старшей сестры Ясуко, но, вероятно, это было не так.

Сон приснился ему несомненно из-за заметки во вчерашнем вечернем выпуске газеты.

Под крупным заголовком: «Девочка родила двойню. Весенние события в Аомори» было напечатано: «Благодаря обследованию, проведенному отделом общественного здравоохранения префектуры Аомори, мы познакомились с потрясающими фактами: среди женщин, у которых в соответствии с законом об евгенике была прервана беременность, пятнадцатилетних — пять, четырнадцатилетних — три, тринадцатилетних — одна, в возрасте учениц средней школы второй ступени (шестнадцать — восемнадцать лет) — четыреста, из них учениц средней школы второй ступени — двадцать процентов. Беременных среди учениц средней школы в городе Хиросаки—одна, в городе Аомори — одна, в уезде Минамицугару — четыре, в уезде Китацугару — одна. Из-за неопытности в вопросах пола две десятых процента, несмотря на вмешательство профессиональных врачей, погибло, а два с половиной процента находятся в тяжелом состоянии, и мы можем лишь испытывать величайшую тревогу за жизнь малолетних матерей, которые погибают от рук людей, не имеющих ничего общего с профессиональными врачами».

Всего было описано четыре случая родов. Четырнадцатилетняя ученица средней школы в уезде Китацугару в феврале прошлого года родила двойню. Мать и дети здоровы. Юная мать продолжает учиться в школе. Родители даже не знали о беременности дочери.

Семнадцатилетняя ученица средней школы второй ступени договорилась со своим одноклассником, что они поженятся, и летом прошлого года забеременела. Родители обоих, поскольку дети еще школьники, прервали беременность. Но и девушка и юноша заявляют: «Для нас это не игра. Мы все равно скоро поженимся».

Газетная заметка потрясла Синго. Вот почему он и увидел во сне, как девочке делают аборт.

Но сон Синго рассказывал не о постыдном, дурном поведении девочки и мальчика, а об их чистой любви, о ставшей «навеки святой девочке». Перед сном он обо всем этом давно забыл.

Потрясение Синго превратилось в удивительный сон. Почему?

Может быть, своим сном Синго спасал и сделавшую аборт девочку, спасал и самого себя.

Во всяком случае, во сне было добросердечие.

Но его ли собственное добросердечие проснулось во сне? — заглянул в себя Синго.

Не крупицы ли молодости, еще не совсем утраченные им, стариком, принесли ему сон о чистой любви мальчика и девочки? — думал с надеждой Синго.

Эта надежда и заставила его после сна почувствовать любовь и отчаяние в криках Сюити, которые он слушал, полный добросердечия.

3

На следующее утро Синго, еще лежа в постели, слышал, как Кикуко расталкивает Сюити.

В последнее время Синго просыпается чуть свет и не знает, что делать,— Ясуко, которая любит поспать, начнет ворчать: «До седых волос дожил, а все не спится, противно», да и вставать раньше невестки ему не к лицу, он это понимает, и Синго прокрадывается в переднюю, открывает дверь, достает газету и, снова забравшись в постель, не спеша читает.

Он слышит, как Сюити идет к умывальнику.

Хочет почистить зубы, но только взял в рот зубную щетку, как ему стало плохо — наверно, вырвало.

Кикуко мелкими шажками пробежала в кухню.

Синго встал. На веранде он столкнулся с Кикуко, которая возвращалась из кухни.

— О, вы уже встали, отец.

Кикуко резко остановилась, словно наткнувшись на неожиданное препятствие,— щеки у нее вспыхнули. Из стакана, который она держала в руке, что-то выплеснулось. Видимо, она несла из кухни холодное сакэ — Сюити опохмелиться.

Бледное, без всякой косметики лицо Кикуко покраснело, в полусонных глазах вспыхнуло смятение, на наивно приоткрытых бледных губах, обнажив красивые зубы, мелькнула смущенная улыбка — какая она миловидная, подумал Синго.

Неужели в Кикуко осталось еще так много детского? Синго вспомнил ночной сон.

Собственно, если вдуматься, нет ничего странного в том, что дети, о которых писала газета, женятся и рожают детей. В старое время ранних браков было сколько угодно.

Сам Синго в возрасте этих детей был по уши влюблен в старшую сестру Ясуко.

Увидав, что Синго пошел в столовую, Кикуко поспешила открыть там ставни.

В комнату ворвалось уже совсем весеннее солнце.

Кикуко, словно бы испугавшись обилия света, подняла руки к голове и стала поправлять сбившиеся во сне волосы.

Листья на гинго в храме еще не распустились, но в утренних лучах солнца уже чувствовался запах набухших почек.

Кикуко быстро переоделась и принесла чашку зеленого чая.

— Простите, отец, немножко задержалась.

Встав с постели, Синго всегда пьет горячий чай. Определить, сколько нужно заварки, очень трудно. Чай, который приготовляет Кикуко, самый вкусный.

Интересно, смогла бы его разведенная дочь делать это лучше, чем Кикуко? — думал Синго.

— Пьяному теперь дают опохмелиться. В старое время, чтобы протрезветь, пили просто зеленый чай. Так что ты не суетись, Кикуко,— пошутил Синго.

— Ой, отец. Вы уже все знаете?

— Проснулся от крика. Сначала подумал, что это Тэру воет.

— Что вы говорите.

Кикуко сидела потупившись, казалось, у нее нет сил подняться.

— Я проснулась еще раньше, чем Кикуко,— сказала из другой комнаты Фусако.— Ужасный был крик, даже неприятно стало, но Тэру не лаяла, и я поняла, что это Сюити.

Фусако вошла в столовую, как была — в ночном кимоно, кормя грудью дочь.

Лицо невзрачное, зато грудь белая, красивая.

— Почему ты в таком виде? Неряха,— сказал Синго.

— Аихара ужасный неряха, вот и я стала неряхой. Если выходишь замуж за неряху, непременно сама превратишься в неряху. Ничего не поделаешь.

Отнимая Кунико от правой груди и давая ей левую, Фусако сказала мрачно:

— Если тебе противно, что твоя дочь стала неряхой, то раньше, чем выдавать ее замуж, нужно было проверить, не неряха ли будущий ее муж.

— Мужчина и женщина — не одно и то же.

— Все они одинаковые. Посмотри на Сюити.

Фусако направилась к умывальнику.

Кикуко протянула руки. Фусако грубо бросила ей ребенка, девочка заплакала.

Фусако, не обращая на это внимания, вышла из комнаты.

Умывшись, вошла Ясуко.

— Давай,— взяла она ребенка.— А что остается делать отцу этого ребенка? С тех пор как Фусако под Новый год приехала к нам, прошло уже больше двух месяцев. Ты говоришь, Фусако неряха, а ты, отец ее, разве не неряха? Такой же неряха. Под самый Новый год — лучшего времени не могла найти — вдруг обнаружила, что жить с ним не может. И опять-таки из ее слов ничего не поймешь. Да и Аихара-сан тоже хорош — мог бы приехать.

Ясуко говорила, глядя на ребенка.

— Девушку, что была у тебя секретаршей, Танидзаки, Сюити как-то назвал полувдовой. Так вот, Фусако можно, пожалуй, назвать полуразведенной.

— Что значит «полувдова»?

— Замуж не успела выйти, но любимого человека потеряла на фронте.

— Но ведь во время войны Таниздаки была еще совсем ребенком.

— Ей было, наверно, лет шестнадцать-семнадцать. Уже вполне мог кто-то остаться для нее незабываемым человеком.

Для Синго слова Ясуко «незабываемый человек» были неожиданностью.

Сюити ушел из дому, не позавтракав. Видно, чувствовал себя плохо, да к тому же опаздывал.

Синго задержался дома, дожидаясь утренней почты. Среди писем, которые Кикуко положила перед ним, лежало одно на ее имя.

— Кикуко,— Синго передал ей письмо.

Не посмотрев, кому письмо, она принесла его вместе с остальными и отдала Синго. Письма Кикуко приходили очень редко, она и сейчас его не ждала.

Кикуко тут же стала читать.

— От подруги. Сделала аборт, но после этого почувствовала се-

бя плохо и сейчас лежит в университетской клинике в Хонго,— сказала она.

— Что ты говоришь?

Синго снял очки и посмотрел на Кикуко.

— Наверно, сделала тайно, у какой-нибудь акушерки? Это очень опасно.

Газетная статья, сон, утреннее письмо — какое совпадение, подумал Синго.

Ему очень захотелось рассказать Кикуко о своем сне.

Синго молча смотрел на Кикуко, словно заряжался ее молодостью; расскажу, решил он, но тут же испугался — вдруг Кикуко тоже беременна и тоже собирается сделать аборт, тогда рассказ о сне может вызвать у нее ненужные мысли.

4

Когда электричка шла по долине Китакамакура, Кикуко удивленно воскликнула:

— Как буйно цветет слива!

В долине, сразу за окнами электрички, росло множество слив. Синго, хотел он того или нет, каждый день смотрел на них.

Самый расцвет кончился, и на солнцепеке белые цветы чуть потускнели.

— У нас в саду тоже цветет,— сказал Синго. Но там всего два-три дерева, а вот такое обилие цветущих слив Кикуко видит в этом году впервые, подумал он.

Кикуко редко приходили письма, и так же редко выезжала она куда-нибудь. Она выходила из дому лишь за покупками.

Кикуко решила навестить подругу в университетской клинике, и Синго поехал вместе с ней.

Дом женщины, с которой встречался Сюити, как раз напротив университета. Это немного тревожило Синго.

В электричке он так и не решился спросить Кикуко, не беременна ли она.

Спросить было не так трудно, просто он, видимо, упустил удобную минуту.

Сколько уж лет он не спрашивает у Ясуко о женских делах. С наступлением климакса Ясуко перестала говорить ему об этом. И не потому, что с тех пор она всегда была здорова, а потому, видно, что пришла пора ее увядания.

Синго уже давно забыл, что у них с Ясуко были когда-то такие разговоры.

И сейчас он вспомнил о ней, собираясь спросить у Кикуко о беременности.

Если бы Ясуко знала, что они поехали в родильное отделение клиники, она бы, наверно, сказала, что Кикуко тоже следует показаться врачу.

Ясуко много раз заговаривала с ней о ребенке. И Синго видел, как это было неприятно Кикуко.

Сюити она, конечно, откровенно обо всем рассказывает. Мужчина, с которым женщина откровенна, для нее все. Женщина сразу же перестает быть откровенна с мужем, стоит ей завести себе мужчину. Синго как-то услышал об этом от одного старого приятеля и, как он помнит, очень тогда заинтересовался.

Даже дочь не бывает до конца откровенна с родителями.

До сих пор Синго — и Кикуко тоже — избегали говорить о том, что у Сюити есть женщина.

Если Кикуко беременна, то скорее всего потому, что ее созреванию способствовала любовница Сюити.

Вся эта история ужасно неприятна, но Синго не забывал, что речь ведь идет о человеке, и ему казалось жестоким спрашивать у Кикуко о ребенке.

— Дед Амамия приходил вчера. Вам мама не говорила? — неожиданно сказала Кикуко.

— Нет, не говорила.

— Амамия забирает их в Токио, и он приходил прощаться. Просил отдать Тэру. Принес два больших пакета печенья.

— Собаке?

— Да. Мама так и сказала: принес собаке, но один можно оставить и для людей. Торговые дела Амамия-сан идут хорошо, и он снова начинает строиться — старик так радовался.

— Что ты говоришь? Не часто случается, чтобы торговец, который вынужден был распродать все, вплоть до собственного дома, снова встал на ноги и даже начал строиться. С тех пор как он уехал, уже десять лет прошло, пролетели, как один миг. Изо дня в день езжу на этой электричке — надоело. Иногда встречаюсь с приятелями в ресторане — это тоже повторяется уже лет десять, тоска, да и уставать стал. Пришло, видно, время предстать перед ним.

Синго показалось, что Кикуко не поняла, что значит «предстать перед ним».

— Предстать пред очами властителя ада Эмма. Мы сможем сказать, что в крохах, доставшихся нам, мы безгрешны. Ведь речь идет именно о крохах жизни. И не слишком ли это сурово — карать человека за жизнь, от которой ему достались лишь крохи?

— Как так?

— А вот как. Разве хоть кто-нибудь полностью прожил жизнь, отпущенную человеку? Вряд ли. Возьмем, например, гардеробщика из ресторана, где я, как сказал, иногда бываю. Он знает одно — принимать у посетителей обувь да выдавать посетителям обувь, и так каждый день. Какой-нибудь старик скажет, не подумав: лучше и не надо. Но это ведь крохотный кусочек жизни. А попробуйте спросить у официантки — ужасная судьба у этого деда-гардеробщика, ответит она. Сидит верхом на жаровне у себя в подвале, со всех сторон окружен ящиками с обувью и беспрерывно чистит ботинки. Подвал у самого входа, зимой — холод, летом — жара. А дома, наверно, твердит своей старухе, как бы им хорошо жилось в богадельне.

— Вот и мама так. Она часто повторяет, что молодые всегда хотят умереть. Несерьезный это разговор.

— Она не зря так говорит — ясно ведь, что она переживет меня. Кстати, кого из молодых она имела в виду?

— Кого?.. — запнулась Кикуко.— В сегодняшнем письме подруги...

— Которое утром пришло?

— Да. Она не замужем.

— Хм.

Синго замолчал, Кикуко тоже не хотелось продолжать этот разговор.

Электричка только что отошла от Тоцука. До Ходогая было еще далеко.

— Кикуко,— сказал Синго.— Я уже давно об этом думаю, тебе не хочется жить с Сюити отдельно от нас?

Кикуко смотрела на Синго и ждала, что он скажет еще, а потом спросила жалобным голосом:

— Почему, отец? Потому, что вернулась Фусако-сан?

— Нет, с Фусако это никак не связано. Фусако полуразведенная, и ты, Кикуко, поэтому, наверно, жалеешь ее, но даже если она совсем уйдет от Аихара, долго у нас она не проживет. Будет жить отдельно, и то, что я сказал, касается только тебя и Сюити. Вам не лучше бы жить отдельно?

— Нет. Вы так добры ко мне, отец, я хочу жить с вами. Мне будет одиноко без вас.

— Мне это очень приятно.

— Вы так меня балуете. Я ведь самая младшая в семье, меня и дома баловали, отец очень любил меня, и я привыкла за всем идти к отцу.

— Я прекрасно знаю, что отец любил тебя. Ты даже не представляешь себе, как мне приятно, что ты всегда обращаешься ко мне. Мне будет грустно жить без тебя. Ты знаешь все о Сюити, но до сих пор я не хотел заговаривать с тобой об этом. Хороший же я отец. Может быть, если вы будете жить одни, у вас все наладится?

— Нет. Хоть вы мне ничего не говорили, вы всегда беспокоились обо мне — я это прекрасно знаю. Я хочу быть рядом с вами.

В огромных глазах Кикуко застыли слезы.

— Я боюсь жить отдельно. Постоянно сидеть одной дома и ждать, ждать без конца. Как это невыносимо, как грустно, как это страшно.

— Но зато будешь ждать одна. Ну ладно, электричка не место для такого разговора. Подумай все-таки хорошенько.

Кикуко дрожала, словно ей уже сейчас было страшно.

Сойдя на токийском вокзале, Синго повез на такси Кикуко в Хонго.

Потому ли, что родной отец очень любил ее, или потому, что она была сейчас сильно взволнована, Кикуко это как будто не показалось странным.

Когда они приехали на ту самую улицу, где жила любовница Сюити, Синго, хотя он и не заметил ничего подозрительного, из осторожности попросил шофера въехать во двор университетской клиники.

(Окончание следует)

Поэты Сингапура

Перевод с английского РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

ДЖЕРАЛД ДЕ КРУЗ

При известии об убийстве Мартина Лютера Кинга

Вы знаете нашего мистера Рассела?
Кто же не знает нашего мистера Рассела!
Чемпиона Соединенных Штатов
по поднятию тяжестей!
В этом году
он — в который раз! — побил все рекорды
в жиме, рывке и толчке...

Пощупайте мышцы мистера Рассела —
они возвышаются, как холмы.
Ударьте Рассела по животу
(я попробовал.
Чуть не сломал руку).
Взгляните, как мистер Рассел сдвигает
зубами
нагруженную машину.
Поехала!..
Ну, и что вы теперь
скажете о нашем мистере Расселе?

Я смотрел на нашего мистера Рассела.
Мистер Рассел — негр,
мистер Рассел — черный.
И я сказал ему:
— Спорим, Рассел,
что тебе не поднять своей черноты!

ДЖЕРАЛД ДЕ КРУЗ — молодой сингапурский поэт. Публикуемые стихи написаны на английском языке и напечатаны в журнале «Поэзия Сингапура» («Poetry Singapore» № 3 за 1968 год).

МОХАММАД БИН ХАДЖИ САЛЕХ

Ночной дождь

Дождь ночной полил.
Он был мягким, как басовая нота на пианино.
Он шел, щекоча травинки,
шел, скользя по траве,
продираясь к ее пересохшим корням...

Дождь ночной во мне всегда пробуждает
изначальное одиночество.
То, которое прячется под безмолвием.
Дождь струится по моей памяти,
он просачивается в воспоминания
и выхватывает, очищает
эпизоды почти забытые.
Ты остаешься с прошлым своим
в непонятном ночном дожде...

Водяная штора стала прочней
и прохладней потока случайных событий.
Капли сплюснулись, сжались.
Капли стали похожи на зеркало.
Для того, чтобы в нем отразилось
«Я» — которое ты утратил...

Темнота промокла насквозь.
Вместе с нею и ты насквозь пропитался собою.
Миг пониманья.
Секунда ясности.
Дождь в тебе.
Ты в ночном дожде.

Ты поводишь плечами, ощущая новые грани
в позабытом собственном «Я».

Круглые капли дождя похожи на кончики чьих-то пальцев.

Ты и дождь.
Вы друг друга поняли, наконец-то!
Дождь вернул тебя в жизнь
из неведомого.

Вкус истории

Я склонялся, пока шея не онемела,
над пожелтевшими, явно неполными,
подшивками старых газет,
лежащих на пыльном столе потомства.

МОХАММАД БИН ХАДЖИ САЛЕХ. Родился в 1942 году в Пераке. Окончил Сингапурский университет. Пишет на английском и малайском языках, уделяет значительное внимание литературным переводам Публикуемые стихи взяты из антологии «Семь поэтов Сингапура и Малайзии» («Seven Poets of Singapore and Malaysia»). Сингапур, 1970.

Страницы состояли из слов.
Из этих же слов состояла история.
А еще — из неотфильтрованных импульсов,
из предрассудков,
из ежедневных трагедий,
рождений, смертей и страданий...

Листая года,
перелистывая рассудочность и эмоции
людей, застрявших на хлипкой стремянке,
по которой они упорно карабкаются,
видишь огонь,
пылающий над вершиной надежд.
Жаль, что этот огонь надежды
перестает быть огнем,
как мотор перестает быть мотором
на крутом подъеме
от нехватки бензина и кислорода.
Люди так напряженно стремятся к вершинам,
что иногда теряют эти вершины из виду.
Лишь колючий кустарник растет у дороги.
И люди уже привыкли к такому ландшафту,
стали жителями высокогорных пустынь...
Борьба — всегда одиночество.
Каждая битва приносила усталость.
Неудача шагала вслед за надеждой
и преследовала людей —
людей, неизменно трагичных,
заблудившихся где-то меж вечностью и бездорожьем
в час нелегкого выбора,
когда нужно либо от всего отказаться,
либо все продолжать!
Будущее оказалось крохотным...
На этих газетных страницах
под каждым словом — могила.
Под каждым словом — некто,
отправленный в первый попавшийся ад...

Листая страницы,
находясь то в прошлом, то в настоящем,
я возвращаюсь мыслями к тем,
кто действовал за всех слабовольных,
кто рассуждал за всех безрассудных,
а умер под смех живых.
Обитатели мира теней
повели неуверенную толпу
в мечту и воздушные замки.
Я знаю, что замки эти сгорят
в высоком пламени разума!
Я листаю страницы,
по которым идут поколенья,
по которым шагают лидеры
и маленькие рабы.

ГО БО-СЕН

Сингапур

День швыряет охапки лучей!..

Утешения в этом
никто
не находит.

Даже те,
кто всегда утешения
ждут.

Мысли мимо дрейфуют
по течению времени года.
И уходят в море суда.

Отступает прилив в Катонге.
Все свои обещанья
берет он назад.

И в соленую воду морскую
вливает отраву
река.

Был источник отравы
когда-то
обыкновенным холмом.

Стал он гнилью,
когда человек
запустил в него руку.

И теперь, исходя из промышленных нужд,
реки служат коммерческим целям.
И покрыты грязью.

Баржи, груженные каучуком,
белой копрой и раттаном,
тоже ходят на службу.

Океанские корабли
молча замерли в гавани,
как машины в большом гараже.

ГО БО-СЕН. Родился в 1936 году в Куала-Лумпуре, получил медицинское образование в Дублине. Пишет на английском языке. Стихи печатались в журналах Сингапура и Малайзии Го Бо-сен — автор двух пьес и романа «Когда слишком долго мечтаешь» («If You Dream too Long», 1972). Публикуемые стихи взяты из антологии «Семь поэтов Сингапура и Малайзии» («Seven Poets of Singapore and Malaysia»). Сингапур, 1970.

Повинуясь рявканью бригадира,
покрываются потом спины в порту,
покрываются потом от бесконечной работы.

В этом медленном царстве грязи
и послушного мусора
кипы солнца лежат навалом!

Переполнены солнцем склады,
причалы и верфи.
И мечты переполнены солнцем!..

Но приходит вечер.
Опускается солнце в море.
И взрослеют тени холмов.

Корабли на рейде стоят отдельно.
Сумрак их разлучил,
отлучил друг от друга.

На цветных неоновых улицах
рождаются сухопутные страхи.
Ночь жиреет, наращивая темноту.

■

ПХАНИШВАРНАТХ РЕНУ

Третья клятва

РАССКАЗ

Перевод с хинди В. ЧЕРНЫШЕВА

По спине у Хирамана бегают сладкие мурашки, будто кто-то, почти не касаясь, гладит его нежной рукой. Такого раньше с ним никогда не бывало, а он, слава всевышнему, занимается извозом вот уж без малого двадцать лет...

Хираман — возчик. У него своя арба и пара крепких круторогих волов.

Прежде возил он из Непала в Индию рис и строительный лес. В Непале нагрузит он, бывало, мешки с рисом или бамбуковые жерди и спокойно едет себе в Индию. А потом границу закрыли. Поставили дозоры и стали проверять всех прохожих и проезжих.

Хираман не растерялся и продолжал заниматься контрабандой, но только теперь он возил товар уже из Индии в Непал. Попадал он в разные переделки и до конца своих дней будет помнить пограничные патрули. Четыре раза переходил он границу туда и обратно и оставался цел и невредим.

Всякий раз, благополучно пригнав в Биратнагар арбу, доверху нагруженную мешками с цементом или тюками ткани, Хираман радовался, как ребенок. Ему так везло, что местные контрабандисты уверовали, что Хираман родился в сорочке, а их главарь, одобрительно цокая языком, не раз хвалил волов Хирамана.

И тут удача вдруг изменила ему — на пятый раз Хираман попался. Это произошло уже на индийской стороне — на узкой лесной дороге, петлявшей по тераям — заболоченным джунглям. И как назло приказчик, сопровождавший товар, сидел на тюках в его арбе... Хираман

ПХАНИШВАРНАТХ РЕНУ (род. в 1921 г.).

Индийский писатель Учился в Бенаресском университете. Принимал участие в национально-освободительном движении Был одним из руководителей крестьянского движения в Бихаре. Первые рассказы П. Рену появились в печати в 1946 г. Ныне он видный представитель так называемого «провинциального романа» в литературе хинди. Автор романов «Грязное покрывало» (1954), «Сказание о пустоши» (1957), повестей «Многострадалица» (1963), «Демонстрация» (1965), «Перекрестки» (1966), сборников рассказов «Мелодии» (1959), «Танцовщица из Канкарбага» (1961) и др.

На русский язык переведены роман П. Рену «Грязное покрывало» и несколько рассказов.

Рассказ «Третья клятва» взят нами из сборника «Избранные рассказы» («Шрештх каханиян», Дели, 1966).

помнит, как ему в глаза ударил слепящий свет и хриплый голос угрожающе крикнул:

— Стой! Стрелять буду!

Все двадцать подвод, натужно заскрипев, разом остановились. Прямо перед арбой Хирамана стоял инспектор полиции, направив на него луч электрического фонаря длиною в целый локоть. В первый раз тогда у Хирамана мелькнула мысль: «Ну, теперь все! Пропал!»

А инспектор перевел луч на помертвевшего от страха приказчика и злорадно рассмеялся:

— А-а-а! Это вы, почтенный? Ха-ха-ха! — И повернувшись к Хираману: — А ты чего глаза выпучил?! Покажи-ка мне вот этот мешок с дерьмом! — И он ткнул стеком в брюхо приказчику.— Вот этот, этот самый мешочек!.. Ну, сукин сын, теперь ты в моих руках!

Видно, между представителем власти и приказчиком были старые счеты. А иначе никакой инспектор не устоял бы: приказчик сразу же предложил ему четыре тысячи! В ответ инспектор еще раз ткнул его в живот:

— Пять тысяч! А ну, слезай! И без разговоров!

Свалив приказчика, точно куль, на землю, инспектор направил луч фонаря прямо ему в глаза. Потом двое солдат подхватили беднягу под руки и потащили к кустам в сторону от дороги. Пятеро остались сторожить повозки — все с винтовками! От пули не убежишь! Так, значит, тюрьма? Хираман боялся не за себя, а за волов. Сколько дней им, беднягам, придется стоять на привязи у полицейского управления — не поенным, не кормленным! А потом пойдут с торгов. Как после этого ему показаться на глаза брату и невестке? И ему почудился громкий голос аукциониста: «Отличные волы! Совсем недорого! Кто больше?.. Раз... два... три!» А инспектор и приказчик все не возвращались.

Стоявший рядом с его арбою солдат негромко спросил у соседа по-непальски:

— Что там еще? Никак сторговаться не могут, что ли? Схожу-ка разживусь табачком.— И он не спеша отправился в конец обоза.

Первая... Вторая... Третья... Вот он уже за четвертой повозкой! И Хираман решился. Он быстро отвязал веревки, которыми удерживают ярмо на волах, сделал петли и, накинув животным на рога, завязал крепким узлом. Потом, неслышно соскочив с повозки, подставил под дышло бамбуковую треногу и освободил шеи животных от ярма. Волы нетерпеливо задышали. Он потрепал их по холке и шепотом произнес: «Ну, выручайте, братки! Останемся живы — другую арбу наживем! Ну, пошли! Раз, два, три!» — и все трое бесшумно исчезли за темными кустами, плотной стеной обступавшими дорогу. Сквозь кусты они пробирались, сдерживая дыхание, но едва углубились в джунгли, как припустили что было духу. Впереди — волы, следом за ними — Хираман. Волы бежали, прижимая рога к спине, отыскивая дорогу по запаху, пересекая бесчисленные ручьи и ручейки. Они бежали всю ночь до самого утра, словно за ними гналась стая волков.

Добравшись до дому, Хираман двое суток проспал мертвым сном. А когда, наконец, проснулся, то, взяв себя за уши, поклялся никогда больше не заниматься контрабандой. Выгодно? Избави бог от такой выгоды. Теперь он ученый! А интересно, что стало с приказчиком? Ну, приказчик-то, наверно, выкрутится, а вот у него арба пропала! Совсем еще крепкая была арба, и на колесах железные шины. Правда, подновить шины он успел только на одном колесе, но все равно добрая была арба!

Еще раньше он дал себе зарок никогда не связываться с перевозкой бамбука. И теперь, уговариваясь, Хираман первым делом спраши-

вает, что это за груз — не контрабанда ли? А может, бамбук? Перевозить бамбук Хираман отказывается наотрез, сколько бы ему ни сулили, пусть даже целых полсотни. Пусть поищут других дураков! С бамбуком у Хирамана связаны очень неприятные воспоминания. Бамбук на повозке локтя на четыре торчит спереди да локтей на десять сзади! Как хочешь, так и управляйся! Какой ты ни будь опытный возчик, все равно с арбой совладать не сумеешь. Эта история приключилась с ним, когда он вез бамбук в городишке Кхарахия. Впереди, держась за грядку арбы, шагал его подручный — придурковатый парень, он и рта-то никогда не закрывал. А тут в первый раз попал в город, ну и загляделся на женскую школу. А тут — трах! — из-за поворота выскакивает коляска и прямо на бамбук. Брезентовый верх в клочья! Слава всевышнему, что лошадь и люди не пострадали. Пока Хираман останавливал волов, кучер, ругаясь последними словами, всю спину исполосовал ему кнутом!

С той поры Хираман никогда не соглашается возить бамбук, а название этого проклятого городишка даже слышать не хочет. Занялся контрабандой — остался без арбы! И вот теперь работай исполу: половина выручки — тебе, половина — хозяину повозки. Много ли это выходит? На такие доходы даже волов — и тех не прокормишь. Новой арбой он обзавелся всего год назад. Да благословит всевышний тигра из бродячего цирка! Было это ровно год назад на ярмарке в Чампанагаре. У хозяина цирка с чего-то пали обе лошади, которые возили клетку с тигром. В Чампанагаре ярмарка заканчивалась, и цирку надо было поспеть к открытию ярмарки в Форбисгандже: не успеешь — считай, прогорел. И хозяин цирка объявил возчикам на постоялом дворе: «Доставите вовремя — плачу сотню рупий!» Согласились двое, но их волы, едва почуяв тигра, дико взревели и стали рваться. Порвали всю сбрую и сбежали прочь. А Хираман ласково погладил своих волов по крутым бокам и вполголоса сказал им: «Ну, выручайте, братки! Другого такого случая не подвернется. Сделаете — будет у нас новая арба. А нет — так и будем работать исполу. И чего бояться какого-то паршивого тигра, да еще запертого в клетке? Вы что, не наслушались в тераях, как рычат тигры? Не бойтесь — я с вами!»

Возчики — народ скупой на похвалу, но тут не удержались, захлопали в ладоши, когда Хираман запряг волов в повозку с клеткой. Всех их посрамил тогда Хираман со своими волами! По одному, не спеша подводил Хираман волов к повозке и осторожно впрягал в ярмо. Волы послушно следовали за Хираманом. Только один уже в ярме с испугу напустил под себя целую лужу. А Хираман два дня, пока они ехали, все прикрывал нос тряпицей: уж очень тяжелый дух шел от тигра. А вот сейчас ветер доносит до него пряный, дразнящий аромат жасмина, и всякий раз по спине у Хирамана пробегают сладкие мурашки.

Год прошел с того дня в Чампанагаре, а Хирамана не оставляет чувство, что богиня — хранительница ярмарки смилостивилась тогда над ним и теперь ему по-прежнему сопутствует удача. Он тогда не только получил сотенную бумажку за перевозку тигра, его еще каждый день угощали чаем с печеньем и, пока шла ярмарка, бесплатно пускали на все представления. Вот что значит удача!

А в этот раз его наняли отвезти одну женщину. Сказали — певица. Чудно́! В арбу села вроде баба, а запах такой, будто положили охапку жасмина!

Правое колесо угодило в выбоину, арба дернулась — женщина за спиной вскрикнула. Хираман хлестнул правого вола.

— Эй, ты! Гляди в оба! Не мешки везешь! Понимать надо!

— Им же больно! Не надо их бить!

Голос невидимой женщины поверг Хирамана в изумление. Такой тонкий, совсем еще детский голосок, словно перезвон бубенчиков!

Имя Хирабаи в здешних местах хорошо знали. Любой мальчишка не задумываясь ответил бы, что это певица из труппы Матхурамохана. Певицу знали все, кроме Хирамана. Все семь лет он занимался извозом, зарабатывал деньги, и ходить на всякие там представления или в кино ему было некогда. Вот почему имя Хирабаи, или Лейлы, как она значилась на афишах, ему ничего не говорило. Лейла или Хирабаи — не все ли равно? Баба она баба и есть. А тут за погляд еще и деньги берут! Но когда в глухую полночь недели за две до окончания ярмарки он увидел рядом с арбою темную женскую фигурку, закутанную в темное покрывало, ему стало как-то не по себе. Дюжий детина, по виду носильщик, молча поставил на арбу железный сундучок. Женщина легким кивком головы отпустила его.

— Товар-то не краденый, братец? — поправляя упряжь, поинтересовался Хираман, но, к его неописуемому удивлению, носильщик ничего не ответил, а только сделал ему знак трогать и скрылся в темноте.

Хираману вдруг пришла на память старуха в черном сари, торговавшая табаком на ярмарке. Тут поневоле заробеешь!

А мурашки так и ползают по спине, так и ползают.

В арбе позади будто куст жасмина распустился. Волов хлестнешь — звонко вскрикивают. Да-а! Конечно, это не старуха — торговка табаком, только кто знает, что у нее на уме! Всякий раз, услышав ее голос, он испуганно оглядывался и вытирал шею концом тюрбана. Одному всевышнему известно, что его ждет!

Дорога поворачивает на восток, и луна бледным светом заливает повозку. На носу его спутницы будто светлячок засветился: видно, дорогое украшение! И все происходящее начинает казаться Хираману призрачным и жутким. А впереди до самой деревни Сингхия — голая равнина, ни кустика, ни огонька! Уж не ведьма ли она?

Спутница Хирамана поворачивается, и ее лицо попадает в полосу лунного света. Впервые рассмотрев ее, Хираман едва не вскрикивает от изумления — какая же она красавица!

Она открывает глаза. Хираман поспешно отворачивается и цокает языком, понукая волов. Но язык почему-то совсем высох, прямо одеревенел!

— Как зовут тебя, братец?

Ах, какой голосок! Совсем бубенчики или звон хрусталя. От этого голоса у Хирамана каждая жилка словно запела. Даже волы зашевелили ушами, прислушиваясь. А у Хирамана язык будто отнялся.

— Как зовут-то? — откашлявшись, говорит он наконец.— Да Хираманом.

Его спутница улыбается, и улыбка ее, кажется, тоже источает пряный аромат жасмина.

— Значит, мы тезки. Меня тоже зовут Хира.

— Чудно!

Вот уж не знал Хираман, что мужские имена могут совпадать с женскими.

— Ничего чудного. Меня зовут Хирабаи.

Какие же они тезки? Он — Хираман, она — Хирабаи. Большая разница!

— Ну, что уши навострили? — прикрикивает Хираман на медленно шагающих волов.— Все вам знать надо! Забыли, что впереди еще тридцать косов[1]?

---

[1] Мера длины, около 4 км.

Волов тоже не проведешь: чуть зазевался — они уже еле плетутся, особенно правый, и Хираман легонько оглаживает его коротким ременным бичом.

— Да не бей же ты их! Пусть себе шагают полегоньку. Куда спешить?

О чем дальше говорить с ней? И как обращаться к ней — на «ты» или на «вы»? На его родном языке — майтхили[1] — к старшим обращаются только на «вы». Конечно, он знает несколько слов на урду — языке, на котором говорят в судах,— но этого запаса ему и на полдороги не хватит. Вот если б она говорила на его родном языке, тогда другое дело. У себя в деревне он с каждым мог болтать о чем угодно.

Хирамана всегда раздражали туманы, которые стелются по земле на осенней заре. В таком тумане он не раз сбивался с дороги. Но сегодня он даже рад плотному, как белая пелена, утреннему туману. С рисовых полей, тянущихся по берегу речки, доносится сладковатый запах цветущего риса. В эту пору у них вся деревня пропитана таким запахом. А из-за спины снова веет тонким ароматом белого жасмина. Будто дивный цветок распустился, а в середине цветка сидит крохотная фигурка — ну, точь-в-точь его спутница... Хираман встряхивает головой, отгоняя назойливое виденье, и украдкой косится на женщину. Глаза Хирабаи не отрываясь смотрят на него. И в душе Хирамана вдруг что-то сладко замирает, а по телу прокатывается теплая ласковая волна.

— Вам очень не нравится, когда я подгоняю волов? — тихо спрашивает он, не глядя на нее.

Пока они ехали, Хирабаи все более убеждалась, что возница ее достоин своего имени[2] — настоящий алмаз, затерявшийся в дорожной пыли.

Этот крепкий мужчина с темно-коричневым от загара лицом в свои сорок лет был простодушен, как ребенок. Ничто на свете не волновало его, он знал только свою арбу и своих волов. Дома у него оставался старший брат, с утра до ночи трудившийся на своем поле. Брат был человек семейный, обремененный кучей детей. Невестку Хираман уважал куда больше брата. Уважал и побаивался. Сам Хираман тоже был когда-то женат. Женили его еще в детстве. Однако его жена умерла задолго до того дня, когда ей предстояло перейти в дом мужа. Хираман даже лица ее не помнит... А во второй раз так и не женился. Было для этого несколько причин. Невестка хотела, чтобы он женился обязательно на молоденькой. А по местным понятиям «молоденькая» — это девочка лет семи. Тут ведь никто не соблюдает закон о брачном возрасте! Кто же отдаст маленькую дочь за вдовца? Разве уж деваться будет некуда! А невестка уперлась на своем — и ни в какую. Уж такая она! Перед нею даже брат — и тот не решается рта открыть!

Ну, и Хираман решил не жениться. Пусть тот женится, кому надо! А ему и так неплохо. Женишься — тут уж не до извоза будет, бросать придется. Все что угодно мог бросить Хираман, только не извоз.

Таких, как Хираман — людей простодушных и безыскусственных,— Хирабаи встречала не часто. Когда он спросил, откуда она родом, и Хирабаи ответила, что родом она из Каннура, Хираман рассмеялся. Это было так неожиданно, что даже волы и те недоуменно повели ушами.

---

[1] Новоиндоарийский язык, распространенный в Митхиле (Северный Бихар). На майтхили говорят около 20 млн. человек.

[2] Непереводимая игра слов: «хира» обозначает на хинди «алмаз», «ман» — «душа».

— Каннур! — сквозь смех еле выговорил он.— Может, и Накпур [1] тоже есть?

А когда Хирабаи ответила, что и Накпур тоже есть, Хираман даже за живот схватился.

— Вот так так! Ну и название! Чего только на свете не бывает! Ухоград! Носоград! Подумать только!

Отсмеявшись, Хираман залюбовался крохотными сережками в ушах у Хирабаи, а заметив на изгибе ноздри крохотный огонек рубина, даже вздрогнул от неожиданности — ну, ни дать ни взять, капля крови!

Для Хирамана имя Хирабаи было что пустой звук. Женщину, которая работает в цирке, он вовсе не склонен был считать госпожою — навидался он на своем веку таких женщин! Вот, к примеру, жена хозяина цирка, который подрядил его везти клетку с тигром. Она с двумя дочками всю дорогу шагала рядом с арбой, как простая крестьянка, сама и кормила тигра, и ласкала его. А старшая дочь угощала печеньем волов Хирамана. Разве такие господа бывают?

Хираман ни о чем не забывает. Едва туман рассеялся, он сделал над арбой навес из своей накидки — отгородился от спутницы. Чтобы встречные не подумали невесть что и чтобы ее защитить от солнца. Хотя и осень уже, а утренние лучи горячие, к ним привычен не всякий. Скоро доберемся до речки — Каджри называется. Там на берегу деревня. Вот в тенечке и отдохнем.

Завидев вдали встречную повозку, Хираман настораживается.

— Ярмарка-то кончается, что ли, братец? — поравнявшись с ними, спрашивает встречный.

В ответ Хираман кричит, что о ярмарке ничего не знает. А в повозке у него молодуха — едет к мужу. Для правдоподобия Хираман даже деревню называет — Чхатарпур.

— А Чхатарпур далеко?

— Отсюда не видать! — кричит Хираман и смеется, довольный своей хитростью. Хоть и отгородился он накидкой от спутницы, все равно по спине сладкие мурашки пробегают.

Хираман украдкой прижимает глаза к прорехе в накидке. Держа перед собой крохотное, со спичечную коробку, зеркальце и кокетливо оттопырив губки, Хирабаи рассматривает свои зубы. А зубы у нее белые, ровные, один к одному, точь-в-точь как мелкие ракушки-каури на полотняной тесьме, что купил он на ярмарке в Маданпуре.

Вдали показываются вершины трех деревьев, растущих почти вплотную друг к другу.

— Взгляните-ка,— слегка сдвигая накидку, говорит Хираман.— Вон там и будем отдыхать. Тут это место так и прозвали «Три красавца». Два-то дерева обычные, а третье... Не знаю, как оно называется, только пахнет уж-очень хорошо — вот как цветы у вас на блузке. Когда цветет, на два коса запах разносится. Сухие цветы в табак подмешивают. Для запаха.

— А вот там, у манговой рощицы, видны постройки — это деревня или какой-нибудь храм?

Хираман не спеша достает из кармана бири [2], чиркает спичкой, но, прежде чем затянуться, спрашивает:

— Можно я закурю? Дым не помешает? Что это там, спрашиваете? Храм! Один раджа построил. Да, было время!

Хираман умолкает и глубоко затягивается. Еще больше отодвинув накидку, Хирабаи нетерпеливо кашляет.

---

[1] Каннур на хинди означает «Ухоград». а Накпур — «Носоград».

[2] Местные сигареты, которые изготовляются из целых листьев табака.

— Какое время? — с любопытством спрашивает она, касаясь рукой подбородка.

— Какое время? Да золотое! Да-а-а, что было и что стало! Даже не верится!

Что и говорить! Хираман умеет заинтересовать слушателя!

— А сам ты жил в то время? Своими глазами видел? — нетерпеливо спрашивает Хирабаи.

— Видеть не видел, а слыхать слыхал. О том, что было тогда, много говорят в народе. Сказывают, будто в доме у раджи родился сын: не простой мальчик — девата́, земное воплощение бога. Только бог, он бог на небе, а вот когда спускается на землю, попробуй-ка отличи его от других! Сиянье-то вокруг головы не каждому увидеть дано, хоть оно горит, как подсолнух на солнце. Словом, никому и невдомек было, что не простой это мальчик, пока не прилетел сюда на самолете какой-то важный английский господин — лордом называется. Да не один, а с женою. Сам-то лорд тоже ничего особенного не приметил бы, если бы не жена. Увидала она светлый венчик вокруг головы у мальчика — да к хозяину. «Это,— говорит,— не простой мальчик, а живой бог».

И Хираман так уморительно изобразил жену лорда, что Хирабаи засмеялась.

— Ну, и что же дальше было? — поправляя сползшее покрывало, спросила она.

— Что дальше-то? Интересно, значит? Наш брат чумазый так чумазым и останется, будь он хоть раджа, хоть махараджа. Где уж ему до настоящего сахиба! Рад бы, да ума не хватает! Не поверили ей хозяева. Тогда мальчик стал являться во сне рани[1]. «Отпусти,— говорит,— если не умеешь служить мне. Все равно,— говорит,— не буду я жить у вас». Тут и началось — одна беда не миновала, другая у порога дожидается. Сначала у них слоны передохли — большие были слоны, с бивнями, что твое бревно. После этого скакун пал, ну, а уж потом все прочее.

— А что все прочее?

На душе у Хирамана еще никогда так тепло и радостно не бывало. В сердце словно бутон распускается — многоцветный, точно радуга. И кажется ему, будто не арбой он правит, а восседает на небесной колеснице и за спиной у него сама Сарасвати, богиня мудрости и красоты!

— Все прочее, говорите? Ну, скот там, богатство, драгоценности. Все прахом пошло! А мальчик этот и вправду сгинул. Говорят, будто вознесся на небо.

Глядя на медленно скрывающийся за горизонтом купол храма, Хирабаи устало зевает.

— Но прежде чем исчезнуть,— неторопливо продолжает Хираман,— мальчик этот будто объявил, что никого не останется у них, кроме наследника. «Все богатства,— говорит,— забираю с собой, вам оставляю только память о себе». Вместе с ним сгинули и все остальные, какие там были, боги. Осталась одна богиня Сарасвати. Вот в ее честь и воздвигли этот храм.

Завидев впереди двух дюжих крестьян, которые вели в поводу тощую клячу с перекинутыми через седло тюками джута, Хираман опускает край накидки, отделяющей его от Хирабаи, и, прикрикнув на лениво шагающих волов, затягивает песню, какой обычно открывают представление бродячие актеры:

---

[1] Супруга махараджи.

Слава, слава тебе, Сарасвати, мать наша!
К стопам твоим с мольбою припадаем,
На тебя вся надежда, родная,
на тебя вся надежда!

Когда лошаденка была уже совсем рядом, Хираман, оборвав пение, громко спрашивает:

— Джут-то почем нынче?

— Тридцать за тюк! Какой товар, такая и цена! — хмуро бросает пожилой крестьянин, как видно, хозяин клячи.

— А как там на ярмарке? — в свою очередь интересуется его спутник, молодой парень.— Танцоры каждый вечер выступают? Кто там сейчас, Раута или Матхурамохан со своими людьми?

— Как там дела, знает тот, кто возвращается с ярмарки! — опять хитрит Хираман.— А мы едем из Чхатарпура!

Солнце начинает припекать, и Хираман понукает волов:

— Ну, братцы, совсем уж немного осталось! Еще кос — и мы на месте! Поторопитесь, братцы, поторопитесь! Пить, наверно, хочется!

Помнится, в тот раз, когда у «Трех красавцев» цирк останавливался, между клоуном и тем... как его... дрессировщиком... чуть драка не началась. Клоун зубы оскалил да как завизжит — ну, прямо обезьяна! И откуда только берутся такие!

Хираман опять украдкой заглядывает в прореху. Хирабаи сидит, уставившись в какую-то бумагу. Душа Хирамана купается в звуках одному ему слышной музыки, а на память приходят слова давно позабытых песен. Лет двадцать назад, а может и больше, очень понравилась ему одна песня. Пели ее на наскоро сколоченных подмостках. И как хорошо пели. Теперь уж так не поют. Да, было времечко! И будто сама собой полилась песня:

Благородный жених у меня,
благородный,
Издалека он весть мне прислал,
издалека.
Подарила мне счастье судьба,
подарила.
Возвратится любимый ко мне,
возвратится...

Отбив пальцами такт на грядке арбы, Хираман внезапно умолкает и задумывается. Уж очень похожа Хирабаи на певца, который пел тогда эту песню,— ну, как две капли воды! Да-а-а, было время! И ушло — не воротишь! Чуть не каждый месяц наведывались в деревню певцы и танцоры. Ни одного представления не пропускал тогда Хираман. Целыми днями не показывался дома. Ну и доставалось же ему от невестки! Брат даже грозился выгнать его из дому.

А сейчас у Хирамана такое чувство, будто сама Сарасвати вдохновляет его...

— Что же ты замолчал? — прерывает нить его воспоминаний взволнованный голос Хирабаи.— Продолжай! У тебя так душевно получается!

От смущения смуглое лицо Хирамана становится совсем темным. Склонив голову почти до колен, он застенчиво улыбается.

Все ближе пышные ветви трех неразлучных красавцев. А под ними — ни одной повозки, хотя обычно тут собирается целый табор: повозки, волы, шумная толпа возчиков. Только какая-то щуплая фигурка примостилась рядом с прислоненным к стволу велосипедом. Мальчишка. Устал, видно,— отдыхает. Въехав в тень, Хираман останавливает волов. Хирабаи отбрасывает накидку. Хираман незаметно

делает ей знак глазами, чтобы не очень торопилась,— вон торчит тут какой-то и пялит на нее глаза.

Хираман подставляет под дышло треногу, снова забирается на арбу и хмуро спрашивает велосипедиста:

— Куда едешь-то? На ярмарку? А откуда? Из Бисанкура? И уже устал? Это же совсем рядом! Тоже молодежь называется!

Подросток бормочет что-то невнятное и, ткнув в землю окурок, вскакивает с земли.

Хираман оглядывается по сторонам и облегченно вздыхает. Кругом — ни души. И вдали никого: ни повозки, ни всадника. Значит, не будет ни любопытных глаз, ни соленых шуточек.

Подбежав почти вплотную к «Трем красавцам», узкая и мелкая речушка Каджри вдруг поворачивает круто на восток. Не слезая с арбы, Хирабаи смотрит на речку, прихотливо вьющуюся в зеленом бархате берегов, на черных буйволов, по самую шею погрузившихся в воду, на белых цапель у них на спинах.

— Вот и до воды добрались! Теперь и умыться не мешает! — добродушно говорит Хираман.

Хирабаи осторожно спускается с арбы. Хираман видит ее маленькую, словно точеную, ножку, и сердце у него почему-то начинает биться часто и тревожно. И он невольно замечает, что подошвы ног у нее — красные, будто выкрашены киноварью. Хирабаи неторопливо спускается к речке. Идет она легко, чуть наклонив голову, как в их деревне обычно ходят к колодцу женщины. Поглядишь — и не верится, что она из цирка! Совсем еще девочка. И, по всему видно, из порядочной семьи.

Хираман проворно взбирается на арбу и, украдкой оглянувшись по сторонам, неловко касается подушки, на которую опирался локоток Хирабаи. Потом наклоняется и жадно вдыхает исходящий пряный аромат жасмина. Заскорузлыми пальцами ласково гладит он цветы, вышитые в углах подушки. Ах, как они благоухают, эти пышные цветы! Даже голова кругом пошла, будто накурился гашиша. Он смотрит на себя в крохотное зеркальце Хирабаи, лежащее тут же, и удивляется: глаза красные, воспаленные, будто после болезни. Отчего бы это?

Когда Хирабаи возвращается, он со смехом говорит ей:

— А теперь вы посторожите арбу. Я мигом.

Из своей дорожной корзинки Хираман достает чистое полотенце, перекидывает его через плечо и, захватив пустое ведро, отправляется к речке. Волы, громко сопя, тянутся к нему.

— Всем пить хочется! — весело говорит Хираман.— Вот вернусь— подкину травы. А пока не балуйте!

Волы согласно дергают ушами.

Хирабаи не услышала, как Хираман вернулся,— ее сморил крепкий утренний сон.

Пока она спала, Хираман позаботился о завтраке — сходил в деревню, принес оттуда кислого молока, сахара и жареного риса.

— Хватит спать, вставайте! Позавтракаем чем бог послал.

Хирабаи удивленно открывает глаза. Перед нею стоит чисто умытый Хираман и держит в одной руке новенький глиняный горшочек с квашеным молоком, накрытый свежим банановым листом, а в другой — ведро с водой. Он радостно и робко улыбается.

— Откуда это?

— В этой деревне хорошо квасят молоко. Жалко, чаю нет. Ну, да уж придется подождать до Форбисганджа.

Хираман кладет перед нею банановый лист и ловко расставляет угощение.

— А почему только мне? — говорит Хирабаи.— Если ты не хочешь есть вместе со мною, то лучше сразу убери все в свою корзинку. Я тоже не буду есть.

— Кхе! — смущенно кашляет Хираман.— Ну, хорошо. Только сначала вы покушайте, а я потом.

— Никаких «сначала» и «потом»! Садись и ешь!

Хираман совсем растерялся. Тем временем Хирабаи кладет перед ним кусок бананового листа, сбрызгивает лист водою, горкой насыпает жареный рис.

Хирамана даже в жар бросило. А Хирабаи как ни в чем не бывало принимается за квашеное молоко, и сразу же уголки ее губ будто кто-то подводит белым. А губы у нее алые-алые — ну совсем как клюв попугая, что водится в непальских тераях.

Жаркое солнце начинает клониться к закату.

Хирабаи, сладко спавшая под навесом, и Хираман, прикорнувший на подстилке у колес арбы, проснулись одновременно. Их разбудил скрип колес и гомон возчиков — у «Трех красавцев» остановился обоз. Надсадно кричали грудные дети.

Хираман поспешно вскакивает и, заглянув под накидку, молча показывает на солнце: пора, мол.

Пока Хираман запрягает волов, вновь прибывшие засыпают его вопросами — кого везет, да куда, да по какому делу,— но он ни одного из них не удостаивает ответом. Только тронув волов, неохотно бросает:

— Докторшу везу. Из больницы, что в Сирпурбазаре. Едет к больному. Тут неподалеку — в Курмагале.

Отдохнувшие волы бодро шагают по пыльной дороге. «Три красавца» остались позади.

— А как же Чхатарпур? — неожиданно раздается за спиной лукавый голосок Хирабаи.

— Чхатарпур? Ха-ха-ха! Да ведь обоз-то был из Чхатарпура! Ха-ха-ха!

Хирабаи с задумчивой улыбкой рассматривает деревушку, через которую они проезжают. Завидев арбу с поднятым верхом, к дороге сбегаются ребятишки. Веселой стайкой они бегут за арбой и, хлопая в ладоши, хором повторяют слова дразнилки:

В новом красном паланкине
Сидит девка, как гусыня.
Бетель ела — подавилась,
Чуть на землю не свалилась.

Хираман усмехается. Будто и вправду невеста в паланкине. Невеста робко жует бетель и от смущенья прикрывает лицо концом жениховского тюрбана. Запомни ребятишек из этой деревни и на обратном пути угости их чем-нибудь сладким!

А муж твой пусть здравствует лет до ста! Хоть и отказался Хираман жениться, а тайком от всех давно мечтал о таком дне и даже во сне не раз видел, как возвращается в родную деревню с молодой женой. Сбежавшиеся со всей деревни ребятишки хлопают в ладоши и распевают свою насмешливую песенку. Женщины, громко переговариваясь, с жадным любопытством провожают глазами плотно занавешенный красный паланкин, а мужчины степенно справляются— издалека ли и куда путь держит. Чуточку отодвинув краешек занавески, из паланкина робко выглядывает его молодая жена. Сколько раз эти виденья тревожили его утренний сон!

Когда деревня наконец осталась позади, Хираман украдкой заглядывает в заветную прореху. Хирабаи сидит строгая, невидящими

глазами глядя прямо перед собой. Хираман молча отворачивается и задумчиво чешет в затылке. Волы идут ровным шагом, арба поскрипывает, а на выбоинах устало крякает. И как-то сама собой льется песня, разгоняя дорожную скуку:

На суд всевышнего явиться предстоит,
Но нет слона, коней и колесницы.
Не лги себе, неправда лишь
укором прозвучит,
Мужайся и не жди небесного возницы.

Это была песенка из какого-то фильма, и Хираман пел ее на хинди.

— А на майтхили, твоем родном языке, разве нет хороших песен? — с легким укором спрашивает Хирабаи.

Разговаривая с ней, Хираман уже не отворачивается застенчиво, как прежде, а смотрит ей прямо в глаза и все больше удивляется — неужели среди певиц есть такие женщины? Вот совсем недавно рядом с ним шла жена хозяина цирка. Конечно, она хорошая женщина — добрая, умная и хозяйственная, но разве можно сравнить ее с Хирабаи? Захотела послушать песню на местном деревенском языке! Чудеса! И Хираман широко улыбается.

— А вы поймете на майтхили?

— Пойму,— кивает Хирабаи, и в такт движению ее головы покачиваются золотые серьги.

Поглаживая бичом спины волов, Хираман некоторое время молчит. Потом неуверенно спрашивает:

— А вы и вправду будете слушать? Да-а-а, видно, вы и в самом деле любите наши песни! Ну, тогда нам придется свернуть с большака. Кто ж поет на людной дороге?

И Хираман поворачивает волов на еле заметный проселок.

— Харипур объедем, не велика беда.

Увидев, что арба Хирамана сворачивает с большака, следовавший почти вплотную за ними возчик испуганно кричит:

— Эй! Куда это вас понесло?

Хираман с досадой отмахивается:

— Нам в Нанакпур нужно! — и вполголоса сердито добавляет: — И что за народ в этих краях! Пока едешь, сто раз допросят, куда да зачем! Будто ты перед судом! Что за дурная привычка у людей! Едешь ты по дороге — ну, и езжай себе на здоровье! Нет же, ему надо допытываться, что, да как, да почему! Деревенщина неотесанная!

Свернув на проселок, Хираман перестает понукать волов, и они, будто чуя его настроение, тотчас сбавляют шаг.

На дороге к Нанакпуру не видно ни души. Перехватив недоуменный взгляд спутницы, Хираман добродушно ее успокаивает:

— Да вы не бойтесь. Эта дорога идет прямо до Форбисганджа. А народ тут хороший. До полуночи будем уже на месте.

Спешить Хирабаи некуда, и к тому же она прониклась таким доверием к Хираману, что у нее в душе не возникает даже тени сомнения или страха. А Хираман смущенно улыбается. Какую же песню спеть? Она, видно, охотница и до сказок и до песен. О рыбаке или, может, еще о чем-нибудь?

— Ну, ладно,— наконец решительно говорит он,— раз уж вам так интересно, спою я вам про дочку перевозчика. Все есть в этой песне — и быль и сказка.

Исполняется наконец его заветное желание. Слава тебе, богиня Сарасвати! Подсоби, заступница! Сейчас он покажет себя, изольет

в песне всю душу! И не отрывая глаз от плотно сомкнутых губ своей спутницы, в углах которых теплится улыбка, Хираман неторопливо начинает:

— Ну, так вот, слушайте... На реке Парамане жил когда-то перевозчик. И была у него дочь. Были они родом из здешних мест, держали перевоз — в здешних местах многие этим занимаются,— но другой такой, как она, не было. Отец пил горькую: нахлебается местного вина и целыми днями отсыпается где-нибудь в кустах. Спиртного тут хоть отбавляй — гонят из лепестков махуа, а тари делают из пальмового сока. Отец-то пил, а матери у девочки не было. Померла мать, когда ей и годочка не исполнилось. Ну, а мачеха — и не приведи всевышний: настоящий демон-ракшас в сари! С падчерицы глаз не спускает. А зналась мачеха со всякими темными людьми: ворами, пьяницами да курильщиками гашиша. Спрятать ли краденое, угостить ли гашишем, чтоб сознанье у человека отбило,— без нее ничего не обходилось. А падчерица была девушка скромная, работящая, и потому мачеха готова была семь шкур с нее спустить. Падчерица уже взрослая стала — надо было замуж ее отдавать, а мачеха об этом не думает. Вышла падчерица как-то ночью к реке... А теперь слушайте!

Темной ночкою дождливою
выхожу на берег реченьки,
Страшно мне, родная матушка,
беззащитной твоей доченьке.
Но страшнее страха лютого
оставаться в доме с мачехой...

Песня ширилась и росла. Голос певца звучал задушевно, скорбно, изливая боль о горькой судьбе падчерицы....

Зачем она оказалась здесь, на безлюдном берегу реки? Затем, чтобы помочь чужестранцу, очутившемуся в этих местах. Но как помочь ему? Ведь на цепь лодки мачеха навесила тяжелый замок. На небе грохочут тучи, их прорезает молния, хлещет проливной дождь. Падчерице жутко. От страха она горько плачет. Если б жива была мать ее — не пришлось бы стоять ей сейчас под проливным дождем. Мать приласкала б ее, утешила, осушила слезы. Если б она была жива... О матушка, неужели на муки родила ты меня, горемычную?

Опершись локотком на подушку, Хирабаи, вся захваченная песнею, не отрывает глаз от лица Хирамана. Какая боль и скорбь написана на нем!

Морят голодом несчастную,
попрекают каждой крошкою,
Бьют нещадно сиротинушку
да вдобавок насмехаются.
Ой ты, матушка любимая,
я зачем на свет народилася,
Позови к себе свое дитятко,
для нее не жизнь—ночка темная!

Хираман заканчивает строфу и, переводя дыхание, спрашивает у спутницы:

— Ну как, нравится?

— Очень! Изумительная песня! — с неподдельным восхищением говорит Хирабаи.

— Да-а-а, хорошая песня,— тянет Хираман, явно польщенный.— Только она на этом не кончается.

Плакала девушка, рыдала, да слезами-то горю разве поможешь? Приглянулась она какому-то купцу. Вот и купил он ее, будто это не живой человек, а скотина бессловесная. Уплатил за падчерицу,

сколько мачеха запросила, схватил несчастную за косы да и потащил к реке, где лодки привязаны. Притащил он ее туда, кричит лодочнику: «Отвязывай лодку, поднимай парус!» Лодка под парусом скользнула над волнами, точно чайка белокрылая. Всю ночь не смыкала глаз падчерица, все оплакивала свою судьбу. Слуги купца ее стращали: не замолчишь — в реку выбросим. Вот и решилась она тогда. К утру-то задремали слуги купца. И вот когда мелькнула меж туч утренняя звезда, девушка прыг за борт, только плеск раздался. Увидал это один из слуг купца — она ему приглянулась,— да и следом за нею. Против течения плыть — это ведь не шутка, да еще в ледяной воде. Но, слава всевышнему, падчерица с детства у реки росла — как рыба плавала. Плывет она без устали — все дальше от лодки, все ближе к берегу. А тот, что следом за нею прыгнул, все кричит ей: «Подожди меня! Я не враг тебе! Я друг твой! Всю,— кричит,— жизнь будем жить с тобой». Да не слышит его девушка...

Любит Хираман эту песню. Когда поет он ее, перед его взором в предрассветном сумраке хмуро катит свои волны широкая пустынная река, а в низких черных тучах змеятся огненные молнии, и в их блеске видит мокрое лицо девушки, бесстрашно борющейся с волнами. Теперь она плывет еще быстрее, будто огромная речная рыба... В такие минуты Хираману кажется, что это не слуга купца, а он, Хираман, прыгнул в реку следом за девушкой, и это он, выбившись из сил, кричит ей, и в его, Хирамана, душе поднимается отчаяние, когда он видит, что девушка не верит ему. Даже не обернулась ни разу. А он уже из сил выбивается... Только девушка все-таки позволила ему догнать себя — даже сама поплыла ему навстречу и коснулась рукою его лица, и от ее прикосновения силы снова вернулись к нему, а ее душа, целых пятнадцать лет не знавшая, что такое ласка, обрела наконец покой и счастье. И, выбравшись на берег, они бросились друг к другу в объятия и зарыдали...

Песня кончилась. Хираман прятал от Хирабаи мокрые глаза. Но она и сама не скрывала слез. Стараясь унять дрожь в голосе, Хираман ласково понукает волов: есть в этой песне что-то такое, что и на них действует — они начинают тревожно поводить ушами и озираться, словно на арбу взвалили непосильный груз.

Хирабаи печально вздыхает, и у Хирамана по всему телу опять пробегают сладкие мурашки.

— А ты ведь чудесно поешь!

— Куда нам!

Осеннее солнце поднимается невысоко. Поднимется, посветит немного и опять начинает клониться к закату. А им засветло надо бы добраться до Нанакпура.

— Ну-ка, милые, поживей шагайте, поживей! — понукает Хираман волов.— Совсем вы обленились, братцы!

Подхлестывая волов, Хираман ведет с ними неторопливую беседу:

— Не забыли, как обогнали все упряжки на свадьбе у старостиной дочки? Ну вот, а если не забыли, то шагайте побойчее! Вам бы все шажком! А ну, поживей! Ведь от Нанакпура до Форбисганджа не меньше трех косов! Еще шагать да шагать!

На базарной площади в Нанакпуре Хираман наполняет лоту[1] чаем, которым бойко торгуют разносчики. Для нее, для Хирабаи. Кто-кто, а уж он-то знает, чем угодить своей спутнице. Жена хозяи-

[1] Низкий бронзовый сосуд с широким горлом. Лотой пользуются для питья и в ритуальных целях.

на цирка, бывало, только тем и занималась, что чаек попивала. Без чая для нее и жизнь была не в жизнь.

Заметив в руках Хирамана лоту с чаем, Хирабаи улыбается:

— Разве ты не знаешь, что пить так много чая вредно?

Хираман смущается. Может, и в самом деле вредно? Да и она невесть что может подумать! Вот и угоди такой!

— Пейте, пожалуйста, наставник,— весело говорит Хирабаи, протягивая ему стакан с чаем.

Приятно, когда тебя угощает женщина,— в этом он убедился, когда вез жену хозяина цирка, но Хираман скромно отказывается:

— Спасибо, я потом.

Во всех лавчонках на базарной площади уже горели фонари. Хираман тоже достает свой фонарь, неторопливо зажигает фитиль, поправляет стекло и привязывает фонарь к арбе сзади. Ничего не поделаешь — порядок. Нынче и в деревнях в пяти косах от города все считают себя городскими и требуют соблюдения городских правил; коли на проезжающей через деревню арбе не будет зажженного фонаря, возчика сразу схватят, отведут в панчаят и тут же оштрафуют. Забудешь зажечь фонарь — хлопот не оберешься!

Хираман негромко окликает волов, и арба со скрипом трогается с места.

— Не называйте меня наставником,— оборачиваясь к спутнице, говорит Хираман.

— Почему? Вы действительно мой учитель и наставник. В шастрах [1] сказано так: кто научит тебя хотя бы одной букве, тот твой учитель и наставник.

— Хм! А вы, оказывается, и шастры знаете! Только я-то тут при чем? Чему я вас научил?

Вместо ответа Хирабаи тихо смеется и вполголоса поет:

Темной ночкою дождливою
выхожу на берег реченьки...

Хираман поражен. Подумать только! С лета напев схватила! И поет как! Будто падчерица — она сама!

Арба с грохотом скатывается по крутому склону к высохшему руслу речки Ситадхары. От неожиданности Хирабаи ойкает и упирается рукою в спину Хирамана. Он чувствует на своем плече ее прохладную ладошку и крохотные пальчики. Несколько раз он осторожно оглядывается, но не видит ничего, кроме черного силуэта.

Арба уже медленно ползет вверх по откосу, и пальчики Хирабаи снова сдавливают его плечо.

Впереди заблестели огни Форбисганджа. Чуть поодаль мерцают редкие фонари ярмарочного городка... Арба бойко катит по дороге, и позади нее по земле скользит пятно света. На глаза Хирамана навертываются слезы, вокруг каждого огонька расплывается радужный венчик, похожий на крохотный подсолнух.

Форбисганджа для Хирамана точно дом родной. Он уже и счет потерял, сколько раз бывал здесь. Возил на ярмарку всякий груз. А вот женщин, кажется, возить еще не доводилось. Впрочем, нет, доводилось. Правда, всего лишь один раз. В том самом году, когда невестка — жена брата — перебралась наконец от родителей в их дом. Переезд молодой жены в дом супруга называется в здешних местах

[1] Древнеиндийские трактаты, определявшие нормы поведения человека.

«гауна». Он сам вез тогда невестку, как и теперь, соорудив на арбе навес из брезента.

Добравшись до постоялого двора, Хираман первым делом поправляет брезентовый навес. Завтра рано утром сюда явится... как его... антрепренер, и Хирабаи, договорившись с ним об условиях, подпишет контракт.

Хотя ярмарка открывается только послезавтра, уже народу понаехало видимо-невидимо. Эту ночь она проведет в арбе Хирамана, точно у себя дома.

— Это кто же приехал? — раздаются голоса.— А, это ты, Хираман? Откуда тебя принесло? С ярмарки? А что за поклажа?

Возчики распрягают волов и, отыскивая знакомых, располагаются на ночь. Односельчан Хирамана тут трое: Лалмохар, Дхуннирам и Палатдас. Он весело с ними здоровается, а Палатдас уже заглядывает под брезент — и отшатывается, будто увидел там тигра. Хираман делает им знак замолчать и, кивнув на брезент, шепотом произносит:

— Тише! Там — пе-ви-ца! Поняли?

— Певица?!

Все трое ошеломленно переглядываются. Певица! Вот так поклажа! Лалмохар манит Хирамана в сторону: дескать, поговорить надо, но Хираман, взглядом показав на арбу, шепотом же продолжает:

— Время позднее, а ей надо бы поесть чего-нибудь.

— Послушай-ка, Хираман,— доносится из-за брезента голос Хирабаи.— На вот, возьми. Я устала после дороги и не хочу есть, а тебе надо подкрепиться.

— Что это? Деньги? Да зачем они мне?

В Форбисганджe Хираман никогда не покупает себе еду. Зачем покупать, когда вокруг столько односельчан? И, вернув Хирабаи деньги, он негромко, но твердо говорит ей:

— Не спорьте. Мы сами знаем, что нам делать. А деньги приберегите, они еще вам пригодятся.

К арбе осторожно подходит Лалмохар.

— Там, где готовятся ужинать трое, для двоих еще место найдется,— говорит он, кланяясь и поднося ко лбу сложенные лодочкой руки.— Рис уже сварился, так откушайте с нами! Все мы из одной деревни, вместе и едим. Такой уж у нас обычай. А в харчевню идти — самое последнее дело!

Хираман незаметно щиплет Лалмохара — дескать, хватит болтать попусту.

Отойдя от кибитки шагов на тридцать, Дхуннирам сплевывает:

— Тьфу! А ты тоже хорош, Хираман! В прошлом году приволок тигра, а теперь и того лучше — бабу привез!

— Она не из наших краев,— вполголоса оправдывается Хираман.— На нашу чуть цыкнул — она и язык прикусила, а эта спуску не даст! Такая смелая! Что там говорить! И родом не из наших мест, и певица!

— Да певицы эти, говорят, и на стороне подработать не прочь,— с ухмылкой тянет Дхуннирам.

— Ну, ты говори, да не заговаривайся! — обрывает его Хираман.— Недаром все тебя сторонятся. Тоже выдумал — подработать не прочь! Увидел бы ты ее — по-другому б заговорил! Мелет невесть что!

Дхуннирам испуганно бормочет, что это только шутка, но тут вмешивается Палатдас.

— Э, брат Хираман! — восклицает он.— Как же ты решился оста-

вить женщину на арбе одну? Что бы там ни говорили, а женщина она и есть женщина. А вдруг что случится?

Все одобрительно закивали.

— Верно, Палат,— говорит Хираман.— Возвращайся-ка ты, посторожи арбу. Да смотри не болтай лишнего! Держи язык за зубами, а то сам знаешь!

...Стоявший рядом с Хираманом Лалмохар с наслаждением втягивает носом воздух:

— Хорошо пахнет!

Тюрбан Хирамана, от которого многие месяцы несло псиной — поездка с тигром не прошла даром,— теперь источает тонкий аромат жасмина.

— Посоветуй, что делать, брат Лалмохар,— говорит Хираман.— Уж очень она просила прийти на представление. «Обязательно,— говорит,— приходи!» И слушать ничего не хочет.

— Как — за деньги или даром? А в деревне не проведают?

— Ну, нет! — убежденно восклицает Хираман.— Никто и знать не будет! Сам про себя ты же рассказывать не станешь?

— Если даром, тогда и говорить не о чем!

Рядом с навесом Лалмохара расположились возчики, доставившие на ярмарку строительный лес.

— Кто это из вас, братцы, привез поклажу из Минабазара? — спокойно попыхивая трубкой, спрашивает старый возчик, мусульманин Мияндж ан.

«Минабазар», то есть «рынок услады»,— так в здешних местах называют публичный дом! Это на что же он намекает, старый хрыч?

— А от тебя духами пахнет! Верно тебе говорю! — шепчет Лалмохар на ухо Хираману.

Широкоплечий парень по прозвищу Чеснок, который приехал вместе с Лалмохаром, тоже как-то странно принюхивается. Он самый младший в их компании. И хотя в извоз Чеснок отправился впервые в жизни, он уже пообтерся среди людей, знает что почем. Хираман замечает, как Чеснок блаженно поводит носом и лицо его расплывается в улыбке.

...Кто это там мчится во весь дух? Палатдас? Может, стряслось что-нибудь?

Палатдас никак не отдышится. Он хватает воздух широко открытым ртом и молчит. Все выжидающе смотрят на него.

— Что случилось? — почти кричит Хираман.

Что может ответить Палатдас? Ведь сам же Хираман предупреждал, чтоб он держал язык за зубами. Как и велел Хираман, он вернулся к арбе и молча уселся на передке арбы на месте хозяина.

«Ты тоже односельчанин Хирамана?» — спросила его Хирабаи, выглядывая из-за брезента. В ответ он только молча кивнул. Хирабаи снова улеглась. От одного вида ее, от звука ее голоса сердце Палатдаса лихорадочно заколотилось, чего с ним раньше никогда не бывало. Вот так история! Ему вспомнилось, что в такой же позе — устало вытянувшись — лежала Сита в первом действии «Рамлилы» [1]. «Слава жениху Ситы — царевичу Раме! — едва не крикнул пораженный Палатдас.— Слава его невесте Сите!» Ведь Палатдас — правоверный вишнуит — поклонник божественной четы, и ему впервые в жизни выпало счастье лицезреть живую Ситу! И ему страстно захотелось благоговейно коснуться ног устало раскинувшейся Ситы. Буд-

[1] «Рамлила» — народная мистерия о подвигах царевича Рамы — живого воплощения бога-вседержителя Вишну; Сита — невеста, затем супруга царевича Рамы.

то по клавишам аккордеона, он пробежал кончиками пальцев по ее крохотной стопе.

«Ты что, с ума сошел! — возмущенно вскочила Хирабаи.— Убирайся отсюда! Да поживее!»

Опешившему Палатдасу показалось, будто ее глаза мечут молнии, и он в страхе бросился бежать.

Так что же мог он сейчас ответить Хираману, как объяснить свой поступок?

— Ничего не случилось,— отвечает наконец Палатдас, стараясь унять дрожь в голосе.— Просто мне попался один торговец. Ему надо со станции доставить груз. Ехать нужно сейчас же, а то будет поздно. Ну, вот я и вернулся.

Дхуннирам и Чеснок подозрительно смотрят на Палатдаса. Пустой человек! Жадная душонка! Ему бы только лишнюю пайсу заработать!

Подкрепившись, Лалмохар отвязывает свой навес. Потом они вместе с Дхуннирамом и Чесноком запрягают волов и, погрузив поклажу на арбу, не спеша едут к арбе Хирамана. Хираман идет сбоку, но вдруг останавливается и поворачивается к Лалмохару.

— Понюхай-ка плечо,— шепотом говорит он.— Чуешь, чем пахнет?

Понюхав его плечо, Лалмохар от удовольствия даже глаза закрывает. Ух!

— Чуешь, чем пахнет? А она всего-навсего рукой прикоснулась! Понял теперь?

Лалмохар хватает Хирамана за руку:

— Послушай, Хираман, тебе обязательно надо сходить на представление. Больше такого случая не выпадет.

— Ты тоже пойдешь?

В ответ Лалмохар только улыбается во весь рот — в свете яркого электрического фонаря сверкает ровный ряд зубов.

Хираман еще издали замечает, что у его арбы рядом с Хирабаи стоит какой-то мужчина.

— Где ты застрял? — перебивая друг друга, почти кричат Дхуннирам и Чеснок.— Пока вы там прохлаждаетесь, ее тут уже умыкнуть собираются!

Подойдя к арбе, Хираман с удивлением узнает в собеседнике Хирабаи того самого носильщика, который договаривался с ним в Чампанагаре.

— А-а, это ты, Хираман! — радостно восклицает Хирабаи.— Наконец-то! Ну, что ж, иди сюда, будем рассчитываться... Вот двадцать пять — как договаривались, а эти двадцать пять прими от меня как подарок.

У Хирамана такое ощущение, будто кто-то грубо столкнул его с небес на грешную землю. Впрочем, не кто-то, а вот этот самый человек, так похожий на носильщика. «Откуда ты тут взялся?» — вертится у него на языке, но он ни о чем не спрашивает.

Как подарок! Подачка, значит.

И он стоит молча, не отводя от ее лица широко открытых глаз.

— Ну, бери же! — нетерпеливо произносит Хирабаи.— А завтра приходи. Я теперь в труппе Раута. Я скажу, чтобы тебя пропустили бесплатно. Что ж ты молчишь?

— Бери, Хираман, не стесняйся! — толкает его Лалмохар.

Хираман сердито взглядывает на него. Даже говорить по-людски не умеет! Тоже друг называется!

Затянувшееся молчание прерывает Дхуннирам. Его слова звучат как заклятье:

— Возчику на ярмарке не годится бросать арбу и таскаться по представлениям.

— Ну, что ж ты молчишь? — снова повторяет Хирабаи.

— А что говорить-то? — горько усмехаясь, глухо произносит Хираман, принимая из ее рук деньги. Певичка — она певичка и есть! Какое ей дело до простого возчика!

Водрузив на голову ее вещи, мужчина показывает рукой куда-то в толпу:

— Сюда, пожалуйста,— и не простясь отходит.

Поравнявшись с волами, Хирабаи на миг задерживается и, обращаясь к животным, ласково окликает их:

— Ну, прощайте, братцы.

И волы, повернув к ней морды, понимающе прядают ушами.

— Сегодня! Впервые на подмостках! Музыкальное представленье труппы господина Раута! Выступает известная танцовщица Гульбадан! Гульбадан! Первые выступления в труппе господина Раута! Гульбадан, она же мисс Хирадэви, перешла к нам в труппу!.. Запомните! Сегодня впервые! Выступление мисс Хирадэви Гульбадан!..

Новость, гремящая из репродуктора, вызывает в ярмарочных рядах оживление. Гульбадан — кто такая, говоришь? Так это же Хирабаи! Говорят, так танцует — всех киноактрис за пояс заткнет! А тем временем из репродуктора, установленного на тонге [1], призывно несется:

Чем ответить на любовь твою?
Весь бы век смотрел в очи черные.
Очи, полные страсти пламенной...

Аккомпанируя певцу, глухо звучит мриданг [2], самозабвенно заливается флейта, звенят колокольцы. И звуки музыки находят отклик в сердце каждого, кто приехал сюда.

Запыхавшись, к навесу подходит Лалмохар:

— Эй... Эй, Хираман! Ты что расселся! Иди посмотри, что там делается! Только и слышно: «Хирадэви Гульбадан!» А на плакатах даже портрет ее напечатан!

Хираман торопливо вскакивает.

Оказавшийся рядом Чеснок, обращаясь к хозяину, просительно тянет:

— Дядя Дхунни, а мне можно сходить? А вы бы пока посторожили...

Не дожидаясь, что ответит медлительный Дхуннирам, все трое бросаются следом за тонгой, сплошь увешанной рекламными щитами, из-за которых доносится грохот музыки. На каждом перекрестке тонга останавливается, гром музыки обрывается и разносится голос зазывалы, усиленный репродуктором. Каждое слово приводит Хирамана в неописуемый восторг. Услышав имя Хирабаи, он шлепает ладонью по широкой спине Лалмохара.

— Ну как, и теперь не пойдешь на представление? — хитро щурясь, спрашивает Лалмохар. Хираман молчит в растерянности. Дело в том, что все утро Лалмохар с Дхуннирамом уговаривали Хирамана навестить Хирабаи, а он заладил одно: «Отвяжитесь вы от меня! Она певица — ну, и пусть поет на здоровье! Была в одной труппе — пе-

---

[1] Двуколка.

[2] Ударный музыкальный инструмент, по виду напоминающий сдвоенный барабан.

решла в другую. Какое ей дело до нас? Теперь лицом к лицу столкнешься — не заметит!»

Когда тонга с зазывалой скрывается за поворотом, Хираман смущенно кашляет и, глядя в сторону, с напускным спокойствием наконец отвечает:

— Обязательно надо сходить! А ты как думал?

Коротко посоветовавшись, они шагают к пестрому полотняному балагану, в котором должно состояться представление. У входа Хираман делает знак Лалмохару: они договорились, что расспрашивать будет Лалмохар, потому что очень уж хорошо говорит на урду — не хуже, чем адвокат в суде. Лалмохар нерешительно останавливает проходящего мимо господина в черном ачкане [1]:

— Можно вас на минуточку, почтенный?

Господин в черном ачкане сердито оглядывает его:

— В чем дело? Как вы здесь оказались?

Оробевший Лалмохар от страха начинает заикаться:

— Да тут Гульгуль... Нет, не Гульгуль, а Бульбуль...

Неожиданно для себя на помощь ему приходит Хираман:

— Не могли бы вы сказать нам, где сейчас мисс Хирадэви?

Не удостоив их ответом, господин в черном жестом подзывает непальца, охраняющего вход.

— Как эти люди оказались здесь? Кто их пропустил?

— О, Хираман? — вдруг доносится откуда-то сбоку. Они поворачиваются: откинув край тяжелого занавеса, Хирабаи идет к ним, и лицо ее озаряет радостная улыбка: — Входите же, пожалуйста, входите! А ты, Бахадур,— оборачивается она к непальцу,— запомни этого человека! Это мой друг. Его зовут Хираман. Запомнил? Пропускай его в любое время. Понял?

Взглянув на Хирамана, непалец сдержанно улыбается. Господин в черном спешит за кулисы. Лалмохар угощает непальца бетелем.

На обратном пути Хираман и Лалмохар делятся впечатлениями, перебивая друг друга и не переставая удивляться. Да и как тут не удивляться! Хирабаи вручила им пропуска — да не один и даже не два, а целых пять! И все на дорогие места! Шутка сказать — полрупии за место! А на прощание сказала, чтоб приходили каждый вечер, пока не кончится ярмарка. Не только о Хирамане — обо всех позаботилась. «У тебя,— говорит,— есть приятели — возьми и для них пропуска». Так их встретила, что и вспомнить приятно!

Лалмохар осторожно трогает пальцем крупные черные буквы, отпечатанные на плотной красной бумаге.

— Вот он какой — пропуск! Молодец, брат Хираман! Только вот что ж мы будем с ними делать? Палатдас-то, наверно, еще не вернулся...

— Ну, и пусть. Ему же хуже,— беззаботно бросает Хираман.— Не повезло человеку. Да, вот еще что! Пусть сначала каждый поклянется, что об этом ни одна душа в деревне не узнает. А то ведь панчаят — с ними шутки плохи.

— Никто ни слова не проронит! — возбужденно размахивая руками, уверяет Лалмохар.— А если Палатдас ненароком проговорится, пусть пеняет на себя!

Кисет с деньгами Хираман сегодня отдал на сохранение Хирабаи. На ярмарке все может случиться! Каждый год со всех концов, будто мухи на мед, собираются сюда карманники: тут ходи да огля-

[1] Узкий, наглухо застегивающийся кафтан со стоячим воротом.

дывайся. Да и на своего брата возчика нынче тоже нельзя положиться: вороватый пошел народ, с таким держи ухо востро! Хирабаи согласилась с ним и, взяв у него черный матерчатый кисет, спрятала на самое дно большого кожаного чемодана, а чемодан закрыла на замок. Хираман заметил, что на чемодане плотный чехол, а изнутри чемодан выстелен блестящим переливающимся шелком. И на душе сразу стало как-то спокойнее.

Лалмохар и Дхуннирам на все лады громко расхваливают Хирамана: какой он умный, степенный, предусмотрительный, и, понизив голос, осуждают его брата и невестку. Попался им такой покладистый человек — вот и пользуются. А будь на его месте кто другой — он бы им показал!

Чеснок сидит повесив нос. Он таскался за тонгой по всему городу и вернулся, когда уже наступила ночь. Лалмохар в сердцах обругал его по-хозяйски: черти его носят!

Прилаживая над костром котелок с кашей, Дхуннирам будто вскользь замечает:

— Сначала б надо решить, кто останется.

— Чеснок, конечно! Кто ж еще?

Всегда такой смирный, Чеснок вдруг взбунтовался.

— Все я да я! — сквозь слезы кричит он.— А мне тоже хочется! Отпусти, хозяин! Один только раз. Один-единственный разочек! Ну, хоть на минутку!

— Ну, ладно, ладно! Один раз можно,— великодушно разрешает Хираман.— Да и не на минутку — хоть целый час смотри. Как-нибудь я посторожу за тебя.

До начала представления еще не меньше двух часов, а у пестрого балагана уже во всю мочь гремит большой барабан. Заслышав его звуки, люди бросают дела и спешат на площадь. Перед кассой выстраивается длинная очередь. У самого окошечка — давка.

При виде такого зрелища Хираман весело смеется:

— Ты взгляни только, Лалмохар, что тут творится! Того и гляди, дойдет до рукопашной.

— Брат Хираман!— слышится из толпы.

— Кто там еще! А-а, это ты, Палат? Ну и как, доставил груз? Куда ездил? — допрашивает Лалмохар.

— Соврал я вам тогда. Простите меня. Она — будто сама госпожа наша Сита...

— Ну, ладно, Палат, хватит оправдываться,— миролюбиво говорит Хираман, душа которого сейчас словно лотос, распустившийся поутру.— Она, конечно, не Сита, но и нашим деревенским не ровня. Вот смотри — и для тебя, дурака, пропуск дала. Бери и отправляйся на представление.

— Только при одном условии! — вмешивается Лалмохар.— Вечер-другой посторожишь у повозки вместо Чеснока.

Палатдас радостно кивает головой: он уже обо всем договорился с Чесноком.

— И еще! — жестко продолжает Лалмохар.— Чтобы в деревне об этом никому ни слова!

— За кого ты меня принимаешь! — возмущенно восклицает Палатдас.— Да я лучше язык себе откушу!

Все направляются к балагану.

— Вход по дорогим билетам вот тут, сбоку,— показывает рукой Палатдас.

Взяв из рук Палатдаса пропуск, контролер-непалец подозрительно оглядывает его.

— Где достал пропуск? — грозно спрашивает он.

Послушал бы кто-нибудь теперь, как говорит на урду Лалмохар — ну, точь-в-точь как адвокат в суде!

— Поди спроси у своего хозяина! У нас и еще есть! — доставая из кармана пятый пропуск, надвигается на непальца Лалмохар. Непалец испуганно пятится.

— Э, брат, забыл, наверно? — окликает непальца Хираман.— Утром же тебе сказали.

— А-а-а, знакомый Хирабаи? — вспомнив Хирамана, сдержанно улыбается непалец.— Ну, проходите. Пропуск есть — задерживать не имею права.

Вот что значит пропуск — честь тебе и почтение. Все трое осторожно входят в балаган.

Справа и слева до самой стены тянутся ряды стульев и мягких кресел. На занавесе нарисована картина — царевич Рама с семьей удаляется в лес. Увидев Раму, супругу его Ситу и его верного брата Лакшмана, Палатдас молитвенно подносит ко лбу сложенные лодочкой руки. Нарисованы как живые. Глаза у Палата наполняются слезами умиления.

— А эти, на картине, так и будут стоять или потом задвигаются?

— Это занавес,— снисходительно объясняет Лалмохар, который предварительно уже навел справки у своих соседей.— А которые будут показывать представление, они за занавесом, на сцене. Вот занавес поднимут, тогда и начнется.

Палатдас, который когда-то немного учился музыке, в такт доносящимся снаружи звукам барабана покачивает головой и отбивает дробь на спичечной коробке. Закурив бири, Хираман оглядывается по сторонам. В балагане яблоку негде упасть. Заворачиваясь поплотнее в накидку, сосед Лалмохара, тоже возчик, объясняет:

— До начала представления можно и подремать. Наши места — самые лучшие: позади всех и на возвышении. А вместо подстилки — свежая солома! Полрупии недаром берут! Хе-хе! А те, кто сидит на креслах да на стульях в самом низу, будут зубами стучать от холода,— и, обращаясь к соседу, просит: — Как только начнется — толкнешь меня в бок... Да нет, мне представление ни к чему, а как только появится эта... как ее... Хирка, вот тогда и разбуди.

Хирамана будто ножом по сердцу полоснули. «Хирка!» Не нашел другого имени! Наверно, только и умеет, что ругаться непотребными словами. И он мигает Лалмохару — нечего с такими разговаривать.

Дон-дон-дон! Звучит гонг, и занавес поднимается. Ого! Да это же сама Хирабаи! С самого начала на сцене! Раздается музыка, и чистый голос Хирабаи заполняет тесный балаган. От удивления Хираман даже рот открыл. А что это на Лалмохара смех напал? Что ни пропоет Хирабаи, он ржет как жеребец стоялый, а почему ржет, и сам не знает! Хирка-то танцует — залюбуешься! А голосок-то, голосок! Чистое серебро! Правда, наверно, говорят, что бетеля в рот не берет, а уж о бири и говорить нечего! Чего там раскудахтался! Обычная базарная девка! Шлюха! И берет, говорят, недорого!.. Кто сказал: базарная девка? Разве бывают такие зубы у базарных-то? Ты посмотри только — будто жемчуг! Какой там жемчуг! Порошком, наверно, начищает! Да от порошка такие не бывают! Кто тут позорит честную девушку? Честную певицу называть базарной девкой? Ты

откуда выискался такой? Ты что, сам спал с нею или другим помогал? Бей подлеца!

— Голову оторву! — на весь балаган гремит бас Хирамана, покрывая шум начавшейся свалки.

Лалмохар бьет всех, кто подвертывается под руку, а Палатдас, прижав к земле, молотит какого-то беднягу:

— А-а, скотина! Оскорблять матушку нашу Ситу?! Я тебе покажу, нечестивец проклятый!

Дхуннирам, не ввязываясь в драку, спешит поскорее выбраться из балагана: тут, чего доброго, и бока могут намять!

К дерущимся бежит растерянный директор — тот самый господин в черном ачкане, вместе с ним — непалец-контролер. Словно из-под земли выросший рядом с ним инспектор полиции пускает в ход стек. Град ударов обрушивается на спины и плечи драчунов. Клубок дерущихся рассыпается. Лалмохар, ойкнув от боли, поворачивается к инспектору.

— Бьете? Ну, так бейте еще! Не больно! Сначала только разберитесь! Разве можно сидеть спокойно, когда ни за что ни про что оскорбляют женщину?

Директор миролюбиво берет инспектора за локоть.

— Все понятно, хузур. Эта драка подстроена людьми Матхурамохана. Они, видимо, решили бросить тень на мою труппу. Отпустите этих людей, хузур,— это друзья Хирабаи.

Имя Хирабаи действует магически: инспектор тотчас же отпускает Хирамана и его односельчан. Только бичи приказывает отобрать. Директор с почетом ведет всех троих на самые дорогие места — по рупии каждое.

— Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Я прикажу, чтоб вам подали бетель.

Зал постепенно затихает, зрители успокаиваются, и под звуки барабана на сцену выходит Хирабаи.

Сидя в креслах, все трое блаженствуют. И только потом вспоминают о Дхуннираме: куда это он вдруг запропастился?

— Хозяин! Эй, хозяин! — доносится снаружи плаксивый голос Чеснока.— Эй, хозяин Лалмохар!

— Сюда, сюда! — приглушенным голосом откликается Лалмохар.— В ту дверь, что за рупию!

Сидящие впереди с удивлением оглядываются на Лалмохара. Непалец, стоявший у входа, проводит к ним Чеснока. Лалмохар вынимает из кармана запасной пропуск и показывает его непальцу. Едва опустившись в кресло, Чеснок принимается расспрашивать:

— Хозяин, а кто это там на сцене? О чем поет? Да ты объясни толком! Э-э! Вот это да! Ты взгляни только! Не чета нашим деревенским.

Соседи недовольно косятся на Чеснока, но широкие плечи молодого богатыря удерживают их от замечаний. Сзади кто-то вполголоса ахает: в такой холод — даже без рубахи! К таким никакая простуда не пристает!

Лалмохар жестом приказывает Чесноку замолчать.

К чему расспрашивать, когда все и так ясно! Разве дело в том, что показывают? Хираман ни на миг не сводит глаз с Хирабаи, и ему кажется, что и она смотрит только на него, только для него поет и танцует. А Лалмохар готов поклясться, что Хирабаи смотрит только на него. Поняла, наверно, что Лалмохар — это не так себе, где уж Хираману с ним тягаться!

Палатдас внимательно глядит на сцену. Он хорошо разбирается во всем, что там происходит. Кто же не знает «Рамаяны»! Вот это

Рама, а вот это жена его Сита, чуть подальше — брат его Лакшман, а там в углу страшный демон Равана! Принимая разные обличья, Равана старается похитить царевну Ситу. Рама и Сита тоже то и дело меняют свой облик. Раму представляет сын садовника, а матушку Ситу — эта... как ее... Гульбадан, то бишь Хирабаи.

Чесноку больше всего понравился клоун. Хорошо бы подружиться с таким! Вот так запросто подойти и сказать: «Ну как, будем дружить?»

А Хираману почему-то запали в душу слова из песни, которую пела Хирабаи: «Умершие иллюзии, разбитые мечты...» Интересно б узнать, кто они такие, эти иллюзии, Хирабаи так жалобно пела об умерших иллюзиях и так же жалобно звенели медные тарелочки. Видать, нелегко жилось этим иллюзиям!

При выходе полицейский возвращает им отобранные бичи и строго предупреждает:

— С этим ходить на представление не разрешается!

Наутро вся ярмарка гудела, как потревоженный улей. Разнесся слух, будто Хирабаи сбежала от Матхурамохана и на ярмарку тайно приехали подкупленные Матхурамоханом бандиты, а Хирабаи, в свою очередь, наняла десяток вооруженных дубинками парней — каждый косая сажень в плечах,— чтобы охранять ее... И еще много кой-чего болтали в этот день на ярмарке!

Так, будто в сладком чаду, прошли для Хирамана эти десять дней и десять ночей. Днем, сторговавшись с нанимателем, он грузил товар, вез на станцию, сгружал и, не дав волам передохнуть, снова спешил в пеструю ярмарочную толчею. Но едва наступал вечер и издали доносились глухие звуки барабана, как он торопливо распрягал волов и спешил к заветному шатру. В звуках барабана ему слышался голос Хирабаи, которая будто звала его, называя разными ласковыми именами. И целый день у него в ушах звучала музыка, услышанная накануне: звуки аккордеона, глухие раскаты барабана, звон медных тарелок и ни с чем не сравнимый голос Хирабаи. С этой музыкой в сердце он просыпался, эта музыка неотступно следовала за ним целый день.

Его уже знали все члены труппы — от парнишки, поднимающего занавес, до всемогущего директора. Как же иначе — друг Хирабаи!

Каждый вечер, входя в балаган, Палатдас, будто в храме, подносит ко лбу молитвенно сложенные руки.

Тайком от остальных Лалмохар отправился было к Хирабаи — показать, как он умеет говорить по-городскому, но она даже не узнала его. С того дня Лалмохара одолела тоска. Чеснок ушел от него и нанялся служителем в балаган. Теперь они с клоуном закадычные друзья. Чеснок целыми днями таскает воду, стирает белье, а всем, кто приходит навестить его, хвастает, что только здесь он узнал настоящую жизнь и возвращаться в деревню не намерен. Лалмохар ходит мрачный. Дхуннирам прихворнул и, боясь, как бы не занемочь совсем, уехал домой.

Хираман уже трижды успел доставить груз на станцию. С самого утра почему-то все невестка вспоминается. Не проговорился бы Дхуннирам! Жар у него — в бреду все и выложит. И здесь-то в бреду все твердил: «Гульбадан, танцы, представление!» Узнает невестка — она такое покажет представление! Один только Чеснок доволен своей судьбой. Хираман ловит себя на мысли, что завидует ему,— теперь Чеснок каждый день может видеть Хирабаи. Вчера он благодарил Хирамана — дескать, только благодаря тебе и увидал свет. Он

и ее сари тоже стирает. После стирки, говорит, вся вода в чане становится ароматной, как заморские духи. Чеснок не удержался и окунул в чан конец своего дхоти. И от него теперь тоже пахнет жасмином. Каждый вечер слышит Хираман, как люди называют Хирабаи нехорошими словами. Скольких он уже проучил! Да всем рта не заткнешь! Падишахов и раджей и тех люди потихоньку за спиной ругают. Ну вот сегодня он наберется храбрости и скажет ей, что люди очень нехорошо говорят о тех, кто работает в танцевальной труппе. А почему бы ей не перейти в цирк? Когда она танцует на виду у всех, сердце у него готово выскочить из груди от ревности. А в цирке она стала бы дрессировщицей. Ко льву не всякий рискнет приблизиться! Прикусят тогда языки любители посплетничать!.. Э, кажется, арба-то знакомая? Откуда бы это?

— Эй, Хираман! Эй, брат Хираман! — доносится вдруг голос Лалмохара. Хираман оборачивается. Что бы это мог везти Лалмохар?

— Там на станции тебя Хирабаи разыскивает,— выпаливает Лалмохар.— Уезжает она. Я ее и на станцию отвозил.

— Уезжает, говоришь? — словно просыпаясь ото сна, переспрашивает Хираман.— Куда? На поезде?

Хираман торопливо распрягает волов.

— Присмотри, братец, за арбой и за волами,— на ходу бросает он чаукидару [1].— Я сейчас...

За оградой вокзала у входа на перрон виднеется одинокая женская фигурка. Хираман еще издали узнает Хирабаи. Она стоит, прикрыв лицо концом покрывала, и не отрываясь смотрит на него.

— Это твое, Хираман,— говорит она, протягивая ему темный матерчатый кисет.— Слава всевышнему, успели попрощаться. Теперь вряд ли доведется свидеться... Уезжаю я, дорогой мой... наставник!

Человек, которого прежде Хираман принимал за носильщика, сейчас вырядился в европейский костюм: брюки, пиджак, рубашка с галстуком — ну, точь-в-точь как английский сахиб. И распоряжается носильщиками, будто важный господин:

— Вещи несите в женское купе! Понятно?

Хираман молча берет кисет и стоит потупившись. Кисет будет теперь как память о ней. Она достала его из-за пазухи: кисет до сих пор хранит ее тепло — будто птенчик, выпавший из гнезда!

— Поезд уже близко,— коротко бросает ее спутник, недовольно косясь на Хирамана. «Ну, о чем тебе говорить с этой деревенщиной»,— написано у него на лице.

Неожиданно Хирабаи оживляется.

— Зайди сюда, Хираман, за ограду,— говорит она.— Я ведь снова возвращаюсь к Матхурамохану. В родном краю вольнее дышится... Ты приедешь на ярмарку в Банейли?

Хирабаи осторожно касается рукой его плеча. На этот раз правого.

— Вот возьми. Купи себе теплую накидку,— протягивая ему несколько лиловых бумажек, тихо говорит она.

— Опять деньги! — с болью вырывается у Хирамана.— Каждый раз деньги! Зачем они мне?

Ее рука замирает. Она удивленно смотрит ему в лицо.

— Ты очень изменился, Хираман,— с мягким укором говорит она.— Почему, друг мой? Ты же сам пел мне, как за деньги продали дочь перевозчика...

Голос у Хирабаи дрогнул.

— Поезд уже пришел! — доносится с перрона.

---

[1] Сторож.

Вслед за нею Хираман выходит на перрон. Ее спутник, кривя губы, небрежно бросает ему:

— Иди-ка ты отсюда. Поймают без билета — узнаешь небо в клеточку!

Не говоря ни слова, Хираман выходит за ограду. Да, порядки тут строгие: схватят — не вырвешься. Не то б он показал этой обезьяне в европейской одежде — живо отучил бы кривиться!

Хирабаи торопливо поднимается в купе прямо напротив входа на перрон. Через минуту она показывается в окне, растерянно смотрит на Хирамана. И от этого взгляда внутри у него что-то вдруг словно плавится и к горлу подкатывает тугой комок.

Паровоз дает короткий гудок. Хираману кажется, будто это из его сердца вырывается бессвязный отчаянный вопль — у-у-у-х!

Паровоз натужно фыркнул, вагоны качнулись и медленно поплыли мимо перрона. Хираман больно прикусывает губу. Сердце будто кто-то сжал жесткими пальцами. Хираман видит, как Хирабаи вытирает слезы и, высунувшись из окна, машет ему рукой.

С грохотом проносится последний вагон. Перрон пустеет. На площади никого. И в душе тоже гулкая пустота. Как в пустом товарном вагоне. Словно разом опустел весь мир.

Хираман молча возвращается к арбе. Рядом возится с волами Лалмохар.

— Ты домой скоро думаешь возвращаться? — глухо спрашивает Хираман.

— В деревне сейчас делать нечего,— рассудительно отвечает Лалмохар.— Сейчас самое время подзаработать! Хирабаи уехала — значит, скоро ярмарка кончается.

— Ну, ладно! Что-нибудь передать твоим?

Лалмохар принимается уговаривать Хирамана остаться на день-другой, но Хираман упрямо поворачивает волов на дорогу, которая ведет ь деревню. На что ему теперь ярмарка? Ярмарка тоже опустела...

Унылый серый поселок тянется вдоль железнодорожной насыпи. Хираман никогда в жизни еще не ездил на поезде, и, как в годы юности, ему вдруг захотелось бросить свой извоз, купить билет на поезд и отправиться куда глаза глядят — посмотреть мир... Оглянуться на пустую арбу у него не хватает смелости. Ему кажется, что за спиной по-прежнему сидит Хирабаи. Ветер доносит сладкий запах жасмина, и от этого по коже пробегают сладкие мурашки. Он слышит ее голос, звучащий, как мягкий рокот барабана. Неожиданно песня обрывается. Он в смятении поворачивается: в арбе пусто. Ни мешков, ни жердей бамбука, ни даже клетки с тигром. А совсем недавно вот здесь сидела она, ласковая, красивая, точно небесная дева. Хирабаи — богиня с такою же нелегкой судьбой, как у дочери перевозчика из песни. Была — и нет ее. Никого нет. Немые голоса ушедших мгновений рвутся наружу. У Хирамана мелко дрожат губы. И, проглотив тугой комок, он дает себе еще одну, третью клятву — никогда не возить женщин, особенно певиц. Уж очень тяжек этот груз!

Срывающимся голосом Хираман понукает волов и, стегнув их бичом, укоряет:

— Ну, что таращитесь на семафор? Не видели, что ли?

Волы лениво трусят по дороге, а Хираман тоскливо выдыхает запомнившийся обрывок песни: «Умершие иллюзии, разбитые мечты...»

■

МУКУМБУТА ЛИСИМБА

■

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Заклинатель

Он сидит на волшебном троне,
Глаза его словно угли
В холодную зимнюю ночь,
Сердце бьется в лад заклинаньям.
Он — искатель сокрытых истин,
Обнажитель тайных болезней,
Не доступных лучам рентгена:
Когда он поет, колдунья,
Содрогаясь, молит пощады.
Он сидит у огня; его песни
Баюкают малых детишек
И рождают ужас в злодеях.
Он заклинает Иломбе,
Змею с головой человека,
Пожирательницу младенцев.
Он отводит стрелу Калилозе —
Она, проницая стены,
Пронзает сердца уснувших.
Его голос безлунной ночью
Отгоняет бессонных духов,
Которые грабят взрослых
И вторгаются в сны детей.
Заклинатель добр и жесток:
Он обливается по́том,
Защищая несчастных, попавших
В тенета черных заклятий.
Он побеждает Ликиши,
Который с ножом крадется,

МУКУМБУТА ЛИСИМБА — **MUKUMBUTA LISIMBA** — молодой замбийский поэт (род. в 1945 г.), автор трех книг стихов. Закончил Замбийский университет, педагогический факультет. В 1971 году получил премию министерства культуры Замбии на фестивале поэзии.

Стихи его печатаются по сборнику «Замбийская поэзия», выпуск II, Лусака, 1972. («A Collection of Zambian Verse». Book II, Lusaka, 1972).

Чтобы перерезать горло
Тому, кого ненавидят,
Тому, кто ни в чем не повинен.
Он карает безумных духов,
Которые душат уснувших
И гонят больных в могилу.
Он смотрит в волшебные травы
И, как в телевизоре, видит,
Что в ночи вытворяют
Колдуны, злодеи и духи.
И люди его любят.
Он воскрешает жизнь
В бесплодной жене за то,
Что она ему свято верит.
Он прародитель, он лев,
Он смотрит ласково, но
Доброта его знает границы.
Он может спасти и может
Убить во имя спасенья.
Заклинателя знают все,
Но его не поймет никто.
Жена его делит с ним ложе,
Видит его наготу,
Но не может постичь его мудрость.
Его слуги его орудья
Несут от деревни к деревне,
Руками трогают тайны,
Что хранит он в пустых черепах,
И бессильны понять, откуда
Происходит его власть.
Его зазывают в гости
И стуком ночных барабанов
Побуждают творить заклинанья,
Верят его прорицаньям
И дрожат перед ним, как дрожал
Прокаженный перед Иисусом,
Не веря в свое исцеленье.

Но сегодня седой заклинатель
Хмуро смотрит на черное
Облачко на горизонте —
Оно угрожает затмить
Его дни, его власть и славу.
Люди в белых халатах,
Пенициллин и таблетки
С глотком чистой воды
Мешают в ночи нам слышать
Барабанов гром, при которых
Пляшет наш заклинатель.

Назад, в дом отца

Он молча следит за ней
Воспаленными глазками
Разгневанного носорога.

Она укладывает свое одеяло,
Блузку, платьице, юбку —
Черный чемодан поглощает их,
Словно гроб.
В доме пусто и холодно.
В голых тесных стенах
Голос ее ребенка
Разносится, как на просторном кладбище.

Оцепеневший от холода путник
Вспоминает о солнечном свете,
А она вспоминает веселую свадьбу,
Вспоминает, как муж ее бережно вел,
Направляя шаги ее к дому.
Она уже ничего не слышит
От звона праздничных колоколов.

Со слезами она вспоминает
Суровые зимы замужества,
Вспоминает, как пьяный муж,
Возвратившись домой за полночь,
Пинал ее башмаками.
Вспоминает, как первый его поцелуй
Не сходил с ее губ три года.

Она привязывает ребенка к спине,
Оплакивая судьбу,
Затем поднимает свой чемодан
И направляется к выходу,
Ступая неслышно,
Как призрак.

Он громко хлопает дверью вслед уходящим,
И они удаляются, тихие, беззащитные.

Письмо матери

Милая мама,
Прости меня, жертву чужой культуры,
Блудного сына,—
Я пишу тебе, словно ученый колдун,
Наделенный дерзостью убивать.
Но этот колдун дрожит,
Проливает слезы и ужасается
При виде убитого,
Как мне жалко тебя,
Мама,
Сыновья тебя обманули;
Мне жалко тебя,
Ты слабая, бедная, добрая и одинокая;
Мне жалко тебя,
Потому что нет тебе вознагражденья
За все, что ты сделала мне.
Я плачу, припомнив, как ты у огня

Говорила мне грустные сказки,
Проводила бессонные ночи
При свете луны,
Укачивая меня на своей теплой спине,
Напевая старинные песни,
С любовью и болью
Убаюкивая меня.
И за все это ты получила бедность и одиночество.
Бедная мама,
Трудолюбивая птаха,
Ты кормила своих птенцов,
Приучала их к бескрайнему небу,
И вот они улетели и не вернулись.
Бедная мама,
Далекая, грустная,
Тебе не хватает сыновней заботы.
Милая, простодушная мама,
Кто исцелит твои раны,
Кто омоет твое лицо,
Кто осушит твои слезы?
Мы не отбросим книгу и не сломаем перо,
Чтобы вернуться домой.

НАДИН ГОРДИМЕР

Пробуждающаяся Африка

РАССКАЗ

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

Он сейчас в тюрьме, так что имени его я называть не стану. Как бы не вышло чего плохого, понимаете ли. Может, вы думаете, что и впрямь все поняли; но живя за пять-шесть тысяч миль отсюда, не слишком торопитесь с выводами; вот если бы вы жили здесь, то понимали бы кое-что другое: нам тут известно, что внешние проявления преданности друзьям — это для детишек, пусть себе держатся за руки на школьной площадке; а для нас это роскошь ненужная и, быть может, опасная. Если я скажу, что был другом такого-то — чернокожего, который должен предстать перед судом по обвинению в государственной измене,— какой ему от этого прок? А ко мне это лишний раз привлечет внимание и, как знать, быть может, окажется той самой последней, решающей каплей... Да *он* бы первый со мной согласился...

Не то чтобы это сыграло такую уж важную роль, не будь заведенное на меня досье и без того достаточно пухлым; и не то чтобы *он* в самом деле был мне таким уж другом. Нет, вам не понять совсем другого: до чего у нас здесь все смутно, шатко. Мы до сих пор не знаем толком, что можно, а чего нельзя; как определить, что дружба, а что нет, если решительно все усиливает твой внутренний разлад — законы, и сомнения, и дух протеста, и осторожность, и не в последнюю очередь отвращение к себе... Разумеется, я говорю о дружбе между черными и белыми. Коль скоро ты, приятель, согласен общаться толь-

---

НАДИН ГОРДИМЕР — NADIN GORDIMER (род. в 1923 г.).

Известная южноафриканская писательница, пишет на английском языке. Окончила университет в Иоганнесбурге. Уже в 15-летнем возрасте опубликовала первые рассказы. Автор романов «Лживые дни» («The Lying Days», 1953), «Земля чужестранцев» («World of Strangers», 1958), «Почетный гость» («A Guest of Honor», 1970). Перу Н. Гордимер принадлежит также несколько сборников рассказов: «Нежный голос змия» («The Soft Voice of the Serpent», 1952), «Шесть футов земли» («Six Feet of the Country», 1956), «Не для публикации» («Not for Publication and Other Stories», 1966).

О новом сборнике рассказов Н. Гордимер «Спутники Ливингстона» («Livingstone's Companions». London, Jonathan Cape, 1972), в котором был напечатан рассказ «Пробуждающаяся Африка».

ко с белыми в их загородных клубах и утопающих в зелени предместьях (если сам ты белый) или только с черными в их локациях и пивнушках (если ты черный) — на тебя это не распространяется и ты с миром пройдешь весь жизненный путь до «своего» сегрегированного кладбища. Но ни он, ни я на такое не соглашались.

Я начал общаться с черными, когда был студентом, из оскорбленного чувства справедливости, как принято выражаться в таких случаях, а еще — из острого любопытства. Для этого имелись два способа. Первый — через Добровольную студенческую трудовую организацию; члены ее, белые юноши и девушки, отправлялись на казенный счет куда-нибудь в сельскую местность, разбивали лагерь и жили там веселой коммуной, строя школы для африканских детей. Обычно в лагерь наезжало также несколько студентов из сегрегированных университетов для африканцев и цветных, и для нас была известная прелесть новизны в том, чтобы ночевать бок о бок с ними; впрочем, мы понимали, что среди наших строителей-добровольцев наверняка затесались шпики Особого отдела [1], и потому мы не осмеливались заигрывать с цветными и чернокожими девушками. Другим, не столь обременительным способом были выпивки с джазистами, художниками, журналистами и разными людьми, мнящими себя поэтами и актерами,— эти тянутся к белым отчасти потому, что такие люди вообще считают себя вправе жить как им заблагорассудится, а отчасти потому, что у белых они встречают одобрение и поддержку, столь дорогие их сердцу. Я попробовал было первый способ, но второй оказался для меня более подходящим; да и потом, с какой стати я должен помогать этому их правительству, делая для чернокожих детей то, что оно обязано делать для них само?

Я архитектор и к делам африканцев приобщился в качестве человека небесполезного, а именно — стал писать декорации для «смешанной» драматической труппы, которую набрал белый режиссер. Вообще-то среди горожан, пожалуй, нет групп более сплоченных, чем вот такие театральные коллективы, а расовая проблема сближала нас еще больше. Я имею в виду вовсе не то, что подумали *вы*: одним словом, вовсе не личное мое отношение к «этим черным» и всякую такую муть. Нет, я о том изнурительном напряжении, которое требовалось от нас изо дня в день, чтобы обходить расовый барьер, проскакивать под ним или брать его с маху, ибо расовые законы гробили наши постановки и отравляли нам жизнь. Нам приходилось постоянно держать в памяти, что надо выписать чернокожим актерам ночные пропуска, а то как бы их не задержали по дороге домой за нарушение комендантского часа для черных; нам приходилось часами торчать в департаменте по делам туземцев-банту, чтобы выбить вид на жительство для тех актеров, кому закон предписывал «вернуться» в сельскую местность, где им «по этническому принципу» положено проживать и откуда они якобы приехали в город, хотя на самом деле они там в жизни не бывали; нам приходилось решать, кто же из нас сумеет настолько ловко разыграть из себя подхалима, чтобы выудить у комиссара по делам банту бумажку, разрешающую нашей труппе беспрепятственно переезжать из зоны поселения одной расовой группы на территорию другой, или в каком-нибудь городишке так обработать муниципального чиновника, чтобы тот уговорил свой муниципалитет предоставить нашей смешанной труппе зрительный зал, куда допускаются только белые. Жизнь чернокожих актеров была в наших руках, потому что они были черные, а мы белые, а стало быть, могли — и должны были —

[1] Отдел южноафриканской полиции, следящий за соблюдением так называемого Закона об охране нравственности, который запрещает «смешение рас».

постоянно за них ходатайствовать. Не подумайте только, что благодаря этому отношения наши были сплошной идиллией; напротив, это приводило к бесконечным взаимным обидам и распрям. Так, одна белая женщина, которая работала у нас как каторжная — ведала и рекламой и гардеробом,— несколько лет не разговаривала со мной за то, что я упросил ее одолжить свою малолитражку одному из наших черных парней, который не поспевал на последний поезд в локацию из-за того, что задерживался в театре, и тот парень потом продержал у себя машину субботу и воскресенье, а добраться до него женщина эта не могла никакими силами, потому что в локации, как вы сами понимаете, редко у кого есть домашний телефон, и если кто-нибудь из черных затеряется среди этих крольчатников, его не отыщешь до тех пор, пока ему самому не заблагорассудится вновь объявиться в «белой» части города. Когда же тот парень наконец объявился, то в разговоре со мной не преминул язвительно пройтись по адресу белых сук, которые «покровительствуют» черным, а сами в глубине души в каждом из них видят «боя». Но эти споры, обиды и недоразумения были не просто одним из доказательств нашей близости — как, скажем, вечеринки, веселые вылазки и романы,— нет, они были решающим ее доказательством: мы сблизились настолько, что к этим спорам, обидам и недоразумениям относились всерьез.

Он тоже одно время был членом нашей теплой компании. Сперва он работал где-то экспедитором, затем «управляющим» и вышибалой в танцевальном клубе для черных. А в свободное время исполнял какую-нибудь рольку в наших спектаклях и вообще был на подхвате; в конце концов выяснилось, что он превосходно справляется с публикой во время наших гастрольных поездок. Его обаяние (этакий молодой толстячок, броско и весело одетый) безотказно действовало на наших зрителей в локациях, чье настроение никогда нельзя было предвидеть заранее: в одном месте они являлись на спектакль в лучшей своей одежде — той самой, в которой ходили по воскресеньям в церковь,— такие чинные, застегнутые на все пуговицы, и, казалось, считали для себя неприличным засмеяться или хоть как-то отреагировать на то, что происходит на сцене, а в другом старались прорваться без билета и штурмовали двери, предводительствуемые какими-нибудь «цоци» — горластой уличной шпаной, с которой невозможно сладить. *Он* был близким другом, так сказать, второй, пассивной половинкой моего близкого друга Элиаса Нкомо.

Но тут я умолкаю. Как рассказать об Элиасе? Ведь я и сейчас не знаю, что о нем думать, хотя с тех пор прошло уже пять лет.

Элиас был скульптор. Служил где-то рассыльным или еще кем-то в этом духе — словом, выполнял одну из тех жалких работенок, на какие только и может рассчитывать грамотный молодой африканец в золотопромышленном городке близ Иоганнесбурга. Кто-то кому-то сказал, что он талантлив, еще кто-то направил его ко мне — по-видимому, путь каждого африканца, желающего обрести себя, поначалу неизбежно идет через белого. Не знаю опять же, как описать вам его скульптуру. Он приехал поездом на центральный иоганнесбургский вокзал и вышел на платформу для черных, держа в руках какой-то громоздкий предмет, завернутый в утреннюю газету от того же числа. Был он в темном, такой хрупкий, круглоголовый, с маленькими ушами, брови сосредоточенно сведены; когда же он понял, что дожидающийся в машине белый, по всей вероятности, я (о том, что я его встречу, мы условились заранее), лицо его разгладилось в широкой улыбке, виноватой и самоуверенной одновременно. Я отвез его к себе «на квартиру» (про жилье он всегда говорил не «дом», а «квартира»), и здесь он развернул свой объемистый пакет. То, что представилось

моим глазам, нисколько не напоминало глыбы диорита или песчаника, какие вам приходилось видеть в музеях Нью-Йорка, Лондона и Иоганнесбурга под названием «Пробуждающаяся Африка» или «Дух предков». Передо мной был козел, а точнее — некое козлоподобное существо (так же, как, скажем, кентавр — существо лошадеподобное и человекоподобное), вырезанное из какого-то слоистого узловатого дерева. Оно было восхитительное, это существо (так и хотелось протянуть руку и потрогать его), оно было трогательное — этакое воплощение эволюционной последовательности, зверь-человек, тонкая работа по грубому дереву,— и вместе с тем была в нем какая-то беззащитность (протянутая было рука опустилась сама собой). Я спросил его, знакомы ли ему козлы работы Пикассо. О Пикассо он слышал, но ни одной его работы видеть ему не доводилось. Я показал ему репродукцию — знаменитый бронзовый козел, тот самый, что стоит в доме художника,— и с той поры у всех его зверей был такой же дерзко-веселый пах, как у пикассовского козла; впрочем, это единственное «влияние», какому он поддался. Как я уже говорил, то или иное вмешательство белого в судьбу такого человека, как Элиас, неизбежно; мое же выражалось в том, что я всячески старался оградить его от владелиц художественных галерей — меценатствующих дам, которые жаждали ему протежировать, и от тех белых художников и скульпторов, которым хотелось стать его наставниками. Я отдал ему старый гараж (да, совершенно верно, для этого мне пришлось вывести оттуда машину) и оставил его в одиночестве среди множества чурбаков.

Но в одиночестве Элиасу не работалось. Гараж так и не стал для него «квартирой». Если человек всю жизнь провел в тесном людном дворике, то для того чтобы сосредоточиться, ему, видимо, нужны какие-то отвлечения. Нет, нет, я, в сущности, только хотел сказать, что он любил компанию. Сперва он приезжал ко мне на субботу и воскресенье, а потом, когда некоторые из его скульптур нашли покупателей, бросил работу рассыльного и обосновался в гараже более или менее постоянно. Мы с ним вдвоем оборудовали ему «квартиру»: сделали потолок, подвели воду и так далее. То, что он жил в белом предместье, было, конечно, нарушением закона, но у людей вроде Элиаса и меня подобного рода законы лишь развивают изворотливость, и у нашего строительного инспектора не возникло никаких подозрений, когда я заявил ему, что переоборудую гараж под жилье для тещи. После того как Элиас переехал, жить ему стало легче, у него постоянно ночевал кто-нибудь из приятелей, я уж не говорю о девушках: иногда это были пугливые невзрачные создания — чуть ли не судомойки или что-то вроде того,— которые величали мою жену «мадам» [1], если им случалось наткнуться на нее в саду по дороге к гаражу, а иногда актрисы из нашей труппы — размалеванные, в париках,— эти курили и болтали с моей женой, сидя с ней рядом, пока она кормила грудью малыша.

А чаще всех бывал там *он*, толстяк и весельчак, умевший отлично ладить с публикой; он был женат, но, как это нередко бывает у нас, мужчин, старая дружба значила для него больше, чем жена и дети; если это типично для черных, значит, я сам под кожей черный; а вообще-то Элиас, как и *он*, здорово втянулся в жизнь труппы: например, сделал из папье-маше чудесных богов для пьесы одного нигерийца «духов предков», забавных и жутких одновременно, а как-то раз, когда нам понадобился певец, неожиданно выяснилось, что у Элиаса — голос и он может пропеть хвалебную песнь с той же выразительностью и легкостью, что и самый первый исполнитель негритянских

[1] Униженное обращение мулатов к белой женщине.

песен, не помню уж, как его фамилия, и с тех пор в гараже часами гремел голос Элиаса — он пел за работой. Казалось, Элиасу лучше всего работается, когда тот, другой, рядом; *он* обычно сидел, вытянув толстенькие, короткие ножки, сгибал и разгибал носки модных туфель, отряхивал очередную сверхмодную куртку и произносил нескончаемый монолог, а Элиас, орудуя резцом и стамеской, время от времени отзывался то довольным урчанием, то одобрительным хмыканьем, то внезапными всхлипами тихого, почти беззвучного смеха — все ответы, мыслимые лишь, когда разговор ведется на каком-нибудь из африканских языков. Да, они говорили по-своему, и я никогда не знал о чем.

Как ни старался я оградить Элиаса от покровителей, случилось неизбежное — ему стали протежировать. (И разве не я сам сделал первый шаг в этом направлении, отдав ему свой гараж?) Одна картинная галерея объявила себя его агентом. На открытии своей персональной выставки Элиас расхаживал в пурпурной водолазке, купленной, как мне думается, по настоянию его лучшего друга, и тихонько посмеивался над собой, скорее смущенный, нежели довольный. Некий художественный критик написал о «трансцедентальной ценности» и «пластической модальности» его скульптур, и, когда мы спрыскивали это дело, запивая коньяк пивом (в Южной Африке коньяк вовсе не считается изысканным напитком, он здесь производится, и у нас не принято потягивать его из рюмочки — им накачиваются), Элиас спросил:

— Черт, слушай, друг, он сам-то сообразил что к чему или нет?

В тот год он порядочно заработал. Затем владелица галереи и художественный критик позабыли о нем, увлекшись очередным истолкователем африканской души, и он снова остался без денег, но тут выяснилось, что у него есть еще одна покровительница и она о нем не забыла, хоть и живет на другом краю света. Как вы, видимо, уже догадались, это была американка — очень старая и очень богатая, если верить местным слухам, но, скорее всего, просто какая-нибудь пожилая вдова, обладательница приличного капитала в ценных бумагах, желающая приумножить его на ниве культуры — скажем, коллекционируя какие-нибудь предметы искусства, вокруг которых пока нет особой давки. Она купила несколько работ Элиаса, когда приезжала в Иоганнесбург в качестве туристки. Возможно, у нее были какие-то академические связи в мире искусства; как бы то ни было, именно ее усилиями был создан фонд, обеспечивающий Элиаса Нкомо стипендией на время учебы в Америке.

Насколько я понимаю, ему хотелось поехать туда ради самой поездки — просто чтобы посмотреть мир. Но мне как-то не верилось, чтобы в ту пору он хотел — или мог — всерьез взяться за изучение теоретических дисциплин в художественном училище. Я всего-навсего архитектор, говорил я ему, но по опыту знаю, что за штука академизм, а то даже и самый яростный антиакадемизм (господи, спаси и помилуй нас, грешных!) в лучших художественных училищах и что все это не для тех, кто, как выразились бы на своем жаргоне художественные критики, «обрел себя в искусстве».

Помню, он проговорил улыбаясь:

— А ты считаешь, я себя обрел?

И я ответил:

— Друг, да ты никогда себя не терял. Тот самый первый козел, завернутый в бумагу,— ведь это был *твой* козел.

Позднее, когда ему отказали в заграничном паспорте и вопрос о его поездке основательно занимал наши мысли, мы с ним поговорили еще раз. Он хотел поехать, потому что чувствовал, как ему не хватает

общего образования, общей культуры, ведь их не могли ему дать шесть классов начальной школы в африканской локации.

— Пока я живу тут, у тебя на квартире, я прочитал кучу твоих книг. Ох, друг, ничего-то я не знаю. В голове у меня не больше, чем у этого твоего малыша в коляске. Ну, поднахватался я в политике, могу при случае ввернуть какой-нибудь термин по искусству, наклоню голову с этаким важным видом и изреку: «Пластические ценности», это пожалуйста. Но слушай, друг, что я знаю о жизни? Разве я знаю, почему вся эта машинка крутится? Откуда мне знать, как именно я делаю то, что делаю, а? И вообще, почему мы живем и помираем? Если я здесь застряну, то все. Тогда я мог бы с таким же успехом вырезать тросточки,— добавил он.

Я понял, что он хотел сказать: по всей Африке можно видеть старичков, которые добывают себе пропитание тем, что, сидя на корточках на более или менее пристойном расстоянии от какого-нибудь туристского отеля, вырезают из дерева местной породы всякие экзотические тросточки — эрзац, в сущности; но в этом смысле тросточки лишь не намного хуже, чем опусы скульпторов школы «Пробуждающаяся Африка», столь бурно восхваляемые владелицами художественных галерей...

Тут оба мы рассмеялись, и, следуя ходу мыслей, на которые наталкивал меня его вопрос: «Откуда мне знать, как именно я делаю то, что делаю?» (хотя у меня самого мысль шла совсем в ином направлении), я спросил, было ли какое-нибудь художественное ремесло традиционным в его семье. Я так полагал, что нет. Ведь он — дитя трущоб, он рос напротив городской пивнушки, среди остовов брошенных автомобилей и жестяной утвари, изготовленной из керосиновых бидонов, странным образом это не сделало из него нового Дюшана — наоборот, он сформировался как классический, законченный экспрессионист. В его роду не было деревенских умельцев, вырезавших тросточки, зато он порассказал мне кое-что о событиях своего детства — я и понятия не имел, что мальчишки из локаций проходят через такое: оказывается, подростком его отправили в лес, где люди его племени готовили мальчиков к обряду инициации, и, по установленному обычаю, там ему сделали обрезание. Все это он обрисовал мне очень живо.

Наши попытки раздобыть ему заграничный паспорт оказались бесплодными, и вот тут, само собой разумеется, желание Элиаса попасть в Америку перешло в нечто совсем иное: теперь его дико возмущал самый факт, что его не выпускают; это стало для него форменным наваждением. Причины отказа ему, конечно, не сообщили. Официальная формулировка была обычной: разъяснять причины такого рода решений — «не в интересах государства». Может, «им» стало известно, что он «живет так, будто он белый» (эту гипотезу подбросил мне один из чернокожих актеров нашей труппы)? А может, все дело в том, что художественный критик в своем энтузиазме поспешил провозгласить его «выразителем чаяний и мук пробуждающейся африканской души»? Этого никто не знал. И вообще никто никогда не знает. Достаточно было того, что Элиас черный, а черным полагается безвылазно сидеть на отведенных им «по этническому принципу» улицах в своих сегрегированных зонах поселения, в тех районах Южной Африки, откуда, по утверждению правительства, они родом. Впрочем, я уже говорил, что постичь, как вершатся наши судьбы, просто немыслимо: неожиданно заграничный паспорт получил лучший друг Элиаса. До меня даже как-то не дошло, что *ему*, как и Элиасу, предложили не то стипендию, не то безвозмездную ссуду, не то еще что-то; во всяком случае, *он* был приглашен в Нью-Йорк изучать режиссуру и новейшие достижения актерской техники (то были годы господства Метода, а

не театра-лаборатории Гротовского [1]). Причем *он* получил паспорт «с первой попытки», как с самой искренней радостью, без тени зависти сообщил мне Элиас. В ту пору, когда кто-нибудь из чернокожих получал заграничный паспорт, всех нас охватывала радость, что нам удалось перехитрить что-то или кого-то, а кого, мы и сами толком не знали. Словом, они уехали вместе: *он* — получив заграничный паспорт, Элиас — выездную визу.

■

Выездная виза — нечто вроде билета в один конец. Получая ее (по собственной просьбе, но с соизволения правительства), вы даете подписку, что никогда не вернетесь ни в саму Южную Африку, ни в Юго-Западную Африку, ее подмандатную территорию. Обязательство скрепляется подписью и отпечатком большого пальца. Элиас Нкомо так и не вернулся. Сперва он писал, и довольно часто, восторженные письма о внешнем мире, куда ему удалось вырваться; он даже как будто приобрел в Штатах некоторую популярность — не столько как скульптор, сколько как самый что ни на есть настоящий, всамделишный, живой африканский негр, достаточно развитой, чтобы его можно было попросить высказаться о разных разностях — о красоте американок, о жизни в Гарлеме и Уоттсе, о том, как звучит лозунг «Власть черным» для выходца из... и так далее. Он присылал вырезки из «Эбони» и даже из «Нью-Йорк таймс». Сообщал, что некая девица из «Лайфа» добивается, чтобы журнал напечатал статью о его работах. Как работается? Да сам он пока ни за что новое не принимался, зато художественное училище — это сила, черт подери, люди делают здесь такое!.. Бывали, разумеется, и полосы молчания; порою мы забывали о нем — а он о нас — по неделям. Потом вдруг в наших местных газетах появлялось одно из тех сообщений, которые они с особенной тщательностью вылавливают в зарубежной прессе: Элиас Нкомо выступил на митинге протеста против апартеида. Элиас Нкомо в свободном западноафриканском одеянии сидел в президиуме вместе со Стокли Кармайклом.

— А почему бы и нет? Ему же не надо беречь свою репутацию на случай возвращения, верно? — решительно вступалась за него моя жена.

Верно-то оно верно, но все-таки я тревожился:

— Дадут ему когда-нибудь поработать спокойно или нет?

Я ему не писал, но он словно бы догадался о причине моего молчания: месяца через три вдруг получаю вырезку из какого-то университетского художественного журнальчика (специальный номер, посвященный Африке), и там снимок с одной из деревянных скульптур Элиаса, а на полях приписка его рукой: «Знаю, ты не очень-то уважаешь тех, кто не делает ничего нового, но, кажется, здесь кое-кто находит эту старую мою вещицу недурной». Это была именно того рода сентенция, которая, произнеси он ее вслух у меня в комнате, заставила бы нас обоих расхохотаться. Я улыбнулся и решил написать ему. Но через две недели Элиаса уже не было в живых. Он утопился в реке — это произошло в ранний утренний час в каком-то из городков Новой Англии, где находилось его художественное училище. И опять, как в тот раз, когда ему отказали в заграничном паспорте, никто не знал почему. С обычным в таких случаях самомнением я даже почувствовал себя виноватым — ведь я не ответил на его письмо. Как знать, говорил я себе, если человек очутился за тысячи миль от своей «квартиры» и ему почему-либо худо, то, быть может, такая безделица, как письмо, просто слово ободрения от друга, который в прошлом был до

[1] Известный польский режиссер-экспериментатор.

обидного скуп на такие слова... Самомнение, разумеется, и самое жалкое к тому же. Как будто написанное между делом письмишко, по существу ободряющая ложь (ах, как это замечательно, что твою старую вещь похвалил какой-то захудалый журнальчик!),— это что-то такое, за что и впрямь может ухватиться человек, идущий ко дну во второй раз. Ибо до того как утонуть в реке, Элиас, видимо, с головой погрузился в такие глубины ужаса, безысходного отчаяния, какие мне совсем, совсем неведомы. Возможно, люди кончают с собой потому, что внезапным прозрением открывают в себе такое, чего нам, остающимся жить, не хватает воли узнать о себе. Вот это и есть отчаяние, не так ли? То самое, что довелось узнать им. И разве не то имеют в виду окружающие, когда говорят в свое оправдание: «Право же, я так мало его знал...» Я знал Элиаса лишь таким, каким он пожелал себя показать, живя у меня «на квартире»; да что там — как я был поражен, когда он упомянул однажды, что юнцом, вместе с другими подростками своего племени, около месяца провел в лесу, готовясь к обряду инициации,— это так не вязалось с моим представлением о нем! Конечно, в меру того, что нам было о нем известно, а также собственных наших принципов и политических пристрастий мы, его друзья, как-то решили для себя, почему он с собой покончил: может, ему и в самом деле стало тошно до смерти в прямом, ныне забытом смысле этого слова, тошно до того, что он умер — от тоски по дому, по родной земле, куда ему не было возврата и чей образ он пытался вызвать в своем воображении, рядясь в туземные одежды, какие носят совсем не в той части Африки, откуда родом он сам; и от стыда за то, что у себя на родине, в Южной Африке, ему приходилось зависеть от дружеского участия белых, стыда, который он ощутил особенно остро, столкнувшись здесь с новой для него формой солидарности всех людей черной кожи.

Да, его убило южноафриканское правительство, убил «шок от переизбытка информации», но ни наша политическая горечь, ни склонность к модным терминам ни на йоту не приближают нас к пониманию того, какое сочетание сил, внутренних и внешних, толкнуло его в роковую купель в то раннее утро. Разъяснять причины этого было бы, перефразируя ту самую, официальную формулировку, «не в интересах отдельных лиц». Элиас так и не вернулся домой. Вот и все.

■

Зато его лучший друг вернулся — в конце того же года. Проведя несколько недель в деревне, *он* явился ко мне; о его возвращении мне уже было известно. Труппа наша тем временем уже успела погореть; видимо, об этом он главным образом и собирался говорить со мной: хотел выяснить, не причитается ли ему каких-нибудь денег из общего котла. Он сообщил мне, что не прочь создать свой собственный театрик, это было бы «о'кей»; очень ему не терпится применить новые «секреты производства»; он узнал их в Штатах «на миллион долларов» (его собственные выражения). Он стал форменным толстяком и одет был крайне экстравагантно. Сверхмодерновая куртка. Пластиковые сапоги. Парик «Афро» — ни дать ни взять кусок каракуля из Юго-Западной Африки. Я прошелся насчет парика (настолько-то мы с ним были близки): мол, он, может, все это время был в партизанах, а не изучал актерское мастерство в театрах близ Бродвея? (Как раз в это время шел процесс над южноафриканскими политическими эмигрантами, обвинявшимися в том, что они пытались «просочиться» на родину через Юго-Западную Африку.) И мне стало немножко стыдно за свою снисходительную попытку исправить его вкус, когда он с величайшим добродушием ответил:

— А что, приятель, занятная штучка, верно? Класс, а?

Я был слишком труслив, чтобы сразу заговорить о том, что меня по-настоящему волновало: об Элиасе. А когда этого уже нельзя было избежать, выдавил из себя какие-то банальности. Он качнул головой:

— Страшное дело, друг.

И помолчал. Потом рассказал мне, что именно так и попал домой — то есть благодаря тому, что Элиас мертв: он вернулся самолетом, воспользовавшись обратным билетом Элиаса. В пособие, которое получал он сам, расходы на переезд не включались, он должен был оплатить их из своего кармана. Так что билет на самолет у него был только в один конец; стипендия же Элиаса обеспечивала оплаченный проезд обратно на родину. Очень трудно было уломать авиакомпанию, чтобы разрешила замену. Пришлось идти к людям, распоряжавшимся фондом, из которого Элиасу выплачивалась стипендия,— они повели себя очень прилично, устроили ему это дело.

Все это он выложил мне с таким простодушием, что я, как и некоторые другие, искренне возмутился, когда поползли слухи, будто он полицейский агент: у кого, мол, еще хватило бы духу вернуться по билету мертвеца, мало того — мертвеца, который, даже будь он в живых, все равно не смог бы использовать обратный билет, потому что дал подписку не возвращаться на родину? Да и вообще, кто поверит этим его россказням? Дело ясное: *ему* надо было найти объяснение, почему он, такой же чернокожий, как другие, может свободно ездить из Южной Африки за границу и обратно. Ведь ему выдали заграничный паспорт, так? Вот то-то и оно. Почему паспорт выдали именно *ему*? Какому чернокожему в наше время выдают заграничный паспорт?

Признаюсь, все это злило меня, и я за него заступался: о его невиновности говорит сама наивность, говорил я, с которой он, чернокожий (да, именно чернокожий, потому и вынужден всю жизнь спасаться от катастрофы, потому и не может позволить себе добропорядочной щепетильности и разборчивости белого), воспользовался обратным билетом Элиаса: ведь он-то жив, и билет был ему нужен; точно так же он мог бы взять пальто Элиаса, чтобы не мерзнуть. Я заявил, что избегать его не намерен (хотя некоторые члены нашей полуразвалившейся труппы ясно дали мне понять, что уклоняются от встреч с ним), и всякий раз, как при упоминании о нем они обменивались полуулыбками, делал каменное лицо: показывал, что в этом их заговоре не участвую. Близкими друзьями мы с ним, разумеется, не были, но он к нам захаживал. В театр ему устроиться не удалось, и он работал коммивояжером, объезжал африканские локации. Обычно он приводил с собой трех или четырех мальчуганов — насколько мы могли понять, это были его сыновья и дети друзей, у которых он жил. Мальчики были такие благовоспитанные, послушные, тихонькие, одеты в элегантные, совсем взрослые костюмчики, и наши босоногие чада взирали на них с благоговейным трепетом. Разговаривали мы с ним все больше о его бедах — машина у него старая, вот-вот развалится; жена ушла; комиссионные выплачивают маленькие; его приглашают в Чикаго, в постоянную репертуарную труппу, но негде взять денег на возвращение в Штаты — а в это время моя жена угощала безмолвных мальчуганов печеньем и мороженым или же мои дети добросовестно качали их, одного за другим, на качелях в саду. Прошло какое-то время, и мы с ним уже могли говорить о самоубийстве Элиаса. Он рассказал, что примерно за месяц до смерти Элиас, бывало, все шагал, шагал вверх по спускающемуся эскалатору в нью-йоркской подземке.

— Я думал, он просто дурачится, понимаешь? Думал, у него все о'кей. Уверен был на миллион долларов.

Он все еще с тоской цеплялся за американизмы. Но парика «Аф-

ро» больше не носил и, когда речь заходила об Элиасе, обхватывал руками большую, красиво вылепленную голову, покрытую уже его собственными коротко остриженными курчавыми волосами, и так сидел, словно силясь додумать что-то, чего до конца все равно не додумаешь. Я понимал его, мне самому хотелось схватиться за голову, и я говорил:

— Ну, дальше.

И он вспоминал еще какие-нибудь «чудацкие штуки» Элиаса незадолго до смерти. В один из таких дневных приходов к нам он вдруг спросил:

— Сдается мне, я еще не рассказывал эту историю — про то, как он приглашал ребят из своего колледжа? Как в свой последний уикэнд — ну, перед этим самым — обходил всех подряд и приглашал на вечер, говорил — устраивает пирушку какую-то, что ли. Некоторые мне потом говорили, он им сказал — на барбекю [1], ты ведь знаешь, что это — ну, вроде braavleis [2], ясно? А другие говорили, он им обещал настоящее африканское празднество устроить, показать, как здесь у нас деревенские угощают, когда свадьба в доме, или похороны, или еще там что. Спрашивал, где можно купить козла.

— Козла?

— Ну да. Живого козла. Собирался зарезать его и изжарить для них — прямо там, во дворе колледжа.

Примерно в это же время *он* попросил меня дать ему взаймы. Полагаю, для того он и приводил с собой этих симпатичных, принаряженных детишек: хотел убедительно показать, что он семейный и положительный, прежде чем прозондировать почву насчет денег. Для человека с моими возможностями сумма была весьма внушительная. Но он больше не мог объезжать локации на своей развалине, а тут как раз представился случай приобрести очень приличную подержанную машину. Я дал ему деньги, невзирая на то — а может, именно потому,— что о нем поползли новые слухи: на дом его друзей, у которых он жил, полиция устроила налет и арестовала всех взрослых, кроме него, обвинив их в том, что они якобы явились сюда на собрание запрещенной политической организации. Правда, его друзьям удалось отвести обвинение; их спасла ловкость адвоката, сумевшего доказать, что полицейский провокатор, на доносе которого основывалось обвинение,— свидетель ненадежный, то есть попросту лжец. Но им тут же вручили судебное постановление, налагающее на них ряд запретов; в частности, им ограничили свободу передвижения и запретили посещать собрания.

Знаменательно, что *он* единственный вышел сухим из воды, и закрывать на это глаза, по-видимому, невозможно. Но все-таки его друзья позволили ему остаться у них в доме; для нас, белых, это было полной загадкой — и кое для кого из черных тоже. Впрочем, там, где доверие превращается в товар, который можно продать полиции, многое становится загадкой. И как ни расценивать мою маленькую демонстрацию (а взаймы я ему дал демонстративно), но ведь и в самом деле за последние год-два у нас здесь дошло до такого, что если человек с черной кожей имеет какое-то образование, если у него есть друзья среди «политических» и среди белых и *при всем том* ему выдают заграничный паспорт, значит, он стукач.

И хоть я сам себе был противен — потому и дал ему деньги,— но я разделяю это мнение. Реабилитировать себя — по крайней мере в на-

---

[1] Прием на открытом воздухе, во время которого подается зажаренная целиком туша (свиньи, быка и т. д.).

[2] Жареное на вертеле мясо *(африкаанс).*

ших глазах — такой человек может одним-единственным способом: очутиться в тюрьме.

Ну, а *он* оставался на свободе. Правда, он был несколько подавлен и обеспокоен участью своих друзей (говорил он об этом с тем же простодушием, с каким раньше рассказывал, как ему удалось заполучить обратный билет Элиаса) и по-прежнему стеснен в средствах, бедняга, но в общем-то не унывал. Однако дружба наша — а после смерти Элиаса между нами началась настоящая дружба — стала быстро чахнуть. И все из-за денег. Только из-за них: он боялся, как бы я не потребовал, чтобы он начал выплачивать долг, и потому перестал бывать у меня «на квартире», кончились эти его визиты с нарядными и благовоспитанными черными детишками. Как-то раз я получил от него напечатанное на машинке письмо, где он очень официально благодарил меня за любезное содействие и т. д. и т. п., словно я банкирская контора, и заверял, что, как он надеется, в ближайшие месяцы у него появится возможность и т. д. и т. п. В ответ я нацарапал записку: я, мол, и впрямь, черт подери, надеюсь, что он намерен отдать мне долг — когда-нибудь, но пока-то за каким дьяволом вести себя так, будто мы в ссоре? Да пропади оно пропадом, и нечего ему из-за каких-то несчастных нескольких кусков бегать от меня, как от зачумленного.

Но больше я его не видел. Я был слишком занят своими непосредственными делами — строительный бум последних лет, сами понимаете. Я получил заказ на большой культурный центр и на торговые ряды, и мне было не до того, чтобы писать декорации для нашей старой труппы, время от времени возвращавшейся к жизни. Да и он, видимо, тоже потерял с нею связь; говорили, что он неплохо зарабатывает как коммивояжер и подумывает о новой женитьбе. Был и другой слух — что он даже строит себе дом в Дубе, а это максимальное приближение к статусу обывателя солидного буржуазного предместья, какое возможно для черного, живущего в поселке черной обслуги за чертою «белого города»,— если только можно причислять к буржуазии людей, не имеющих права собственности на недвижимость. В то время я уже не нуждался в деньгах, но сами знаете, как оно бывает, когда дело касается денег: все-таки меня немножко заедало, что он не отдает долг, потому что сейчас он, по всей видимости, уже мог со мной расплатиться, пусть даже я и ответил бы, что деньги мне не нужны. А что касается дружбы, то он показал мне, чего она стоит. Дружба стала товаром, за который белый должен платить,— так же как он платит за содействие полицейских шпиков. Элиас пять лет как мертв, и мы живем уже в иных обстоятельствах — таких, «как они складываются на данный момент», если пользоваться юридической формулировкой, а к юридическим формулировкам прибегаешь, когда другие способы выражения становятся чересчур опасными.

И вот двести семьдесят семь дней тому назад разнесся новый, только на сей раз подтвердившийся, на сей раз уже не просто слух: *он* был схвачен ночью у себя дома и брошен в тюрьму. У нас здесь это в порядке вещей — на то существует Закон о превентивном заключении сроком на полгода. Так как он что-то собой представляет и у него много друзей и деловых знакомств, особенно среди журналистов, белых и черных, об его аресте стало известно. А если забирают человека неприметного или не представляющего собой интереса для узкого круга белых либералов, то может пройти много месяцев, прежде чем об этом станет известно кому-нибудь, кроме случайных свидетелей, оказавшихся на месте происшествия, когда его забирала полиция,— у него дома или на улице. Но где сейчас *он*, это нам, по крайней мере, известно: в тюрьме. Говорят, сейчас готовится обвинение в государственной измене против него и других, задержанных одновременно с

ним, и еще других, просидевших больше, чем он — триста семьдесят один день, триста десять дней (цифры эти, когда их, наконец, сообщают, неизменно приводятся с такой вот точностью),— и что скоро, скоро всех их будут судить за то, в чем они там провинились, а в чем именно, мы не знаем, ибо когда человека сажают по Закону о превентивном заключении, то не говорят за что и не предъявляют ему никаких обвинений. Само собой, у нас есть кое-какие предположения. Может быть, он был агентом-двойником и использовал laissez-passez [1], предоставляемое полицейскому шпику, чтобы делать свое настоящее дело как участник подпольного африканского национального движения? А может быть, просто неудачно выбирал друзей? Или пострадал из-за опасной преданности кому-то, хоть сам и не имел твердых убеждений? А может, все дело в каких-то личных его отношениях, о которых мы не догадывались раньше и не имеем права судить теперь? Видит бог, даже если не верить слухам, что он полицейский осведомитель,— все равно трудно представить себе человека, который бы меньше походил на подпольщика, чем этот молодой весельчак, услужливый дублер, всегда готовый вскочить и перевернуть пластинку, этот любитель модерновых курток, мечтавший сыграть в пьесе Лероя Джонса в каком-нибудь из театриков близ Бродвея.

Впрочем, как я уже сказал, мы знаем, где он теперь: в тюрьме. И по большей части в одиночке — как говорят те, кто сидит с ним вместе. Вот уже двести семьдесят семь дней он там.

Так что мы, его белые друзья, можем очиститься от скверны слухов. Мы снова можем считать себя чистенькими. Он в тюрьме. Он себя реабилитировал, не так ли?

■

[1] Здесь — право беспрепятственного въезда и выезда *(франц.)*.

Шамсур РАХМАН

■

Перевод с бенгали АЛЕКСАНДРА СЕНКЕВИЧА

■ ■ ■

Быть может, откликнется хоть кто-нибудь! В голос кричу, уставая от крика.
Нет никого. Молчаливая жуть в дома и лачуги надолго проникла.
Взглядом ищу. Кто-то, может быть, есть? К такому безлюдью душа не привыкла.
Нет никого — ни там и ни здесь. Улицы вымерли. Пусто и дико.
Хожу и хожу... Перекресток, дома. Дома, перекресток. И улицы снова.
И снова кричу, как сошедши с ума. Зову и зову человека другого.
И вдруг нападаю как будто на след. Вот кто-то идет, словно в поисках крова.
Бросаюсь навстречу, но голоса нет. Пустота обеззвучила громкое слово.
Словно нежданно пришедшая смерть жадно обшарила все закоулки, заставила стрелки часов замереть. И вымерли люди, и вымерли звуки.
Но вихрь молчанья ничуть не ослаб. Разлилась пустота, как бескрайнее море,
И быстро ползущий по городу краб боком толкает волны безмолвья.

Чахотка

Кто-то проснулся
в соседней квартире,
начав за стеною кашлем давиться.
Мне показалось — мотор заводили,
а он все никак не хотел заводиться.

ШАМСУР РАХМАН (род. в 1929 г.) — известный поэт республики Бангладеш, пишет на языке бенгали. Окончил Даккский университет по специальности английского языка и литературы. Автор многих поэтических сборников. Работает редактором в одной из ведущих газет республики «Дойник Бангла» («Ежедневная Бенгалия»).

Публикуемые стихи были напечатаны в сборнике «Из концлагеря» («Бонди шибир тхэкэ», Калькутта, 1971) и журнале «Дэш» (№№ 7 и 8 за 1971 г.).

Кому-то на улице сделалось плохо,
он в кашле смертельном зашелся кроваво.
И вдруг незаметно из-за порога
на улицу ринулась кашлей орава.
Из грязных трущоб, из опрятных коттеджей
кашли в одну собирались громаду,
крича громогласно в последней надежде,
кроша и сдирая ночную прохладу.
Во мрачных жилищах, рассохшись ночами,
тысячи ребер тряслись обручами.

От приступов кашля тело устало,
я извиваюсь в мучительных корчах.
Ребра мои, как и ребра Бенгала,
стонут,
трещат,
рассыпаясь, грохочут.

Из неба сочится кровь на закате,
и красные пятна блестят на кровати.

Необъезженный конь

Диковат и неприветлив этот конь. Он опять пронесся мимо.
Бьет копытами о ветер — искры в стороны летят.
Вверх взмывает, как пружина, сила в нем неудержима,
и бездонною мечтою озарен косящий взгляд.

Города, деревни, села... Он летит, неукрощенный,
полыхают его ноздри, раздуваются бока.
Смотрят люди удивленно — вот мелькнул он гривой черной,
на спине разгоряченной нет как будто ездока.

И направо, и налево устремляясь ошалело,
мчится он, но ночью темной,
все когда в округе спят,
кто-то вдруг его стреножит, и замрет послушно тело,
и, слетаясь оголтело, птицы клювы навострят.

Предрассудки

Змея вызывает, конечно, испуг,
но опасней змеи изворотливый друг.
Летучая мышь, слепой кровосос,
не в силах, как критик, устроить разнос.

Укус скорпиона, быть может, стерплю.
Но если обманщицу вдруг полюблю?
Своим поцелуем отравит мне кровь
та, что со мною играет в любовь.

Тигра к убийству голод влечет,
тогда как диктатора — голый расчет.

■ ■ ■

О аллах, создавая меня самолично,
отчего мне не дал попугая обличье?
Соблюдая приличья, сидел бы я в клетке
и склевывал важно чужие объедки.
Разучил бы слова, в коих смысл заключен.
Но мыслить — за что я, скажи, обречен?

Мать

Жила она в дальней деревне среди повседневных забот,
не видя, как движется солнце, как облако в небе плывет.
Из зелени, риса и рыбы готовила мужу обед,
как время текло — не следила, берясь за работу чуть свет.
Но видела, взгляд поднимая: птица на ветке сидит,
хвостиком желтым качает, у птицы встревоженный вид.
Умывшись с утра у колодца, подумала, может, не зря
сидит ее младшенький в школе, правила счета зубря.
О старшем задумалась сыне, что в городе учится год.
И банку наполнив печеньем, решила — в подарок пошлет.

Жить неотлучно в деревне дала она, видно, зарок.
И был ее правдой и сутью крошечный этот мирок.
Жилось в нем легко, соразмерно, хотя вспоминался с тоской
покойных родителей образ — наивный, не городской.

И вдруг все вокруг изменилось. Богиней восстала страна.
О судьбах невинно погибших узнала в деревне она.
О муках, печалях, страданьях, о горе родимой земли.
И в пятнах кровавых одежду из города ей привезли.
Одежду убитого сына, который бы многое смог.
И с местью в израненном сердце вышла она за порог.
Оставив поля и деревья, рёчку и маленький пруд,
пошла она вместе со всеми вершить справедливости суд.

На улицах и в переулках ее раздаются шаги,
и поступи той всенародной страшатся сегодня враги.
И лозунги звонкие в небе почти что касаются звезд.
В них — материнская память и сила пролитых слез.

■

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС

Кабильский соловей

РАССКАЗ

Перевод с французского Н. СВЕТОВИДОВОЙ

Посвящается МУЛУДУ ФЕРАУНУ

На улице кто-то громко разговаривал, и Нореддин Аит Каси проснулся. Жена вернулась домой, и вместе с ней через настежь распахнутую дверь в комнату вошло солнце.

— Солдаты,— сказала Айни.— Один пришел к тебе.

Нореддин взглянул на Айни. Как она постарела, и лицо все сморщилось. Он старался сосредоточиться, но никак не мог очнуться от сна.

— Французы?

— Конечно французы...

Она была встревожена. Нореддин встал, сбросив с себя бурнус, и принялся искать сандалии. Наконец отыскал их возле циновки, на которой спал.

Он дрожал, натягивая их на ноги, но это от лихорадки — его мучила малярия. Нореддин взглянул в окно на Джурджуру в бело-голубом снежном наряде, увенчанную шапкой застывших облаков.

В дверь постучали. Он обернулся и, увидев незнакомого офицера, молча уставился на него. Он старался разгадать намерения пришельца.

— Лейтенант Юмез,— произнес тот.— Разрешите войти?

— Юмез... Вы боксер? — спросил старик, почесывая ладонь.

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС — EMMANUEL ROBLÈS (род. в 1914 г.).

Французский прозаик и драматург. Первое значительное произведение, роман «Действие» («L'Action»), опубликовал в 1937 г. С тех пор Э. Роблес выпустил более двадцати книг, в том числе романы «На городских холмах» («Les Hauteurs de la ville», 1948, удостоен премии «Фемина»), «Это зовется зарей» («Cela s'appelle l'aurore», 1952), «Морская прогулка» («La Croisière», 1968), «Итальянская весна» («En printemps d'Italie», 1970), несколько пьес и сборников рассказов. На русский язык переведены роман «На городских холмах» и пьеса «Монсерра».

Э. Роблес сражался на стороне республиканцев в Испании, во время второй мировой войны был военным корреспондентом в частях французской авиации, в годы национально-освободительной борьбы алжирского народа — членом комитета «Надежда Алжира».

Рассказ «Кабильский соловей» был напечатан в сборнике «Человек апреля» («L'homme d'avril». Paris, Le Seuil, 1959).

Э. Роблес посвятил его своему другу, алжирскому писателю Мулуду Ферауну, расстрелянному оасовцами накануне заключения Эвианских соглашений.

— Нет, нет... Однофамилец. Только и всего... Хотя я тоже с Севера. Из северной Франции... Уроженец Туркуэна...

— А-а, Туркуэн,— протянул Нореддин, которому это название показалось знакомым.— Помнится, у меня был друг, который работал в Тур... Ну, в этом самом городе.

— Да, в Туркуэне много кабилов.

Нореддин знаком предложил ему сесть на циновку. Без фуражки офицер казался гораздо меньше ростом и весь как-то съежился. Когда он наклонялся вперед, на его большую светлую голову с поредевшими уже волосами падал солнечный луч, пробивавшийся сквозь узкое окошко.

— Мы остановились ненадолго в вашей деревне,— произнес офицер.— И я подумал... Мне хотелось познакомиться с вами. Видите ли, я купил вашу пластинку...

Нореддин хлопнул в ладоши, требуя чая. Айни разводила огонь во дворике. Она повернулась в их сторону и крикнула, что скоро принесет чай.

Нореддин раздумывал, к чему же клонит офицер. Наверное, будет расспрашивать о феллага[1], только он ничего не знает. А то немногое, что знает, не станет рассказывать.

У Нореддина было столько родни, что в любом отряде в окрестностях деревни. да и не только деревни, а по всей округе, у него непременно нашелся бы внучатый племянник, а то и внук. Или просто знакомый. И доносить на этих людей ему казалось подлостью. Хотя сердце его не знало ненависти. Он был слишком стар и слишком много всего видел, чтобы гореть в огне страстей, снедавших души тех, кто ушел в горы.

Единственной его заботой были поэмы и песни, которые он слагал. Изредка он отправлялся в Алжир, чтобы записаться на радио; деньги, которые он получал там, позволяли кое-как жить ему и Айни. Его почитали за талант импровизатора, к тому же, несмотря на свои шестьдесят восемь лет, он сохранил удивительной чистоты голос. А вот голос Айни стал не тот: и дрожит, и силы прежней нет. И потому Нореддин почти уверовал в некое чудо, свершившееся для него одного. При мысли об этом на губах его появлялась чуть заметная улыбка.

Офицер развязал шарф защитного цвета, которым закрывал горло. И тут обнаружилось, что на животе его висит огромный револьвер, а на груди — бинокль.

— Я пришел к вам, потому что в моем краю вас знают,— сказал он.— Отец мой работает инженером на одной текстильной фабрике. Он выучил кабильский язык. И знает много песен... Да и сам я... В общем, я их немало наслушался. Я уже говорил, что купил одну из ваших пластинок...

Нореддин одобрительно кивал головой, но человек этот наскучил ему. Давно уже старик утратил всякий интерес к живым существам и относился с вниманием лишь к внутреннему голосу, нашептывавшему ему о благодати теплых летних дней и о неслышном приближении смерти. Дерево в цвету, птица, парящая в воздухе, многое говорили его сердцу. Снег на склонах Джурджуры, голоса девушек, доносившиеся снизу, куда они ходили по воду к роднику, далекий зов пастуха — все это напоминало ему ушедшие годы молодости, силы и пылкого творчества.

— И вот теперь я здесь, в той стране, которую любил издалека и которую полюбил еще больше с той поры, как увидел... Я здесь, но

---

[1] Головорезы, так колонизаторы называли алжирских повстанцев.

хожу по ее земле с оружием, точно враг... А мне так хотелось бы приехать сюда как другу.

В голосе офицера звучала горечь. Нореддин кивал головой, желая показать, что понимает состояние его души. Появилась Айни с подносом в руках, на котором стояли чайник и две крохотные чашки в голубых цветочках. На блюдце лежал сахар.

Когда Айни ушла, Нореддин спросил, каково живется его землякам в Туркуэне. Офицер стал рассказывать о нищете, о тоске по родине. Он говорил об этом с искренней симпатией, машинально поглаживая бинокль.

Волнение его было подлинным, и Нореддин, заразившись им, принялся, закрыв глаза, потихоньку слагать песню об изгнании и о страданиях изгнанника. Он забыл и думать об офицере. Песня лилась, заполняя собой комнату. Прибежали ребятишки и сгрудились у входа по обеим сторонам двери.

Как только Нореддин умолк, со стороны джемаа[1] послышался шум мотора, но офицер не обратил на это никакого внимания. Он был весь во власти охвативших его чувств, затуманивших его взгляд и не дававших вымолвить ни слова.

После долгого молчания он встал, подошел к окну и стал смотреть на горы. Ребятишки не спускали глаз с офицера, подталкивая друг друга локтями. На его тонком, тщательно выбритом лице застыло выражение печали. От солнца и ветра кожа его потемнела.

Нореддину стало жаль офицера. Хотя доголе сердцу его неведомо было такое чувство. Но человек этот сказал, что хотел бы приехать в Кабилию как друг, чтобы побродить по ее холмам в одиночку, наедине с самим собой, да еще без оружия. Мысль эта взволновала старика, обдав жаром, будто пламя костра холодной ночью, и он снова стал сочинять асфру[2]. Слова сами собой слетали с его губ. Офицер с удивлением повернулся к нему. Он слушал как зачарованный. Когда тот кончил, он с улыбкой сказал, что узнал терцет, чередование семи- и пятистопного стиха и порядок рифм. Нореддин остался доволен, ему ненароком удалось создать одно из лучших своих творений, и он это знал.

Офицер попросил перевести стихи, старик, подумав, ответил, что в них говорилось о сострадании к человеку, любовь которого отвергли.

Айни тем временем пыталась прогнать со двора мальчишек, они сопротивлялись, делали вид, будто собираются уходить, но снова возвращались, сгорая от любопытства.

С улицы послышалась резкая команда. Снова взревел мотор. Офицеру пора было уходить. Наклонившись к Нореддину, он сказал, что рад был встрече с любимым поэтом и понял, почему все зовут его «кабильский соловей».

Похвала эта нисколько не тронула Нореддина, он уже думал о тех невзгодах, которые навлечет на него этот визит в самое ближайшее время, хотя и не боялся их, полагая, что на все воля божья. И еще он думал о том, что офицер несчастлив и что он, Нореддин, хоть немного унял боль в его сердце. А потому на душе его было хорошо и покойно.

После отъезда солдат деревня погрузилась в странную немоту. Даже скотины и той не было слышно в стойлах. Все, казалось, застыло в тревожном ожидании.

После обеда в горах раздались выстрелы.

Нореддин, рубивший сучья для очага, поднял голову, чтобы лучше слышать.

[1] Собрание общины и площадь, где оно происходит.

[2] Девятистишие, немного напоминающее сонет.

Небо побледнело. Багряные отблески окрасили покрытые снегом просторы на отвесных склонах Джурджуры, стало холодно.

Айни подкинула хворосту в очаг и стала разогревать жалкие остатки баранины, а Нореддин чинил жестяную коробку, которую подобрал накануне на дороге, возвращаясь с рынка в Бени-Дуала.

В дверь постучали, Айни открыла не сразу. На пороге показался парень в военной форме, лампа освещала его снизу. Она стояла на земле возле коробки, и Нореддин поднял ее повыше, чтобы разглядеть лицо пришельца. Он узнал человека, стоявшего на пороге его дома.

— Это ты, Хосин?

— Следуй за мной,— произнес тот как-то значительно и в то же время как бы с сожалением.

Нореддин подал знак жене, что скоро вернется, но она дрожала от ужаса.

Он накинул бурнус, подошел к Хосину, старшему сыну своего двоюродного брата Амера, и спросил, далеко ли идти.

— Молчи и ступай вперед...

На притихшей улице их ждали еще двое солдат. Дома казались голубоватыми в холодном свете, который изливало на них звездное небо. Неуклюжие темные массы инжировых деревьев высились у выхода из деревни, кое-где на них уже поблескивали листочки, похожие на осколки стекла. Это были первые весенние листочки.

Дойдя до родника, они свернули влево, туда, где едва можно было различить несколько сбившихся в кучку домов, на черепичных крышах которых, словно налет соли, застыл серебристый свет. Где-то вдалеке, в густых клубах темных испарений, поднимавшихся снизу, из долины, залаяла собака. Напротив, на соседнем склоне, поблескивал огонек, один-единственный. Нореддин украдкой взглянул на него и глубоко втянул в себя воздух.

Хосин и его спутники, все трое с автоматами наперевес, уверенно, без всяких опасений шли вперед.

Когда они, обогнув живую изгородь из кактусов, подошли к первому дому, дверь отворилась как бы сама собой, и Нореддину почудилось, будто это разверзлись врата смерти. Его охватило не беспокойство, нет, но какое-то особое чувство, знакомое, верно, исследователю, который видит конец своим трудам и ждет награды за свое долготерпение и упорство. Разверзлись врата смерти, и он приобщится к тайне, к которой каждый прожитый день приближал его. Первые строчки стиха родились в его голове, и, погрузившись в глубокое раздумье, он свысока взглянул на пятерых мужчин, сидевших в комнате, куда его ввели. Керосиновая лампа чадила на ящике, но никто не догадался поправить фитиль. И лампа тоже заняла свое место в стихах, добавив в их музыку щемящую ноту.

Как только закрылась дверь, самый молодой из них бесстрастным голосом заявил, что Нореддин Аит Каси, и прежде-то не внушавший доверия из-за своего сотрудничества с французами на радио, теперь совершил предательство.

Обвинение это вывело старика из задумчивости. Он с пристальным вниманием глядел на этого юнца, которому едва ли минуло двадцать лет, припоминая, как однажды тот читал ему наизусть его стихи, услышанные им по радио.

— Что же я сделал? Говори.

— Ты рассказал французскому офицеру, где скрываются наши. Враги собирались напасть на нас. По счастью, наши часовые заподозрили неладное.

— Какое безумие,— произнес Нореддин, не придав особого значения всей этой истории.

— У нас есть свидетели. К тому же, по нашим сведениям, французы должны были следовать в Тизи-Хибель. И то, что они неожиданно изменили свой маршрут да еще как раз после того, как к тебе заходил офицер, серьезное обвинение против тебя, Нореддин!

Его спокойный голос, в котором угадывалась сдержанная, неистовая сила, произвел некоторое впечатление на старика.

Пятеро мужчин, сидевших, скрестив ноги, на циновке из альфы, постеленной на полу, и трое тех, что стояли за спиной Нореддина, почти вплотную к нему, ждали его ответа.

Старик посмотрел на лампу, потом сказал, что офицер и впрямь приходил к нему, но что они не говорили ни о чем, кроме поэзии.

Молодой человек нетерпеливо махнул рукой, словно отметая что-то.

— Ты лжешь...

— Да нет,— мягко возразил Нореддин.— Зачем мне лгать?

И слово в слово повторил то, о чем они говорили с лейтенантом. Ему было приказано прочитать обе поэмы, которые он будто бы сочинил, и он прочитал их спокойно, сложив руки на груди, в той самой позе, какую принимал обычно перед слушателями в привычной обстановке.

Слова лились из его уст, и он уже не видел этой комнаты, мысли его парили в беспредельных просторах холодного ночного неба, над бескрайними снежными равнинами и неприступными громадами скал.

И точно так же, как у него дома, вслед за тем наступила полнейшая тишина. Подобно лейтенанту, присутствовавшие здесь люди не проронили ни слова, глаза их затуманились. Молодой уставился в одну точку на стене, там не было ничего, но ему казалось, будто он видит себя самого бредущим по враждебной и такой близкой, родной земле.

— Не верю я тебе,— произнес он наконец, но в голосе его не было ни твердости, ни настойчивости.

Кто-то сказал, что Нореддин Аит Каси должен умереть, ибо ему не следовало говорить с этим французом.

Остальные согласились с ним как бы против воли, не сочувствуя его правоте.

Солдаты с автоматами не шелохнулись. Но Нореддин чувствовал совсем рядом исходивший от них запах диких зверей, привычных к лесной жизни.

— Скажи нам свое последнее желание,— произнес молодой, зорко следя за выражением лица старика, изо всех сил старавшегося не выдать охватившего его уныния.

Пробил его час, а он уже готовился к нему с некоторых пор. Он оглянулся на дверь, словно проверяя, на месте ли она, потом перевел взгляд на лампу. От керосина у основания ее расплылось темное пятно. Нореддин попросил, чтобы ему позволили восславить свою смерть в последней поэме. Они согласились. И даже как будто заинтересовались таким предложением, каждый уселся поудобнее, приготовившись внимательно слушать его.

Нореддин на мгновенье умолк, собираясь с мыслями. Его поражала собственная отрешенность. Он думал об Айни. О французском лейтенанте, который излишней любовью к его поэзии навлек на него беду. Была какая-то тайная связь между всеми этими событиями дня, таинственный смысл крылся в них. Тоскующий чужестранец явился с Севера, предвестник приговора. Нореддин не торопясь разматывал нить событий, усматривая в них предначертанье судьбы. А смерть была так близко, она пахнула на него терпким духом его стражников.

Наконец он начал читать стихи нараспев, в своей обычной, не-

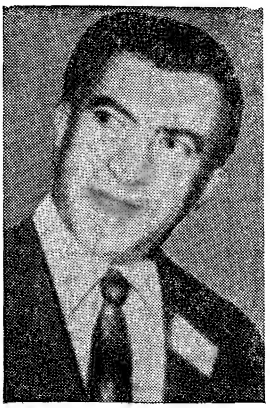
сколько тягучей манере, голос его звучал проникновенно и благостно. Его взволновали первые строки, в которых он взывал к собственной тени, она неотступно будет витать над усталыми людьми, и они станут внимать ей, повторяя друг другу его поэмы. Он говорил, что останется здесь, среди крестьян, станет скитаться по горным склонам, от родника к роднику, до тех пор, пока в памяти людей будут жить его песни. Он пел не себя, а свое искусство и душу, порожденную этой землей и потому не подвластную смерти.

Последние слова растворились в той удивительной тишине, которую Нореддин хорошо знал. Потом послышался вздох того, молодого, он сказал, что жестоко лишать жизни такого великого творца. Ясно было, что поэма взволновала его. Ту же неуверенность Нореддин почувствовал и у других. В их бесстрастных глазах светилось что-то новое. В конце концов самый старый из них заявил, что Нореддину можно, пожалуй, поверить, доказательства его вполне убедительны, но пусть все это послужит ему уроком. На том и порешили.

— Можешь идти,— сказал кто-то.

Деревня утопала все в той же ясной, прозрачной синеве. Нореддин тронулся в путь совсем один, идти ему было тяжело. Но радость, молодая задорная радость толкала его вперед. Поскорее бы добраться до Айни, она, верно, умирает от страха. Вот и скалистый уступ, откуда видна вся долина. Он знал, что отсюда ему оставалось всего минут двадцать ходу. И запел во славу красоты этой ночи. Пел он для себя самого, чтобы дать выход переполнявшему его счастью, облегчить свою душу. Он не дрогнув ждал смерти, со смирением искренне верующего человека, и воспринял эту неожиданную отсрочку как истинно божий дар. Да, день этот исполнен был смысла, и он посвятил ему ликующую песнь, которую никому не дано повторить, ведь он был один и лишь звезды внимали ему. Он пел, пробираясь по едва заметной тропинке. И не мог понять, кому принадлежала пуля, поразившая его прямо в грудь,— французам или своим. Он тихонько опустился на ложе из листьев мастикового дерева, и, пока жизнь еще теплилась, струясь по его пальцам, ему вдруг открылось, что судьба ждала именно этой песни надежды, чтобы поразить его.

■



АХМАД СУЛЕЙМАН АЛЬ-АХМАД

Перевод с арабского И. ЕРМАКОВА

Слова

Слова бедуинов, летящие
Из келий мирских, через миг
Солнцу всего человечества являют свой вольный лик.
Слова эти, верность хранящие
Лишь древнему пылу любви,
Ритм трепещущего сердца избрали ритмом своим.

Забив родником неожиданным,
Они закипают, как слезы,
Стираемые дождем...
Теряются их следы.
И — как цветы распускаются
На берегу реки —
Расцветают воспоминания
Вдоль стихотворной строки...

Слова, словно звезды желания,
Зреющие на ветвях
В яблоневых рощах Дамаска,
Где каждый их может сорвать,—
Да будут для дела доброго
Они человеком собраны!

АХМАД СУЛЕЙМАН АЛЬ-АХМАД (род. в 1924 г.) — сирийский поэт и литературный критик. Учился в университетах Софии и Парижа (Сорбонна). Стихи пишет уже около тридцати лет, автор ряда поэтических сборников, литературоведческих трудов, переводов с французского и болгарского языков.

Публикуемые в этом номере стихи взяты из книг «Летние песни» («Аганин сайфийя», Дамаск, 1967) и «Окна светящихся башен» («Навафиз аль-бурудж аль-мудаа», Дамаск, 1971).

Слова, что из дальних странствий
Домой наконец вернулись,
Что пели в улыбке солнца, светились на крыльях бури,—
Они мечты на своем пути опередили
И век любимых своих прежде них поцелуем коснулись.
Слова — это светлые луны и грозные бури,
Отнюдь не памятники они и не музеи.
Они восходят над горизонтом души
И странствуют, словно дневное светило,
Эти слова, разделяющие полную луну пополам,
Чтобы она две ночи светила!

В их буквах, как уголь, сгорает злоба людская —
Чтобы любовь человеческая жила,
Ярким брильянтом сверкая!
Слова эти пламенные, они
Тайну ливней проносят,
Странствуя надо всем миром.
Они во чреве вулкана живут, в сердце розы.
Они, как пальмы в пустыне Аравии, шелестят,
Размышляя...
Как повстанцы,
Воюют они за свободу родного края!
Черной ночью Востока мчатся эти слова
На кобылицах молний.

День проснулся!
И ты,
Очарованный словом зеленым и трепетно-алым,
Даль огляди с высоты
И стопы обнажи перед входом в святыню поэзии,
Как Моисей,
Ибо ты — на пороге Священной долины!

Твоя любовь

Твоя любовь в моих воспоминаньях —
Как крылья птиц, рождающие ветер,
Как от плодов согнувшиеся ветви.
Потоком черным льется ночь на сердце —
Но мне любовь твоя луною светит!

Давно истлел бы аромат желаний,
Когда б не легкий шорох одеяний
Разоблачающихся в чаще леса гурий.
И даль поэзии давно бы звезд лишилась,
Когда бы обнаженность слов простая
На берегах любви могла растаять.

О чем во мраке шепчет нам пустыня?
Как удается им, песка крупицам,
С источником небес соединиться,

Вновь протянуть ему навстречу руки
И обрести предмет своих желаний,
Преодолев всю глубину разлуки?

Как паруса, разбуженные ветром,
Спешат покинуть зимние пределы —
Так сотни птиц взлетают в небо смело,
Жизнь возвратив еще одной весне.
Твоих шагов магические крылья
Спешат воспоминанье сделать былью —
И сотни весен возвращают мне!

■

АЛАН СИЛЛИТОУ

Начало пути

РОМАН

Перевод с английского Р. ОБЛОНСКОЙ

Часть II

Хлебнув лиха от «простых душ», все сходятся на том, что они не столько умны, сколько хитры. Это неверно. Такие люди не умны и не хитры. Но у них есть особый дар — в иные минуты, под настроением, действовать в полном ладу с самим собой, только и всего. И даже тогда такой человек не ведает, что натворил. Все равно как змея: если уж ее вынудили напасть, яд у нее всегда наготове. Простая душа от природы слишком ленива, нападает только по необходимости. Но уж если придется напасть, она бьет куда больней, чем надо: ведь эту самую простую душу против воли заставили вынырнуть из ее простоты и вялости, которая по сути и есть та же лень. Примерно так я думал, вспоминая, что мисс Болсовер говорила, будто я — простая душа. Ее мнение должно бы мне льстить, да и впрямь было лестно, а все-таки простить ей это я не мог. И оттого, когда я, покинув ее навсегда, катил в Грэнтем, я совсем не чувствовал себя виноватым. Вот у Клодин — у той хоть на одно хватало соображения: уж она-то не считала меня простым и сильным, а потому выбросить ее из головы было потрудней.

Вообще-то я не любитель размышлять подолгу, особого толку от своих размышлений еще никогда не видел, так что я закурил сигару и, свернув на Радклифскую объездную дорогу, стал вовсю жать на акселератор, пока стрелка спидометра не дошла до пятидесяти миль — для меня, можно сказать, рекорд. Спешить было некуда. Моросил дождь, и дворники еле ползали по стеклу, словно батареи сели и сейчас еще плохо зарядились. Но мотор был в порядке, так что я катил себе и катил, а под колесами у меня разворачивалась карта Англии, хотя зима — время вроде не лучшее для путешествий, да и свобода радовала меня куда меньше, чем я ожидал. Мне даже стало казаться, что я уж слишком предоставлен самому себе и не знаю не только, куда еду (это была чистая правда), но и откуда я (а это уже враки). Но ведь когда так круто поворачиваешь свою судьбу, убеждал я себя, очень понятно, что чувствуешь, будто стрелка компаса мотается у тебя внутри, и покуда не установится — нет тебе покоя. Все было бы куда естественней, если б я свистнул чужую машину и теперь удирал на ней. Тут был бы хоть какой-то смысл, но меня, к сожалению, не вос-

Продолжение. Начало в № 8.

питали вором, нет у меня этого сомнительного преимущества. А если бы я, ради собственного удовольствия, прикинулся, будто удираю на краденой машине, это был бы обман, но обманывать я тоже сызмальства не приучен, по крайней мере самого себя. Оставалось только примириться с унылой действительностью.

Когда Грэнтем остался позади и я пустился на юг по Большому северному тракту, на душе у меня полегчало. Кругом лежала унылая, мрачная, насквозь пропитанная водой земля, а по гудрону чуть не впритык друг к другу мчались грузовики, они с легкостью обгоняли мою старую калошу, так что я пугался до смерти и наконец-то понял, что совсем она у меня не такая быстролетная и мощная, как сперва казалась моему влюбленному взгляду. Однако я не велел себе терять веру в мою заводную игрушку, не то она, пожалуй, перестанет стараться, а если я ни с того ни с сего к ней охладею, чего доброго, и вовсе подведет.

Дождь забарабанил сильней, и капля-другая просочились сквозь временные заплаты в крыше, но пока еще можно было не беспокоиться. Вот только изоляционную ленту я забыл взять, будь она неладна. У обочины одиноко стоял какой-то человек в кепке и в плаще, у ног — чемоданчик. Он голоснул, и я подъехал и остановился, а включить сигнал поворота забыл. За мной по пятам шел огромный грузовик-тяжеловес, и он загудел так яростно — у меня едва черепушка не лопнула. Человек у обочины улыбнулся:

— Торопится. Они всегда гонят.

— Вот гад,— сказал я.— Вам куда?

Ему было лет тридцать, высокий, худой, руки — он взялся за рамку моего окна — грубые, узловатые.

— На юг.

Коротко и ясно.

— Мне тоже. Садитесь, если хотите.

— Сяду, коли вы не против,— сказал он.

— Меня зовут Питер Вулф,— сказал я, когда он захлопнул дверцу, да с такой силой, я подумал: она отвалится.

— Тоже,— сказал он.

— Как так «тоже»?

— Меня звать Билл Строу,— сказал он и ухмыльнулся; сроду я не видел такой дурацкой ухмылки, а ведь он явно был в здравом уме и твердой памяти.

Оттого, что у меня появился пассажир, я трусил, как бы не случилось какой аварии, и пока не привык к нему, вел машину так, будто мне под семьдесят и я всю жизнь был рачительным хозяином.

— Издалека? — спросил он.

— Дерби,— ответил я.— А вы?

— Лидс. По делу или развлечься?

— По делу. Служу в страховой фирме. Пробыл в Дерби три дня, выправлял страховой полис на «роллс-ройс». Жуткая работенка. Закурите?

— Не откажусь. Спасибо. А я ищу работу.

— Чем занимаетесь?

— Да всем,— весело ответил он.— Вот два года малярничал, отделывал квартиры. Оттого такой бледный. Хреновая работенка — цельный день с красками. Не знаю, чем займусь в Лондоне. Большой город.

Я кивнул.

— Что верно, то верно.— Один раз, лет двенадцати, я там был со школой, на экскурсии, видел Букингемский дворец (снаружи) и драгоценности короны в Тауэре (тоже снаружи).— Там работы хватает.

— Работа всюду есть,— сказал он угрюмо, со знанием дела.— Это

уж точно. Только на юге здоровей, вот я туда и подался. А что, ваша колымага быстрей не может?

— Если вам так некогда, никто вас не держит, вылезайте и топайте. Может, поймаете какой-нибудь «бентли» — к обеду будете на месте.

— Ладно вам,— засмеялся он.— Я вас не брошу.

— Дело ваше. Я скоро остановлюсь, выпью чаю с пудингом.

— Я бы тоже перекусил.

И по тому, как он это сказал, я понял — платить ему нечем.

В придорожной закусочной народу было битком, у стойки выстроился целый хвост. И все ехидно выпялились на мой воротничок, галстук, на лучший мой серый костюм — мол, кой черт тебя сюда такого занесло? Так что я дал Биллу Строу полкроны и сказал:

— Возьмите-ка два чая и два пирожных.

А сам сел за столик и принялся ждать. Чуть подальше лежала «Дейли миррор», я потянулся за ней, хотел поглядеть первую страницу, но здоровенный шофер, который тащил от стойки свой завтрак — яйца, жареный картофель, сосиски, бекон, бобы, помидоры, оладьи и поджаренный хлеб,— заорал:

— Захотел газетку, приятель, так купи, я-то купил.

Он стал надо мной, что тебе хорошая башня.

— Ладно,— сказал я,— не кипятись.— Я поднялся, ростом я был с него, только похудощавей.— Никто не прикарманит твою газету. Я хотел ее подвинуть, а то чай поставить негде.

Тут он признал мой простецкий выговор.

— Я-то подумал, ты из таковских — мошна тугая, а на газету три пенса жалко.

— Ну, нет,— сказал я, а он придвинулся к столу и давай со страшной силой уминать свой завтрак.

Вернулся Билл Строу и сел как раз так, что я мог получше его рассмотреть.

— Что-то не больно ты смахиваешь на страхового агента — такой чистюля бы перед этим гомиком сдрейфил.

— Лучше заткнись, не то он заодно и тебя заглотает.

— Не заглотает,— сказал Билл.— Я сам его разделаю. Мне не впервой.

Этому я сразу поверил. Лицо у него было худое, острое, похоже, он такой — чтоб в драке взять свое, вполне может пустить в ход бритву. Но сейчас он так оброс, что для начала ему не мешало бы использовать бритву по прямому назначению. Потертый костюм на нем чуть не весь насквозь светился, рубаха грязная, и вроде без пуговиц, разъехалась бы впереди, если б не галстук, до того старый, что на видном месте продырявился.

— Спасибо, накормил,— сказал он.— Со вчерашнего дня крошки во рту не было.

Я подтолкнул к нему через стол вторые полкроны.

— Тогда возьми чего-нибудь еще.

Он вскочил.

— Век этого не забуду! — И чуть не бегом кинулся в начало очереди. Я думал, его разорвут на куски и выкинут в окно. Но он протолкался вперед и как-то так глянул на тех, кто поближе, что, видно, враз подействовало — через минуту он уже принес два яйца на поджаренном хлебе и уплел их, кажется, еще прежде, чем поставил тарелку на стол.— Ты парень что надо,— сказал он.— Ты, может, не знаешь, но ты спас мне жизнь. Теперь все пойдет по-другому.

— Брось,— сказал я.— Пустяки.

— Нет уж,— сказал он.— Век буду помнить. Ты молодчина, ты

и впрямь благодарности не ждешь, только я тебе во как благодарен. По гроб жизни.

Он весь покраснел, я даже удивился и на закуску предложил ему сигарету.

— Ты, видно, не больно разбогател на своей малярной работе.

— А я, может, и не малярничал вовсе,— сказал он и ухмыльнулся.— Вот двинем дальше, я тебе расскажу. История длинная, до самого Тимбукту хватит, не то что до Лондона.

С улицы донесся рев отъезжающего грузовика, и сквозь этот рев я услыхал — заскрежетала жесть, захрустел гравий, а может, и стекло. Кто-то сказал из-за стойки:

— Бешеный Берт поехал. Видать, саданул чью-то тележку.

Какой-то парень вышел взглянуть и тут же вернулся, а Бешеный Берт, должно быть, уже весело мчался к Донкастеру.

— Порядок,— со смехом сказал парень.— Берт помял чей-то маленький черный «попьюлар», всего делов. Содрал с него передний бампер, малость поцарапал бок да кокнул фару. А сам-то наверняка целехонек.

Я вскочил и под взглядами всей закусочной выбежал на улицу. Дождь ослепил меня, дыхание перехватило. Ну и денек! И кой черт меня дернул пуститься в путь именно сегодня? Машине моей досталось еще больше, чем выходило по словам того злорадного скота. Заднее левое колесо перекосилось, покрышка разодрана, шина спустила.

Билл Строу вышел следом за мной.

— Вот бандюга. Запасное колесо есть?

Я кивнул.

— Давай сменим,— сказал он.— Я тебя не брошу, не бойся. Ты меня выручил, теперь я тебе подсоблю. С машиной не так худо. Еще полетит как пуля.

Он нагнулся и приподнял кузов, чтоб сподручней было ставить новое колесо. Еда, видно, прибавила ему сил. И на том спасибо.

Через десять минут колесо было поставлено.

— Старое все перекошено,— сказал Билл.— Можешь его выкинуть. Ему грош цена.

Я согласился, и он откатил колесо к ограде.

— Выпьем еще чаю,— предложил я.— Может, узнаем фамилию этого гада.

Острая боль пронизывала мне сердце, по щекам, смешиваясь с дождем, ползли слезы. Про Бешеного Берта никто ничего не знал, а может, знали, да не хотели говорить, и, ругнувшись раз-другой на прощание, мы угрюмо вышли.

— Вот она, солидарность рабочего класса,— пробормотал Билл.— Шоферы грузовиков народ дружный.

— Пошли они...— сказал я.— Мы тоже рабочий класс. Скажешь, нет?

— Ну, брат, сейчас мы с тобой не рабочие.

Поехали дальше, и на меня нахлынула нежность к моей израненной машине. Это была моя первая авария, и я никак не мог прийти в себя. Хотелось только тишины и покоя, и разговоры моего пассажира были мне сейчас совсем ни к чему. Зря я его подобрал, это в первый и последний раз. Так мне стало муторно, я уж готов был вину за все беды свалить на него, да спохватился — что я, спятил, что ли? — и захохотал.

— Ты чего? — спросил он.

— Да вот, все-таки едем. Дождь закругляется. Над Стамфордом уже посветлело.

— Это все ладно. А вот что у тебя за дым над фарой?

под дождем дымок этот был точно скрюченный палец: чуть поднялся в воздух, а сам не уверен, дотянется ли до задницы господа бога.

— Что еще? — ахнул я.

— Остановись, когда сумеешь, я все налажу. Я на машины мастак.— Он говорил так убежденно, такая в его голосе слышалась умудренность, будто он прожил триста лет и знает все на свете. Я остановился у обочины, Билл кинулся вперед и уставился на фару.

— Выключи фары,— крикнул он.— Теперь включи. Выключи. Включи. Выключи. Включи. Нет. Не годится.

— Ну, что там? — спросил я.

— Порядок. Сегодня будешь в Лондоне, если только поспеешь дотемна.

Он накинулся на фару, будто не он ее — так она его прикончит. Вцепился в нее обеими руками, морда злобная.

— Оставь! — крикнул я и полез вон из машины.— Не тронь!

Тут он шлепнулся на спину с фарой в руках и, словно боясь — вдруг она его ужалит, с силой швырнул ее через живую изгородь.

— Какого черта ты ее выкинул?

— Я ж сказал, я знаю толк в машинах. Три года работал механиком в гараже, понятно? В этой фаре провода перегорели. Если б так и осталось, не миновать тебе пожара. Может, у тебя тут есть огнетушитель? Ну ясно, нету. Будь спок, я-то не дурак.

Крыть было нечем.

— Ладно, не кипятись,— сказал я.— Поехали.

За Стамфордом показалось солнце—не обмануло, и, когда оно пригрело нас через ветровое стекло, оба мы подобрели.

— Ну, теперь послушай про мою жизнь,— сказал Билл.

— Слушаю,— отозвался я; я как раз объезжал грузовик, и на минуту мне показалось — тут-то нам с Биллом и крышка. Но Билл и ухом не повел, он вроде твердо верил, что я доставлю его в Лондон целым и невредимым. А я поверил в него: хорошо, что я его подобрал, несмотря даже на операцию, которую он так безжалостно проделал с моей новой с иголочки подержанной машиной; волей-неволей надо считать, что без этого нельзя было обойтись.

— Никакой я не Билл Строу,— сказал он,— но ты про это не думай. Не все ли равно, кого как звать? Родом я из Уорксопа, мне уже тридцать семь. Мой старик был углекоп, работал на шахте. С виду был слабоват, а все ж на работу силенок хватало. Хватало, да не хватило: когда мне сравнялось десять, захворал он горлом от угольной пыли и помер. Помню, пошли мы с матерью в лавку покупать мне черный костюм, это был мой первый костюм, а я до того убивался по отцу, не мог даже костюмом погордиться. Два моих брата и сестра вышли за матерью из лавки, все черные,-что воронье, а назавтра мы пошли на кладбище и еще с полсотни шахтеров, все отцовы дружки. На дворе сентябрь, солнце, и уж так мне паршиво было, так тошно... Мне всегда говорили, люди больше помирают в конце зимы, ну я и решил—бог нарочно так подстроил, назло моему старику, и пообещал себе: хватит, больше мне до бога дела нет. Ребячья дурость, конечно, потому как это все едино — думаешь ты про него или не думаешь. Все едино, так что валяй мозгуй над чем другим, коли охота, были бы мозги.

В школе я не распевал псалмы. Бывало, стою со всеми, а рта не раскрываю, мне за это и ремня давали, а я все равно не пел, черта с два. Меня лупили еще и еще, а я не сдавался. Тогда учитель пожаловался матери, и она стала просить — мол, будь умником, делай, как велят, не ради меня, так хоть ради отца. Ну и подлила масла в огонь. Я решил: нипочем не сдамся, пускай что хотят со мной делают. Что греха таить? Как помер отец, мы десять лет голодали. Я только тогда

и не голодал, когда меня упекли в исправительную колонию,— стибрил велосипедный фонарь. Хотел ходить ночью по улицам и светить в небо. Вон чего захотел — совсем тогда, видать, спятил. В общем, зашел в магазин и прямо взял фонарь с прилавка, а хозяин из своей каморки увидал. Сцапал он меня уже на улице, полицию вызвал. Ну, и несколько лет меня кормили — не то чтобы пальчики оближешь, а все каждый день,— так что в четырнадцать, когда воротился домой, я уже здоровый вымахал. Крепкий. Решил: больше дурака не сваляю, неохота, чтоб опять упрятали в кутузку.

Нашел работу и за пятьдесят часов в неделю по субботам вечером приносил домой одиннадцать шиллингов. Стоило ради них гнуть спину, нет ли — не об том разговор. Я ведь не жалуюсь на жизнь, просто рассказываю, как попал к тебе в машину. Мать стирала на шахтеров, и мы сводили концы с концами. И хоть я зарекся — мол, никогда больше воровать не стану, а через несколько лет опять влип. Младший братишка еще ходил тогда в школу и вот заявляется раз домой весь исполосованный, это учитель его так отделал. Нам бы доктора да адвоката, этому учителю дали бы под зад... Хотя нет, куда там. Понимаешь, не верю я в справедливость. Я еще когда сам ходил в школу, этого учителя знал — злой, сволочь, а теперь вон братишку моего чуть не изувечил. Питер у нас меньшой, отца почти и не помнил, вот мы и старались, чтоб ему полегче жилось. Он у нас был самый слабенький и самый башковитый. Озоровал, конечно, малость, забаловали мы его, а все равно жизнь у него была не сладкая. Мать пошла к директору, а он давай на нее орать, мол, они в школе сами знают, как ребят учить, а она пускай в эти дела не суется. Что-то вроде этого. Сам понимаешь. На другой день ушел я с работы пораньше и стал поджидать того учителя. Перехватил его у ворот и говорю — я, мол, брат Питера. Он возьми и отпихни меня. Ну, тут я на глазах у всей ребятни как двину ему в зубы, он аж отлетел к стене. Два раза я ему вмазал, а потом он опомнился и кинулся на меня. И пошел меня лупить, а он был здоровенный, но тут я вроде сбесился, подбил ему глаз, потом другой, губы расквасил, колошматил его, пока полиция не подоспела—тогда уж меня оттащили. Ну, а дальше сам понимаешь.

Судья сказал, я опасный субъект — так прямо и сказал — и надо меня держать подальше от общества порядочных людей, стало быть, от того учителя, так я понимаю. Еще сказал — надо бы меня засадить в тюрьму, да годами я не вышел, так придется послать в Борстал. Я ничего на это не сказал. Что толку? За брата я отплатил, как мог, а вообще-то мстить — это не по мне. Злость осела во мне, будто песок в бадейке с водой, и я, как ягненочек, отправился в Борстал. Я был неплохой парнишка и никому не доставил хлопот. Это я тогда взбесился, а потом все прошло, и я хотел жить тихо-мирно. В Борстале я отбыл три года как болван бессловесный, а стало быть, понятное дело, вышел на свободу другим человеком. Борстал, скажу я тебе, страшное место. Даже если хочешь отбыть срок без сучка без задоринки, все равно надо уметь за себя постоять. Ну, я-то, признаться, не сплоховал. Все мы хвастались кто во что горазд. Кто поглупей, врал, будто у него брат автогонщик или там классный жокей, всегда выигрывает, а я их развлекал по-своему: рассказывал, как в Уорксопе и Ретфорде молодые шахтеры сбиваются в шайки, да как они по субботам сходятся в Шервудском лесу, в глухом месте, и от нечего делать набрасываются друг на друга с бритвами и с бутылками. Я заливал — мол, хоть годами еще не вышел, а все равно меня приняли в шайку Уорксопских ножей за мою лихость в шахте, а по правде-то я там никогда и не работал. Но моей трепотне почему-то верили и опасались меня задевать. А то, не ровен час, я взбешусь и пойду, как этот самый Уорксопский нож, да

и пущу кровь всем, кто под руку попадется, они и оглянуться не успеют, как двое-трое отдадут концы. Это не спасало меня от ночных драк, но я скоро смекнул: пока ты кого мучишь, тебя самого никто мучить не будет. А уж коли перестал — уноси ноги, приятель, не то тебе несдобровать.

Вот с таким понятием я вышел из Борстала. Вышел на свободу — и чувствую: я как соломинка на ветру. По дороге заглянул в Уорксопе на рынок и слямзил большую банку нарезанных ананасов, надо ж дома отпраздновать возвращение. Был уже вечер, моросило, а дома никого: мать не разобрала в письме, думала, я еще не сегодня приеду, и пошла к сестре к своей. Влез я через окно кладовки, развел хороший огонь и стал ждать. Поставил посреди стола банку с ананасами — только всего и вложил в хозяйство за три года,— сижу и гляжу на нее. Потом думаю: ладно, хватит слезы лить из-за того, сколько на свете людей, с кем поступают безо всякой жалости. Достал консервный нож и открыл банку. Сладкие ломти были уложены плотно, как надо — можно бы сейчас лакомиться всей семьей. Ананасы для нас роскошь, хотя на вкус они будто репа с сахаром. Я вывалил их в миску и поставил в буфет. Круглая крышка от консервной банки лежала аккуратненькая, что твоя бритва, я взял ее, провел по краю большим пальцем. И подумал: вот резануть по горлу — и все. Мне тогда было девятнадцать, и я считал: хватит, нахлебался, а радости от меня все равно никакой — ни себе, ни другим. Сделать бы это можно было, да только сразу, а раз, думаю, сразу не сделал, значит уж и не сделаю — и верно, духу не хватило. Ведь если б сделал, с меня-то бы уж взятки гладки, а матери и всем нашим лишнее горе да заботы. Вот это меня и остановило, а вовсе я не струсил. Хотел я это сделать, очень вроде хорошо придумал, да только для этого надо быть сущим подлецом, никого, кроме себя, не жалеть. Через час все наши воротились и уж так мне обрадовались, будто вот пришел я — и теперь всем бедам и заботам конец.

Коли ты прямиком из Борстала, попробуй найди работу. Я из кожи вон лез, все глаза проглядел — в газетах спрос на рабочую силу читал, а ходил столько, что аж с ног валился. Рекомендаций у меня никаких не было, чем мне махать перед носом у этих святош? Ну, все-таки есть на свете добрые души, нашелся один богатый старик, ему нужен был парень, чтоб катал его в кресле. Пришел я в его большой дом, и слуга провел меня к нему в сад. Он слушал какую-то пластинку, пришлось постоять подождать, покуда музыка кончится, а потом подошел я, поднял звукосниматель и выключил проигрыватель, просто по доброте — самому-то ему было не дотянуться,— а не потому, что подлизаться хотел.

«У меня уже двадцать молодых людей побывало,— сказал он,— я утомился. Есть у вас специальная подготовка?»

«Нет, сэр,— ответил я.— Я только-только из Борстала».

Тут он захохотал, и я даже испугался — вдруг развалится на составные части, такой он был сморщенный, усохший, как ни говори, восемьдесят лет. Уж пускай бы развалился, думаю, а я отсюда смоюсь, буду искать дальше. Но что-то было такое в этом старике, что злость моя поостыла, тем более он возьми да и скажи:

«В таком случае я вас беру. Когда можете начать?»

Одежонка на мне была плохонькая, слуга его повел меня в дом наверх, а там полно форменной одежды, подобрали одну ливрею мне впору. Служба эта, конечно, не из лучших, но я получал тридцать монет в неделю на всем готовом, по тем временам совсем не плохо. В первый раз в жизни у меня была своя комната, пускай маленькая, пускай под самой крышей, а на одного меня, да еще шофер каждый день, по-

куда старик спал, час учил меня водить машину. На полдня в неделю меня отпускали домой, и я все деньги отдавал матери, себе оставлял только шиллинг-другой на курево. В Борстале такой работой не похвастаешься, а все ж она меня кормила, и еще я нет-нет да покупал братьям и сестренке приличную обнову.

Старика того звали Перси Уоплоуд, у него была прорва земли, и на земле фермы, а под землей полно угольных шахт. Бывало, катаю его по саду час утром да час днем, а он знай толкует мне, чем жизнь красна, а чаще вовсе про меня забудет и вслух считает, сколько он всего потеряет, когда сыграет в ящик. И еще он часто вроде говорил с разными своими знакомыми, только их тут никого не было, а некоторые давно уже померли. Слышали б они его, вот бы обалдели, право слово, я сам сколько раз весь скрючивался, только б не захохотать. Стану как вкопанный, не могу кресло сдвинуть, уж больно он чудно выражался. А еще, бывало, со своими двумя сыновьями говорит — на самом-то деле их давно на войне убило,— наказывает, чтоб готовили уроки и после чтоб в университете хорошо учились. Или везу я его в кресле по дорожке вдоль ручья, а он им толкует, как будет хорошо и ему и матери ихней (а она уж тоже померла), когда они поженятся да обзаведутся детишками. Случалось, приезжал к нему из Йоркшира сводный брат. Он был на двадцать лет моложе. Иной раз бедняга Перси чего недослышит, так тот давай на него орать!

В дождь ему на улицу нельзя было, и я по полчаса катал его по дому, по коридорам на первом этаже,— сидеть на месте он терпеть не мог. А остальное время он заставлял меня читать ему вслух, вот где попервоначалу была мука: коли я медленно читаю или ошибусь, он орет, ругается, того гляди, палкой стукнет. А иногда он набирался терпения, и это помогло; месяца через два я стал читать хорошо, потому как дождь, черт его дери, лил чуть не каждый день. В общем, мы с этим Перси неплохо ладили, да и все равно не приходилось обижаться, коли он надо мной и посмеется, ведь за то он мне и платил. Шофер говорил, Перси уж сколько лет не бывал так часто в хорошем настроении, и даже намекал: может, если так и дальше пойдет, старик кой-что отпишет мне в завещании. Я про себя считал: хорошо тебе шутить, а мне на твои шутки только облизываться. Деньги никогда мне так легко не достанутся. Мне уж, видать, на роду написано либо их горбом зарабатывать, либо красть, и я тогда еще не знал, что трудней.

Я скоро там освоился, катался как сыр в масле: жизнь спокойная, работа не больно тяжелая. Экономка и шофер были со мной добрые, иногда и потолкуют как с человеком, и кормили на убой. Покуда я там работал, шофер выучил меня водить машину, я даже права получил, и заплатил за них хозяин. Раз в неделю шофер катал старика по Дьюкери, и мне сказали — мол, скоро это, может, доверят и мне, вроде о большей чести и мечтать нельзя.

Экономку звали Одри Бикон, пухленькая такая бабенка под сорок, родом откуда-то из-под Честерфилда. На работе она одевалась просто, но на вид была ничего, во всяком случае, шофер, Фред Крессуэл, хвалился, будто раз-другой переспал с ней, да только я не больно верил, таковская, похоже, его бы уж не выпустила. Он хвалился, мол, она баба что надо, только уж больно много мяса на костях нарасло, даже лишку. Я не сразу понял, чего это она так хорошо меня кормит. А потом раз сижу, развалясь, в кухне, а она подошла сзади и прижалась ко мне грудями. Я до того уже разок-другой развлекался с девчонками, но только не с такими тетками. А она давай целовать меня в спину, прямо через рубашку, меня так в жар и кинуло, сижу и даже обернуться не смею. А потом обернулся, поглядел в ее серые глаза, обнял за плечи. Стали мы целоваться, и пока никто не по-

мешал, она сказала, чтоб сегодня ночью я к ней заглянул. Тут я вовсе зашелся от нежных чувств, морда, верно, стала как у теленка, а она резко так сказала:

«Ты что, может, не знаешь, где моя комната?»

В общем, что долго рассусоливать: бабенка была аппетитная, можешь мне поверить, и сыт я был до отвала — только, можно сказать, подчищу тарелку, глядишь, она опять полная. Так оно и шло месяц за месяцем, и пока была у меня эта работа, кажется, больше и желать нечего. Ну что еще надо молодому парню? Все у меня было: работа, деньги, еда, любовь, крыша над головой. Лопни мои глаза, ничего лучше я потом и не нюхал. И вот хочешь верь, хочешь не верь, сам теперь не пойму, как оно могло случиться, а только надоела она мне. День проходит, другой, а я не иду к ней в комнату, и все тут. Что-то со мной сделалось, сам не знаю. Отворотило меня от нее. Стал я чаще в Уорксоп ходить, просто на полчасика заглядывал вечерами домой. Выпью где-нибудь в закусочной пива или чаю и топаю назад — всего-то несколько миль — и сразу заваливаюсь спать. Даже ни с какой девчонкой не встречался. Одри попробовала было повернуть меня на прежнее, да не вышло. Ну, она и озлилась на меня, и уж не успокоилась, покуда меня не прогнали с этого места.

Не враз ей удалось это подстроить, потому как нечего было мне пришить. Был я парень, как говорится, трезвый, рассудительный, любил бродить по дому, разглядывать картины, а при случае и порыться в стариковой библиотеке. Старик души не чаял в собаках, и несколько собак всегда слонялось по всему дому. Иногда с нами на прогулки ходил рыжий сеттер. Собаки хороши, когда от них толк, но я все равно против них ничего не имел. На день рождения, когда старику стукнуло восемьдесят один, какой-то его правнук прислал ему йоркширского терьера — уж наверняка для того старался, чтоб старик отписал ему побольше. От такого внимания наш Перси прослезился, и собачонка эта стала самым дорогим его сокровищем. А по правде сказать, несносная была сучка. Бегает всюду, пачкает, а что всего хуже — невзлюбила меня. И кто ее знает почему. Я-то ее не трогал, бывало, иду за Перси, чтоб на прогулку его везти, она и давай на меня лаять и сразу пятится, а я на нее и не гляжу.

Раз она щелкнула зубами возле самой моей лодыжки, и я подумал: ну, нет, хватит. А все равно ее не трогал, шел и шел. И тут она вдруг цап меня зубами. Да так больно. Я хоть видел: мимо Одри идет, но не удержался и наподдал ей ногой. Надо бы мне совладать с собой, не обратить внимания или, может, посмеяться, а я обозлился, наподдал шавке под зад. Она так и отлетела в другой конец коридора, откуда раньше выскочила. Может, тем бы и кончилось, да на беду она такой визг подняла — на весь дом. Уоплоуд был в соседней комнате. Он иногда бывал туг на ухо, а тут, как назло, все услыхал. И давай орать, будто его режут. Я вошел, спрашиваю, что такое.

«Собачка! — кричит.— Что с собачкой?»

Я говорю — мол, я шел мимо и нечаянно на нее наступил, да он не поверил, позвонил и давай всех звать. И грозится: коли не дознается — всех уволит, ну, а Одри Бикон эдак спокойненько и рассказала ему, что видела. Мне велели убираться вон. Перси держал на руках свою дорогую собачонку, чуть не плакал, а на меня и не поглядел. Я ему показываю — вот, мол, следы зубов на лодыжке, вот штанина разодрана, а ему хоть бы что. Я и ушел оттуда с четырьмя фунтами в кармане, надо было искать другую работу.

Вытащил я из мусорного ящика вчерашнюю газету, смотрю — началась война. Место я нашел быстро. Тут мне пригодились водительские права: меня взяли шофером—развозить хлеб из пекарни по город-

ским булочным. Теперь наша семья всегда была с хлебом, каждое утро я забрасывал домой три-четыре буханки получше. Только вот беда — не умел я думать. Да и сейчас не умею, разве что за последние годы опыту прибавилось, много чего понял. Жизнь ведь как устроена: кто не думает, тому в нашем мире худо приходится. Раз не умеешь думать, стало быть, никогда не станешь такой, как другим надо, а это худо — либо для тебя, либо для них. Может, я еще найду какую-то среднюю дорожку, чтоб ни другим не вредно, ни себе... вот тогда, каков я ни есть, уж свое возьму.

Солнце согрело нас. За разговором мы выкурили все мои сигареты. Это было все равно как слушать радио, а ведь радио у меня не было, я его оставил матери. Машина делала миль сорок в час, миновали Стамфорд. Утро было уже в разгаре, и я тоже катил полным ходом и одну за другой обрывал бечевки и нити, что связывали меня с прошлой жизнью. Спасибо еще, что их хватило надолго, ведь теперь они улетали назад и, кажется, обрывались уже навсегда. Пока Билл молчал и собирался с силами, чтобы рассказывать дальше (наверно, от этого на его озабоченном лице прибавится морщин — ведь конец истории уже не за горами), я с грустью думал о Клодин, о том, что все еще люблю ее. Как-никак у нее будет от меня ребенок. Вот приеду в Лондон и напишу ей длинное пылкое письмо. При мысли, что все идет по плану, я улыбнулся, но только чей же это план? Я задумался об этом, и вдруг в радиаторе что-то взорвалось.

— Стой! — крикнул Билл Строу. Я послушался, выскочил еще прежде него и поднял капот — как там жива моя красотка?— Воды нет,— сказал Билл.— Вся испарилась. До капельки. Ты что ж, вовсе в машинах не смыслишь?

— Дня два назад радиатор был полный,— сказал я.

Он схватился за голову.

— Тогда что-то неладно.

— Ты бы хоть раз меня порадовал.

— Будет чем, так и порадую. Иди поищи воду, а я здесь обожду,— сказал он.— Только дай сигаретку, чтоб скоротать время.

Я протянул ему последнюю свою сигарету и пошел. Когда я прошагал по шоссе с четверть мили, меня обогнал грузовик, из кабины мне улыбнулся и помахал Билл Строу. Грузовик умчался. И я подумал: не видать мне больше этого Билла как своих ушей. И конца истории не услышу. При такой скорости он быстро домчит до Лондона. Как нажито, так и прожито. Так уж оно повелось на дороге.

Я шел еще полчаса, а ни заправочной станции, ни жилья все не было. Шагал я быстро, а от малейшего усилия меня всегда прошибал пот, оттого я и не полюбил тяжелую работу — терпеть не могу потеть. Мало того, что от тебя разит, еще, глядишь, вместе с потом из тебя утечет что-нибудь такое, без чего и жить нельзя. Но скоро идти стало приятно. Справа от меня, совсем рядом, с грохотом проносились машины, но я поуспокоился, сбавил шаг. Сквозь их шум слышались голоса птиц, ветерком наносило запахи полей — каким же свободным можно быть, если всеми потрохами не прикован к машине.

Вдалеке кто-то шел мне навстречу, и я подумал: спрошу-ка, где тут взять воды для радиатора. Скоро я разглядел, что лицо вроде знакомое,— оказалось, это Билл Строу тащит канистру с водой.

— Я решил, тебе полезно прогуляться,— сказал он.— Разве это дело — столько часов гнешь спину за рулем, надо ж ноги размять. А пройдешься — и машину будешь вести лучше. И для печенки полезно. Ну, пошли, дадим напиться нашей коняге.

Мы зашагали назад.

— Ты, верно, думал, я тебя бросил? — со смехом спросил он и протянул мне пачку сигарет.— Закуривай! Я взял со стойки, когда он глядел в другую сторону. Да бери, ничего. Можешь за них заплатить, когда поедем мимо. Я все равно обещал вернуть канистру. Очень услужливый малый. Коли нужен бензин, давай купим у него, просто ради доброго отношения.

— У тебя уже все наперед решено.

— Нет еще,— сказал он, думая о чем-то своем,— но скоро решу.

— Скажи поясней.

— Спроси меня через три месяца.

— Господи, да где ж, по-твоему, мы тогда будем?

— Сдается мне, у черта на куличках. А ты как думаешь?

— Не знаю. Я сам себе хозяин.

— Ты вроде говорил, ты страховик. Я, понятно, не поверил, не та у тебя машина.

— Я тебе после объясню,— сказал я,— когда про себя дорасскажешь.

— Теперь недолго осталось, вот только запустим эту проклятую машину. Я ее, голубушку, налажу, хотя она у меня дорогое время с мясом отрывает.

Я налил воды в радиатор, опустил капот, и мы поехали. Над носом поднимался пар, и я думал, это еще не остыл радиатор, но Билл умел смотреть правде в глаза и сказал, этого быть не может: пока мы ходили за водой, машина уже сто раз могла остыть. К тому времени, как мы доехали до гаража, радиатор опять был пуст. Я легко впадаю в отчаяние, и тогда, глядя на радиатор, чуть не плакал, думал, может, бросить машину да двинуть пешкодралом на ближайшую железнодорожную станцию. До дому ведь всего несколько часов езды.

— Что ж, валяй, если хочешь,— сказал Билл Строу, когда я с ним поделился этими мыслями.— Да только зачем? Поломка-то пустячная.

— Впрямь пустячная?

Он протянул мне раскрытую ладонь.

— Давай пять монет... нет, лучше десять, и будет полный порядок.

Я прилепился к нему — уж очень меня зацепило, как он рассказывал про свою жизнь, и такой он становился уверенный, едва машина начинала барахлить, а она теперь почти сплошь барахлила. Но при всем этом я человек суеверный и недоверчивый — и поневоле думал: может, не будь его, машина вовсе и не подвела бы. А все ж десять шиллингов я ему дал.

— Ладно, попробуй что-нибудь сделать.

Я прислонился к машине, он остерег меня напоследок: мол, не больно на нее дави, не то провалишься внутрь — и ушел. Вернулся он с канистрой воды, изоляционной лентой и пакетиком жевательной резинки — все это он купил у хозяина гаража. Резинку мы мигом принялись жевать, она мерзко отдавала мятой и мало-помалу заглушила дым сигарет и вкус свежего воздуха, а я уже стал к нему привыкать с тех пор, как выехал из дому.

— Дай-ка сюда резинку,— сказал Билл, и я с радостью все ему отдал.

Он размял ее в пластырь, залепил им дырку в радиаторе и еще закрепил липучкой.

— Пока продержится,— сказал он, выпрямился и залил в радиатор воды.— Ну, а мы до Лондона обойдемся и так. Это полезно

для желудка, особенно если ты через полчасика угостишь нас обедом.

— Угощу, не сомневайся,— сказал я, и мы снова двинулись в путь.

Он зажег две сигареты, одну дал мне и стал рассказывать дальше:

— И вот раз остановил я свой хлебный фургон у парка и половину груза скормил птицам и уткам. Я был не вовсе дурак, не думай: до того я заехал домой, оставил там хлеб на сегодня и чтоб еще на несколько дней хватило, велел матери завернуть его в полотенца. Потом поехал назад в пекарню и сказал, что ухожу от них. Хозяин сказал — он позовет полицию, а я только расхохотался. Он подумал — я малость сбрендил, выдал мне мой заработок, только вычел фунт за хлеб, который я скормил птицам и рыбам. Зима была свирепая, всюду лед, сугробы, а я видеть не могу, когда живая тварь голодает.

Я переходил с одной работы на другую, а потом меня забрали в солдаты. Оказалось, не так это страшно, как я думал, покуда нас муштровали: меня послали шофером в военные лагеря в Йоркшире. Мне полагалось две монеты в день, я их почти целиком посылал матери — вроде пенсии, а вот теперь малость жалею об этом, надо было оставлять себе больше на курево. Неделю я работал в ночную смену, потом неделю в дневную — возил харч в лагерь каких-то особенных связистов, за несколько миль от главной базы. Работа была хорошая, легкая. Как-то раз один капрал попросил подбросить его. Толстый такой коротышка, волосы вьются, а посередке пробор. Раньше он служил в торговом флоте радистом, а потом уволился, пошел в армию — морем был сыт по горло, больно трудная жизнь. Спрашивает: мол, хочешь десять фунтов заработать? Надо ночью кой-что погрузить и свезти за десять миль в ближний город. Случай, прямо скажем, неплохой, я, понятно, согласился. Семья наша здорово нуждалась: Питеру сравнялось четырнадцать, ему бы пора на работу наниматься, а он, молодец, исхитрился — его в среднюю школу приняли, так ему нужны были деньги на одежу да на учебники.

Ну вот, в ту ночь отвез я харч, а за воротами лагеря дожидался меня капрал, подал знак, и мы поехали в школу связистов.

«Теперь стой»,— сказал он вроде прямо посреди дороги, но скоро я в десятке шагов разглядел лагерный забор. Через дыру вылезла целая орава солдатни и давай грузить в мою машину двести штук пишущих машинок — правда, что это машинки, я узнал после. Довез я капрала до города, и там товар этот сгрузили. Получил я денежки, вернулся в свой барак, и все сошло гладко...

В краже этой, похоже, замешано было чуть не полшколы связистов, и десяток ребят засадили в тюрягу, в том числе и меня — на полтора года, потому как было сказано: вроде я зачинщик и всему делу голова. Так я провел времечко, а заодно кой-чему и научился. Война была уже поближе к концу, хоть и не так близко, как мне хотелось: не успел я выйти на волю, меня опять завернули в армию и под конец упекли в Нормандию, а там больно много воевали, мне это не по нутру.

Я получил медаль — вроде доставил патроны каким-то ребятам, которых отрезали немцы. А я и знать про это не знал. Вообще-то я до чертиков пугался, когда бомба рвалась за пять миль, и прятался где-нибудь на базе, чтоб не угодить в опасный рейс, а тут меня угораздило, забыл скрыться с глаз начальства, меня и послали в какую-то деревню, и никто не сказал, что она чуть не по ту сторону линии фронта, черт ее дери. Еду я и думаю: что это свистит и шипит? Тут машина как подпрыгнет, ветровое стекло залепило землей, а я, дурья

башка, уж не знаю, об чем замечтался, и только взял да включил дворники — сам понимаешь, помогло как мертвому припарки. Коротко сказать, грузовик очутился сбоку дороги, прошел по самому краю воронки, но баранку я не выпустил. Кругом снаряды квакают, вроде как большущие лягушки, а я все равно опять выбрался на дорогу.

Въехал я в деревню и удивился: почему это мяснику вздумалось работать прямо на улице? Потом усек. Это была настоящая бойня, а десятка два парней уцелели и собрались меня прикончить. Один наставил на меня пулемет, но другие все-таки не вовсе осатанели, придержали его. Тут у них уже много часов был ад кромешный, а я проскочил, как говорится, в затишье, когда немцам уж и самим надоело драться. У наших ребят кончились боеприпасы, офицеров всех перебило, ну они и порешили сдаваться в плен. И тут меня принесла нелегкая с патронами, а стало быть, им теперь надо биться до последнего человека — они и хотели меня укокошить. Слыхал бы ты, как они меня крыли! Это не всякий сумеет. Одно слово — по-армейски. А кой-кто в слезы ударился, вот бедолаги. Худо мне стало, давайте, говорю, отвезу вас к нашим — по крайности, это-то я мог? Сержант связался по радио со штабом, спрашивает: можно отходить? А в ответ из глубокого блиндажа начальство командует: «Бейтесь дальше, сволочи ленивые!» Сержант чуть рацию не растоптал. Обсудили мы это дело все вместе и составили план. Сержант попросил штаб — шлите, мол, авиацию бомбить окраину деревни: оттуда движутся немецкие танки. Штаб отвечает — ладно, налет начнется через пять минут. Ну, мы сбросили боеприпасы, и все набились в мой грузовик. Только услыхали — летят самолеты, я как бешеный погнал машину прочь, а кругом уже палили вовсю. Самолеты здорово делали свое дело, скоро вся деревня полыхала, мы-то знали, что так будет.

«Там бы нам и конец!» — крикнул сержант, он сидел со мной в кабине.

Мы вернулись целые и невредимые и наплели: мол, немцы нас атаковали, да сразу тьма-тьмущая, пришлось уносить ноги. Ну, и вот трое из нашей компании получили медаль за храбрость, а только с тех пор я до конца войны и близко не подходил туда, где рвались снаряды. Пилоты, которые разбомбили деревню, те тоже получили благодарность — ну как же, уничтожили атакующих немцев! А немцами там и не пахло. Станешь про все это вспоминать — голова идет кругом, да я теперь и не вспоминаю. Мне тогда уже сравнялось двадцать три, а чувствовал я вроде всего-то пятнадцать, вроде вернулся в детство и играю в войну — не я один, все так думали, только никто не говорил.

Потом все это для меня кончилось, а медаль моя полетела за борт, когда мы плыли обратно в Саутгемптон. Дома я узнал: один мой брат в армии, другой работает, сестра ждет ребенка, а мать в сумасшедшем доме. Прошло недели три, я опять угодил в тюрьму, мне уж казалось, это мой дом родной. До того у меня спутались в голове эти месяцы, даже и не упомню, за что меня взяли. Мне покою не давало материно лицо, может, она и всегда так глядела, а только раньше я не примечал. Одно тебе скажу: это был для меня самый поганый год, не дай бог опять такое пережить. Потом мне стукнуло двадцать шесть, и я вздохнул с облегчением, решил — хватит, теперь жизнь моя повернет к лучшему. Тут-то я ради лучшего и сделал две глупости, такие, что все только и могло повернуться к худшему: поступил на работу и женился.

С Джейн Шейн мы познакомились в пивнушке. У нее было еще и второе имя — Эльвира, и ей оно нравилось больше. Эльвира-расфуфыра в субботу вечером сошла с автобуса возле Уорксопского рын-

ка. Мы славно выпили, и за час я разглядел: короткие волосы у ней, черные, как ночь, глаза — брильянты, бледные щеки, губки тоненькие — настоящая красотка, только пока не разинет свою хриплую глотку. У ней был ребенок, но я про это узнал после, когда уже мы поженились, а в ту пору я думал: раз пообещал жениться, не отступайся, что бы она там ни сделала. Мы без шума записались в муниципалитете, и тогда она привела к нам домой своего мальчишку. Мамаша моя уже вышла из психушки и прямо души не чаяла в этом мальчонке, и он скоро ее полюбил больше своей родной матери, а та на него плевать хотела, только орала да сыпала затрещинами, коли он, на беду, попадался ей под руку.

Женитьба вроде дело хорошее, но скоро Джейн наставила мне рога, а я раз взял да, чем пойти на работу, махнул в Лондон. Всякой временной работы там было завались, а вот платили не жирно. Повстречал я как-то одного человечка, он спросил, может, я угоню для него машину и доставлю в гараж в Бермондси. Заплатят хорошо, да только когда приведу машину. Я спросил, какую ему надо. Мы стояли бок о бок около игрального автомата и кидали в щель монеты.

Он прыснул: видали, мол, еще и марку можно выбрать.

«Пригони «ягуара».

«Он вам для работы?»

«Заткнись»,— отвечает.

«Ладно, пригоню сегодню ночью. Скажите, пускай ждут».

У себя в комнате (жил я в районе Сент-Панкрас) я переоделся во все самое лучшее. Потом сходил купил пару тряпок для протирки стекол, спустился в метро и поехал в северную часть города. Дождь лупит, весна, я надел плащ и пошел бродить по Хемпстеду, по улицам и переулкам, а сам гляжу в оба. Штуки три подходящие высмотрел, стою за углом, жду. И вот подкатил классный «ягуар», не машина — блеск, вылезает шикарный тип и шагает к многоквартирным домам по соседству. В руках у него букет и сверток, похоже, собрался надолго. Я сразу давай протирать стекла машины своими оранжевыми тряпками. Боковое стекло было закрыто неплотно, я вытащил из кармана газету, сложил ее плоско, дощечкой, потихоньку просунул в просвет, потом вниз — теперь можно бы нажать на кнопку и открыть дверцу. Значит, в любую минуту садись — и деру, да только я не спешил. Даже если подоспеет хозяин, скажу, хотел, дескать, попытать счастья: заработать парочку шиллингов, вот и протер стекла. Кому это мешает?

А потом вижу — пора действовать, поднял капот, запустил мотор. Враз захлопнул капот, юркнул в машину и был таков — отъехал от обочины и развернулся, чтоб не ехать в ту сторону, куда хозяин машины потопал. Был я еще дурак дураком — оставил тряпки на капоте, у ветрового стекла, ну остановил машину, подобрал их, а мотор взял да и заглох. Меня аж в пот бросило, но я его привел в чувство: обжег пальцы, а добрался до проводки. На этот раз я и вправду ушел, повернул на окружную дорогу и въехал в Бермондси с юга.

В гараже, только я въехал, двери закрыли, из своего закута вышел Клод Моггерхэнгер и постукал машину по самым главным местам.

«Прошлогодняя. Дам тебе за нее полсотни».

Не показался он мне: здоровущий и сразу видать — головастый, уже в годах, наполовину лысый, на роже написано — и по тюрьмам насиделся, и пожил в свое удовольствие, с таким лучше не спорь — убьет.

«Ему цена верных полторы тысячи фунтов»,— сказал я.

«Сбрось налог, износ, да еще она не твоя, и скажи спасибо за сорок кусков».

«Вы ж сказали пятьдесят!» — вскинулся я.

А он ухмыляется.

«Она,— говорит,— с каждой минутой дешевеет. Теперь ей цена тридцать».

А позади него стояли еще трое, те так и заржали.

Я сдался.

«Ладно, пятьдесят — и я уйду».

Он кивнул, и я стал проверять пятифунтовые билеты и на свет и по-всякому — не фальшивые ли. Но где уж там разберешься, а пока что мастаки-ребята отвинтили таблички с номером, притащили распылитель и все прочее, ясно, сейчас мигом перекрасят — видать, им и впрямь к спеху. Моггерхэнгер свирепо на меня глянул — нечего, значит, зря тут ошиваться, ну, я и пошел — иду и плююсь и ругаюсь на чем свет стоит.

Подвернулась мне работа — вместе с несколькими парнями мыл машины у Сент-Джеймской площади. По хорошей погоде набегало двенадцать фунтов в неделю. Про те полсотни я ни единой душе не обмолвился, зашил их в куртку, пускай лежат пока, а то все станут удивляться, откуда у меня столько. Раз как-то мыл я «остин», подходит ко мне косматый Джорди, он у нас был вроде за старшего, и говорит: поди, мол, на ту сторону площади, вымой получше «даймлер», клиент только подъехал, да больно спешит, постоянный наш клиент, щедрый. День был теплый, я снял куртку, положил на машину возле «остина» и пошел прямо к тому «даймлеру». Через час прихожу назад, а куртки нет. Поглядел я на пустое место, аж в глазах потемнело, да сразу прошло. Прислонился я к машине, потом вскочил, давай всюду искать — вдруг, думаю, я ее в последнюю минуту куда переложил да забыл. Отыскал Джорди, спрашиваю — куртку мою не видал?

«Нет,— говорит,— у меня своя есть».

«Я возле «остина» положил».

А он смеется, говорит:

«Боюсь, не видать тебе ее. Спроси у Джонни Споуда».

А Джонни и след простыл. Куртку свою я нашел в кустах, то место распорото, денег как не бывало, и остался я опять без гроша. Попадись мне тогда эта воровская харя, я бы его, гада, придушил. Одно дело обчистить богатого, а своего же брата рабочего обобрать — перед такой подлостью даже государственная измена — пустяковейшая мелочь, все равно что не там машину поставил. Дела у меня пошли хуже некуда — стал я мыть посуду в забегаловках, денег ни гроша, через две недели пошел в тот гараж в Бермондси — может, думаю, им еще машина нужна. Пригнал бы «роллс-ройс» хоть за двадцатку, только бы взяли, но там их никого уже не было, гараж стоял заколоченный, только зря я потратился на автобус.

Чтоб веселей было назад ехать, купил я газету, залез на верхотуру, сел в самый перед — так вроде чувствуешь, никто не мешает. Прочитал несколько строк, и даже в висках застучало. Прижал газету на коленях, а то она у меня в руках так затряслась, что и не прочтешь ничего, и сам не знаю — то ли смеяться, то ли соскочить с автобуса и удирать во всю мочь: вдруг полиция уже меня ищет. Джонни Споуда обвинили в попытке сбыть в пивной в Ист-Энде фальшивые пятифунтовые билеты,— а ведь деньги-то мои, это как пить дать,— те самые моггерхэнгеровские, за краденый «ягуар», я их зашил в потайной карман куртки, а Джонни эту куртку слямзил. Его держат под следствием, хотят, значит, чтоб выдал, откуда эти денежки. Хоть бы его застукали, когда он уже последние спускал, тогда еще, глядишь, оправдается, скажет — какой-то стиляга ему дал за мытье машины, с лица, мол, рябой, а как звать забыл. Тогда и мне тоже ничего бы не грозило.

Да только черта лысого мне так повезет, и надеяться нечего, лучше бежать, оно безопасней. Я кинулся к себе, уложил чемоданишко, купил на свои последние пачку сигарет, билет на автобус и покатил на юго-запад. Проехал всего двенадцать миль, но скоро, на мое счастье, подобрала меня легковушка, она шла в Солсбери, а то как раз дождь припустил. Я совсем выдохся, на душе погано, денег ни гроша — ну, думаю, теперь мне крышка. Одного мне хотелось — спать, да только водитель этот пристал: зачем-де мне надо в Солсбери.

«Хотите собор посмотреть?— спрашивает.— Или у вас там друзья? Сам я направляюсь в Дорчестер, хочу поглядеть там дом, может, куплю. А вы чем занимаетесь?»

Я, говорю, садовник, слыхал, в Солсбери есть работа, вот и еду. Я не стал плакаться, что сижу на мели, а только довез он меня до Солсбери, открыл бумажник и дал десять шиллингов. Поблагодарил я его, вот уж правда, от всего сердца, и, может, он принес мне удачу: в Солсбери я прожил целых два года. И никто меня там не трогал, несколько человек знали меня там хорошо, многие — похуже, но для всех я был просто тихий, скромный парень с севера. Я говорил — мол, с четырнадцати лет работал в шахте, отбарабанил без малого двадцать лет, мне уж грозил силикоз, вот и решил покончить с этой каторгой. Еще наплел, будто мать моя вдовая и померла, других детей у ней не было, братьев и сестер тоже, ну и не для чего больше мне сидеть в Ноттингемшире, можно сказать, на Северном полюсе.

Работал я у одного шофером—он выращивал овощи на продажу, а я водил фургон и вообще помогал в чем придется и скоро пошел на поправку, это все заметили и так радовались, меня даже за душу взяло. Жил я у одной вдовы, с лица совсем неприметная, а потом мне в пивной рассказали: замужем она была всего-то две недели, тому уже пятнадцать лет. Как началась война, ее муж пошел в торговый флот, а перед самым концом исчез и ни слуху ни духу. И скоро я стал с ней спать, потому как она была еще в самом соку, это уж не сомневайся.

А потом как-то проснулся я утром, и то ли голова у меня трещала, то ли живот болел, уж не помню, один черт,— только поцеловал я ее (я всегда ее целовал перед тем, как на работу идти), а через час вернулся: знал, ее не застану, уйдет за покупками. У меня было сорок фунтов отложено, да еще часы и приемничек, взял я свой чемодан, пальто, подался на станцию и покатил скорым в Лондон. Когда увидал из окна Сэрбитонскую пустошь, еще подумал, может, я зря уехал, а сошел с поезда на вокзале Ватерлоо, зашагал по берегу Темзы к Хангерфордскому мосту, дохнул летней пыли, дыму — и чуть не заорал от радости. Иду по пешеходной дорожке, взмок весь, хотя чемодан не больно тяжелый, потом остановился, поглядел вниз — зеленая масляная вода катится между опор, пассажирские катера, битком набитые плывут вниз по течению, к Гринвичу. Я разглядывал берег, и он будто надвигался на меня, как вдруг мост подо мной затрясся— это из Чэринг-кросского тоннеля выскочил поезд. Я до того обалдел от радости, увидал старика — играет на свистульке, взял да и бросил ему в шапку шиллинг. Мне казалось, Лондон — золотое дно и он только меня и ждет — подходи и пользуйся.

А с этаким настроением куда ни придешь, перед тобой одна дорожка — преступление. Ну, я по ней и пошел. Пошатался по Сохо, услыхал, в одном гараже покупают краденые машины, и в два счета продал им несколько штук: прямо у обочины подбирал, машины не из самых дорогих, но уж будь спокоен, получил я за них хорошую цену, не то что тогда. Ну и, само собой, одно за другое цепляется, стал я подсоблять в грабежах, все больше шоферил на машинах, на которых воры потом улепетывали. Я в этом деле был мастак, изучил карту и чуть

не весь Лондон знал назубок. Как начну петлять по улицам — ловко да на полной скорости,— хоть кого собью со следа. Коротко сказать, один раз мы вчетвером обтяпали дельце на восемь тысяч фунтов. Да только другие утекли, а меня сцапали. Мы удирали, фараоны гнались за нами по пятам, а у нас было радио, настроились мы на их волну, слышали, как они переговариваются. Ну, я дал тем троим выскочить из машины, а сам припустил в Кройдон. И попался, дали мне пять лет. Вот, четыре отсидел, вчера вышел и двинул на Лондон: хочу получить свои две тыщи. Может, скажешь, гиблое дело, где я их теперь найду? Найду, будь уверен. Я бы не пять лет получил, а куда меньше, кабы выдал тех троих да шепнул полиции, где припрятаны денежки. А я держал язык за зубами, сказал только, что увел шестьдесят две машины, ну, а больше им нечего было мне предъявить.

Когда Билл Строу досказал свою историю, мы были уже немного северней Биглсуэйда. Лил дождь, крыша машины протекала, юг явно не оправдывал наших надежд. Машине так досталось — того гляди, развалится. Мы это оба понимали. Мотор кашлял, точно чахоточный при последнем издыхании; Билл считал, тут нужен не только новый корпус, но и новый мотор, а стало быть, умней бросить эту несчастную калошу при дороге, пускай пропадает.

— От нее уже толку не жди,— сказал он.— Поставил бы ты на ней крест, самое время. Ладно, давай-ка пообедаем, а она покуда остынет. Этой кляче разве что сена подкинуть для бодрости. Пускай постоит, ей на пользу, а сами тем временем чего-нибудь поедим, по крайней мере я. Это ты одним куревом сыт, я так не могу.

— Поесть ты всегда не прочь. Только и знаешь поносить мою машину, да хвастать своими подвигами, да набивать брюхо.

— А ты бы гордился, что везешь меня в Лондон. Я там враз заделаюсь богачом. Сколько на меня тратишь — отдам вдесятеро.

Чудно мне стало, когда он это сказал. Я и не подумал: вот, мол, заливает, показалось даже — вдруг он и впрямь обернется богачом, вроде наврал с три короба, а тут как молнией полыхнет чистая правда.

Я поставил машину как мог дальше от грузовиков и пошел за Биллом в закусочную. Он уже торчал у стойки и так смотрел на меню, будто молился на него.

— Что будем рубать? — спросил я.

— Я уже выбрал. Насчет жратвы я быстро соображаю.

— Люблю решительных людей,— съязвил я, и его наконец взяла досада.

— Что-то ты больно много себе позволяешь, черт возьми. Охота есть одному — ешь. Охота ехать одному — пожалуйста, да только скоро тебе придется шагать в Лондон пешком, а драндулет свой на горбу потащишь.

Он захохотал, и девушка за стойкой поскорей спросила, чего ему подать. Тут он отбарабанил на радость пустому желудку:

— Томатный суп, милашка, потом печенку, сосиски, картофельное пюре с луком. Потом паровой пудинг с заварным кремом, парочку вон тех пирожных с вареньем, кружку чаю, четыре куска хлеба, масло, двадцать сигарет, ложку, вилку и нож.

— Побойся бога,— сказал я.— Я разорюсь.

Он меня не услышал.

— Ну, все? — спросила девушка.

— Еще бы тебя на закуску,— сказал он, приблизив к ней свою заросшую, но самоуверенную физиономию.

Девушка покраснела, отодвинулась и сказала с улыбкой:

— Ну и нахал! Я скажу, когда будет готово.— И обернулась ко мне:— А вам чего подать?

— Бобы с гренками и кружку чая.

— При такой еде ты свой драндулет далеко не уволокешь! — засмеялся Билл.

— Ты тоже больно много себе позволяешь,— огрызнулся я и выложил чуть не фунт за гору жратвы, которую он себе назаказывал.— С тех пор как я тебя подобрал, все идет кувырком.

Мы отошли от стойки и молча сели за стол. Тут уже сидела тоненькая темноволосая женщина лет двадцати пяти. Она явно скучала в одиночестве и оттого казалась еще привлекательней, чем если б веселилась в компании на каком-нибудь семейном торжестве. Так ли, эдак ли, а она сразу меня покорила — она не доела яблочный пирог и уже задымила сигаретой с фильтром, а я все собирался с духом, соображал, как бы поостроумней с ней заговорить. Заговорить-то надо бы поскорей, пока еще не подали еду,— ведь с набитым ртом разговаривать неприлично.

Биллу Строу она тоже, видно, приглянулась, и он гянуть не стал.

— Передай-ка мне соус, крошка,— сказал он.— Надо поживей чего-нибудь проглотить, не то помру. Обед, видать, еще не скоро состряпают.

Она улыбнулась его незамысловатой неуклюжей шуточке и подвинула к нему неполную бутылочку соуса. Он вытащил у меня из кармана газету и протянул ей:

— Хотите покуда почитать?

— Нет,— ответила она.— Спасибо.

— Я вас понимаю,— сказал он и выпил весь соус до дна.— Тут одни враки. Хотите, подкину вас до Лондона?

Я надеялся, она встанет и пнет его ногой — как бы не так, она благодарно улыбнулась и ответила:

— Мне как раз туда. Вы на грузовике?

— На легковой. Едем из Грэнтема. Вот черт, почему они, гады, не ставят на стол сахар. Я бы уж попользовался. От этого соуса только еще сильней есть охота.

Официантка принесла наконец его заказ и заставила чуть не весь стол.

— Не желаете присоединиться? — предложил он.

Я бы тоже мог так сказать, но ведь бобами с гренками угощать не станешь!

— Я уже поела.

— Точно?

— Конечно. Я еду из Лидса и сюда добралась довольно быстро.

— Ладно,— сказал Билл, жадно хлебая суп,— если все вылезем и будем толкать, то доберемся за час-другой. Меня звать Билл Строу. А вас?

— Джун. Вы сами из Лондона?

Он ответил не сразу — сперва доел суп, потом ткнул в меня пальцем и сказал:

— Он — да, а я нет.—Чем больше он ел, тем отрывочней отвечал, хотя спрашивать ухитрялся и с полным ртом. — А отец с матерью у вас живы?

Она удивленно подняла брови.

— На что это вам?

— Да так, милашка, любопытно.

Не поймешь, думал я, что же он — самый что ни на есть башковитый парень или набитый дурак? Для умного человека вроде относит-

ся к жизни чересчур легко, и, пожалуй, поближе с ним сойтись опасно. Вот доедем до места и распрощаемся, так будет лучше.

— А сами в Лондоне живете? — спросил он ее.

— Когда удается.

— Чудно говорите,— сказал Билл, и изо рта у него вылетел кусок лука.

— Жизнь в Лондоне дорогая, вот в чем беда. Но мне там нравится. Там интересно.

— А что делаете?

— Эй! — воскликнула она.— Да вы сами-то кто такой? Во все нос суете, как сыщик.

Что-что, а это мне в голову не приходило.

— Во отколола, в самую точку. Давно не слыхал, чтобы кто так здорово сострил. Да я просто хотел знать, чем вы занимаетесь.

— Работаю,— сказала она.— А вы где спину гнете?

— Маляр я и обойщик. Надоел мне Ноттингем до чертиков, решил податься на юг. Жену с детишками оставил вчера в Мэнсфилде. Ночку провел у своей девчонки в Ноттингеме, а теперь начну новую жизнь на новом месте. Кто его знает, где сегодня ночевать буду, а? — закончил он и плотоядно поглядел на Джун.

Она не отозвалась — хотела, видно, показать, что он хватил через край. И он не стал больше приставать, но только потому, что теперь так набросился на жратву, будто загорелся к ней страстью и сразу позабыл про все на свете.

Уж не знаю, что там Джун воображала, какая у нас машина, а только увидала мою жестянку — и влезать ей явно расхотелось. Билл сказал, лучше он прямо сейчас зальет воды в радиатор, не то через три мили не миновать останавливаться. И все-таки Джун кинула свой чемоданчик на заднее сиденье, я пригнул переднее, освобождая ей дорогу, и она села в машину.

— На вид тележка неказистая,— сказал Билл,— а везти везет. Медленно, но верно.

Я включил зажигание.

— Поехали.

Машина не двинулась с места. Билл выскочил, поднял капот, вытащил из кармана тряпку и стал протирать контакты — думал, может, плеснул на них воды, когда наполнял радиатор.

Джун плотней завернулась в пальто, словно попала в холодильник.

— Может, подтолкнем? — предложила она.— Тут как раз немножко под гору.

Билл старался не зря; мотор чихнул и ожил.

— Как тронется, поддай газу, не то заглохнет,— сказал Билл.

— Машина-то чья?— спросила Джун, когда мы уже со скоростью добрых сорок миль в час катили по шоссе.

— Моя,— быстро ответил я, пока Билл еще не успел соврать.— Верней, моего брата. Он одолжил мне скатать в Лондон. Я служу у агента по продаже недвижимости в Ноттингеме, а последние недели до того мне все обрыдло, решил — пора передохнуть.

Через каждую сотню ярдов выхлопная труба так стреляла, точно кто палил из пистолета, и если поблизости оказывалась легковушка или грузовик, шоферы пугались.

— Карбюратор засорился,— сказал Билл.— Эка стреляет, подумают — мы вооружены до зубов. Ладно, теперь рассказывай свою жизнь. Я свою рассказал.

— Не могу я рассказывать, когда веду машину. Отвлекает.

— Здорово ты, черт, увильнул, а? Так я и знал.

— В другой раз. А может, Джун расскажет?

Она промолчала. Биллу перед тем вроде ненадолго удалось про нее забыть, а тут он встрепенулся, протянул ей зажженную сигарету.

— У нас в машине все за одного, один за всех — прямо коммунизм, верно, Майкл?

— Похоже на то,— ответил я.— Все твое — мое, все мое — твое, да только у меня одного и есть хоть что-то.

— Зря ты это. Если б не я, ты бы со своей калошей давно застрял в грязи. Мы же все равно с тобой расплатимся за проезд—так ли, эдак ли. Верно, крошка? — многозначительно окликнул он Джун.

Она поежилась на сиденье.

— Ну, ладно, если на то пошло, я вам расскажу про себя.

— Валяйте, раз такая ваша плата,— насмешливо и разочарованно сказал Билл.— Только без врак. У нас все начистоту. Выкладывать все как есть.

— А я никогда не вру,— сказала она.— Зачем же врать, да еще незнакомым!

— Я думал, мы друзья,— сказал Билл.

— Ну, как хотите,— рассмеялась она.

— Ладно, будь по-вашему, лишь бы катить — даже и под эту пальбу. Только мне придется вас прерывать: надо будет поить треклятый радиатор, не то он сдохнет от жажды. А вы молодчага, сразу вошли в нашу игру,— продолжал Билл, явно предвкушая удовольствие.

— Вы так считаете? — спросила она, да таким тоном... И я понял: вовсе она не вошла ни в какую игру, только это после видно будет, кто прав — Билл или я. В машине вдруг здорово завоняло бензином, но никто ничего не говорил, и я тоже решил помалкивать. Нюх-то у меня есть, просто я не думал, что это опасно. Да и вообще, когда устанешь, запах бензина даже приятен.

— Детство у меня было прекрасное,— начала Джун.— Понимаете, когда мои родители поженились, они хотели девочку, и у них родилась я. Что я девочка — тут даже они не могли ошибиться. Они были прямо на седьмом небе, что все у них так хорошо началось. Тогда я еще ничего этого не понимала — правда, как только они решили, что я уже способна их понять, они все мне рассказали,— но только в шестнадцать лет, когда я сама стала соображать, до меня дошло, какой груз они взвалили на мои плечи. Груз двойной, оттого что после меня у матери больше не могло быть детей. Для них-то все получилось как нельзя лучше, а для меня обернулось бедой.

Я была девочка, и они потакали во мне всему девчачьему — не забывайте, я говорю об этом, как понимаю сейчас, а не так, как чувствовала тогда. Я вовсе этого не хотела, а меня задаривали куклами, кукольными домиками, балетными туниками и всем, что надо для шитья и вышиванья. Чего ни захочу — все к моим услугам, только бы это подходило для девочки — для такой девочки, какую они себе выдумали еще прежде, чем я родилась. И заметьте, они были не такие уж богатые люди: отец служил кассиром на железной дороге. Но они ни в чем мне не отказывали и этим словно благодарили бога за то, что он ниспослал им меня. Вот они ему и поклонялись. А я была для них вроде алтаря.

Наверно, кто-нибудь должен был бы растолковать моей матери, что она зачала меня в грешную минуту, в смятении всех чувств и при прямом участии моего отца, а вовсе не где-то там на небесах. Но ей никто этого не сказал, и моя блаженная жизнь продолжалась еще несколько лет. У меня были темные локоны до плеч, и вообще наруж-

ность моя их, кажется, вполне устраивала. Правда, они находили, что я слишком тихая, но считали — это от ума, а еще надеялись, что тихони — натуры глубокие. Я же была несчастна и чувствовала себя лицемеркой, это я твердо помню: дети, правда, не могут объяснить, что у них на душе, но, уж конечно, достаточно разбираются в своих чувствах, чтобы вспомнить и понять их, когда станут взрослыми. Родители берегли меня как зеницу ока, а потому не разрешали играть на улице с другими девочками: еще бы, вдруг эти невоспитанные девчонки выучат меня неприличным играм! Вот я и развлекалась, как могла: стоило матери отвернуться, я кухонным ножом четвертовала своих кукол или ножницами отрезала у них волосы, будто их поймали на бесстыжей забаве с уличными хулиганами, или протыкала дырку у них между ног и совала туда обгорелые спички. По правде говоря, матери надоело баловать и нежить меня, скучно стало со мной нянчиться, и она была только рада, если я час-другой спокойно играла сама по себе. Вечером приходил со службы отец, полминуты сюсюкал со мной, а потом кидался в свой железнодорожный клуб метать стрелки — он был прямо помешан на этой игре.

Мать не вдруг поняла, что у нее не будет больше детей, ей потребовалось на это несколько лет, а еще через год-два мои родители стали жалеть, что у них не хватило ума пожелать сперва сына,—ведь теперь уже ничего не изменишь. Они, видно, воображали, будто у них потому и родилась я, что они пожелали дочку, и вот понемногу они стали относиться ко мне иначе. Но я уже ходила в школу, и новая жизнь, по крайней мере, смягчила удар, который они мне нанесли. И все-таки очень было тяжело. Я их не виню. По-моему, бессмысленно винить родителей, если со временем начинаешь думать, будто они что-то делали тебе во вред. В этих случаях только и остается, что понять: так уж оно получилось. А может быть, я так говорю, потому что теперь у меня у самой семилетняя дочка.

В общем, раньше, когда мне хотелось узнать, что же положено делать на свете мальчикам, родители буквально засыпали меня всякой всячиной, какая полагается будущей женщине. А вот теперь они все это отобрали и принялись дарить мне ружья, разные конструкторы и наборы для химических опытов. Вообще-то это не должно бы уж очень меня потрясти, но ведь мне с самого рождения навязывали все девчоночье, и я давным-давно сдалась и все это полюбила. Что ж поделаешь, раз я девочка. И вот тут отец принялся учить меня стрелять из духового ружья. Однажды он вернулся из клуба очень гордый и притащил какую-то большую коробку, оказалось — это электрическая железная дорога, он выиграл ее в лотерею. Он расставил ее передо мной, завел и сам же играл больше часу, даже про ужин забыл, а я испуганно таращила глаза на эту механику и ничего не понимала.

Родители мои были настоящие эгоисты и притом мямли, в воспитании они ровно ничего не смыслили. Но когда отец попытался вырядить меня ковбоем, мать сказала — нет, хватит, впервые до нее дошло, какой, должно быть, сумбур у меня в душе. На другой день она пошла и купила мне громадную куклу, таких я еще не видывала. Мне уже минуло восемь, да и вообще я не слишком любила кукол и так прямо и говорила... Ну и вот, мне даже смотреть не захотелось на эту куклу, я ее оттолкнула, она упала со стола, и голова у нее разбилась, мать жутко расстроилась и первый раз в жизни дала мне затрещину...

Родители, наверно, не подозревали о моей осведомленности, но я уже знала, откуда берутся дети,— в школе мы без конца про это говорили... Помню, мне тогда представлялось так: мои знания совсем недавние—значит, куда верней родительских, все, что знают отец с матерью, наверняка давно устарело. И потому я все время ужасно зади-

рала перед ними нос, а они уж совсем перестали надеяться, что их дочка станет когда-нибудь почтительной куколкой. Иногда они пытались воздействовать на меня добром, но кончалось это всегда одинаково: либо отец, либо мать в отчаянии отталкивали меня или шлепали, а я чувствовала, что отчаяние это неискреннее.

Несмотря на все это, а может, как раз поэтому, училась я хорошо. С первого до последнего класса была лучшей ученицей, и хотя родители делали вид, будто рады, на самом деле мои школьные успехи ставили их в тупик. До десяти лет отец помогал мне делать уроки, а потом они стали ему не по зубам, он предоставил мне самой разгадывать все эти загадки, и я вполне с ними справлялась. Но мать воображала, будто я хорошо учусь нарочно, чтоб досадить отцу и поссорить их между собой. В других случаях это было бы очень просто, но тут они дружно накидывались на меня — я, мол, неблагодарная, они всю жизнь трудятся в поте лица, лишь бы создать мне самые распрекрасные условия, чтобы я могла получить образование и потом насладиться его плодами. Это было ужасно. Я даже не очень понимала, что они такое болтают. По вечерам, перед тем как заснуть, я сочиняла всякие небылицы, будто я им не родная, будто меня еще младенцем продали им цыгане, а настоящие мои родители беззаботно сидят сейчас у костра где-нибудь в горах, на Балканах, ждут, когда поспеет ужин и можно будет поесть самим и накормить многочисленных ребятишек, моих настоящих братьев и сестер. Я даже рассказала про это в школе, не со зла, а просто не хотела быть такой, как все. Я вовсе не ненавидела своих родителей, честное слово, просто они вели себя со мной не как родители, с которыми можно бы воевать на равных, а как дети малые. В тринадцать лет меня так раздирали любовь и ненависть, переходы от одного чувства к другому были так внезапны, что в спокойные минуты я мечтала сбежать из дому. Отец и мать походя осыпали меня оплеухами, начались дикие ссоры, и так продолжалось, пока мне не исполнилось семнадцать.

На каникулы они обычно отправляли меня к тетке в Саутпорт, и тогда сами могли две недели спокойно пожить в Бридлингтоне. Тетку я, к счастью, любила. Она была старшая сестра матери и, конечно же, совсем на нее не похожа. Она содержала гостиницу, была добродушная и покладистая и никогда не выходила из себя. Всю жизнь она очень любила читать и, когда я уезжала домой, всегда дарила мне несколько своих книг. Моих родителей это злило, им казалось, книги уводят меня из-под их власти — они не знали, что никакой власти надо мной у них давно уже нет. У меня в комнате, кроме теткиных, набрались и еще книги — за успехи в ученье мне дали стипендию и приняли в среднюю классическую школу. Родители очень этим гордились, как-то в порыве откровенности, что с ними теперь бывало не часто, отец признался мне в этом, и я была на седьмом небе.

В восемнадцать лет я уехала в Лондон, я уже тогда ждала младенца и скоро стала безмужней мамашей. Девушка в два счета может оказаться в таком положении. Я влюбилась в мальчишку из нашей школы, этот темноглазый скрытный негодяй писал стишки и мог кого угодно заговорить до полусмерти, а что при этом у него за душой — не поймешь. Он был до того красивый, я никак не могла перед ним устоять. Дорогой мой папочка кричал, ругал меня, что я прихожу так поздно, а я задерживалась все дольше и дольше. Я поступила на временную работу в контору, да еще родители настояли, чтоб я училась на вечерних курсах секретарей—тогда, мол, я смогу продвигаться по службе и сама себя содержать. Поэтому я и могла задерживаться допоздна и почти все время проводила со своим дружком. Мы ходили в кино на французские фильмы или бродили по вересковым пустошам, и он чи-

тал мне свои стихи. В общем, это была не жизнь, а мечта, и я прямо упивалась: до чего здорово, когда живешь как хочется, да еще наперекор родительским запретам! Ну и повезло же мне — вот он, прекрасный случай помучить моих добрых родителей. Даже не верится! Сколько раз мать таинственно и грозно остерегала меня, чтоб я никогда не разрешала мужчинам и мальчикам никаких вольностей. Почему — она не объясняла, но все равно это ничего бы не изменило. И вот на лугу в душистый летний день я впустила его в себя. Мы были неразлучны, а потом наступила осень (ведь ее не миновать), и Рон стал замечать, что кроме меня есть на свете и другие девушки.

Я не хочу сказать, будто он завлек меня и обманул, нет, я и сама тоже стала остывать. Все стихи его были о том, как я ему «отдаюсь» и он «меня берет». Они были точно яблоки: упадут с дерева и—глядишь— гнилые. Потом мы в первый раз всерьез поссорились, оба вели себя бессердечно, зло, наутро я проснулась и меня вырвало. На службе одна девушка со смехом сказала: может, я беременна. Я кинулась к Рону Делфу и сказала ему об этом — что еще мне оставалось делать? Он чуть с ума не сошел от страха и ярости, но я вовсе не думала женить его на себе, для нас обоих это было бы злейшей бедой. Я только хотела с ним поговорить, да, пожалуй, надеялась — может быть, он мне что-нибудь присоветует. Но его даже на это не хватило. Мы сидели с ним в пивной, он выпил полпинты пива, вышел в уборную и не вернулся. Вот тебе и еще урок, подумала я.

Только злость не дала мне разреветься. Я бродила под дождем, и меня брало отчаяние: так вот чем она обернулась, моя первая любовь. А потом я выпила чашку кофе, и меня отпустило. Я даже повеселела. На душе стало легко, уныния как не бывало, жизнь снова казалась прекрасной. Жалко, Рон вот так сбежал, ведь если вечер будет теплый и сухой, как хорошо было бы уйти на вересковую пустошь и лечь вдвоем — вот чего мне тогда захотелось. Я не держала на него зла, во мне с новой силой ожило прежнее чувство к нему, и я подумала: может, с ним происходит то же самое? Но может быть, и нет. Хорошо бы выяснить. Я знала, где он живет, и пошла к нему. Говорят, будто в жизни человека бывают какие-то поворотные пункты, это все глупости, но тут, черт возьми, как раз и оказался крутой поворот. Рон Делф был как-никак поэт, он почуял: когда я опомнюсь от того, как он подло удрал, я скорей всего кинусь к нему домой, и уж он постарался, чтоб я его не застала. Я-то думала, он помчался к матери и она спрятала его где-нибудь подальше на чердаке или в погребе для угля. Но мне не повезло, а ведь пока я туда шла, я так разъярилась, готова была выудить его откуда угодно и выцарапать ему глаза.

Его мать уставилась на меня и спросила, что мне надо. Мать Рона была маленькая, миловидная, ей никак нельзя было дать сорок лет, я даже не поверила, что это и правда его мать, и переспросила. Я думала, она мрачная, долговязая, одета как пугало и лицо у нее будто ржавая сковородка,— а все потому, что Рон наврал мне про нее с три короба, рассказывал всякие ужасы: какой у нее нрав бешеный, да какие нервные припадки — будто они у нее с двадцати шести лет. Говорил, когда ему было четыре года, она у него на глазах задушила живого цыпленка,— ну и вот, стою, смотрю на нее и вижу: все враки, не могла она такое сделать. Я вмиг это поняла и подумала — лучше уйти. Но я уже спросила о нем, и отступать было поздно.

«Зачем вам понадобился мой сын?» — спросила она.

«Мы с ним уже четыре месяца встречаемся, и я хотела знать, дома ли он»,— ответила я.

«Нет его. А вы, я вижу, очень нахальная особа. Надо же, какая дерзость — заявиться к нему домой! Так я и знала, что этим кончится,

то-то он пропадает с утра до ночи и никогда не скажет, куда идет и что делает».

И тут из дома донесся мужской голос:

«Кто там, Элис?»

В эту минуту я почувствовала то, что всегда ощущала нутром: нет у меня ни роду, ни племени, место мое на пороге — меж домом и улицей, и в родном городе нет мне пристанища, ни у одного очага, нет крыши над головой. Нет у меня не только своего дома, нет даже своего «я» — и поделом мне, ведь я всю жизнь принимала как должное, что меня холят, нежат и всячески ублажают, да еще изо всех сил добивалась чего-то такого, чего и на свете нет. Во мне сидели два человека или, может, даже три или четыре, а кто же, если он в здравом уме, станет терпеть у своего очага такую беспокойную компанию.

Я уже готова была потихоньку сбежать, но в ответ на вопрос мужчины она сказала:

«Да просто какая-то потаскушка спрашивает нашего Рона».

Уже стемнело, но все-таки улица у меня за спиной была не совсем безлюдна.

«Вот как?— крикнула я.— Ну, так слушайте: это со мной ваш дорогой сыночек Рон пропадает с утра до ночи, и он спал со мной десятки раз. Он сделал мне ребенка, потому я и пришла. А сейчас пойду домой и все расскажу моим родителям, и завтра утром они придут сюда, и мои шестеро братьев тоже, и уж они вам покажут».

Я кричала, плакала, и вдруг меня ожгло болью — это она закатила мне пощечину.

«Я тебе покажу, как позорить нас перед соседями. Сперва докажи, что это Рон сделал тебе ребенка».

Я вырвалась и убежала. Оказалось, я вовсе не беременна. Мы опять стали встречаться, и на этот раз я и вправду забеременела. Тогда я взяла все свои сбережения — пятьдесят фунтов, уложила чемодан и ранним утром, ни с кем не простясь, ушла из дому, даже Рону не сказала, что собираюсь делать,— я и сама этого толком не знала.

Это было семь лет назад, ну, а про свою службу в Лондоне расскажу в другой раз. Сейчас я ездила навестить родителей и потратила там все свои деньги, осталась без гроша. На билет они бы мне, конечно, дали, но неохота было у них брать, а добираться на попутных только интересней. Иногда я так езжу просто для развлечения. Я и вообще теперь живу не скучно, но я уже сказала — об этом в другой раз, когда опять встретимся. Наверно, так мало с кем бывает, а вот я с кем бы ни столкнулась в жизни, потом непременно опять встречу. Иногда и рада бы потерять человека из виду, а нипочем не удается.

— Мы так долго тащимся по этой лондонской дороге, я совсем выдохся,— сказал Билл Строу.— Давайте остановимся у первой же забегаловки и опрокинем по стаканчику.

— Блестящая мысль,— поддержала Джун.— После моего печального рассказа мне не мешает подбодриться. Давно я никому про себя не рассказывала.

— Я прямо чуть не разревелся,— сказал Билл.

— Это все прекрасно,— сказал я,— но если я напьюсь, я не смогу вести машину, а мне охота добраться до места в целости и сохранности.

— Ну, это вообще будет чудо,— сказал Билл.— Катафалк-то наш совсем разваливается.

Он, наверно, был прав: посреди рассказа Джун кусок выхлопной трубы отскочил, да с таким треском — меня мороз подрал по коже,

ну, думаю, крышка, а над дорогой взвился и растаял сноп искр. Но все равно я решил: глотнуть спиртного сейчас бы неплохо и стаканчик-другой никому из нас не повредит. А потом, скоро ведь обеденный перерыв, и тогда уж нигде не утолишь жажду.

Тормоза совсем отказывали, и как только Билл крикнул, что впереди подходящая пивная, я отключил скорости и осторожно нажал на тормозную педаль, чтоб вовремя замедлить ход. Но все равно свернул на стоянку еще слишком быстро и ударился об стену, нас здорово тряхнуло, и мои пассажиры возмущенно заворчали.

Здесь кормили обедами, и когда мы вылезли из машины, навстречу нам из столовки вышел уже немолодой, хорошо одетый человек, и его тут же стало рвать.

— Отличная домашняя кухня,— сказал Билл.— Но виски-то протухнуть не может. Лучше уж помереть там, чем на дороге.

— А все-таки добра не жди,— возразил я.

Пока мы препирались, тот дядька, бледный и несчастный, нетвердой походкой подошел к своей машине, залез в нее, согнулся над рулем и уснул.

— Этот сегодня наверняка задавит какого-нибудь малыша на переходе,— с отвращением сказала Джун. Мне понравилось, как она строго к этому отнеслась, уж, конечно, она не даст мне выпить лишку. Оглянулся — Билла нет, вошли мы в помещение, а он тут, у самой стойки.

— Я уже заказал,— говорит.— Давай вытаскивай кошелек.

Нам подали три двойных виски.

— Сейчас принесу вам бутылку, сэр,— сказал хозяин и нырнул в свой потайной и обширный винный погреб.

— Что еще за бутылка? — спросил я, ожидая самого худшего.

— Не хмурься, друг. Если наша машинка развалится на части вдалеке от цивилизации, надо ж нам будет чем-то согреться и повеселить душу. Будем здоровы!

— Будем здоровы!— подхватила Джун и обернулась, поглядела в угол — там над рюмкой коньяка сидел какой-то человек средних лет.

— Знакомый? — спросил я.

У него было худое, костлявое лицо, розовая лысая голова огурцом, вместо галстука на шее повязан шарф, и он уже дня три не брился.

— Это писатель,— сказала она,— Джилберт Блэскин.

— Подите поздоровайтесь.

— Я не настолько хорошо его знаю.

Она снова повернулась к стойке и разом опрокинула виски в свое очаровательное горлышко.

— Я про его книги слыхал,— сказал я.— Даже читал одну, только ничего не помню. Отродясь не видал живого писателя, даже издали.

— Ну, вы не очень на него глазейте,— сказала Джун; похоже, ей почему-то не хотелось встречаться с ним сейчас.— Не надо его смущать. Он очень тонкокожий.

— Бедняга! Вот до чего писательство доводит.

Хозяин поставил передо мной бутылку виски «Белая лошадь», положил две пачки «Дымка» и блок «Игроков».

— Налейте-ка еще три двойных,— распорядился Билл и небрежно, как лорд какой-нибудь, подтолкнул стакан к хозяину.

— Извольте, сэр,— угодливо сказал хозяин, а за этими словами сквозила такая бешеная ненависть, что я чуть было не двинул ему ногой по жирной морде. От злости мне даже полегчало, и я с улыбкой расплатился за себя и за своих веселых собутыльников и спутников. А что еще оставалось делать, ведь у меня были деньги, а у них — ни гроша. Не мог же я просто встать и уйти, мы ведь так сдружились в

машине, пока рассказывали про свою жизнь, да и вообще мне от них не хотелось уходить.

— Допивайте,— сказал я,— и выпьем еще по одной. Я закажу.

И я заказал, и хозяин поставил перед нами три стакана, но слов «Извольте, сэр» я от него не дождался.

— Тебе еще рано заказывать самому, повадка не та,— сказал Билл,— он прекрасно все заметил.

Я покраснел—надо ж ему такое ляпнуть при Джун. Чертов враль, если б не он, хозяин как миленький величал бы «сэром» и меня.

— Пошли из этой обираловки,— угрюмо сказал я.

Это недолгое пребывание в пивной заставило меня порядком порастрясти свои капиталы, и я рад был унести оттуда ноги и покатить дальше, хотя над рощами и шпилями нависли тучи и уже начинался дождь. Джун устроилась на заднем сиденье и вслух пожалела, что не напросилась в «ягуар» к Джилберту Блэскину,— она не больно надеялась на мою машину, но мы с Биллом от небольшого дождика даже повеселели... Оплошка вышла только раз: я наконец собрался с духом и включил дворники, а они тут же слетели, только мы их и видели. Билл заставил меня остановиться, долго ползал на карачках по мокрой дороге и все клялся — мол, он их разыщет и присобачит на место. Наконец он снова сел рядом со мной и принялся застегивать свое насквозь промокшее пальто.

— Знаешь,— сказал он,— сдается мне, этот гроб не годен для езды.

— Не унывай,— сказал я, когда машина как миленькая двинулась вперед.

Дождь припустил вовсю. Я рулил по дну морскому и ждал — вот-вот покажутся селедки и золотые рыбки станут таращить на меня глаза. Хоть я был пьян, а ехать со скоростью больше тридцати и даже двадцати миль в час боялся, так что водителям грузовиков приходилось сворачивать, обходить меня, и они сигналили и ругались на чем свет стоит. Мы еле ползли, а меня от напряжения прошиб пот, внутри все свело судорогой, глаза буквально лезли на лоб. Билл пробормотал, что желает ехать в приятной компании, растопырился ножницами, как-то немыслимо извернулся и перевалился на заднее сиденье, причем ухитрился не задеть мою руку, державшую руль. Джун было явно не по себе, но, как и мы с Биллом, она закурила, да еще оба они частенько прикладывались к бутылке виски — в общем, в машине стало не продохнуть, хуже, чем в кабаке субботним вечером. До меня вдруг дошло: а ведь их жизнь в моих руках, и я мигом протрезвел.

Через плечо я протянул Биллу карту, сказал — пускай определит, где мы сейчас, а он захохотал, опустил стекло и выкинул ее. Карта, должно быть, развернулась, ее закружило в воздухе и прилепило на ветровое стекло какого-то невезучего малого: две или три машины вдруг яростно засигналили. Это бы ладно, но Билл теперь никак не мог поднять стекло, что-то там заело, и в машину ворвался дождь и стал нас всех поливать. Билл и Джун сидели обнявшись (я видел их в зеркале), и оба затянули «Дождик, дождик, перестань». Я готов был их придушить, да боялся остановиться: а вдруг на хвосте у меня грузовик—ведь он сомнет нас всех в лепешку. Мало мне было ненадежных тормозов, так теперь еще дорога намокла и стала скользкая, точно каток. Из-за дождя ничего не было видно, машины проносились мимо с включенными фарами, а мне нечего было включить: не осталось ни фар, ни подфарников. Надо бы завернуть на первую же придорожную стоянку, положить конец этой сумасшедшей поездке, только неохота слушать, как Билл начнет насмешничать, обзывать меня трусом — вот, мол, кишка тонка. Пока они там довольны жизнью, я не прочь ехать

дальше. Джун по доброте сердечной время от времени зажигала сигарету, подавалась вперед и, точно поцелуй, влепляла ее мне в губы.

Дождь поутих, стало опять светло. Спутники мои от этого что-то приуныли и ненадолго задремали. Я остановился, протер газетой ветровое стекло. Теперь я снова видел дорогу. Их блаженных физиономий коснулось солнце, и похоже было, я мчу в Лондон карету «скорой помощи». С тех пор как я развлекался с чувствительной мисс Болсовер, прошло, кажется, сто лет, я уже не беспокоился, что покинул в беде Клодин, просто любопытно было, что она станет делать теперь, когда я дал стрекача.

Я весь погрузился в эти трогательные воспоминания и вдруг почувствовал: заваливаюсь набок на середину дороги, хотя твердо знал, что по-прежнему сижу в машине. Проснулся и заорал Билл, взвизгнула Джун — нас оглушили скрежет и металлический лязг, казалось, нашу машину раздирают надвое и загодя роют нам всем могилу. Обгонявший нас автофургон притормозил, вильнул в сторону и помчался дальше, даже не поглядел, что с нами стало. Я ударился головой о ветровое стекло, но не разбил его. Призвав на помощь все свое умение, я остановил машину. Мы вылезли — оказалось, правого переднего колеса как не бывало.

Билл почесал в затылке.

— Плохо дело. Ты не член Автомобильного общества?

— Конечно нет, ты же сам знаешь, черт возьми.

— Откуда мне знать,— возразил он.— Может, просто у нее знак отвалился. Другое-то все отвалилось. Эта развалина, видать, сто лет не была на станции обслуживания. Следующая служба будет заупокойная.

— Хватит тебе зубы скалить, остряк-самоучка. Что будем делать?

— Присобачим колесо обратно и двинем дальше. Перво-наперво разыщем колесо.

Долго искать не пришлось, а потом Джун стояла и предупреждала другие машины, чтобы нас объезжали, а Билл достал из багажника инструменты и домкратом приподнял нашу машину. Все гайки от колеса исчезли, пришлось Биллу отвинтить по гайке у остальных трех колес, чтобы закрепить его. Нарезка болтов малость проржавела, но он сказал — ладно, это не опасно. И уже через полчаса мы снова двинулись в путь.

— На этот раз чуть не загремели,— сказал Билл, запрокинул голову и влил в себя весь остаток виски.

Я судорожно рассмеялся.

— Золотые твои слова.

— Колеса сейчас в порядке. Теперь, наверно, взлетит крыша.

— Вряд ли,— успокоил я его.

Колесо, когда слетело, малость погнулось и теперь крутилось плоховато. Я с трудом (минутами просто из последних сил) удерживал машину на нужной стороне дороги. Все в этой поездке идет кувырком, хмуро размышлял я, и так висишь на волоске, а уж если снова хлынет дождь, мы и вовсе пропали. А небо впереди ничего другого не сулило. Когда Билл немного проспался, я спросил, не знает ли он, где можно в Лондоне починить мою машину.

— Лучше сбыть ее с рук.

— А сколько, по-твоему, за нее дадут?

— Да, пожалуй, монет пятьдесят.

— Сдурел,— сказал я и сам заметил, что чувство юмора мне изменяет.

Билл вышвырнул в окно пустую бутылку из-под виски.

— Послушайся моего совета. Брось ее у первой же станции мет-

ро. Поставь где-нибудь, а дальше следуй городским транспортом. А если тебе очень уж надоест жизнь, всегда можешь за ней вернуться.

— Что-то мне здорово не нравится, как ты разговариваешь,— сказал я.— Если кто любит каркать, пожалуйста, я не против, только у тебя больно зло все выходит. Да еще делаешь вид, будто острижь, это уж совсем погано.

— Я только хотел тебя подбодрить.

— Машина идет лучше, когда ты помалкиваешь,— сказал я и хотел посигналить: автофургон обгонял нас чуть не вплотную, надо было его отпугнуть, но гудка не последовало — видно, судьба улучила минуту, когда я зазевался, и перерезала ему глотку.

— Может, хочешь сесть за руль?

— Э, нет,— быстро ответил Билл.— Тебя она лучше знает. Машина не дура, она чует своего хозяина, а уж тут хозяин ты. Если я займу твое место, она, того гляди, лягнет меня в брюхо.

— А вы водите машину?— спросил я Джун.

— Вожу. Но эту лошадку погоняйте сами, я не захватила с собой шпоры и хлыст.

Короче говоря, как бы худо мне ни приходилось, а надо было самому доводить дело до конца, и я даже стал думать, что справлюсь: ведь до центра Лондона оставалось всего двадцать миль. После Хартфорда стало смеркаться, но я надеялся — мы доберемся до места еще засветло и не надо будет включать мою несуществующую осветительную систему. Время от времени дорогу уже накрывало оранжевым балдахином, но час, когда полагалось зажечь фары и подфарники, еще не наступил. Скоро все затянуло сизой дымкой, как будто, того гляди, пойдет снег. Меня словно отрезало от тех мест, откуда я уехал, и от тех, куда держал путь (да я толком и не понимал куда), а заодно и от Джун с Биллом — они, кажется, неплохо проводили времечко на заднем сиденье. Я был сейчас один в целом свете, и в одиночку, а может, и напрасно старался не дать машине остановиться или сползти в кювет. Мало радости, когда от тебя одного зависит, чтоб твои друзья не угодили в автомобильную катастрофу. Все эти разговорчики, будто ответственность пробуждает все лучшее в человеке, по-моему, сущая мура. Один мой промах — и мы угодим под колеса какого-нибудь железного дракона, который мчится нам навстречу.

С каждой минутой движение становилось оживленнее, и у ближайшего светофора какой-то лондонский нахал опустил стекло и крикнул мне: пора, мол, покупать новую машину. Я не стал ему отвечать, не было у меня на это сил, зато Билл только что очнулся от освежающего сна на груди Джун, высунул башку из окна (стекла там уже не было) и злобно, как заправский уголовник, отбрил этого парня: заткнись, мол, не то я тебя вместе с твоей купленной в рассрочку жестянкой разнесу вдребезги, только мокрое место останется. Одно нехорошо: облаешь такого вот чистоплюя, который сидит за рулем, а сам не знаешь, вдруг он какая-нибудь шишка... правда, Билла все равно никто не переплюнет.

Светофор, как назло, был еще красный, тот тип распахнул дверцу своей машины и нацелился кулаком в Билла, но Билл увернулся — и кулак слегка задел Джун. Тут зажегся желтый свет, я рванул со всей скоростью, на какую способна была моя старая калоша, и побыстрей свернул во внутренний ряд: этот дюжий нахал теперь готов выпустить из меня кишки, так пускай между нами окажется ряд машин. Это я ловко выкрутился, но скоро его «зодиак» поднатужился, скользнул мимо меня и наподдал мне по тому месту, где положено быть крылу.

— Давай остановимся и проучим его,— предложил Билл.— У меня в чемодане бритва. Я его располосую.

— А может, у него тоже бритва,— сказал я.— Сдается мне, эта твердокаменная башка побывала в разных переделках.

Зеркало мое заполнили широкий нос и сверкающие фары «зодиака», он тут же вильнул, попытался долбануть меня в бок. Билл пробормотал — он вроде где-то видел эту харю, да только никак не вспомнит, где и кто это. А я поймал на себе взгляд этого типа, и мне показалось — такой, раз поглядев на человека, век его не забудет. Машина моя судорожно дергалась вправо-влево, а он, наверно, подумал: это я так ловко, хоть и не больно осторожно, уклоняюсь от его наскоков. Но в конце концов я ударился о край тротуара, и колпак одного колеса отлетел и покатился по сточной канаве. Запасных колес у меня не осталось, и я готов был выскочить из машины и прикончить этого типа. Я уже успел его разглядеть: эдакий пижон лет пятидесяти, на пальце руки, что лежала на руле,— толстое кольцо с красным камнем.

— Если доведется еще повстречаться, уж я его узнаю,— сказал я.— На всю жизнь запомню эту рожу.

Он опять повис у меня на хвосте, опять хотел долбануть меня бампером, взрезать мою машину, будто консервную банку, а самому чтоб остаться целым и невредимым. Несколько секунд он шел ко мне впритирку, и теперь Билл тоже толком его рассмотрел. «Зодиак» саданул меня по переднему крылу, и тут Джун сказала:

— Биллу дурно... или ему явилось привидение. Он белый как полотно. Надо скорей раздобыть нюхательной соли или глоток виски, не то он отдаст богу душу.

— Я знаю, кто это,— хрипло пробормотал Билл.— Как это я сразу не смекнул?

Я сделал отчаянный рывок, хотел боднуть этот «зодиак». Моя машина уже и так вся избита, мне терять нечего.

— Ну, кто же? Говори, черт возьми!

Мимо промчалась полицейская машина, оглушила сиренами, ослепила синими вспышками, и тот шикарный бандюга мигом сбавил скорость, будто пай-мальчик.

— Это Клод Моггерхэнгер. Когда-то я продал ему новехонькую машину за пятьдесят фунтов и он всучил мне фальшивые. Ну и болван же я — угораздило полаяться с таким типом. Больше я уж язык распускать не стану.

Казалось, он сейчас разревется.

— Ну, в моей-то машине, конечно, не станешь. А вот он подъедет поближе, ты окликни его да и скажи, мол, извиняюсь. Может, он отцепится.

Мотор мой вдруг затарахтел, точно пулемет, стреляющий болтами и гайками, и я подумал: скоро несчастной жестянке конец, даже и без помощи Клода Моггерхэнгера. Но вот чудно: она вдруг набрала скорость и как заправская гаубица загрохотала к Хендону. Я пересек Северную окружную и понадеялся — может, мстительный Клод свернет на запад или на восток, но нет, он сразу же снова нацелился меня боднуть. В общем, он рад был лупить по чем попало без зазрения совести, да промахнулся. А ему показалось — вроде наподдал как следует, теперь мой мотор и сам сдохнет, и он умчался. Я доехал в Хендоне до островка безопасности, но, чем обогнуть его по кругу и двинуть к центру Лондона, резко крутанул влево и рывком — только-только чтобы нас не пришибло — затормозил у обочины. Машина замерла, стало довольно тихо, и не успел еще никто слова вымолвить по случаю нашего чудесного спасения, как мотор заглох.

— Все-таки выскочили,— сказал Билл, открыл левую дверцу, и она тут же отвалилась.— Ничего, зато ехали — не скучали.

Все еще не выпуская баранки, я уронил голову на руки и горест-

но (другого слова не подберешь) задумался: вот, выходит, купил машину, только чтобы доехать до Лондона, и такая несложная поездка обошлась мне в сто сорок фунтов. За эти деньги можно было нанять «роллс-ройс» с шофером и всю дорогу уплетать икру и пить шампанское, да еще провести ночь в отеле «Клэридж» или какие там еще есть шикарные ночлежки.

— Я думала, мне уже не видать моей дочурки,— сказала Джун, вытаскивая из машины чемоданчик.

— Пошли, дорогуша,— сказал Билл,— пора двигать. А Майкл, верно, еще застрянет, ему надо сговориться насчет починки машины.

— Убирайтесь,— сказал я.— Сгиньте.

Начался дождь, тяжелые капли забарабанили по крыше, струи воды стекали по ветровому стеклу, и теперь, когда машина стояла, от этого становилось спокойно и уютно.

— Мы не можем сгинуть, покуда ты не дал нам на метро,— сказал Билл.

Я протянул ему бумажку в десять шиллингов.

— А как насчет фунта на кофе?

— Пропади ты пропадом,— сказал я.

— И это называется друг,— огрызнулся он.— Пошли, Джун. Если захочешь меня повидать, я каждый вечер буду в «Клевере». Может, угощу тебя стаканчиком,— бросил он мне через плечо.

Они побежали к станции метро, а минут через пятнадцать я наконец освоился с жестокой правдой: надо расстаться со своей первой, горячо любимой машиной. Взял я чемоданчик и пошел той же дорогой. Поднятый воротник пальто не защищал от проливного дождя, ноги подкашивались и толком не держали, будто у матроса, который не один год плавал по морям и океанам и только что сошел на берег. Несколько месяцев я был владельцем машины — и вот опять стал простым смертным, с неба так и хлещет, а я волоку свой чемоданишко к станции метро, и стою у кассы, и покупаю билет до Кингз-кросс. А потом поезд с грохотом мчался на юг, а меня разобрал смех: надо же, отправился вдогонку за рассветными небесами, проехал по ничьей земле, оставил позади сто двадцать пять миль — и в этом простом путешествии чуть не погиб.

Часть III

По всему Лондону звучал какой-то прилипчивый мотивчик, но теперь я уже не помню ни названия, ни его самого. Иногда кажется, он вот-вот зазвучит у меня в ушах, но в последнюю минуту я стираю его в памяти, будто нарочно его избегаю, будто вовсе и не хочу вспомнить. Мотивчик этот веселил, будоражил, неотвратимо и неотступно захватывал, оживлял сырую зиму, вселял в людей веру, будто они и впрямь живые. Кондукторы автобусов и мойщики окон насвистывали его, напевали с закрытым ртом, выстукивали пальцами на звонках и ведрах, будто задались целью доказать себе, что они из плоти и крови, а не деревяшки. Впервые я услыхал его в метро, на пути от Хендона к Кингз-кросс. Длинноволосый парень включил свой транзистор, и мотивчик ворвался в мои раздумья, а думал я про то, чем же заняться теперь, когда я добрался до Большого дымохода [1].

Хоть я и лишился машины, дела мои были не так уж плохи. В кармане у меня лежали сто фунтов, а ведь, наверно, большинство приезжих заявляется в Лондон с куда более тощим кошельком. Мне казалось, это целое состояние, оно никогда не иссякнет и можно не-

[1] Прозвище Лондона.

делю за неделей жить без забот и тревог. Неподалеку от станции метро «Кингз-кросс» я набрел на гостиницу, там полно было старых дам и иностранных студентов, и за тридцать шиллингов в сутки мне предложили вполне приличную постель и завтрак. Я назвался Дональдом Чарльзом Крессуэллом из Лестера, Стоунигейт-стрит, 11. Почему соврал — не знаю, хоть убейте, это получилось как-то само собой (у меня всегда так бывает), но уже в следующую минуту я понял: это еще может сослужить мне службу.

Комната у меня была крохотная, меньше я в жизни не видал. Кровать, стенной шкаф, стул, столик, на потолке подслеповатая лампочка. Уютная комнатушка, но я так ликовал — шутка ли, наконец-то я в Лондоне! — что поживей ополоснулся, почистился и побежал вниз по лестнице, насвистывая тот самый прилипчивый мотивчик, который сперва слушал с таким презрением.

Я отдал ключ портье, и он спросил, когда я вернусь.

— А что, разве могут не впустить? — спросил я, и он вытаращил на меня глаза, будто своим варварским вопросом я его огорошил, нарушил правила игры.

— Помилуйте, сэр, но если вы придете после полуночи, вам придется позвонить в звонок.

Я рассыпался в благодарностях и вышел на провонявшую бензином улицу. Ко мне сразу же подошла женщина и позвала с собой, но вид у нее был не ахти, и я подумал: с этими лондонскими шлюхами надо держать ухо востро, не то в два счета обчистят да еще наградят триппером. Я только вчера забавлялся с Клодин, а потом с мисс Болсовер, пока перебьюсь, нечего жадничать. Да и устал до чертиков — вот только прошвырнусь по соседним улицам и скорей назад, в свой коробок, на боковую: я вполне заслужил хороший отдых.

Я пожелал ей спокойной ночи, пошел дальше и скоро набрел на закусочную. В витрине спала кошка, но еда, хоть стоила и недорого, оказалась сносная. Покуда я уплетал тушеное мясо, вошел оборванный старикан с косматой седой бородой и стал продавать календари. Я взял один, дал ему полкроны и велел сдачу оставить себе. Темные глаза его сверкнули из-под кустистых седых бровей.

— Благодарю вас, сэр! — сказал он с самой что ни на есть ядовитой насмешкой.

Ох, и озлился же я на себя: чтоб за мою доброту да так плюнули в морду! Двинуть бы его как следует, вшивого гада, но дверь за ним уже захлопнулась. Я жевал рубленую баранину с кошатиной и думал, откуда взялось это старое чучело, и вдруг мне стало чего-то тошно: а ведь, может, сорок лет назад он тоже приехал в Лондон из какого-нибудь Ноттингема, подавал надежды, верил в будущее. Может, была у него хорошая постоянная служба, а потом он устал, издергался, начал понемногу выпивать. Связался с какими-нибудь подонками, стал жить не по средствам, разбазарил чужие деньги, угодил за решетку. Потом от него ушла жена, детишки выросли без отца, и их разбросало по свету, он кочевал с работы на работу, одна хуже другой, катился по наклонной, спал под мостами и на пустырях, стал человеком-рекламой и наконец принялся торговать календарями в пивных и забегаловках, его так и называют презрительно Джек Календарь. Я встряхнулся, заказал кофе — самое приятное из всего ужина, разом отхлебнул чуть не полчашки, поднял глаза и увидел — Джек Календарь вернулся.

В забегаловке сидели еще трое, но такое уж мое везенье — он зашаркал ко мне.

— Похоже, юноша, вам не повредит добрый совет.

Я выставил ладонь.

— Хотите погадать по руке?

Он остановился у моего столика, высокий, здоровенный и совсем не такой старый, как мне сперва показалось.

— Садитесь, выпейте стаканчик,— предложил я.

— Чаю,— сказал он, а когда подошел официант, прибавил:— И кусок хлеба с маслом.

От него разило потом, и я закурил, чтоб отбить запах.

— Вы чересчур великодушны,— сказал он.

— А как же иначе?

Он сел и посмотрел мне в лицо.

— Я видел немало людей, которые прекрасно умеют иначе. В этом куске хлеба величие господне. Он дает нам силы. Только так я это и понимаю.

— Я не верю в бога.

— Я тоже,— сказал он.— Но я верю в силу хлеба, а по мне, это то же самое. Люблю ощущать у себя в желудке величие господне.

— Ну и на здоровье.— Я понадеялся, что он вегетарианец, и прибавил: — Можете подзаправиться мясом, я не против.

— Об этом стоит подумать,— сказал он.— Мясо — это дьявол, а хлеб — бог. Но поскольку в человеке бог соседствует с дьяволом, а я не отрицаю свою принадлежность к роду человеческому, я принимаю ваше щедрое предложение.

Он самоуверенно и привычно щелкнул пальцами, подзывая официанта, и я начал понимать, почему с виду он настоящий здоровяк и крепыш. Он заказал тушеное мясо с рисом, и когда официант принес еду, я попросил еще чашку кофе.

— Сдается мне, на эти календари не проживешь.

Он присыпал дымившийся на тарелке вулкан солью.

— Проживешь. Сколько, по-вашему, надо человеку, если он не возомнил себя господом богом?

— Не знаю,— сказал я и закурил свою последнюю сигарету.

Он с сожалением посмотрел, как я скомкал пустую пачку.

— На прожиток человеку нужно куда меньше, чем вы думаете,— сказал он.— Я покупаю календари по четыре пенса, и скупердяи дают мне за штуку шестипенсовик, а кто пощедрее — и шиллинг. Иногда перепадает и полкроны. А однажды какой-то субъект дал целый фунт: ему, видите ли, жалко меня стало.

— Похоже, вы нашли себе подходящую работенку,— сказал я. И подумал: а ведь он совсем не дурак! Чем дольше он говорил, тем ясней было, что это речь человека хорошо грамотного. В бороде, если приглядеться, седины куда меньше, чем рыжины, да и лет ему никак не больше сорока пяти.

— Конечно, молодой парень вроде вас не назовет это хорошим заработком, но на комнату и на простую пищу хватает.

— А вы не чувствуете себя отчасти скотиной?— сказал я.— Вы ж не трудитесь в поте лица. Живете захребетником, за счет тех, кто работает как вол, это уж точно.

Кусок мяса застрял у него в бороде, а он яростно замотал головой: нет, мол, ничего такого не чувствую, и мне захотелось подцепить этот кусок и съесть, не то еще слетит на пол и пропадет зазря. Не имеет он права, ленивый боров, пускать по ветру даже такую кроху жратвы. Но он сложил ломтик хлеба вдвое, ухватил им этот кусок, точно щипцами, и сунул в рот.

— Вы так думаете? А почему бы и нет? Не будь у вас этих мыслей, не видать бы мне тушеной говядины ни сейчас, ни вовеки веков. Я могу жить как живу только потому, что личности вроде вас верят, будто это необходимо — изо дня в день добросовестно трудиться. И я

еще мягко выражаюсь. Видите ли, девяносто процентов людей совершенно тупы и неразвиты, и если им не надо будет работать, они просто-напросто взбесятся. Вот я вам набросаю общую картину, мрачную, но зато верную. В подавляющем большинстве люди не могут существовать без работы. Их души усохнут, их тела увянут. Праздным может быть только тот, кто зрит в корень. А между тем люди желают слышать, что рано или поздно настанет золотое время: работать надо будет всего десять часов в неделю... но пока, если они не будут трудиться в поте лица, цивилизация погибнет.

Оно конечно, когда все станут работать несчастных десять часов в неделю, цивилизация и вправду погибнет, но я, слава богу, этого не увижу; в ближайшие триста лет нам это не грозит. Первому же правительству, которое это допустит, придется иметь дело с революцией. Нет уж, чем дольше и тяжелей люди работают, тем лучше. Людям именно этого и надо, но чтобы они продолжали тянуть лямку, приходится их уверять, что это скучно и вовсе им ничего такого не надо. Господь страшится безделья, даю голову на отсечение, — страшится, и не зря. Не то мир заполонят немвроды, которые стрелами своими изгонят его из золотого, устланного звериными шкурами дворца. И не только на фабриках, на фермах и в конторах должны люди трудиться в поте лица, чтобы остаться в живых. Нет, таков удел и врачей, и художников, и адвокатов: если у них мало работы, они пропадают. Чтобы жить не трудясь, надо иметь особый, редкостный, ниспосланный богом дар. Я великий благодетель рода человеческого, и хотя иной раз веду себя как отъявленный негодяй, все-таки не такой уж я отпетый: не встану в ряды армии труда, никого не лишу работы. Исполненный возвышенного духа самоотречения, я намеренно от этого воздерживаюсь, даже если мне самому такое самопожертвование грозит гибелью. Я начал этот опыт уже несколько лет назад, но пока еще рано судить, чем он кончится и кто будет в выигрыше. Так что, пожалуйста, не воображайте, будто жизнь моя легка, но мне она нравится, не то я зажил бы по-другому.

Если бы мои единомышленники (а их не так уж мало) вдруг вздумали требовать работы, здание нашего общества попросту рухнуло бы. Кое-кто счел бы, что это совсем неплохо, но я не революционер. Если к власти придет правительство, которое станет угрожать мне работой, я надену черные очки, возьму палку, уведу у кого-нибудь собаку, повешу на грудь табличку «Ослепленный работой» и направлю свои стопы в ближайший морской порт — сбегу за границу. Не желаю я ни у одного человека отнимать работу, ведь, скорее всего, только работа и оправдывает его существование. И если мое беспримерное самопожертвование вас ужасает, быть может, вам будет приятно внести свою лепту — заказать мне чашечку восхитительного здешнего турецкого кофе.

— Кто ж может отказать после такой речи?

— Бывает, что и отказывают,— сказал он.— Люди иной раз злы. Не думайте, что решение начать такую жизнь далось мне легко. Отнюдь! Мне в ту пору едва минуло сорок, я был в расцвете сил, женат, имел двух детей, большую квартиру, любовницу, два автомобиля, загородный дом, в работе — я занимался росписью тканей — тоже достиг уже почти самой вершины. В ту пору подобное существование было мне приятно, вполне меня удовлетворяло. Да я и не отдавал себе в этом отчета — ведь жизнь предоставила мне все, что только возможно, казалось, больше и мечтать не о чем. Решение мое от всего отказаться не было поверхностным. Но едва я понял, что подобное существование не по мне, я вмиг стал другим человеком, жизнь моя уже не удовлетворяла меня, напротив, она обернулась мучением, и тогда я

взялся ее перестраивать. Об одном я жалею: зачем не выбрал простейший путь, не оборвал все нити сразу. Я был весьма гуманен и великодушен, а потому действовал постепенно, мне казалось, так будет больше толку, казалось, это закроет мне путь к отступлению и окружающим тоже так будет легче. Вы, пожалуй, скажете, что я не отличался силой воли. И вера моя поначалу была не очень тверда. Ей предстояло закалиться в огне. Итак, за несколько месяцев все мое имущество пошло с молотка, жена угодила в сумасшедший дом, дети взяты были под опеку, любовница стала посещать психоаналитика, место мое на службе занял один из нынешних зубастых молодчиков, а сам я попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Но я знал: когда пыль уляжется, все, кого это коснулось, заживут так, как им всегда хотелось.

Действовать всегда лучше, чем бездействовать. Не надо бояться поступать по велению чувства. Если это приведет к хаосу, тем лучше, ибо из него может вырасти настоящий порядок и счастье. Иного пути нет, мой друг, уверяю вас. Вы, мне кажется, еще очень молоды и неопытны и потому способны прислушаться к моим словам и, быть может, извлечь из них пользу. Во всяком случае, вы это заслужили, потому что кофе доставил мне истинное наслаждение, даже осадок на дне и тот хорош. Завтра вечером вы здесь будете? Если будете, я угощу вас ужином.

— Кто его знает, где я буду. Завтра утром начну подыскивать себе комнату.

У меня слипались глаза, я прямо умирал от недосыпа и, заплатив по счету, поплелся к себе в гостиницу.

Должно быть, я уснул: смотрю — уже утро, и на красивых часах, которые я увел у Клегга, стрелки показывают девять. Я оделся, лениво поводил бритвой по лицу и пошел вниз завтракать.

Жратва была хорошая, я здорово подзаправился всем, чем только можно,— чтоб не зря были деньги плачены, да и на обеде теперь можно сэкономить. За моим столом сидел унылый белобрысый скандинав из города Свенборга, он сказал, что пишет статьи про лондонские злачные места. Аппетита у него не было, и я порубал поджаренного хлеба с маслом за двоих. Сосед ворчал — дескать, не может работать: в каждом злачном месте так щедро угощают, где уж тут устоять, а значит, домой возвращаешься на рассвете, попробуй-ка настукай на машинке что-нибудь путное. Я не больно ему сочувствовал, но все же пожелал удачи, закурил и вышел.

Утро было сырое, погода хуже некуда, а мне она все равно нравилась — ведь это как-никак Лондон. В первом же газетном киоске я купил план города и местную газету — на сегодня печатным словом я обеспечен. Приятно было опять дать нагрузку ногам, надо непременно привести их в форму, а то пока я роскошно разъезжал на машине, они стали совсем дряблые. На Рассел-сквере у меня жутко заболели икры, я даже решил было добраться до Сохо на метро, но все-таки сжал зубы и заковылял дальше, лишь время от времени останавливался и бросал взгляд на карту. Девушки — как на подбор, одна другой краше; пальто у всех застегнуты наглухо, подбородки вздернуты, вострые носики гордо задраны. Я глазами приветствовал каждую встречную девчонку, но в ответ меня обдавали таким холодным презрением, будто все они даже и под юбочками были проморожены насквозь.

Город пропах бриллиантином и дымом, куриными потрохами и

железной стружкой, я жадно вдыхал этот смешанный запах, и когда таксист облаял меня — я слишком быстро выскочил на пешеходную дорожку,— я только улыбнулся. Здесь, видно, надо глядеть в оба, никто с тобой нянчиться не станет, подумал я и даже обрадовался: ведь по сути своей я оптимист. Два миллиона людей трудятся на заводах, в магазинах, в конторах, всем им, как сказал бы Джек Календарь, дано божественное право трудиться, а я (по крайней мере сейчас) бездельничаю в свое удовольствие, и это возможно только потому, что все они трудятся не покладая рук. От одной этой мысли мне захотелось зайти в ближайшую закусочную и выпить кофе, а еще больше хотелось облегчиться — за завтраком я выпил целое море чая. В Лондоне я не знал ни души, и от этого он был мне еще милей. Денег у меня прорва, мне казалось — я кум королю. И ведь для того я их и копил, чтоб вот так транжирить, а когда на Тоттенхемкорт-роуд я нашел нужное местечко и освободился от выпитого чая, я и вовсе перестал тревожиться.

В тот первый день я исходил вдоль и поперек весь центр Лондона и к вечеру, когда взял курс на свою гостиницу, уже знал — он совсем не такой огромный, как говорили. Второй день ушел на Сити, а за две недели — только на этот срок и хватило моих денег — я побывал и почти на всех окраинах тоже. Поначалу я познакомился с отдаленными кварталами только по схеме метро. Если с Бонд-стрит я хотел попасть в Хэмпстед, я смотрел на карту линий метро и говорил себе: «Доеду по Центральной линии до Тоттенхемкорт-роуд, потом по Северной линии двину влево и буду ехать, пока не увижу станцию с надписью «Хэмпстед». Нередко я петлял по городу в автобусе, и уже очень скоро, если какой-нибудь приезжий (или даже лондонец) останавливал меня на улице и спрашивал, как пройти туда-то или туда-то, в пяти случаях из десяти я вполне мог ответить. Это прибавляло мне хорошего настроения, и вообще все шло отлично, только вот кошелек день ото дня тощал, и непонятно было, как разжиться деньгами. Но я не унывал — в крайности подыщу себе занятие вроде Джекова или на недельку-другую наймусь куда-нибудь на работу, пока не подвернется дельце подоходней. Что это может быть, я понятия не имел и не очень об этом задумывался: ведь днем я колесил по нескончаемым лабиринтам громадного города, а потом, будто тень отца Гамлета, до поздней ночи бродил по Вест-Энду — на серьезные размышления не оставалось ни сил, ни времени. Коротко говоря, я жил полной жизнью, потому что никак не был связан с тем, что делалось вокруг. А будь я со всем этим связан или хотя бы начни уже ощущать эту связь, город поглотил бы меня и я уже ничего не мог бы увидеть. Вот почему я хотел как можно дольше оставаться вольным и неутомимым странником.

Как-то раз, неподалеку от Лестер-сквера, я раскрыл свою карту и вдруг вижу — навстречу мне идет блондиночка первый сорт. Я притворился, будто озадачен и даже растерян, и когда она поравнялась со мной, спросил, может, она будет так добра, покажет мне, как пройти на Адам-стрит.

— К сожалению, нет,— ответила она.— Я плохо знаю Лондон, я сама из Голландии.

— Виноват,— говорю,— а я-то думал, вы мне поможете. У вас вид самый лондонский. Я тоже нездешний, я из Ноттингема. Учусь там в университете, занимаюсь английской литературой. Осторожней, не то вон та машина подрежет вам зад. Не сердитесь, это такой разговорный оборот. Давайте выпьем по чашечке кофе, и я вам его растолкую. Я приехал в Лондон всего на несколько недель, остановился в гостинице, но завтра приезжает моя мать, хочет убедиться, что я пай-

мальчик. Придется всюду с ней таскаться, скучища, да что поделаешь, мамаша не хочет, чтоб я выходил из-под ее власти.

Только она стала понимать, что я заговариваю ей зубы, а тут глядь — мы стоим у входа в стриптиз-клуб, и кругом в рамках фотографии голых баб, да такие все грудастые, даже лиц не видать. На лице у нее выразилось благочестивое отвращение — видно, вообразила, будто я хочу затащить ее в этот клуб, подсыпать в кофе снотворного и прямиком спровадить в шахтерский бордель в Шеффилде. Я поглядел на нее честными глазами, сделал вид, будто и сам смутился, сложил карту и взял ее под локоток.

Через несколько минут мы уже сидели в Швейцарском центре и пили кофе с пирожными.

— Вы, значит, студентка? — спросил я.

На ней была миленькая белая блузка, заколотая у горла брошкой, казалось, она сама скромность и неприступность, такая нипочем не ляжет с тобой в постель — какого черта я ее подцепил? Она почему-то покраснела и ответила:

— Я в Лондоне работаю за стол и квартиру. И еще учусь — хочу свободно говорить по-английски.

— А на что вам учиться,— сказал я.— Вы шикарно разговариваете. Просто блеск.

Надо не умолкать ни на минуту, обрушить на нее поток слов, да таких, которые она знает, а все равно не поймет — иначе мне ее не удержать. Ей хочется слышать английскую речь, пожалуйста, будет ей английская речь, ведь я с молоком матери всосал жаргон — кому ж, как не мне, старому похабнику, ее учить? Я похвалил ее английскую речь, а сам стал до того не к месту употреблять разные слова, что ей, наверно, казалось, она их в жизни не слыхала.

— Моя семья обитает в особнячных покоях под Ноттингемом,— продолжал я.— Там меня мать и родила, и там у нас аллилуйный парк, раньше в нем стояла монашеская церковь, и детьми мы в ней смотрели немое кино. До двенадцати лет меня учил гувернер, а потом меня спровадили в колледж-пансион, да только я закатил такой скандал, чертям в аду стало тошно, не желал я, чтоб меня так прищучили. Но наша семья опутана стальными канатами традиций. Такова Англия, на эту ногу и хромает. Поперек семьи не попрешь. Но есть в этом и хорошее: вот, например, едва мне и всем трем моим братьям равнялось четырнадцать, нас начинали учить править машиной — а это ведь очень важно,— нам давали «роллс-ройс» с двойным управлением, и мы катали по своему поместью. На этом «роллс-ройсе» учились водить машину многие поколения нашей семьи.

Чем ближе вы будете знакомиться со мной, тем больше узнаете про мою семью, в Англии семьи железобетонные, на беду, они играют в нашей жизни великую роль. Как только я научился мечтать, я жаждал скинуть с себя семью, вроде тесного башмака, да только все зря. И потом, какой толк? Через три месяца мне стукнет двадцать один и я получу четверть миллиона звонкой монетой и свободный от налогов годовой доход в пятнадцать тысяч фунтов. Неохота выпускать такой кусок из рук. Только не подумайте, будто я стану лить слезы, если эти денежки от меня уплывут, я вполне могу обойтись без них, сам заработаю на жизнь. Я даже думаю, может, когда мне достанутся эти денежки, отдать их все Комитету Опеки и Исцеления Тугоухих, Увечных, Слепых, сокращенно он называется... ну, замнем для ясности. Понимаете, моя дорогая, я все время ломаю над этим голову, боюсь, как бы не пострадали мои занятия. Наверно, есть на свете огорчения посерьезней, только мне трудно это представить, ведь моя забота тоже нешуточная.

Так я трепался и трепался — да не трещал, будто полоумный, а говорил эдак неторопливо, рассудительно, будто вел привычную беседу — замолчу, курну, пущу через нос дым, отхлебну кофе — и опять за свое. Я сказал ей — мол, звать меня Ричард Арбетнот Томпсон, а друзья называют Майклом. Не прошло и часу, а она уже мучилась и ломала руки — пыталась помочь мне решить тяжкую задачу: стоит ли принимать причитающуюся мне долю семейного богатства, а значит, на всю жизнь надеть на себя оковы, или стать независимым бедняком и перекати-полем. Я-то знал, что́ для нее в конце концов перевесит, если мы и дальше станем встречаться, но нарочно дал ей время так мило погоревать над моим несуществующим выбором, ведь это здорово нас сближало. Через два часа, уже в другом кафе, мы глядели друг дружке в глаза и не могли наглядеться, а наши сигареты едва тлели, и никудышный кофе совсем остыл. Я сказал — мол, я уже сейчас приобщаюсь к святому искусству самоотречения, это на случай, если я и впрямь откажусь от фамильных сундуков, и хоть, конечно, с радостью угостил бы ее обедом, но могу повести ее всего лишь в кафе «Львы» — там нам хватит десяти шиллингов на двоих.

Ну, и мы, конечно, пообедали, и я сказал ей, как это для меня важно, что нашлась, наконец, возвышенная душа, способная понять мои сомнения и не смеяться над ними. Потом мы пошли в Государственную картинную галерею (вход бесплатный), я сказал — я хочу показать ей, какие картины здесь — всего лишь копии, потому как оригиналы висят в северном крыле Неописуемых палат (так называется наша родовая усадьба). Чем дальше я корчил из себя дворянина, тем больше чувствовал, что и впрямь принадлежу к благородному сословию, и вдруг подумал: человек таков, каким кажется самому себе, а не таков, каким кажется другим. Просто надо говорить об этом погромче, и тогда тучи непременно рассеются и засияет долгожданное солнце.

Ближе к вечеру моя новая подружка — ее звали Бриджит Эпплдор — сказала: ей надо идти в дом, где она служит,— хозяева сегодня уходят и она будет сидеть с ребенком. Оттого, что я весь день не закрывал рта, она ничего не успела рассказать про себя, ну да ладно, дай срок, уж я добьюсь, чтоб она стала подоверчивей.

Она служила у врача, он жил с женой и ребенком в огромном доме недалеко от радиостанции Би-би-си. Когда они ушли, Бриджит спустилась в подъезд, открыла мне, и мы на лифте поднялись на четвертый этаж.

В такой квартире я еще не бывал. Вот это богатство так богатство — даже не бьет в нос, просто полно роскошной мебели, картин, книг, ковров. Бриджит велела мне посидеть в гостиной, а сама пошла укладывать шестилетнего парнишку — он никак не желал угомониться в постели. Я плеснул себе докторского виски, разлегся на мягком диване и одним ухом слушал какую-то дурацкую сказку — Бриджит читала ее малышу, а он прерывал ее на каждом слове. Я увидал коробку гаванских сигар «Ромео и Джульетта» и зажег одну тяжелой первоклассной зажигалкой чистого серебра — от моих дешевеньких эта сигара отличалась, как небо от земли. Очень хотелось увести зажигалку, но я пока что не поддался искушению: не стоило подводить Бриджит, я еще слишком мало ее знал. Вдруг она возьмет да и выдаст меня, если я так сразу что-нибудь стибрю. И вообще, это я только сам перед собой хвастался, прикидывался, будто могу прикарманить такую штуку — попробуй продай ее, сцапают в два счета. Да нет, вором я отродясь не был и не стану, больно надо унижаться до воровства, можно и другими путями выйти в люди. Я просто взял еще пяток сигар, и все.

Бриджит вышла из детской, чертыхаясь по-голландски: маленький Криспин соскочил с кровати и назло ей нагадил прямо на пол. Он чуть ли не каждый вечер так безобразничает — ну, как его отучить? Она жаловалась доктору и его жене, а они только смеются и говорят, это просто детские шалости, он скоро сам образумится. А пока надо набраться терпения. Что еще ей остается? Ведь служба эта легкая, платят хорошо, и квартира в самом центре. Она вернулась из кухни с тазом воды и тряпками, в зубах — сигарета, чтоб не мутило от запаха.

— Он все не спит? — спросил я.

— Конечно нет. Ему нравится смотреть, как я за ним убираю.

— Пускай немного подождет,— сказал я.— Сядьте и докурите. Пускай сперва уснет, потом уберете. Один раз не дождется представления, глядишь, ему больше и не захочется.

— Вы такой умный, мистер Томпсон,— сказала она, но еще не докурила, как Криспин закричал:

— Иди сюда, Бриджит. У меня в комнате воняет. Скорей вымой, а то я не могу уснуть.

— Не обращайте внимания,— сказал я и налил ей виски.

— Я не пью.

— Попробуйте, легче будет подтирать.

— Может быть, вы и правы.

Она сделала маленький глоток и сморщилась. Потом опять приложилась и допила. Я налил ей еще.

— Иди сюда! — кричал Криспин.— Если не подотрешь, я опять накакаю.

— А ну-ка, ложись спать, ты...— крикнул я.

— Бриджит, иди подотри, а то скажу маме с папой про этого дядю, и тебя выгонят.

Я пошел и поглядел на него — этот ангелочек в длинной до пят ночной рубашке стоял в кровати, ухватившись за спинку. Лицо тонкое, даже красивое, рыжеватые волосы. Я вернулся в гостиную.

— Родители называют его Смог,— сказала Бриджит.— В ту ночь, как ему родиться, в Лондоне был ужасный туман, и его мать не успели доставить в больницу, он родился в карете «скорой помощи». Вот они и прозвали его Смогом, как этот самый туман.

Мальчишка опять стал громко звать Бриджит.

— Иди сюда, подотри за мной,— кричал он уже со слезами.— Ну, пожалуйста. Я устал... Ты здесь не живешь,— сказал он, когда я вошел к нему в комнату.— Ты кто, грабитель?

— Нет, я водопроводчик. Я пришел чинить твое дыхательное горло.

— А что это — дыхательное горло?

Я увидел, где он напакостил.

— Ты очень умный ребенок,— сказал я.— Очень толковый, сообразил, где наделать.— Я собрался с духом, стал на четвереньки и сунулся носом чуть не в самое дерьмо.— А это что? — оживленно спросил я.— Вот те на! Да тут деньги! Господи, полно монет.

Он выскочил из кровати и стал рядом на коленки.

— Где? Где?

— Вон,— сказал я,— разве не видишь?

Он нагнулся пониже, я легонько дал ему по затылку, и он угодил носом в кучку. Он завопил, вбежала Бриджит.

— Ты вымазал лицо,— сказал я ему.— Это ж надо. Отведите его в ванную, Бриджит, и вымойте. Он больше не будет здесь пакостить. Верно, Смог?

— Дурак ты,— сказала она.

Я сел, выпил еще виски, а минут через десять пришла Бриджит и сказала, что Смог крепко спит.

— В другой раз, чем такое устроить, он сперва призадумается,— сказал я.— Вот увидите.

— Если он скажет родителям, меня выгонят, и ничего я не увижу,— возразила она и слабо улыбнулась.

— Работы всюду хватает. Может, моя мамаша найдет вам местечко в Неописуемых палатах. У меня есть брат, за ним надо присматривать, иногда он бывает вроде Смога. Он старше меня на десять лет, его зовут Элфрид. В двадцать один год он чуть не спятил, тоже испугался, что должен унаследовать такую кучу денег. Это болезнь нашего поколения. Он пробовал бритвой вскрыть себе вены, принял пятьдесят снотворных таблеток и сунул голову в газовую духовку. Но его увидела кухарка, выхватила подушку — она всегда сидела на этой подушке, когда пила чай или завтракала, и вдруг такая драгоценность пылится на полу! Элфрид проснулся, в горле у него забулькало, и тут кухарка увидела кровь и позвала мою мать. Ну, мать тут же на месте ее рассчитала и позвонила нашему домашнему врачу, тот привел Элфи в чувство, и все осталось шито-крыто. Элфи здоровый как бык, у нас в семье почти все такие. Крепче не бывает. Все, кроме меня, а у таких здоровущих вечно нервы не выдерживают.

В шестнадцать я заболел туберкулезом и отделался от него только года через два. А теперь вот этот вопрос совести, и я все не решу, как тут быть. Но лучше не будем слишком увязать в моих заботах. Со Смогом у вас все теперь пойдет как по маслу, это уж наверняка. А если вас уволят, уедем в Палаты. Если хотите, скажем матери, что мы обручились и хотим пожениться. Она не больно обрадуется, а все равно придется ей взять вас под крылышко. Я и Элфриду вас представлю. Он когда в здравом уме — чудный парень. Почти все время плавает на лодке по нашему озеру и удит рыбу. У него всегда богатый улов, мать даже собирается построить для него консервный завод — консервированная щука и соленый гольян из Дьюкери. Для экспорта отлично, расходиться будет шикарно.

Бриджит не отрываясь смотрела на меня, голубые глаза ее стали совсем круглые, и я болтал, болтал, покуда они не затуманились,— тогда я нагнулся и поцеловал ее. К моему удивлению, она так и впилась в меня губами. И колеса завертелись...

После всего мы пошли в кухню, сидели там и ели кукурузные хлопья с вареньем и яичницу с беконом. Мне повезло, что я попал в такой сытый дом. Я не дал Бриджит доесть и потащил ее в гостиную — там мы танцевали живот к животу, спина к спине, под истерикофоническую музыку доктора Андерсона. Бриджит хохотала, она совсем запыхалась и вдруг замерла: на пороге появился Смог, он смотрел на нас сонно, но с любопытством.

— Можно я тоже? — спросил он.

— Иди ложись,— строго сказала Бриджит.— Простудишься.

— Ему тоже охота повеселиться, верно, Смог?

— Ага.

— Ну, и прекрасно,— сказал я.— Скинь рубашку, будем танцевать все вместе.

Несмотря на его скверные привычки — правда, от одной-то он уж наверно излечился,— он был славный парнишка и прыгал и топотал между нами под редкостные докторские записи бонго-музыки. Потом я посадил его к себе на плечи и пошел кружиться по комнате, а он слизывал с ложки мед и весело кричал и смеялся.

— Ты мне нравишься, ты завтра тоже придешь? — спросил он, когда уже сидел в кухне на высокой табуретке и уплетал яичницу-

болтунью.— Я люблю, когда танцуют и музыка играет, и когда едят среди ночи.

— Если будешь слушаться Бриджит, я буду приходить часто.

— А если не придешь, я скажу маме с папой.

— Еще не ночь, но ты лучше иди ложись, а то нагрянут твои родители и всех нас застукают и вышвырнут на улицу.

Он скривился, будто вот-вот заплачет.

— И меня?

— Может, и тебя,— сказал я.— Но мы о тебе позаботимся. Возьмем тебя с собой.

Он засмеялся и сказал, пускай тогда лучше родители нас застукают, но Бриджит надела на него ночную рубашку, взяла его на руки и, прижав к своей голой груди, отнесла спать. Потом она вернулась, мы оделись и все привели в порядок — конец празднику. Мы обменялись телефонами, шепотом поклялись друг дружке в вечной любви и наконец расстались.

(Продолжение следует)

НАВСТРЕЧУ АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В сентябре этого года в Алма-Ате состоится V Конференция писателей стран Азии и Африки.

Одним из центральных вопросов, обсуждавшихся во время предшествующих встреч литераторов этих континентов, было развитие и взаимодействие культур, взаимосвязь традиций и новаторства в литературах народов Азии и Африки. Эти проблемы заняли важное место на IV Конференции в Дели — в частности, в выступлениях таких видных деятелей культуры, как Мулк Радж Ананд (Индия), Мулуд Маммери (Алжир), Гауссу Диавара (Мали), которые мы с некоторыми сокращениями предлагаем нашему читателю.

Публикацию открывает вступление, написанное активным участником движения афро-азиатских писателей Юрием Рытхэу (СССР).

ЮРИЙ РЫТХЭУ

МОСТ ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТЫ

Афро-азиатское литературное движение давно переросло рамки чисто профессиональных встреч собратьев по профессии, людей, по роду занятия разобщенных, замкнутых в своих кабинетах.

Но такое уж свойство подлинного художника, что он не может стоять в стороне от жизни своего народа, от животрепещущих проблем быстро меняющегося современного мира. Это тем более важно, что и Азия и Африка все чаще становятся средоточием узловых моментов современной истории, своеобразным барометром, который верно показывает современную политическую погоду нашей планеты.

Еще на первой встрече азиатских писателей, которая состоялась в Дели в 1956 году, вопросы художественного творчества тесно переплелись с наболевшими вопросами о путях развития возрождающихся культур, о политических горизонтах стран и народов, недавно обретших или только обретающих независимость.

Естественно, что главными проблемами, поставленными на конференциях, симпозиумах и других встречах афро-азиатских литераторов, были сохранение прочного мира, избавление от колониального ига, поддержка освободительного движения во всех частях земного шара.

И совершенно справедливы слова Индиры Ганди, сказанные на открытии IV Конференции писателей Азии и Африки в Дели: «Писатели не могут уклоняться от вызова, который бросает им жизнь. Они не могут отвернуться от людского горя и радости. Иначе какую литературу создадут они?»

Литературное движение стран Азии и Африки выдержало проверку временем, и, несмотря на попытки некоторых недоброжелателей погасить его, все ярче и ярче разгорается костер дружбы, объединяющий вокруг себя представителей писательского племени от арктических просторов великого азиатского континента до знойных африканских пустынь.

Литературное движение двух континентов оказывает большое благотворное влияние на художественную жизнь стран Азии и Африки, его нельзя игнорировать при определении политического климата той или иной страны.

Участие Советского Союза, являющегося одной из великих азиатских держав, в движении писателей стран Азии и Африки определяется не только географическими причинами, но главным образом основами ленинской национальной и внешней политики, симпатией народов Советского Союза к освободительному движению, к борьбе против колониализма и неоколониализма. Писатели Советского Союза, среди которых немало представителей азиатских народов от Арктики до Средней Азии, проявляют

живой интерес к художественным достижениям собратьев по перу и в силу интернациональной солидарности, в свою очередь, готовы поделиться опытом создания нового искусства.

Опыт культурного строительства в нашей стране может оказать и оказывает известную помощь в разрешении самых трудных проблем становления современных литератур развивающихся стран.

До Великого Октября многие народы и народности нашей страны, ныне гордящиеся развитыми литературами, вовсе не имели письменности. У народов Севера, например, в языках даже не было таких понятий, как «книга», «читать» и «писать». Тем более поразительным является тот факт, что сегодня мы можем говорить не только о возникновении литератур на языках народов Советского Севера, но и о том, что книги северных писателей издаются в нашей стране тиражами в сотни тысяч и миллионы экземпляров. Так, произведения мансийского писателя Ювана Шесталова, представителя народа, насчитывающего всего семь тысяч человек, издавались в СССР тиражом около шести миллионов экземпляров. Нанайский писатель Григорий Ходжер недавно завершил обширный труд, воссоздав художественную историю маленького амурского народа на страницах трех романов. Лирика чукотской поэтессы Антонины Кымытваль пользуется широкой известностью среди почитателей ее таланта, среди любителей поэзии.

Многие вопросы так или иначе переходят из одной конференции в следующую. Не потому, что они неразрешимы, а скорее оттого, что они всегда сопутствуют искренним поискам, попыткам поймать ускользающую формулу прекрасного, найти пути и такие средства художественной выразительности, чтобы оказать наибольшее влияние на читателя.

Одной из таких вечных проблем является проблема традиций и новаторства, взаимосвязь предшествующего художественного опыта и новых тенденций и поисков.

Отношение к традициям и новаторским поискам прежде всего зависит от позиции самого художника, от его взгляда на жизнь, от верного отображения в собственном сознании, в собственной художественной деятельности всех сторон и глубин народных чаяний. И совершенно верно заметил в своем выступлении на Делийской конференции видный индийский писатель Мулк Радж Ананд, говоря, что «ее (традиции.— *Ю. Р.*) составными частями являются различные новшества прошлого, ставшие нашей плотью, неотъемлемой частью нашего наследия».

Проблема эта имеет одно значение для литератур, чей письменный опыт насчитывает уже столетия, а то и тысячелетия, и совсем другое — для новых литератур, которые только начинают осваивать этот род художественной деятельности человека.

Возвращаясь к близким мне литературам Советского Севера, я должен сказать, что для них проблема традиций и новаторства решилась, на мой взгляд, благотворным образом.

Этот вопрос встал во всей остроте и в начале моего творческого пути. Многие мои друзья всерьез и с самыми добрыми намерениями советовали перенести на письменную литературу опыт устного поэтического творчества нашего народа, уходящий в глубь древнейшей истории. Однако дело было в том, что произведения фольклора отражали жизнь и мировоззрение человека эпохи патриархально-родового строя, а я начал писать в конце сороковых и в начале пятидесятых годов, когда социализм стал повседневной реальностью даже на таких далеких окраинах нашей страны, как Крайний Север.

Мне казалось, что целиком и полностью полагаться на фольклорный опыт в своем творчестве — это все равно что современного астронома вооружать галилеевой трубой. Произведение искусства, как известно, не возникает на пустом месте, из ничего. К началу своей литературной работы я был хорошо знаком с русской классической литературой в лучших ее образцах, а также с произведениями советской литературы. Совершенно естественно, что мне были знакомы и великие произведения мировой литературы. Все это, а главное многонациональная советская литература, и было той классикой, на которую равнялось не только мое творчество, но и творчество всех литераторов-северян, которые вышли к широкому читателю примерно в то же время.

А что же с фольклором? Отброшен ли он начисто? Нет, он вошел своеобразно и органично в книги северных писателей, придав им особую привлекательность и неповторимый аромат. Ведь устное поэтическое творчество — это квинтэссенция многовекового художественного опыта, экстракт великих достижений человеческого воображения и его чувствований. В книгах уже названного мной Ювана Шесталова или же нивха Владимира Санги мотивы фольклора причудливо вплетаются в ткань современных произведений о наших днях и нисколько не противоречат им. Острота проблемы новаторства и традиций снимается при творческом подходе к предшествующему художественному опыту и трезвом отношении к новым формам, к новым художественным открытиям.

Подлинное новаторство — чаще всего не открытие новых форм, а как бы нахождение новых нитей, новых струн в той незримой связи, которая тянется от художника к читателю. Такие открытия неизменно сопровождаются усилением внимания к произведениям этого писателя, независимо от его происхождения, независимо от национальной принадлежности его героев. Яркий пример тому — творчество выдающегося советского писателя, киргиза по происхождению, Чингиза Айтматова. А ведь формы его повествования, строго говоря, очень

НАВСТРЕЧУ
АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

традиционны, скорее чеховские, нежели авангардистские. Книги Чингиза Айтматова позволяют говорить о подлинном новаторстве, о настоящем художественном открытии во всей советской литературе. Такого рода новаторство надо всячески приветствовать, как вообще надо относиться со вниманием к практическим решениям проблемы новаторства и традиций.

Другой немаловажный вопрос, который стоит во всей остроте во многих странах Азии и Африки,— это язык, литературный язык в узком плане художественного творчества.

Язык — это лицо народа, как сказал мне старый эскимос Нутетени, поэт и певец ледяных пустынь.

Лишить человека собственного языка — это значит лишить его собственного выражения, надеть на него искусственную маску, которая не будет живой, как бы прекрасна они ни была. Живое выражение лица обретает язык в художественном повествовании, становясь материалом, который строит величественные произведения, переживающие сооружения из всех мыслимых крепчайших и сверхпрочных материалов. Давно превратилась в руины Троя, а великие поэмы Гомера живут в первозданном блеске; сровнялись с землей ступени храмов, а великие индийские эпические поэмы звучат так, словно сложены вчера. Давно нет в степях кочевых юрт, а бессмертный калмыцкий эпос «Джангар» живет и хранит в себе богатства языка, так же как звучит и волнует богатством языковых средств древнерусское «Слово о полку Игореве».

Однако случилось так, что для многих стран Азии и Африки в результате многовекового колониального гнета языковой вопрос поднялся до значения национальной проблемы. Европейские языки не ушли вместе с колонизаторами, а остались во многих сферах общественной и политической жизни, в печати и в художественной литературе.

В иных странах самые значительные литературные произведения созданы писателями не на языках, на которых говорит большинство населения, а на европейских — на английском и французском. Считать ли эти произведения действительно продуктом национального духа или же это нечто другое? Решать этот трудный вопрос однозначно — значит отворачиваться от действительности. История дает нам множество убедительных примеров, когда восприятие чужого языка отнюдь не означало утраты национального своеобразия, а скорее новую, более высокую ступень развития. Возможно, что к английскому и французскому языкам не было бы такого подозрительного отношения, если бы эти языки не были связаны с черными годами колониального угнетения, подавления собственной национальной гордости. Со временем, очевидно, будет найдено разумное решение, которое бы совместило в себе возрождение национальных языков до уровня современных литературных, с одной стороны, и с другой — сумело бы сохранить те художественные завоевания, которые были достигнуты с помощью другого языка.

Как известно, в нашей стране роль русского языка была совершенно иной, нежели роль европейских языков в странах Азии и Африки. Русскому языку никогда не было свойственно стремление подчинить себе другие языки, наречия. Наоборот, по отношению, скажем, к языкам народов Севера русский язык играл роль старшего брата, помогающего обретать новую силу. В настоящее время русский язык в нашей стране стал не только языком межнационального общения, а вторым родным языком для многих и многих советских людей. По моему глубокому убеждению, очень примечательным и прогрессивным является факт появления советских писателей, пишущих одинаково успешно и на своем родном языке, и на русском. Билингвизм некоторых советских писателей скорее помогает им в творчестве, чем создает какие-то дополнительные трудности. Здесь происходит обогащение обоих языков, идет как бы взаимное соревнование в более точном выражении тех или иных чувств и переживаний героев, в более точном описании обстановки и действия. Создает ли такое обладание двумя языками какую-то недооценку одного из них? Скорее, наоборот: сравнение позволяет видеть достоинства языков. Лично я как бы вторично открыл богатства родного чукотского языка, сравнивая его с русским.

Одним из главенствующих вопросов на афро-азиатских встречах писателей является вопрос о достоинстве человека, осуждение расизма как античеловеческого явления. «Человечество едино,— сказал на IV Конференции писателей стран Азии и Африки Мулк Радж Ананд,— люди нашей планеты различаются лишь цветом кожи, и каждый член человеческой семьи, опираясь на свою национальную почву, создает что-то ценное не только для себя, но и для других обитателей земного шара, участвуя таким образом в создании единой мировой культуры».

Попрание человеческих прав, к величайшему огорчению, продолжается не только в так называемых колониальных странах, но и в государствах, которые гордятся своими конституционными гарантиями прав человека.

Вопросы гуманизма неразрывно связаны с политическими, и нельзя быть человеколюбивым, стоя в стороне от борьбы за достоинство и права людей.

Мне вспоминаются добрые пожелания известных полярных путешественников Амундсена, Нансена и многих других — свидетелей беззастенчивого грабежа доверчивых арктических племен белыми торговцами,— пожелания о том, чтобы оградить арктические народы от влияния так называемой «цивилизации». По существу, предлагалось создание своеобразных заповедников, как ныне создаются специальные зоны для сохранения редких видов животных и растений. Этот «ограниченный гуманизм» ны-

не широко применяется к национальным меньшинствам в США, Канаде и в других государствах. Такого рода «либеральный расизм» даже находит защитников в ученых кругах. И понадобилось полное изменение общественного строя, полный переворот в отношениях между народами, чтобы малые народы России смогли обрести подлинное равноправие в семье народов, решивших строить новую жизнь. Одно дело провозглашать равноправие и даже записывать в красиво изданных сводах законов великие слова о правах и достоинстве человека, и другое — реально, материально обеспечить это равноправие, создать условия, чтобы твой страдающий брат встал рядом с тобой, сел за один стол за дружескую трапезу, поселился в таком же доме, в котором живешь ты. Чтобы его дети смогли учиться с твоими детьми, а если занедужит, чтобы он мог лечиться, не беспокоясь о том, сколько надо заплатить за свое лечение. Чтобы он действительно имел право быть избранным в органы управления, в законодательные собрания, во все государственные органы страны, гражданином которой он провозглашен.

Литературное творчество — это художественное выражение гражданской зрелости народа. Интересен такой факт. Как известно, эскимосы живут не только в нашей стране, но и на территории Соединенных Штатов Америки, на Аляске, в Канаде, в Гренландии. Мне удалось побывать в некоторых местах зарубежного обитания моих сородичей. Гренландские эскимосы гордятся тем, что уже в прошлом веке у них была письменность на родном языке. Грамотны и северные аборигены в других странах. Но художественной литературы представители этих народов не создали! А в то же время в нашей стране писатели родились даже у такого крошечного племени, как юкагиры, насчитывающего около четырехсот человек. Семен Курилов написал роман «Ханидо и Халерха», который взволновал миллионы советских читателей, хотя на первый взгляд речь идет о далеком племени, затерянном на студеных просторах низовья холодной реки Колымы.

Художественные произведения делают человека великим, продолжают его жизнь в других странах, в других народах и племенах. Это свойство художественной литературы — залог его бессмертия в грядущих веках, залог его непреходящей ценности во все времена.

Мне не довелось принять участие в IV Конференции писателей стран Азии и Африки. Я был в это время во Вьетнаме. Помню, как мы провожали в Ханойском аэропорту нашего друга, прекрасного писателя, лауреата премии «Лотос» То Хуая, его спутников и друзей — Нгуен Кхая, писателей из Республики Южный Вьетнам Фан Ты, Чан Вьет Тханя и Тху Бона, улетавших в Дели.

Тогда еще в разгаре была война и весь вьетнамский народ, как и его литература, был солдатом.

Мы с поэтом Евгением Долматовским проделали большое путешествие по этой прекрасной многострадальной земле и были свидетелями героической борьбы народа против американской агрессии. Мы часто встречались с писателями и вместе мечтали о грядущем мире, в который мы верили, потому что верили, что мир придет только с победой, а решимость победить у народа была велика.

Мы услышали призыв Делийской конференции писателей стран Азии и Африки поддержать борющийся за свободу и независимость народ Вьетнама, все народы Индокитая в их героической борьбе. И вместе со своими собратьями по перу мы верили в победу справедливого дела.

В 1958 году состоялась I Конференция писателей стран Азии и Африки. В Ташкенте собрались литераторы из 37 стран Азии и Африки и 13 стран Европы и Америки. Прошло 15 лет, и V Конференция собирается в Алма-Ате — столице чудесной Советской Республики Казахстан.

Мост через великие континенты сомкнул свои арки на земле Казахстана, и по этому мосту кратчайшим путем между народами — путем искусства и литературы — идут полномочные представители свободолюбивых народов—писатели, выразители их самых сокровенных дум и чаяний.

МУЛК РАДЖ АНАНД (Индия)

Вопрос о «традициях» и «новаторстве» всегда вызывает шумные дискуссии. Возможно, одна из причин заключается в том, что даже самые искушенные в этих вопросах люди не лишены каких-то предрассудков и пристрастий.

МУЛК РАДЖ АНАНД — MULK RAJ ANAND (род. в 1905 г.).

Известный индийский писатель, публицист и общественный деятель, лауреат Международной премии Мира (1953). Пишет на английском языке. Автор многих романов, сборников рассказов и ряда исследовательских работ по индийскому искусству.

Советские читатели знают М. Р. Ананда по переведенным на русский язык романам «Кули», «Два листка и бутон», «Гаури», сборникам рассказов «От тьмы к свету», «Сельская свадьба», повести «Семь лет (История индийского мальчика)».

Что такое традиция?

Если мы серьезно рассмотрим содержание этого слова, то увидим, что его составными частями являются различные новшества прошлого, ставшие нашей плотью, неотъемлемой частью нашего наследия. Мы принимаем эти старые новшества как нечто само собой разумеющееся. Они становятся привычными. И все, что мы делаем без самоосмысления и критики традиций, превращается в старый, бесполезный миф, клише, рассчитанное на дешевый эффект.

А что такое новаторство?

Я полагаю, что новаторство — это новый способ смотреть на мир в свете прочувствованного опыта и знания, переход от старого мифа к новому, или же обновление старого мифа, чтобы сделать его значимым в наше время.

Элементом, объединяющим традицию и новаторство, является, очевидно, непрерывное человеческое сознание, интегрирующее память и опыт прошлого, а также старые мысли и чувства с новыми достижениями. Итак, память — это ключевой элемент, связывающий прошлую сущность человека с новой современной сущностью.

Продолжающаяся преемственность между старым и новым сознанием в области культуры осложнена сохранением в качестве пережитков некоторых надежд, достижений, представлений, принявших форму непреложных ценностей. Они кажутся более или менее постоянными. И поэтому некоторые люди говорят: «Человеческая натура неизменна, и мы должны жить, полностью опираясь на старые, испытанные понятия».

С другой стороны, если мы рассмотрим даже устойчивые человеческие ценности в контексте истории, то есть во временном аспекте, то с изменением общества, пусть даже незначительным, вызванным революционным отказом от прошлого или созданием новой системы производства, мы обнаружим, что эти устойчивые человеческие ценности изменяются в большей или меньшей степени и должны быть перекованы в кузнице нашего сознания, чтобы принять новую форму и стать новыми ценностями.

Если мы принимаем революционный метод, возможно рассматривать традиционные ценности в рамках того типа общества, которое их создало, и проследить, сохраняют ли они в изменившихся социальных условиях нашего времени всю свою значимость.

Например, полиандрия была признанной ценностью в древних мифах индийского эпоса «Махабхарата». Причина этого может заключаться в том, что некоторые правящие фамилии были заинтересованы в сохранении земельных богатств в рамках семьи, и поэтому пять братьев имели детей от одной жены. Или обычай, именуемый сати, когда женщина бросалась в огонь, чтобы доказать свою добродетель. Этот обычай был, по-видимому, широко распространен 2000 лет назад и дожил вплоть до XIX века, когда великий современный мыслитель Рам Мохан Рой [1] начал кампанию за законодательное запрещение этого обычая. В «Бхагавадгите», позднее включенной в эпос «Махабхарата», бог Кришна советует своему ученику Арджуне из семьи Пандавов сражаться против его двоюродных братьев Кауравов, потому что правда на стороне Пандавов.

Я допускаю, что какой-нибудь сумасшедший из числа сегодняшних Пандавов или Кауравов может последовать совету современного Кришны и развязать атомную войну, основываясь на убежденности в собственной правоте, но многие люди откажутся согласиться с указаниями нового Кришны, как это делали почти все в эпоху «Махабхараты».

Я хотел бы разграничить мифы и понятия прошлого о духовных ценностях на те, которые можно использовать, и на те, что утратили для нас смысл, а ради этого нужен краткий экскурс в историю.

Основания для этого имеются в индуистском делении истории на эру правды и эру зла. Но индуистская классификация времен была выработана тысячу лет назад. Брахманы думали, что они потеряли власть, и объявили, что все будущее — это постоянный процесс распада: они создали миф о боге Вишну, спящем на свернувшемся змее Шеше на поверхности вод в отчаянии от того, как плохо все пошло в мире, им самим созданном. Для современной Индии, как я полагаю, подобная бинарная классификация времени слишком груба и легковесна. Я предлагаю разделить историю человечества на три различных периода — в зависимости от развития человеческой культуры. Подобное деление может быть слишком грубым и легковесным, но похоже, что предлагаемая классификация более плодотворна.

Был доисторический период, а также начальный этап первых двух тысячелетий известной нам истории, который мы можем назвать эпохой богов. Наши древние предки в Индии, Греции, Китае, Египте или Вавилоне, видимо, были заняты тем, что сражались, умиротворяли или побеждали ужасные силы природы или свои собственные, гнетущие их страхи, наваждения, а также утоляли свою чувственность. И они представляли себе все ужасные, пугающие или, напротив, благотворные непонятные феномены в виде богов и духов. Подобный способ ассимиляции является характерным для большинства человечества в периоды перехода от жизни в пещерах, укрытиях из деревьев или камней через кочевые общества к эпохе собирания пищи и возделывания земли. Непостижимая мощь сосредоточена в руках у богов, от которых зависит дождь, хороший урожай или избавление от смерти, если помолиться об этом, стоя на коленях. В ведических поэмах и гимнах, греческой драме, а также в Ветхом завете верховный бог—Брахма, Зевс или Иегова—и его различные воплощения представляют собой выс-

[1] Рам Мохан Рой (1772—1833) — выдающийся индийский философ и общественный деятель, основатель общества «Брахмо самадж».

шую реальность, правят миром, творят суд над людскими делами и определяют судьбу каждого человека.

Пережитки этой «эпохи богов» сохранились вплоть до нашего времени. И множеству людей, не верящих в экспериментальные научные методы и размышляющих над неразгаданными тайнами вселенной, легко допустить существование человека с большой бородой, сидящего высоко на небе, или же некое утонченное воплощение высшего начала, или принцип единства, которого можно достичь путем ухода из мира в замкнутую келью. И все же в древности и в средневековье, когда человек задавал вопросы о мире, как это делал Будда, он часто приходил к выводу, что следует отказаться от высшей реальности божественного и скромно принять правила поведения среди людей, чтобы объединить их для обычных человеческих дел. Гаутама Будда был одним из первых пророков человечества, сказавших, что нет доказательств существования бога. И некоторые ранние мыслители в Греции, такие как Гераклит, Пифагор и даже Аристотель, не были уверены в существовании антропоморфного божества.

Развивая эти идеи, некоторые из крупнейших деятелей европейского Ренессанса XV века, такие как Галилей, Леонардо да Винчи, Коперник, усомнились в важнейших положениях христианской религии. Распространилось убеждение, что хотя Иисус был гениальным пророком, концепция рая и ада, как она была разработана христианской церковью,— это не более чем преувеличенная метафора.

Итак, пережитки «эпохи богов» сохранились, но во времена Возрождения такие поэты, как Шекспир, увидели новый, неизвестный рок, от которого зависят человеческие судьбы,— «непознанное зло в человеческой природе». Яго, отчим Гамлета, дочери Лира охвачены каким-то жутким злом, которое встает на пути других людей.

Позднее, в XVIII и XIX веках, параллельно с сохранением в различных мифах концепций непознаваемой судьбы людей во власти зла, появляется ранее совершенно неизвестный рок — власть, основанная на деньгах, машинах и регулярных армиях.

Шекспировский Просперо предвещал этот миф в драме «Буря», использовав Ариэля, изобретательного духа, для покорения острова и порабощения обезьяно-человека Калибана. В поэмах, романах и рассказах эпохи промышленной революции на Западе, особенно в творчестве Томаса Гарди, возникает миф о непознанных возможностях денег и земельной собственности.

Жизнь людей, хотя они это и не сознают, зависит от биржевых воротил в гигантских мировых столицах. Индийские ткачи верили, что бог стал немилостив к ним и осудил их на трагическое существование, хотя на самом деле британский парламент принял решение прекратить импорт в Великобританию готовых изделий, производимых легендарными ткачами Дакки и Муршидабада на ручных ткацких станках, поскольку эти изделия успешно конкурировали с английским фабричным текстилем. В наши дни причиной голода в Африке может оказаться девальвация местной валюты по отношению к доллару.

Итак, подобно мифам древнего мира с их верой в непознаваемую власть богов, в нашем сознании эмоционально, или как иррациональная вера, или как житейский опыт продолжает существовать почерпнутое из средневекового мифа представление о тайных силах зла в человеке. Но непохоже, чтобы создавался миф о человеке как о свободном индивиде, реализующем себя в коллективе и через посредство коллектива, даже несмотря на значительно более высокий уровень знаний в наши дни, чем когда-либо ранее. На самом деле эти знания используются для того, чтобы поддерживать и защищать древние религии, расизм, классовые и кастовые иерархии. Власть немногих людей с их деньгами, армиями и империями часто используется против наиболее слабых стран.

В Индии существует традиция критики традиций; ортодоксальные пандиты [1] постарались заглушить эту традицию, и она неизвестна многим нашим современникам.

Составитель «Махабхараты» Вьяс осуждал расовую дискриминацию, основанную на кастовой системе. «Касты, касты,— говорил он,— нет никаких каст». И он старался показать, что нет ничего выше человека.

Власть традиций утверждалась посредством постоянного повторения святых мантр [2], часто непонятных для того, кто их произносит, и всячески поддерживалась духовенством среди неграмотного народа, поскольку обучение этим мантрам давало возможность обеспечивать свою жизнь.

За восстанием Будды против брахманской ортодоксальности последовало, вскоре после его смерти, поглощение некоторых основных принципов его учения индуизмом. Но несмотря на это, после многовековой борьбы с буддизмом брахманы собирались совершить убийство царя Харшу, потому что он принял буддизм и созвал всемирный буддийский собор в Канаудже в конце VI века н. э.

Что же касается дравидийских народов, чьи верования и божества основывались на культах плодородия и непосредственного контакта с природой, в противовес суровости арийских традиций, то брахманы восприняли большую часть их культов, интерпретировали их в своем духе и включили в свой тщательно разработанный ритуал. Они даже свергли всемогущего ведического бога Индру и вознесли Кришну, героя-пастуха племен Абхиры, как бога любви, за столетия до христианской эпохи. Шива, презираемый брахманами в течение многих столетий до и после рождества Христова

[1] Пандит — ученый брахман.
[2] Мантра — священное изречение, имеющее магическую силу.

НАВСТРЕЧУ
АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

как дикий бродяга, шатающийся по лесам и горам и занятый эротическими приключениями, был включен в индуистскую религию и превращен в респектабельное воплощение высшего божества проповедниками шиваистского культа.

Поколение за поколением брахманская олигархия утверждала свое уважение к традициям, заявляя, что новые современные произведения литературы и искусства должны пересказывать старые истории. Иначе они будут считаться кощунственными. Свежесть подхода, возникающая из опыта новых народов, постоянно третировалась и очернялась. А мысль учеников атрофировалась вследствие превознесения традиций в системе образования, направленной в основном на то, чтобы создавать новые комментарии, истолковывающие и интепретирующие старые формулы. На самостоятельное мышление было наложено табу в школах при храмах.

Окостенение традиционного мышления поощрялось феодальным монархическим государством, особенно в периоды иностранных вторжений, что случалось почти каждые 20 лет. Цари поощряли священников составлять бесконечные молитвы и подчинять ритуалу все — от еды и ходьбы до удовлетворения естественных нужд. Жизнь ребенка начиналась с разработанных до мелочей церемоний рождения. Искупительные обряды инициации с повязыванием священного шнура, хождение вокруг огня во время свадебного обряда, традиционные ритуалы почитания старших — все это подавляло жизненный дух молодежи. Паломничество к святым местам, милостыня и жертвоприношения обогащали орден духовенства. Интерпретация законов индуизма, особенно законов Ману [1], привела к подчиненному положению женщины. Брахманы разработали строгие формулы для защиты упаднического общества только потому, что оно столкнулось с вторжением более демократического ислама. Древняя расистская теория каст с ее унизительной практикой неприкасаемости, направленной против людей вне каст, была освящена традицией на протяжении всей известной нам истории, причем лишь очень немногие протестовали против нее.

Возрождение искусств, последовавшее за волной гуманизма в эпоху династии Гуптов в III—IV веках,— это единственный вольный период, когда главной ценностью были радости и печали земной жизни. Но даже это время не было свободно от влияния брахманического духовенства.

Возможно, в течение какого-то времени люди прислушивались к резким словам Калидасы: «Не обязательно все древнее должно быть хорошим. Не все изречения безошибочны. Настоящая литература следует каким-то образцам только после их критического разбора. Только дилетанты безоговорочно подчиняются литературной традиции».

В V веке н. э. жил еще один бунтарь — философ и поэт по имени Сидхасена Дивакара. Он был брахман, позднее перешедший в джайнизм [1]. Он написал нечто вроде исповеди, раскаиваясь в своем раннем догматизме,— серию стихов, критикующих индусскую традицию. Он сказал: «Если мы тщательно рассмотрим традиции, установленные предшествующими поколениями, то увидим, что они не могут выдержать испытания временем. Если же это справедливо, то я не способен защищать традиционную славу моих умерших предков».

Он выступал за смелость, непредубежденность мышления: «В искусстве, литературе, философии утвердились различные, противоречащие друг другу силы. Как можем мы определять, кто прав, а кто нет. Мнение, что только одно верно, а другое нет, достойно тех, кто застыл в неподвижности традиций, а не меня».

Далее он объясняет, сколь нелогично почитать старое только потому, что оно старое: «После своей смерти человек, принадлежащий к нынешнему поколению, в глазах следующего поколения станет относиться к прошлому, к сонму предков. Вследствие этого процесса в какое-то время новое является старым, и наоборот. А если это так, то как можем мы говорить без предварительного исследования, что такое-то положение является старым».

Сидхасена предупреждал новые поколения против грозящего им саморазрушения вследствие рабского подчинения традиционным догматическим истинам: «Мы — люди, следующие своему призванию, а пураны [2] созданы самим богом. Как может столь ленивый капитан корабля пересечь бесконечный океан знаний?»

Однако продолжались иностранные вторжения, и феодальные принцы старались замкнуть свои народы в рамках ортодоксального кодекса, созданного высшим духовенством, и всегда старались нейтрализовать интеллигенцию нового поколения.

Но поскольку новые захватчики только пополняли ряды правителей и землевладельцев, сохраняя неделимые патриархальные семейные хозяйства и власть духовенства, то, несмотря на развитие торговых связей, не происходило никаких фундаментальных изменений в олигархической системе в целом. В каждом столетии происходило возобновление традиций.

Иностранные завоеватели, хотя с точки зрения индуизма они находились вне каст, сами создавали олигархические системы и поклонялись своим старым ценностям.

Таким образом, вся теологическая надстройка брахманизма и кастовой системы пережила века мусульманского господства.

Часто индуистская и мусульманская аристократия — и кастовая и внекастовая — соблюдала разграничительную линию в рели-

---

1 Законы Ману — сборник, описывающий древнеиндийские обычаи и верования, авторство которого приписывается первому мифическому земному царю, сыну бога Солнца Ману.

[1] Индийское религиозно-философское учение, возникшее в VI веке до н. э. одновременно с буддизмом.

[2] Древнеиндийские эпические сказания.

гиозных делах, но объединялась для защиты индуистской и мусульманской ортодоксальной веры до тех пор, пока это не затрагивало их экономической гегемонии.

История продолжала рассматриваться как цепь действий богов. Концепция истории как результата совокупных усилий человеческого общества не могла активно проявиться без европейского влияния.

Разум Возрождения столь открыто выступал против религиозных истолкований вселенной, был столь подчеркнуто рационалистическим по сравнению с брахманскими мифами и легендами, что оказалось гораздо тяжелее выдержать натиск западных идей, чем господство иностранных завоевателей, с которым олигархическая верхушка вскоре достигла компромисса. Наука пошатнула многие выродившиеся обычаи и ритуалы наших предков. Оригинальные мыслители, такие как раджа Рам Мохан Рой, стали раздумывать о золотых истинах в источниках веданты [1], чтобы связать их с новыми рациональными западными идеями. Оковы традиции начали расшатываться.

Но, к несчастью, многочисленные европейские ориенталисты нашли спасение от убожества прагматической мысли Запада в древних философских учениях индуизма. Они способствовали тому, что старые доктрины стали восприниматься как священные их студентами, выходцами из мелкобуржуазной среды, не обладающими ничем из старого знания и очень немногим из современного.

Рабская зависимость мышления многих из тех, кто требовал политической свободы, не могла быть замечена, пока власть не была передана из британских рук в индийские. В настоящее время, когда на нас лежит обязанность добиваться все большего освобождения, некоторые гуманисты, такие как Тагор, Рой и Неру, поставили под вопрос святость традиций ради традиций и стали предостерегать молодых против иррационального восприятия старых схем, поскольку на пути к социальному прогрессу не должно быть преград.

Новые поколения на планете, особенно в Азии и Африке, должны понять, что, наследуя прошлое, нужно смотреть в зубы дареному коню.

Мы не можем воспринимать все мифы, легенды, философские учения и моральные истины всех времен человеческой истории, как бы их ни превозносили, если они не имеют для нас никакого значения. Некоторые из нас, индийцев, были почти полностью раздавлены тяжестью нашего «великого прошлого», включающего в себя не только Упанишады [2], но и магические формулы Ахтарваведы [3]. Наша интеллигенция использовала благородные идеи давно прошедших дней в качестве компенсации ощущения своей слабости, несовершенства, чувства отчаяния в настоящем. Некоторые из наших предков оправдывали сати — обычай самосожжения вдов,— и даже сегодня мы узнаем о случаях ритуальных убийств.

Настойчивое утверждение извечного различия между «идеалистическим Востоком» и «материалистическим Западом», оживление этой идеи явилось следствием слабости традиционного мышления, столкнувшегося с требованиями промышленной революции. Мы принимаем все одежды современности, включая мини-юбки, но хотим сохранить традиционные кисти, хотя они могут быть затянуты в машину.

Нет никаких сомнений, что в нашем наследии имеются некоторые ценности, теории и представления, которые дали человеку яркость и глубину видения. Эти качества должны быть сообщены всем остальным людям. Высшее самосознание, достигнутое в некоторых формах исследования, взаимное доверие, возникающее благодаря теориям непричинения зла, а также духовная мудрость наших древних поэтов и святых — все это проникло в сознание многих поколений благодаря общим пословицам, поговоркам, басням, сказкам. И это должно сочетаться с нашими современными понятиями через посредство чувственного опыта и прямого синтеза.

Однако невозможно с каждой петлей эволюции вновь поднимать мертвый груз старого знания, воспринять все отжившее и сделать его частью собственного опыта и при этом избежать атрофии новых импульсов под воздействием старых привычек. Чаще всего прошлое проникает в виде ритуалов, знаков отличия или верований.

Следует помнить, что новое знание, особенно полученное благодаря экспериментальной науке, направлено на то, чтобы сделать историю чем-то большим, чем частица иллюзорной Майи в глазах Брахмы. И корова сегодня — это больше, чем наша святая мать. Мы можем заставить ее давать больше молока, оказывать ей меньше почестей, но давать ей больше корма. А ритуальное жертвоприношение людей, животных или птиц не может долее допускаться ни в Индии, ни в Африке, ни в Америке.

Я полагаю, что при переходе от «эпохи богов» через «эпоху зла в человеке» и дальше, за пределы «эпохи власти денег» мы должны быть бдительны по отношению к любой мысли, чувству или настроению. Вполне вероятно, что следствием шовинистических предубеждений, желания укрыться от действительности или привычки придерживаться устаревших обычаев может стать стремление принимать внутреннюю жизнь человека и внешний опыт как нечто само собой разумеющееся и выступать против идеи эволюции человеческого мышления.

---

[1] Веданта — одна из главных школ в древнеиндийской философии.

[2] Упанишады — древнеиндийское философско-религиозное сочинение в стихах и прозе.

[3] Атхарваведа («Веда заклинаний») — четвертая из вед древнейших индийских сборников гимнов, песнопений и жертвенных формул.

НАВСТРЕЧУ
АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Часто случалось, что уставшие люди, принадлежащие к нашей цивилизации, соглашались со старыми выдумками, потому что легче пойти на компромисс, чем бороться за правду. К тому же критическое отношение к «культурному наследию» прошлого с целью его интеграции с требованиями современности часто задерживается догматической верой в частично полезные, но в значительной мере ограничивающие философские системы веданты, различные индийские доктрины экзистенциализма и логического позитивизма.

Появление машин в качестве орудия мировой промышленной революции показалось гибельным даже наиболее просвещенным людям. Но мы видим, что возможно отделить машины от эксплуататорских группировок, использовать новые технические изобретения, создавать ценности и распределять их, основываясь на взаимопомощи. Эти ценности могут изменить общество, дадут людям свободное время, что откроет путь каждому к самообразованию, к расцвету чувств, к гармоническому слиянию внутреннего и внешнего мира.

Опасность, угрожающая человечеству, состоит в том, что конфликты и борьба между старым и новым миром затемняют основную задачу нашего времени — личности должна быть предоставлена свобода для работы по синтезу всего ценного и существенного, что есть и в старом и в новом — для того, чтобы создать новую эпоху в человеческой истории, когда люди смогут сами искать и находить для себя истины, необходимые им для жизни.

В настоящий момент, после двух гигантских мировых войн, существует опасность третьего, рокового конфликта, потому что человек оказался не в состоянии забыть старые мифы, выдвигающие жестокость, ненависть, расовое презрение. Таким образом, мы не смогли сократить разрыв между устремлениями ренессансного знания и осуществлением надежд, основывающихся на этом знании.

Страх, подозрение, отчаяние явились причиной отчуждения отдельных личностей и даже целых наций и больших групп как от самих себя, так и друг от друга. Общество принимает интеллигента, если он проявляет конформизм по отношению к ортодоксальным верованиям или же к какому-то из более современных псевдомистических учений многочисленных религиозных общин. Я понимаю, что поэту тяжело согласиться со своим отчуждением. Но занимая именно эту позицию, он может добиться наибольших результатов. «Поэзия — это критика жизни»,— говорил старый Мэтью Арнолд. И возможно, он под этим подразумевал, что поэт вносит непосредственные чувства, сокровенные мысли и личный опыт в новую систему ценностей, в любые новые образы.

Поскольку задача нести свет в область тьмы является тонкой и сложной, интеллигенция должна разработать новый, критический подход, устраняющий лозунги прошлого и полуложь настоящего, для того чтобы подтолкнуть наше общество к восприятию всего жизненно важного в каждой традиции, чтобы покончить с нашим нынешним невежеством. По сути дела, за вопросом о соотношении традиции и новаторства стоит вопрос о борьбе за свободу, свободу от различных оболочек страха, прикрывающих наше самосознание, стремление к другим свободам, к свободному восприятию всего, что завоевано для нас другими. Возможно, то, что другие люди называют истиной, является сегодня лишь свободой для индивида находить себя, расти, если он чувствует в этом потребность, или же исчезнуть.

Консерватизм, который можно определить как неосознанную уловку глупости, должен быть разбит, чтобы человек получил возможность быть и становиться.

МУЛУД МАММЕРИ (Алжир)

В тот момент, когда отдельные западные страны отважились на пагубную колонизаторскую авантюру, их собственная история насчитывала всего каких-нибудь несколько столетий, тогда как некоторые нации из тех, что они собирались покорить, создали уже на протяжении предшествующих тысячелетий чудеса цивилизации, примером тому может служить хотя бы Индия. Новые силы, не слишком отягощенные грузом прочно укоренившихся традиций, одержали верх над высокоразвитыми культурами,

---

МУЛУД МАММЕРИ — MOULOUD MAMMERI (род. в 1917 г.).

Алжирский романист, критик, драматург, собиратель фольклора. Член Постоянного бюро афро-азиатских писателей, член редколлегии журнала «Лотос».

Советским читателям знаком по переведенным на русский язык романам «Забытый холм», «Когда спит справедливость», «Опиум и дубинка». В этом году вышли в свет две пьесы М. Маммери: «Банкет» («Le banquet») и «Абсурдная смерть ацтеков» («La mort absurde des azteques»).

передававшимися из века в век народами Азии и Африки. И поэтому проблема соотношения традиций и новых веяний, неожиданно возникшая перед этими народами, с самого начала приобрела драматический характер и требовала кардинального решения.

Для других народов и при других обстоятельствах противопоставление или, вернее, уравнение того и другого протекало совершенно нормально, прежние формы так или иначе приспосабливались к новым условиям. В странах же «третьего мира», напротив, проблема эта отражала не просто определенный этап на пути нормально протекающего исторического развития, нет, она была навязана извне, речь шла не больше и не меньше как о продолжении жизни. И то, каким образом народы реагировали на грубое вмешательство в их жизнь, поставило под угрозу самое их существование. Отсюда и все вытекающие последствия. И хотя экономические и социальные причины, обусловившие колониализм, в основе своей ничем не отличаются друг от друга и коренятся в империалистической экспансии капитализма, раздираемого внутренними противоречиями на ограниченном европейском пространстве, а соотношение сил агрессора и его жертв всегда неравно, врожденная склонность афро-азиатских культур к переменам оказалась в данном случае спасительной, а их способность к обновлению в необычных условиях сыграла решающую роль в деле их сохранения.

Но в то же время нельзя отрицать и того драматического факта, что некоторые высокоразвитые цивилизации, во много раз превосходящие уровень развития своих поработителей, бесследно погибали в ничтожно малые отрезки времени, если стремились во что бы то ни стало сохранить верность традициям, утратившим свою жизненную силу и динамизм. Такова печальная участь народов майя, ацтеков, инков. Другие же народы, напротив, сумели отыскать в недрах своих древних традиций крупицы того нового, что позволило им собрать силы сначала для скрытого, а затем явного и в конечном счете победоносного сопротивления колониальным державам.

И все-таки, если бы проблема эта была обусловлена лишь природой колониализма, она исчезла бы вместе с ним. Но приходится констатировать, что она не только не исчезла с ликвидацией колониального господства на большей части земного шара, а приобрела после завоевания независимости еще более острый характер. Об этом свидетельствует опыт стран, недавно добившихся независимости, и вопрос отныне заключается в том, чтобы узнать, можно ли найти решение этой проблемы и в чем оно заключено.

В самом деле, колониальная агрессия существует по-прежнему. Разумеется, она видоизменилась, приняв отныне облик замаскированного неоколониализма. Но изменив свой внешний вид в целях маскировки, явление это по сути своей не претерпело никаких изменений, ибо продолжают существовать условия, породившие его. Экономика Европы и Америки, движущим стимулом которой по-прежнему остается прибыль, до сих пор пользуется преимуществами, возникшими в результате крайне неравномерного распределения научно-технических достижений.

Вопрос несомненно весьма сложен. И маловероятно, что для его решения достаточно занять непоколебимую позицию, которая якобы годится на все случаи жизни, отыскать нечто аналогичное всемогущему «Сезам, откройся!». Вот почему писатели могут сыграть большую роль в его разрешении, но, конечно, не только писатели, немаловажное значение имеет также внедрение образования, идеологический анализ и повседневная политика. Если разобраться, то проблема соотношения традиций и новаторства усложнилась еще больше в силу побочных явлений, сопутствующих колониальному господству и экономической зависимости.

Не претендуя на излишнюю проницательность, можно смело утверждать, что традиции и новаторство в странах «третьего мира» имеют двойственный аспект. Каждое из этих явлений заключает в себе как положительные, так и отрицательные качества, которые на практике не так-то просто распознать. Задача в том и состоит, чтобы отыскать некий идеологический инструмент в самом широком смысле этого слова, способный провести такую операцию или, по крайней мере, способствовать ее проведению. И несомненно, важную роль в этой области призваны играть писатели.

В самом деле, не представляет особого труда определить в плане теоретическом положительные и отрицательные стороны традиции. Но очевидно и то, что в каждом частном случае проблема эта носит не только теоретический характер. Иногда она самым решительным образом оказывает влияние на жизнь людей, которая отнюдь не является простейшей геометрической теоремой. Именно в силу этих причин работа писателя, и особенно писателя стран «третьего мира», может внести значительный вклад в дело определения положительных и отрицательных сторон традиции и значения ее для реальной жизни, и не только с точки зрения теории или того или иного направления, а с точки зрения жизненного опыта отдельных людей, ибо до сих пор, что бы там ни делали и ни говорили иной раз, самым ценным капиталом по-прежнему остается человек.

Каким образом сочетаются традиции и новаторство в странах «третьего мира»? И если частное проявление этой проблемы, а главное, внешнее ее выражение в каждом данном случае различны, то, может быть, суть ее остается неизменной? В общем можно, пожалуй, утверждать, что колониальная экспансия, начавшаяся в XVI веке и достигшая своего наиболее полного

НАВСТРЕЧУ
АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

выражения в XIX веке в облике империализма, застала народы Азии и Африки на той докапиталистической стадии развития, когда все в их жизни было подчинено многовековым традициям. И уже в то время традиция играла двойственную и весьма противоречивую роль. С одной стороны, она поддерживала равновесие, с другой — являлась тормозом.

Колониальная система, зачастую грубо нарушавшая устоявшийся порядок, который сам по себе, в силу неизменности экономических условий, не способен был к каким-либо переменам или стремительному движению вперед, лишь усилила существовавшие противоречия. Перед угрозой насильственного навязывания чужеземных порядков, игнорировавших и в корне отрицавших самое существование национального начала, в порабощенных странах выявляется стремление во что бы то ни стало сохранить верность традициям, при помощи которых, независимо от их объективной ценности, страны эти надеялись уберечь национальную самобытность. Все средства хороши в борьбе против проникновения колониализма.

На первых порах такое решение, вне всякого сомнения, имело свой смысл, можно даже привести примеры того, как оно помогало выжить той или иной нации (позволю себе привести в данном случае пример Алжира), хотя, с другой стороны, тут же выявились и отрицательные его стороны. Культуры, основывающиеся исключительно на традициях, служили не только проводником непреходящих ценностей. Хотя само собой разумеется, для каждой страны были характерны свои особые черты, все-таки нельзя не отметить, что наряду с устремленностью к свободе в старых культурах, во всяком случае в некоторых из них, нашли свое отражение в той или иной степени идеи феодального или аристократического мира, служившие порою лишь узким интересам той группы, которая их породила. Об этом свидетельствуют и действия некоторых колонизаторских стран: их политика включала в себя поддержку старинных нравов и обычаев в тех случаях, когда они служили подспорьем в укреплении господства этих стран. Так, например, в странах Магриба некоторые стародавние исламские обычаи находили неизменную и действенную поддержку у колониальных властей. И в течение долгих лет нам приходилось наблюдать парадоксальное явление, когда туземная идеология служила опорой иноземному империалистическому господству.

Отсюда и то чрезвычайно отрицательное влияние, которое оказывало колониальное владычество на все национальные традиции в странах Азии и Африки. Низведя их активную роль до минимума, колонизаторы обрекли их на бесплодное существование, бессмысленное повторение заученных жестов и потерявших всякий смысл слов. Колониализм всячески препятствовал их развитию, и они регрессировали. Насущных проблем традиционное искусство не могло касаться, ибо они находились в ведении колониальных властей, и потому его уделом стали третьестепенные, не представляющие никакого интереса вопросы, далекие от реальной действительности и истории, на которую это искусство ни в коей мере не могло повлиять.

А между тем колониальная система, несмотря на свою строго продуманную организацию и поставленную ей на службу политику, в самой себе таила элементы самоотрицания. Разрушая экономические, социальные, политические и культурные основы порабощенного общества, она тем самым создавала условия для возникновения нового порядка, а следовательно, и новых ценностей. Те элементы традиционной культуры, которые колониальные державы стремились сохранить любой ценой, очень скоро превратились в искусственную надстройку, либо лишенную всякого смысла, либо наполненную реакционным содержанием. Наряду с подобными элементами, а зачастую и в борьбе с ними появлялись ростки такой культуры, которая отвечала новым условиям существования. Начиная с XIX века четко обозначились новаторские течения, которые распространялись и ширились во всех странах «третьего мира». Но с самого начала та же печать двойственности, которой была отмечена традиция, лежала и на явлениях, сопутствующих новаторству. Новые ценности, которые стремится создать порабощенное общество, очень часто прямым или косвенным образом связаны с нацией колонизаторов, а происходит это в основном по двум причинам: прежде всего потому, что именно они, эти ценности, явились залогом триумфа господствующей нации, и еще потому, что в действительности они строго соответствуют тем новым условиям жизни, которые принесли с собой колонизаторы. Тогда-то перед странами Азии и Африки и возникла та самая дилемма, которая не могла быть полностью решена даже после завоевания ими независимости. Следовать новым путем — это означает, разумеется, добывать оружие, необходимое для освобождения от иноземного владычества во всех его видах, в том числе и в области культуры. Таким образом, это равносильно в какой-то мере возрождению национальной традиции, но, с другой стороны, если следовать новым путем, надо взять на вооружение и достижения колониальной державы, с тем чтобы победить ее.

В данном случае далеко не просто решить, где кончается необходимость и начинается самоотречение, забвение, и одна из самых волнующих задач для афро-азиатского писателя состоит в том, чтобы помочь установить такое различие, ибо в своих произведениях он может отразить всю многогранность и сложность этой проблемы, которая является не только следствием определенных исторически сложившихся условий, но заключает в себе самый смысл человеческого существования.

В действительности истинная проблема

состоит вовсе не в противоречиях, скорее надуманных, чем реально существующих, между традицией и новаторством. Ни то, ни другое само по себе ничего не значит, главное — это весомость тех элементов, что составляют их суть, и тот смысл, который люди вкладывают в них на практике. Истинной является та традиция, которой следуют добровольно или, иными словами, избирают ее, а истинное новаторство подчиняет неизбежно меняющиеся средства тем целям, в которых сокрыты подлинная глубина и извечный смысл. Колониальная традиция — явление, даже на первый взгляд чрезвычайно странное, начисто отрезанное от реальной жизни; точно так же, как новаторство колониального происхождения — не более, чем рабское подражание, ни по форме, ни по содержанию своему не имеющее самостоятельного значения. Достаточно устранить не существующую на деле противоречивость между этими двумя понятиями, в действительности дополняющими друг друга, чтобы тем самым вернуть им их истинное значение.

Основы многовековых традиций стран Азии и Африки были заложены в далеком прошлом, они отражают высочайшие достижения человеческого духа, и потому молодые государства «третьего мира», а главное их писатели призваны теперь возродить их. Но в то же время в течение долгого периода колониального господства на эти традиции наслоилось много случайного, не могло пройти бесследно и то, что экономика этих стран застыла в своем развитии, остановившись на уровне докапиталистического соотношения сил. Теперь же для народов стран «третьего мира» открылась возможность избегнуть двойного проклятия зависимости — от их собственного прошлого и чужеродного настоящего. Занялась заря великой эпохи, в которую нам посчастливилось жить, и именно перед писателями встает трудная, но прекрасная задача способствовать ее расцвету.

Но жизнь идет вперед, и проблема, которая по-прежнему наиболее остро стоит перед странами «третьего мира», в действительности приобрела теперь всемирное значение в силу высокого уровня развития науки, техники и социальных систем.

Любая политическая система порождает соответствующую традицию, которая служит своего рода мерилом созданных ею ценностей. Но рано или поздно наступает такой момент, когда само существование традиции, причем любой, независимо от ее неоценимых достоинств и прогрессивного значения, в свое время становится причиной разобщенности, тормозом и в силу этого оказывает сугубо отрицательное влияние на жизнь. Мне думается, что именно в такой момент особенно возрастает роль писателя, который должен отразить в своем произведении влияние традиции на современную жизнь, причем не просто механически отразить это влияние, а помочь по-настоящему разобраться в его природе: благотворно оно или пагубно, а может быть и то и другое вместе, как чаще всего случается. Потому что в конечном счете речь ведь идет о свободе человека и о борьбе за нее, именно об этом и ни о чем другом.

Традиция пагубна, новаторство вредоносно, если человек в произведениях и того и другого рода лишается своей индивидуальности, самого священного права — права на свободу, возможности свободно строить свою жизнь.

Это волнующая задача. Волнующая и беспредельная, ибо заранее известно, что решить ее раз и навсегда нельзя, так как битва за свободу человека не может отойти в прошлое, она возрождается всякий раз заново, потому что каждый раз возрождается проклятие тех сил, что стремятся поработить его.

ГАУССУ ДИАВАРА (Мали)

В настоящее время литература Мали, основываясь на культурных традициях, полагается в первую очередь на «ум и чувства» нашего народа. Это литература, значение которой повсеместно признано, ибо она выражает чаяния и эстетические принципы малийского народа.

Рассмотрим прежде всего устную форму этой литературы.

Устное творчество наиболее характерно для негритянского населения Мали. Легенды, сказки, загадки занимают господствующее место в устном народном творчестве, носителями которого являются гриоты.

Еще со времен средневековья гриоты, соперничая с трубадурами, воспевали черных властителей и их королев, романтическая любовь занимала не последнее место в их песнях-сказаниях, повествующих о беспримерных воинских подвигах. Гриоты учили черных принцев гостеприимству, вежливости, лояльности, состраданию, скромности, давали им уроки солидарности и дисциплины. С другой стороны, они высмеивали на-

---

ГАУССУ ДИАВАРА (род. в 1939 г.).

Малийский поэт. Окончил Литературный институт им. Горького в Москве. В настоящее время живет в Мали. На русский язык переведены его сборники стихов «Рождение Мали» и «Черные звезды». Стихи Г. Диавары неоднократно печатались в нашей периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

силие, жадность, обжорство, одним словом, все пороки.

Подобная традиция является неотъемлемым компонентом романов, поэм и современного африканского театрального репертуара, занявшего в настоящее время особое место в ряду культурных достижений малийского народа.

Вспомним, что в сказаниях гриотов нашли свое отражение история Сундиаты, эпопея 44 царей Ганы, существует цикл, посвященный Манзону, Ардо из Масины, Эль-Хаджи Умару, Битону из Сегу и т. д. Надо сказать, что эта богатейшая литература легла в основу национального малийского театра.

Еще в тридцатые годы педагоги школы Уильяма Понти, готовившей колониальных чиновников, давали задания учащимся бывшей французской Западной Африки собирать во время каникул африканский фольклор, изучать исторически сложившиеся обычаи, а затем писать и ставить пьесы на французском языке, предназначавшиеся для показа в школе. Народные песни могли исполняться на одном из африканских языков. А так как африканский фольклор неотделим от музыки (некоторые басни и легенды перемежаются песнями), то театр школы Уильяма Понти сочетал слово, песню и даже танец.

В 1937 году учащиеся французского Судана показали в школе У. Понти «Хитрость Джеге». Главное в этой пьесе заключалось не в интриге, а в театрализованном пересказе сюжета.

Игрались и другие пьесы, и все они были созданы на основе устной литературы, в том числе «Свидание Самори и капитана Пероса», показанная гвинейскими учащимися школы У. Понти, и «Да Манзон» в исполнении учащихся из Верхней Вольты.

Зачастую драматургический эффект в такого рода пьесах приносился в жертву исторической достоверности.

Но несмотря ни на что театральные традиции развивались. Наступил 1960 год, год провозглашения независимости Мали. И вот тогда-то интеллигенция взяла на себя задачу записать все «устные архивы». И в настоящее время можно сказать, что Мали созрело для литературы письменной.

Малийские писатели и артисты неустанно работают над изучением фольклора. Сказки, эпические поэмы рассказываются в течение нескольких вечеров подряд, как в Нигерии. Они требуют музыки и театральных декораций. «Если погаснет огонь» Маса Макана Диабате дает нам в какой-то мере представление о подобной панораме.

Существуют также попытки сделать своего рода композицию, с тем чтобы воссоздать эпическую драму, которую пересказывали и показывали многие поколения малийского народа, но воссоздать ее в таком виде, чтобы она могла воздействовать на широкие народные массы. Народ испытывает нужду отнюдь не в детских сказках, ему необходимо нечто эпическое и в то же время такое, что можно было бы показать на сцене, как, например, «Дорога на Алмами» (одна из моих пьес, поставленная учащимися лицея в 1960 году), или декламировать, подобно «Илиаде» и «Одиссее».

Наряду с работой, которую проводит малийская интеллигенция по собиранию произведений устного народного творчества, ею организуются также семинары, на которых обсуждаются проблемы классического и современного искусства, концерты с участием выдающихся малийских певцов, поэтические вечера, где исполнителями выступают студенты консерватории и Национального института искусств Мали.

Надо сказать, что студенты института совершенно покорили зрителей Бамако блистательной постановкой пьесы «Исключение и правило» Бертольта Брехта. Спектакль этот привнес современное начало в малийскую драматургию. Ибо он связал театр с нашей эпохой, борьбой народов, столь характерной для нашего времени, с теорией, объясняющей мир, и практикой, направленной на то, чтобы переделать его. В этом спектакле заложен дух возрождения.

Впервые малийский зритель был свободен и воспользовался своей свободой для критики, так как оказался лицом к лицу с историей, колониальной историей, потому что пьеса была осовременена.

Отныне в малийском театре эпическая концепция одержала верх над концепцией трагической, ибо, вместо того чтобы оставаться в рамках извечного конфликта Человека с Судьбой, малийский театр отвергает Судьбу, стремясь разоблачить, назвать по имени те силы, что подавляют человека.

Успех «Исключения и правила» Брехта укрепил веру малийской публики в Национальный институт искусств. Из среды его учеников выходят драматурги, поэты, художники и композиторы — молодые таланты, умеющие дорожить культурным наследием прошлого, прекрасно сознающие, что служение современному искусству вовсе не означает полного отрицания минувшего.

В Мали артисты всегда умели прислушиваться к биению пульса времени, они улавливали в нем голоса негров, которые от юга Соединенных Штатов до Антильских островов, от Кубы до Гаити, от Гайаны до Бразилии — отовсюду шлют черной Африке свою дань, свою культуру: песни, танцы, прозу, поэмы, театральные пьесы, воплощение той самой цивилизации, тех самых скульптур и статуй черной Африки, которые обрели известность в Европе с той поры, как Матисс и Пикассо открыли их художественную ценность.

Самобытность культурного вклада Мали в мировую цивилизацию явствует хотя бы из того, что Мали стремится синтезировать и лучшие, демократические стороны своего прошлого, и достижения новой Африки, и бесценные сокровища всемирной культуры.

В нашем искусстве, особенно в нашей литературе, появилось значительное число молодых литераторов, они представляют довольно полно все литературные жанры: новеллу, рассказ, прозу, поэзию, искусствоведение, литературоведение.

Мы с удовлетворением отмечаем несколько наметившихся тенденций в литературе,

имеющих неоспоримую ценность; смелое и страстное проявление этих тенденций в творчестве мыслящих, талантливых молодых литераторов свидетельствует об их неразрывной связи со своими старшими собратьями.

Современный малийский писатель, получивший наконец свободу, сталкивается с тремя проблемами: как избавиться от влияния колониального прошлого, каким образом совместить традиции и новые веяния, как добиться того, чтобы литература отображала жизнь народа.

Чтобы ответить на эти вопросы, следует проанализировать произведения малийских авторов и посмотреть, какое решение их они нашли в своих произведениях.

Прежде всего, рассмотрим эволюцию малийского романа, появившегося накануне войны. Процент детей, охваченных в тот период школьным образованием, был крайне низок, французский язык прививался с трудом, и тем не менее нельзя не отметить появления на литературной арене одного человека — Фили Сиссоко, произведение которого «Карандаши и портреты» (1935) было отмечено огромной внутренней силой.

В качестве формы автор избрал этнографическую новеллу. Маленькие рассказы, безукоризненно отработанные, служили и документом, и средством информации.

Такими подзаголовками, как «Белые», «Метисы», «Черные» и т. д., автор раскрывает тематическое содержание своего произведения, делая его похожим на социологическое и психоаналитическое исследование. Свое вдохновение он черпает в романтических тенденциях Запада XIX века, подвергая пристальному анализу своих персонажей, начиная с собственной персоны и кончая прочими героями, фигурирующими в его произведениях.

Так перед нами возникает достоверная и подробная панорама местных обычаев и жанров.

К концу второй мировой войны благодаря широкому внедрению образования литературная продукция значительно увеличилась. Во французской Африке появляется целая плеяда романистов со своеобразным почерком.

В Мали возникает литературное течение, ставившее своей целью отобразить социальную жизнь во всей ее повседневности. Такое понимание роли литературы повлекло за собой появление героев, принимающих непосредственное участие в борьбе.

Доктор Сейду Бадьян Куйяте публикует книгу «В бурю», героиня которой Кани вступает в конфликт со своим отцом,— так находят свое отражение взаимоотношения отцов и детей. Но автор выступает здесь скорее с проповедью синтеза, отнюдь не требуя непременного выбора: традиция или современность, это могло бы привести к обеднению африканской души, лишило бы ее жизненно необходимых условий.

Как подчеркивает журнал «Эроп», в этом произведении проявилась не только поэтизация вещей, места действия и чувств; главное, к чему стремится автор,— это сохранить во что бы то ни стало африканскую цивилизацию, нисколько не отрицая необходимости технического прогресса и социальных преобразований, в первую очередь эмансипации женщин.

Опираясь на эту драматичную и весьма типичную историю, журнал прямо говорит о главной проблеме, которая стоит перед новыми африканскими государствами.

Традиционный консерватизм, равно как и радикальные перемены, являющие собой слепое подражание Европе, лишены жизненной силы. Истина заключается в синтезе, который воплотится в новых формах, это и составляет подлинную суть Африки.

После завоевания независимости в большинстве африканских государств началась эра подъема национальных литератур.

Прежде всего, большим разнообразием стал отличаться роман как жанр: появились романы автобиографические, философские, психологические, социальные, реформаторские, исторические и т. д.

Мамаду Голого, затрагивая в романе «Спасенный из лап алкоголизма», обогатившем панораму малийского романа, новую для африканской прозы тему (борьба с алкоголизмом), вводит в литературу народный разговорный язык с его крепкими словечками и своеобразными оборотами, подчеркивая тем самым жизненность своих персонажей и правдоподобие ситуаций. «Остается победить колониализм в его хитроумнейшем проявлении,— говорит он,— алкоголизме».

Герой этого произведения, кончивший медицинский факультет, начинает пить и, постепенно скатываясь все ниже и ниже, становится парией. Все-таки он находит в себе силы обратиться к богатейшему наследию старой Африки, которое побудило его преодолеть свою слабость, вылечиться и отдать свои знания служению родной стране, завоевавшей независимость. Некоторые стилистические изъяны этого произведения компенсируются искренностью и объективностью повествования.

Тем не менее нельзя не отметить того факта, что писатели наши, столь рьяно разоблачавшие колониализм и старинный уклад общества, перед новыми проблемами оказались в тупике.

Молчание это было нарушено в Мали, когда появился «Долг насилия» Ямбо Уологема, весьма заметное явление в нашей развивающейся литературе.

Это эпопея о многовековой истории Африки; рассказ о том, как феодальное насилие старой империи Накем вступает в противоречие с насилием колонизаторов. Несомненно, Уологем — писатель очень значительный, художник со своей собственной исторической концепцией.

Вокруг премии Ренодо, присужденной этому малийскому писателю, ведутся ожесточенные споры. Ибо для того, чтобы роман, написанный в Гане уроженцем Верхней Вольты, был с одинаковым энтузиазмом встречен как в Сенегале, так и в Ли-

---

НАВСТРЕЧУ
АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

берии, недостаточно, чтобы автор обращался к истории ради утверждения своих антропологических взглядов. Хотя мне кажется, что Уологем не до конца выразил себя в своем произведении. Он зло подшутил над теми, к кому обращен в его романе вопрос: «Вот такой вы хотите видеть Африку?» И хотя они не вняли его сетованиям, в лице Уологема мы приобрели большого писателя.

Итак, африканская литература собралась в дорогу. Она — на перепутье и пока еще подвластна многим веяниям. Но она продолжает набирать силу, порождая новые, исполненные гуманизма течения.

Отныне роман, по происхождению своему являющийся литературным жанром западного толка, и в Африке чувствует себя как дома, несмотря на некоторую неприспособленность негритянского писателя к его лингвистическому инструменту — французскому или английскому языку.

После появления «Долга насилия» в Мали произошло еще одно радостное событие: был опубликован роман Йоро Дьяките «Дружеская рука».

Это произведение свидетельствует о последовательном и неуклонном развитии нашего национального романа и производит сильное впечатление. В нем нашел свое выражение мир в состоянии кризиса, когда люди пытаются преодолеть разобщенность. Некоторые стороны этого произведения напоминают мне высказывания Алена Роб-Грийе об описательном романе.

Когда люди видят декорацию, на фоне которой собираются строить их счастье, они угадывают там кое-что из прошлого, кое-что из будущего и неизменно задаются вопросом, каким образом добиться этого счастья, такого простого и понятного. И нет ничего удивительного в том, что человек от своего личного идет к общечеловеческому. Вот краеугольный камень, камень, на котором зиждется дружба народов.

А чтобы избежать опасности национализма, негритянский писатель должен выйти за пределы драмы человека, противостоящего чужой культуре, и постараться дать в своих произведениях наиболее полную картину социальной действительности в ее развитии. «Дружеская рука» — пример подлинно африканского психологического романа.

А пока, в ожидании появления нового романиста, малийская критика выражает надежду на верное отражение нашей национальной действительности в самых разнообразных жанрах литературы. Ибо в настоящее время требуется такая форма выражения, которая могла бы затронуть и нового читателя, а не только традиционных слушателей поэм, сказок и легенд устного народного творчества. Для достижения такой цели нужен роман или новелла. Однако необходимо помнить, что можно находить удовольствие в игре словами, но никто не имеет права фальсифицировать историю своего народа. Можно критиковать ту часть негритянской интеллигенции, которая не желает мириться с жертвами, неизбежно сопутствующими приспосабливанию к новым условиям африканской действительности, интеллигенции ассимилированной, которая может жить теперь не иначе, как в европейских столицах (вспомним «Лишних» Сидики Дамбаля, роман, нашедший широкий отклик среди малийских читателей), но не следует вступать в сделку с литературой.

Прежде чем перейти к разговору о поэзии, следует уточнить следующее. В Мали истинными поэтами, слова которых находят прямой путь к сердцам народных масс, в чьих творениях великолепно сочетается возвышенное и конкретное, являются, как мы уже говорили, гриоты, они глубоко связаны с традициями устного народного творчества, и произведения их — самая всеобъемлющая форма нашей литературы.

Это народные певцы, создавшие знаменитые циклы о Сундиате, Самори, Джанджо, Канджоне. Назову имена лишь некоторых из них: Дьели Баба, Фанта Демба, Пинда Данте и другие.

Один из самых прославленных певцов — Базумана Сиссоко. Малийцы называют его «великим отцом», «старейшиной». Силой своего искусства народный поэт способствовал преобразованию малийского государства в нацию. Имя его окружено легендами. Бог будто бы подсказывает ему первую строку, а остальное он слагает сам.

Поэзию Базуманы нельзя ни записать, ни прочитать. Ее надо петь. И слушать. Песни его — это зов. Порой в них оживает древняя история Мали. А порой звучат простые и волнующие рассказы о долге, мужестве, верности, о любви и ненависти, о жизни и смерти. Он то философствует в своих песнях, то шутит. Литературный бамбара с его метафорами, иносказаниями — основной язык Базуманы. Иногда он создает новые слова в малийском языке.

Говоря об устном народном творчестве, нельзя не упомянуть о наших бардах.

Амаду Хампат Ба в виде легенды преподносит нам историю этого искусства, передававшегося от отца к сыну.

«Когда камни еще не окрепли и не затвердели; когда огромные озера по всей Африке, те, что лежали на западе, и те, что раскинулись на востоке, еще сообщались друг с другом; когда вволю хватало травы всем травоядным животным и они паслись на равнинах, простиравшихся от Хулы до Хелы; когда Сахара еще не была Сахарой...» — поэтическое слово уже находило путь от отца к сыну, от учителя к ученику, так было с незапамятных времен и до наших дней.

На рынках в наших саваннах нередко можно повстречаться с группами певцов, оркестровый подбор инструментов которых отвечает скорее ритуальным обрядам, чем музыкальным канонам. Это малийские аэды — чернокожие трубадуры, чьи импровизации заставляют нас вновь и вновь обращаться к мысли, высказанной шейхом Анта Диопом: Африка — это земля ритмов.

Они не цыгане и отнюдь не сказители, повествующие о забавных приключениях. Их целые семьи, они бродят без устали,

словно снедаемые пламенем слова, дошедшего до них из глубины веков, от отцов и дедов.

Сколько раз доводилось мне слушать их истории. Богатство языка, красок, выразительность слова — все это придавало силу и блеск повествованию. В смысле техники для эпических поэм такого рода характерны сопоставления с их повторами, параллелизмами, соотнесенность концов и начал строф. Слова необычайной эмоциональной насыщенности исполнены совсем иного смысла, чем в обыденной жизни. Подобные поэмы исполнялись в сопровождении различных музыкальных инструментов.

О, счастливцы аэды! Они общались самым непосредственным образом с окружавшими их зрителями. Они не были существами иной породы, чем-то из ряда вон выходящим, напротив, они ничем не отличались от тех людей, чью жизнь пересказывали в своих стихах.

Корифей их был высоким и стройным, лицо его скрывала маска. Она-то и делала его могущественнее всех остальных, выступавших с открытыми лицами, ибо несла на себе печать возвышенного, чего-то такого, что самым непосредственным образом связано с загадочным миром саванн.

Начало поэзии письменной положил Фили Дабо Сиссоко, писавший романы еще до войны. Его сборнику «Красная саванна» была присуждена премия на фестивале негритянского искусства в Дакаре за философскую глубину, художественные достоинства и гуманизм.

«Красная саванна» рассказывает о проникновении колонизаторов в районы, расположенные южнее Сахары. Сборник этот, подобно поэмам Караманджи, является примером высокого искусства. Фили давно стал классиком нашей литературы. И вот почему, говоря о новой молодой поэзии, можно смело утверждать, что Мали в этом жанре встречает свою весну.

Если проза вновь обрела яркость и содержательность, олицетворяя собой подлинно национальный дух, то поэзия выражает верность этическим нормам жизни малийского народа.

Для малийского поэта язык — это отражение структуры внешнего мира. Ибо слово, которое прозаик отрывает от себя самого и кидает в гущу мира, посылает поэту, словно зеркало, его собственный образ.

Издательство «Презанс африкэн» выпустило в 1968 году сборник поэм Сиримана Сиссоко. В этом сборнике, который он назвал «Наш собственный прибой», Сириман, как подчеркивает Андре Террис, проявляется в качестве малийского поэта, с поразительной легкостью освоившего французский язык и западную культуру.

Я отрекаюсь от своих криков на
островах блюзов, свингов, джаза.
Я отрекаюсь от рабства, которому служил,—

говорит поэт. Верный тому началу начал, тем исконным истокам, что породили его, Сириман считает, что африканская цивилизация вовсе не там, где раскинулись все подчиняющие себе столицы, безжалостные города, что истинная жизнь — в саваннах, там, где:

Тамтамы гремят,
точно огненный дождь барабанящий по
раскаленным углям.

«Наш собственный прибой» — послание вселенной и времени. Будем надеяться, что люди услышат его, потому что с давних пор Сириман стал поэтом борьбы и мира.

Наша молодая поэзия — явление необычайное. Она испытала потрясение, ни с чем не сравнимое, в результате которого в развитии нашей культуры наступил решающий перелом. Разные направления, равные по своему значению, дополняют друг друга.

Заканчивая обзор литературы, я хотел бы остановиться на основной проблеме, волнующей молодых малийских писателей: проблеме языка.

Прочтут ли когда-нибудь малийского писателя на его родном языке? Это зависит от воли каждого писателя. Во всяком случае, алфавит у нас уже есть.

С тех пор как страна наша обрела независимость, две тысячи добровольцев вышли на бой, пытаясь справиться со страшным бедствием — неграмотностью. Если каждый грамотный человек соберется с силами и поможет нашим братьям и сестрам, которым не довелось учиться в школе, если писатели будут пользоваться алфавитом, выработанным правительством, это будет громадным вкладом в культуру.

Что касается театра, то в Мали можно различить два театральных жанра.

Первый пришел к нам из-за границы, в основном из Европы. Его легко распознать по устройству сцены, написанным заранее ролям, четкому разграничению актеров. Это те пьесы, которые обычно показывают в лицеях к концу каждого учебного года. Вспомним среди прочих пьесы «Хозяева росы» Жака Румэна, «Лекарь поневоле» Мольера и др.

Этот театр стал олицетворением синтеза двух цивилизаций — в одном спектакле соседствовали музыка, африканские песни, балет, в основе которого лежали народные танцы.

С тех пор как Мали стало независимым государством, национальные недели молодежи заложили основу нового театра. Каждый из шести экономических районов страны принимает участие в этом настоящем народном фестивале, где показывают театральные представления трех видов: пьесы (исторические или современные); скетчи (в сатирической манере повествующие о человеческих слабостях, характерных для всех времен); балет (перенесение на сцену народных танцев малийской деревни).

В театральной жизни Мали следует отметить одно событие. В 1970 году была создана Малийская национальная театральная труппа. Актерами ее стали выпускники Института искусств.

Какова же роль театра в Мали? Малий-

НАВСТРЕЧУ
АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ский театр является мощным орудием в деле эстетического воспитания трудящихся. Мы считаем, что театр призван способствовать формированию сознания нового гражданина Мали, обогащая его разносторонними и глубокими познаниями; развивать вкусы зрителей, помогая им оценить роль театра как искусства, оставившего глубокий след в истории человечества; содействовать активным поискам путей к межафриканскому сотрудничеству в области культуры и искусства, принимать участие в международных смотрах.

Чтобы добиться этого конечного результата, был создан факультет драматического искусства в Национальном институте искусств, задачей которого является подготовка настоящих профессионалов театрального дела.

После трех лет занятий дикцией, сценическим движением, режиссурой, литературой, как африканской, так и всемирной, общественными науками студенты создают спектакли, предназначенные для публики. Напомню вам «Исключение и правило» Брехта и т. д.

Выпускники театра ставили перед собой задачу показать спектакль для молодежи, и они обратились к произведениям Давида Диопа. Спектакль, в основу которого были положены стихи из «Ударов молота» и песни сенегальского фольклора, достиг своей цели — он захватил молодых зрителей.

Перейдем теперь к другому театральному жанру, известному нашим зрителям. Театр этот местного происхождения, в основе его лежит традиция устного народного творчества, танцы, сопровождающие народные празднества.

Представление происходит обычно под открытым небом. В него включаются наиболее характерные эпизоды героических мифов. Народные певцы — гриоты — выполняют роль чтеца. Тамтамы взывают к духам предков. Начинаются танцы. Причем каждому отведена своя особая роль.

В традиционном малийском театре нет строгого разграничения жанров, комическое соседствует с трагическим, смех — со слезами, как в жизни.

Истоки малийского искусства уходят в седую древность, к тому далекому прошлому, где для нас слились воедино история и миф, легенда и реальная действительность.

«Давным-давно,— рассказывает легенда,— первое живое существо, которое еще не было человеком, вырубило из дерева женщину и положило ее на солнце у входа в пещеру. На другой день она ожила и стала женой этого существа, а потом уже у них родился первый малиец».

Чтобы выжить, малийцу надо было постоянно бороться. Прежде всего с природой, которая часто бывала враждебной. Так как он был земледельцем, ему надо было обрабатывать сухую бесплодную землю или густые джунгли, где гнездились лихорадка и другие болезни. Чтобы обуздать эти враждебные силы, малийский скульптор решил придать им осязаемые формы. Так в нашем искусстве были персонифицированы духи. Духи саванны, враждебные ее расе, завоеватели, явившиеся извне, торговцы рабами.

Колониализм присвоил себе малийское искусство—бамбара, догонов, сенуфо,—превратил его в разменную монету, отлучив тем самым от выполнения социальных и культурных задач, разрушив таким образом источник его вдохновения, уничтожив самый смысл его существования, обезличив его.

Но несмотря на это тяжкое прошлое, малийское искусство набирает новые силы.

Для малийского скульптора творения его — это не только некие формы, собранные в определенном порядке. Искусство для него — способ выражения своих чувств, взглядов.

И в соответствии с этой художественной истиной малиец стремится упрочить и продолжить традиции искусства своего народа. В Мали искусство догонов, бамбара, сенуфо бесспорно имеет общие корни, выражает общность устремлений этих разнообразных этнических групп. Повсюду в Мали встречаются аналогичные социальные организмы, схожие верования, почти идентичная архитектура. Повсюду тирания внушала слепое поклонение священным силам. У всех малийских фигурок, будь они из дерева или из камня, взгляд пылает, точно негасимый огонь у врат ночи, они — отражение непреходящего, вечного. Жизнь — это воплощение священных сил, утверждение извечности человеческих деяний. А деяния эти направлены на благо общества. Таков смысл африканского искусства, в которое Мали внесло немалый вклад. На земле его от самого Томбукту до озера Чад воздвигнуты дворцы, города, селения, и всюду эта земля одухотворена руками человека, его гением.

Критика

Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

О китайской литературе 20—30-х годов

Литературное творчество каждого народа развивается в своих национальных формах, вызываемых к жизни своеобразием исторического движения данного народа. И потому, говоря словами В. Г. Белинского, истинный художник народен и национален без усилия.

Общеизвестно, что каждый народ, каждая нация в той или иной степени привносит свой вклад в сокровищницу художественных ценностей общечеловеческого значения. По мысли Маркса, только человечество в целом является человеком во всей его полноте.

Живой интерес к литературе и искусству любого народа — это всегда интерес и к самому творцу, к народу, его стремлениям и идеалам, к его неповторимой национальной самобытности. В произведениях художественного творчества словно заключен анализ и синтез, нечто общезначимое, современной им эпохе свойственное, нечто целостное, единое с историческими судьбами народа. И в известной мере в речевых творениях этих содержится нечто своеобразное, типичное, имеющее для нас этическую и эстетическую ценность.

Художественное творчество расцветает более бурно на переломе эпох, в ходе сдвигов истории и общественных потрясений. Двадцатые и тридцатые годы ознаменовались в литературном процессе Китая рождением плеяды одаренных прозаиков и поэтов, творчество которых получило свое развитие на гребне революционного подъема в стране.

Это было время антиимпериалистического и антифеодального движения «4 мая» 1919 года, время литературной революции, в ходе которой возникло и получило необыкновенный размах китайское словесное искусство. В наиболее ярких своих образцах новая литература, обращенная против отечественного феодализма и иноземного империалистического закабаления, была проникнута идеями демократии и гуманизма, социального и национального раскрепощения. Реализм художественного творчества этого времени отобразил типические черты жизни китайского народа в переломный период, в эпоху революционных исканий.

Движение «4 мая» представляло собой не изолированное, замкнутое в национальных границах явление, а неотъемлемую часть общего международного процесса, сердцевиной которого была Октябрьская революция в России.

Великая Октябрьская социалистическая революция, принесшая грандиозные перемены в истории человечества, оказала глубокое воздействие на демократическое движение китайского народа. Великую революцию в России приветствовал на страницах журнала «Синь циннянь» в 1918 году выдающийся коммунистический деятель Ли Да-чжао. «Русская революция 1917 года,— отмечал он,— знаменует собой не только изменения в сознании русского народа, но и изменения в сознании всего человечества XX века. Русская революция — это только начало. Хотя термин «большевик» русского происхождения, его идеи восприняты человечеством XX века, поэтому победа большевизма является победой новых идей, овладевших сердцами человечества XX века».

С движением «4 мая» связан и выход на историческую арену в Китае рабочего класса. В июне 1919 года в стране вспыхнули первые в истории Китая политические забастовки, началось брожение в армии. Рабочий класс сыграл решающую роль в дальнейшей борьбе китайского народа против империализма и феодализма.

Литературная революция, проводившаяся единым фронтом при определенном влиянии коммунистических идей, имела антиимпериалистическое и антифеодальное содержание. Пропаганда антиимпериалистических и антифеодальных идей требовала и новой формы. Именно поэтому литературная революция прежде всего выразилась в стремлении использовать байхуа — живой разговорный язык — в отличие от письменного вэньянь, понятного лишь для глаза.

По слову Гюго, всякая хорошая мысль приобретает форму совершенной выразительности, стиха. Форма приходит. Она как бы служит границей содержания, которое сохраняет значение главного. В 1920 году Ли Да-чжао в статье «Что такое новая литература?» отмечал, в частности, что нельзя отнести то или иное произведение к новой литературе лишь на том основании, что оно написано на байхуа. Автор при этом указывал, что в истинно художественном произведении определяющим является содержание, обращенное на преобразование общества и человека. «Новая литература,— писал Ли Да-чжао еще в 1919 году,— должна иметь общественное значение, а не только служить прославлению автора. Она должна быть гуманистической, а не индивидуалистической». И наконец: «Величественные идеи и учения, твердые принципы, блестящая культура, дух гуманизма — вот почва, вот корни движения за новую литературу».

Начало литературной революции было ознаменовано выступлением группы прогрессивных деятелей на страницах журнала «Синь циннянь». Они восстали против господства литературы на вэньянь — архаическом книжном языке, языке древних канонов, оторванном от народа и чуждом ему, резко отличавшемся от общенародного языка.

Все же широкое внедрение байхуа в литературу оказалось возможным только после движения «4 мая». Постепенно большинство прогрессивных китайских литераторов перешло на байхуа, причем первым в стране этот переход осуществил журнал «Синь циннянь». Через год после начала движения «4 мая» в Китае насчитывалось около четырехсот различных газет, печатавшихся на байхуа, а также немало журналов и приложений к ним.

Литературная революция явилась поворотным пунктом в истории создания новой китайской национальной культуры, источником новых традиций в области литературного языка. В своем замечательном выступлении «Безмолвный Китай» в Гонконге 16 февраля 1927 года Лу Синь, говоря о литературной революции, отмечал: «Она означает, что нам не следует тратить так много сил и энергии на изучение древнего, мертвого языка, вместо этого нужно пользоваться современным, живым языком... Мы хотим говорить современными словами и откровенно выражать свои мысли и чувства современным языком байхуа...»

Общим лозунгом писателей — творцов произведений, ознаменовавших литературную революцию, был лозунг «искусство для жизни». В 1921 году Мао Дунь на страницах журнала «Сяошоюэбао» писал: «Цель литературы заключается в концентрированном выражении человеческой жизни... Литература теперь также стала своего рода наукой, имеющей свой объект изучения, а именно — человеческую жизнь, современную человеческую жизнь: она имеет свои орудия исследования — это стихи, пьесы, рассказы и романы...» Эти слова, с точки зрения китайского литературоведа Чжан Би-лая, представляли распространенные взгляды на творчество писателей того периода.

Все же такая творческая установка, по замечанию Чжан Би-лая, при всей прогрессивности для своего времени имела и ряд серьезных недостатков, оказавших отрицательное влияние на деятельность китайских писателей тех лет. Она уже не отражала в полной мере творческой практики, отставала от стремительно менявшейся революционной действительности в стране и поэтому «не имела сил поднять творчество на более высокий уровень, чтобы оно могло удовлетворять требованиям революционной действительности к литературе». Внимания в этой связи заслуживает высказывание Ли Дачжао о творческом процессе спустя три года после начала литературной революции: «В большинстве произведений новой литературы между строк проступает старая грязная мораль, пропитывающая новые идеи и новую культуру. Жестокость, деспотизм, ограниченность, бахвальство переполняют эти писания». Произведений же подлинного гуманистического значения, к созданию которых постоянно призывал Ли Да-чжао, было совсем немного.

Отставание теории литературы от требований революционной реальности диктовало необходимость появления новой, более высокой по уровню, ведущей теоретической мысли в области литературы.

В высшей степени знаменательно, что развитию рабочего движения в Китае, распространению идей социальной революции способствовал перевод на китайский язык классиков марксизма-ленинизма.

Ряд видных деятелей коммунистической партии Китая — Дэн Чжун-ся, Юнь Дайинь, Сяо Чу-нюй, Цюй Цю-бо и другие — выступили со статьями, освещающими вопросы революционной литературы с позиций марксизма-ленинизма. Появление этих работ было закономерным. Представители буржуазной литературы наиболее активно выступали в эти годы с идеями чистого искусства, призывая молодых писателей создавать произведения, которые «не имели бы цели», были бы лишены общественного значения.

Особое место принадлежит в эти годы

ленинской теме: бессмертные идеи В. И. Ленина, ставшие актом реальной жизни в России, являлись для китайских революционеров источником огромного социального оптимизма. Велика в этом отношении заслуга выдающегося партийного деятеля и одаренного литератора Цюй Цю-бо, всю свою яркую жизнь коммуниста посвятившего пропаганде ленинизма и бесстрашной борьбе за претворение ленинских принципов в Китае.

Под редакцией Цюй Цю-бо на китайском языке вышли многие произведения В. И. Ленина: «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Государство и революция», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» и др. Ему принадлежат многочисленные переводы трудов Маркса, Энгельса, Плеханова о культуре и реализме, переводы статей В. И. Ленина о Л. Н. Толстом: «Лев Толстой, как зеркало русской революции» и «Л. Н. Толстой и его эпоха».

В стихотворении Цюй Цю-бо «Красный прибой» нашли свое выражение сокровенные мысли поэта, идеи революции, идеи коммунизма.

Землю, томящуюся в ночи,
Коммунизм переделает заново.
Смотрите!
Хлынули лучи
В десять тысяч чжанов.

(Перевод Л. Черкасского)

Пропагандируя ленинизм, Цюй Цю-бо не уставал призывать учиться великой ленинской простоте. «У Ленина,— писал он в статье «Ленин»,— нет ничего общего с теми, способными вызвать лишь усмешку, великими людьми, которые считают себя пророками, стоящими над массами, или непогрешимыми мудрецами — единственными хранителями высшей истины».

Нередко, отмечал Цюй Цю-бо в другой статье, «Ленин — орудие истории», выдающиеся исторические личности окружают «всеобщим безудержным поклонением. Им приписываются необыкновенные таланты, сверхъестественная мудрость, титанические способности управлять природой и изменять ход исторического развития». Статья Цюй Цю-бо была написана в 1924 году, но разве содержащиеся в ней мысли и наблюдения не сохраняют актуальности и в наши дни?

Пророческим провидением звучат и заключительные слова статьи: «Китайский народ всегда обращался к Ленину как к испытанному орудию революционной борьбы. И китайский народ будет вечно преклоняться перед Лениным, так как Ленин — это символ революции».

Опубликованные в китайских периодических изданиях двадцатых — тридцатых годов статьи Цюй Цю-бо о В. И. Ленине давно стали библиографической редкостью. Симптоматично, однако, что в Китайской Народной Республике все политические работы Цюй Цю-бо находились под строгим запретом, а в последние годы оказались мишенью неприкрытых нападок пекинской ортодоксальной пропаганды.

Литература двадцатых годов явилась важным этапом в утверждении нового видения, новых мировоззренческих принципов в творчестве китайских писателей. «Русский эксперимент», оказывая могучее воздействие на искусство других стран мира, привлекал все большее внимание литературной общественности в Китае.

Известный поэт Чжу Цзы-цин в стихотворении «Провожаю Хань Бо-хуа в Россию» писал в 1923 году:

Красное облако,
Дивное облако!
Облако нечеловеческой силы!
Новую жизнь несешь ты,
Мы грудью ее вдохнем!

(Перевод Л. Черкасского)

В другом своем стихотворении, «В дар другу», Чжу Цзы-цин славит коммуниста, жаждущего «учредить на земле красное небесное государство».

Именно под влиянием идей Октябрьской революции такие художники слова, как Лю Бань-нун, Сюй Юн-но, Лю Да-бай, Шэнь Инь-мо, Чжу Цзы-цин и многие другие, создавали свои произведения, в которых мы видим новые образы — героев труда, провозглашенного священным, образы рабочих, немыслимые для художественного творчества прошлого. Впервые в китайской поэзии появились образы молота и заступа, образ кузнеца, бьющего по наковальне с такой силой, что искры разносятся «над черной землей».

С огромной обличительной выразительностью прозвучали поэтические строки Лю Да-бая в стихотворении «Деньги», обращенном против ненавистного мира угнетателей:

Копоть им не марала щек,
Заступ с молотом не для них.
Не для пальцев таких игла.

. . . . . .

О, позор, о, великий стыд:
Не трудясь, и одет и сыт!

(Перевод Л. Черкасского)

Движение «4 мая» привело к расслоению единого фронта борьбы за новую культуру: напуганные ростом революционных настроений в стране и все более возраставшей популярностью социалистических идей, представители буржуазной интеллигенции, входившие в этот единый фронт (например, лидер правой группы в журнале «Синь цинянь» Ху Ши и его сподвижники), вышли из революционного лагеря и открыто стали на сторону реакции. Еще в 1919 году Ху Ши опубликовал на страницах журнала «Мэйчжоу пинлунь» статью «Больше исследовать вопросов и меньше говорить о принципах», в которой стремился принизить значение политической теории, отвлечь внимание китайской интеллигенции от идей марксизма-ленинизма. Ху Ши выдвинул лозунг: «Поменьше идей, побольше вопросов». Это был прагматизм по образу и подобию американского мещанского прагматизма. Вся даль-

---

нейшая деятельность Ху Ши была связана с его борьбой против коммунистических идей, против идей социализма, народной революции в Китае. Не случайно издававшийся до «культурной революции» в Пекине журнал «Лиши яньцзю» охарактеризовал Ху Ши как «компрадора в области культуры, вскормленного американским империализмом».

Цюй Цю-бо в предисловии к «Сборнику избранных публицистических произведений Лу Синя» (1933) проанализировал причины двух «великих расколов» среди китайской интеллигенции. По его периодизации, первый раскол возник после Синьхайской революции 1911 года, завершившейся свержением господства Цинской династии, то есть незадолго до движения «4 мая», во время выступлений за новую культуру. Проходившая под влиянием русской революции 1905 года и положившая конец феодально-монархическому строю в Китае, Синьхайская революция, однако, ввиду слабости и немногочисленности рабочего класса в Китае, носила буржуазно-демократический характер и не могла привести страну и народ к победе над империализмом и феодальными силами в стране. Революция 1911 года закончилась поражением, власть перешла в руки реакционной клики во главе с Юань Ши-каем. Именно к этому времени в среде китайской чиновной интеллигенции обозначился распад на два направления: поборников китайской старины с ее традициями конфуцианства и приверженцев европейских веяний.

Время второго раскола, отмечал далее Цюй Цю-бо, совпадает с периодом между движением «4 мая» 1919 года и событиями «30 мая» 1925 года. «Теперь,— писал он,— речь шла уже не о различиях между китайской стариной и новой культурой, а о расколе внутри самой живой культуры: с одной стороны оказался лагерь рабочих и крестьян — лагерь народных масс, а с другой — буржуазия, опирающаяся на феодальные пережитки».

Характерно также наблюдение относительно второго «великого раскола» известного историка Хоу Вай-лу, отмечавшего: «Борьба двух линий на фронте культуры выражалась прежде всего в столкновении двух точек зрения по вопросам о западной культуре... Произойдет ли соединение революционной социалистической культуры с практикой китайской революции или же победит союз империалистической и феодальной китайской культуры».

В эти годы знамя литературной революции, брошенное буржуазной интеллигенцией, продолжал высоко держать великий китайский писатель Лу Синь и группировавшаяся вокруг него революционно настроенная молодежь. Они рассматривали литературу и искусство как орудие борьбы со старым миром феодалов, компрадоров и чиновничьей бюрократией. Непреклонная их борьба на литературном фронте снискала им уважение и любовь китайской молодежи, воодушевила и сплотила все лучшее, что было в новой китайской литературе.

Двадцатый век воспринимался в Китае как век протеста, революционной борьбы, ставшей отличительной чертой эпохи. Раскаты общественных потрясений, расшатывание основ одряхлевшего мира с его обреченностью идеалов и конфуцианских догм, глубокое изменение отношений, укоренившихся веками взаимосвязей, неутихающие трагические конфликты, от которых невозможно ни уклониться, ни отмахнуться.

Я проклинаю тебя, вселенная:
Ты эшафот, забрызганный кровью,
Темница, полная горя и скорби,
Могила, где медленно гниют трупы,
Ад, где вопят и пляшут черти.

(Го Мо-жо, «Нирвана фениксов». Перевод А. Гитовича)

Так гневно восставал Го Мо-жо против старого мира в поэме «Богини», когда он был еще далек от идей «великой культурной революции» шестидесятых годов. Известный литератор Вэнь И-до в статье «Дух эпохи в сборнике «Богини», назвав сборник «детищем эпохи», отражающим «дух двадцатого века», писал: «Двадцатый век — век скорби и душевного подъема. Двадцатый век — век темноты, но темноты предрассветной. Двадцатый век — мир смерти, но смерти, обещающей вознаграждение. Таков двадцатый век, в особенности Китай двадцатого века... «Богини» — поэзия слез и крови, разочарования и воодушевления».

Перед китайской литературой с особенной остротой возникали проблемы и поиски новых путей художественного развития. Проблема «человек и революция» приобретала все большую актуальность. Процесс этот был характерным не только для Китая. Осознание социальной и моральной несостоятельности старого буржуазного миропорядка обнаруживалось в двадцатые и тридцатые годы и в творчестве крупнейших представителей критического реализма Европы и Америки: Г. Уэллса, Б. Шоу, Дж. Голсуорси, Т. Манна, С. Льюиса, К. Чапека и многих других. В их творчество властно вторгались многочисленные проблемы, выдвинутые революцией и продиктованные самыми насущными потребностями общественной жизни человека. «Мы хотим,— писал Чэн Фан-у в статье «Оборонительная война в поэзии» в 1923 году,— сообразуясь с собственной природой, писать свободно и раскованно, создавать новые формы и вкладывать в них новое содержание. Мы не можем связывать себя какими бы то ни было застывшими формами». Иными словами, китайские классические уставные стихи и четверостишия стали в двадцатом веке анахронизмом и не отвечали требованиям нового поэтического творчества. Из этого вытекали и практические шаги прогрессивных писателей, которые отвергали старую литературу и ратовали за новые изобразительные средства и формы, за живой разговорный язык байхуа. Но их декларации отнюдь не всегда сообразовывались с реальным положением вещей, с творческим опытом. «Новые поэты начального периода,— признавал Чжу Цзы-цин в книге «Избранные стихи и проза»,— в большинстве своем знали о

действительной жизни трудящихся крайне мало... Поэтому они, не избежав общих представлений и поверхностных суждений, создавали произведения, лишенные силы».

Исследуя художественное творчество периода движения «4 мая», Чжан Би-лай в своей книге «История новой литературы» указывает на то, что прогрессивные писатели из среды мелкобуржуазной интеллигенции при всей их симпатии к жизни трудового народа имели весьма поверхностное представление о действительном положении трудящихся. Они хотели стать реалистами, но не могли освободиться от объективизма или же оказывались во власти своей субъективной фантазии. Поэтому идейное содержание их творчества часто носило сумбурный и хаотичный характер.

Именно в связи с этим справедливым представляется наблюдение Цюй Цю-бо, писавшего в уже цитировавшемся предисловии к публицистике Лу Синя: «Взгляды поднимающегося класса на литературу и искусство, как правило, начинают формироваться, преломляясь в творчестве мелкобуржуазных революционных писателей, и лишь впоследствии постепенно происходит мобилизация новых сил из среды трудящихся масс и рабочих». И Го Мо-жо утверждал в 1926 г.: «Каждый класс имеет своего певца. Наша литература должна быть проникнута пролетарским духом». Обращаясь к молодым писателям, он призывал: «Вы должны идти в массы, в армию, на заводы, в гущу революционных низов. Вы должны добиваться создания такой литературы, которая отражала бы чаяния пролетариата, была бы реалистической литературой пролетариата».

Позиции прогрессивных писателей, однако, упорно противостояли приверженцы консервативных взглядов, которые доказывали, что китайская классическая литература достигла вершин художественного творчества, поэтому необходимо следовать традициям, существующим издревле. Это относилось и к выразительным средствам, и к языку, прежде всего языку поэтических произведений, который должен быть все тем же изысканным литературным вэньянь. Живой разговорный байхуа они считали слишком вульгарным и недостойным быть языком подлинной поэзии. Новая поэзия, утверждали они, явилась не чем иным, как изменой лучшим принципам и нормам классического искусства. Все это, безусловно, усложняло и обостряло противоборство сторонников литературной революции, с одной стороны, и защитников консервативных воззрений — с другой.

Все нараставший и ширившийся подъем национально-освободительного движения китайского народа приводит к революции 1925—1927 годов, в процессе которой борьба против чужеземного империализма и пережитков средневековья в Китае охватывает широкие народные массы. Одна из особенностей революции состояла в том, что, будучи буржуазно-демократической, она явилась вместе с тем национально-освободительной революцией, направленной своим острием против господства чужеземного империализма в Китае. Другая ее особенность заключалась в том, что крупная национальная буржуазия была слабой и отсталой, вследствие чего роль инициатора и руководителя китайской революции, роль вождя китайского крестьянства должна была неизбежно перейти в руки китайского пролетариата и его партии. Кроме того, рядом с Китаем уже существовал и развивался могущественный Советский Союз, революционный опыт которого, а также его моральная и материальная помощь не могли не облегчить борьбы китайского пролетариата против империализма и феодально-средневековых пережитков.

Рост политической активности рабочего класса, его выход на арену открытой революционной борьбы, организованные силы его авангарда — Коммунистической партии Китая — коренным образом изменили соотношение классовых сил. Коммунистическая партия, опираясь на революционный опыт СССР и руководствуясь передовой марксистско-ленинской теорией, с каждым днем расширяла свое влияние, множила силы рабочего движения, закалялась в борьбе с империализмом и внутренней реакцией в Китае. Китайская национальная буржуазия в страхе перед революционным рабочим движением пошла на измену революции, на сделку с империализмом, предавая тем самым собственную родину.

Революция 1925—1927 годов нанесла серьезный удар по господству империализма в Китае, подорвала систему феодальной эксплуатации в деревне, способствовала пробуждению сознания китайского крестьянства. Она ознаменовалась значительным ростом влияния пролетарского мировоззрения.

Однако в связи с поражением китайской революции в 1927 году и разгулом белого гоминьдановского террора в стране среди творческой интеллигенции возникли колебания, неустойчивая ее часть отошла от наиболее убежденных и последовательных сторонников продолжения борьбы. Сложившаяся обстановка требовала принятия активных мер, способных сплотить художественную интеллигенцию. И вот в 1928 году была развернута «литературная дискуссия», начавшаяся опубликованием статей писателей Чэн Фан-у «От литературной революции к революционной литературе», Го Мо-жо «Революция и литература» и др. Продолжавшаяся два года, эта дискуссия в известной степени способствовала укреплению прогрессивных позиций в литературном процессе, хотя и не смогла решить многих проблем творчества, в том числе важнейшей проблемы содержания литературы, взаимосвязи политики и художественного творчества. «Литературная дискуссия» обнаружила недостаточную идейную зрелость ее участников, отсутствие у них единого политического мировоззрения. Все это объективно вело прогрессивных писателей

Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

к необходимости обстоятельного изучения революционной теории и художественного опыта советской литературы. И мы видим, что последующие годы ознаменовались дальнейшей популяризацией в Китае трудов по марксистско-ленинской эстетике. К этому времени, в частности, относится выход в свет на китайском языке под редакцией Лу Синя двух сборников работ А. В. Луначарского: «Об искусстве» и «Литература и критика», а также сборника статей «Политика в области литературы», в который вошли материалы по теоретическим основам советской литературы.

Рекомендуя китайскому читателю Резолюцию ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г., в основу которой легли ленинские идеи о партийности литературы, Лу Синь выражал уверенность, что она может «послужить определенным стимулом для решения наших споров в лагере движения за пролетарскую литературу, узлом которых является вопрос о соотношении политики и литературы».

Помимо того Лу Синь издал также сборник статей Г. В. Плеханова под названием «Об искусстве», сопроводив его своей вступительной статьей о жизненном и литературном пути видного русского марксиста.

Широкое распространение приобрело в эти годы творчество А. М. Горького, которое наиболее активно пропагандировали Лу Синь и Цюй Цю-бо. Цюй Цю-бо во вступительной статье к сборнику публицистических работ А. М. Горького подчеркивает, что великий писатель своим художественным опытом утверждал принципы реалистического искусства, народности, высокой партийности и гуманизма.

Примечательно, что уже в 1933 году на страницах шанхайского журнала «Сяндай» была опубликована статья Чжоу Яна «Социалистический реализм и революционный романтизм», в которой освещены главные особенности метода социалистического реализма и эстетический опыт советской литературы. Вскоре в Китае был издан также сборник «Советская литература и драматургия», в который были включены выступления советских литераторов на Первом всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году. Все это, несомненно, помогло китайской литературно-художественной общественности глубже понять, что революционная окрыленность советского искусства, его обращенность к широким народным массам, его гуманистическое содержание органически взаимосвязаны с эстетическим обновлением реализма как художественного метода.

В 1930 году крупным событием в литературной жизни Китая явилось создание секции Международного объединения революционных писателей — Лиги левых писателей Китая, возглавлявшейся Лу Синем и Цюй Цю-бо. В принятой Лигой «Теоретической программе Лиги левых писателей Китая» говорилось: «Искусство в обществе в период коренной ломки либо является крайне концентрированным фактом, помогающим сохранять старое, и превращается в орудие господства твердолобых, либо же оно смело и неустрашимо движется к прогрессу и становится оружием освободительной борьбы». В программе подчеркивалось также, что «искусство способно возжечь свой светоч и озарить им освободительную борьбу пролетариата лишь тогда, когда оно идет в ногу с историей», «когда оно стоит на позициях пролетариата». Лига ставила задачу «участвовать в освободительном движении мирового пролетариата, бороться против антипролетарских сил международной реакции», «добиваться полного и окончательного освобождения человечества».

Лига заявила, что литература должна служить интересам пролетариата. И борьбу за пролетарское искусство, которое должно воплощать «мысли, чувства и настроения пролетариата, живущего в мрачном средневековье классового общества», необходимо вести вместе с войной против класса феодалов и буржуазии, против мелкобуржуазных тенденций «утраты классовых позиций».

Лиге левых писателей удалось сплотить передовых деятелей литературы Китая, несмотря на постоянные преследования и репрессии реакционных гоминьдановских властей. «Год назад,— писал Лу Синь,— в Шанхае была создана Лига левых писателей... Именно потому, что она стала крепкой и сильной, ее подвергают невиданному гнету и преследованию».

Однако вскоре после создания Лиги левых писателей близкие к руководству гоминьдана литераторы — Чжу Ин-пэн, Ван Цин-лин, Хуан Чжэнь-ся, Бо Янь-чжан, Чжу Да-син и другие — повели яростное наступление против пролетарской литературы и искусства.

В опубликованном ими «Манифесте движения за китайскую националистическую литературу» открыто провозглашалась борьба против пролетарской литературы, которую националисты осуждали за «разобщение фронта национальной революции». В «Манифесте» подчеркивалось, что «высшая миссия литературы — развитие духа нации, которой она принадлежит... Высший принцип литературы — национализм». Таким образом, идеологический и мировоззренческий кругозор литераторов гоминьдановской ориентации всецело замыкался границами китайского национализма во всей его реакционной сущности.

Лу Синь, Цюй Цю-бо и другие видные сторонники революционной литературы не уставали вести сражение против китайских националистов и принципов их искусства. Так, в статье «Назначение и удел националистической литературы» Лу Синь указывал на духовную близость китайского фашизма с фашизмом итало-немецким. Не менее обличительна и статья Цюй Цю-бо «Принципы собачьей морали», в которой идеология глашатаев национализма в китайской литературе осуждалась как проявление фашистских взглядов.

Упорную борьбу вел Лу Синь и руководимая им Лига с адептами теорий «аполитичности», «свободы творчества» и «искусства для искусства» — так называемыми «свободными людьми» и «третьими» (Су

Вэнем, Лян Ши-цю, Ху Цю-юанем и прочими).

Лу Синь, Цюй Цю-бо и другие сторонники Лиги левых писателей свою приверженность принципам революционной литературы стремились претворить в создаваемых ими произведениях, написанных с позиций партийности и народности искусства. В этой связи следует назвать появившиеся тогда роман-эпопею Мао Дуня «Перед рассветом», повесть Ху Е-пиня «Свет впереди», драму «Потоп» Тянь Ханя, поэтические произведения Инь Фу и Пу Фэна, трилогию о сельской жизни Хун Шэня, очерковую повесть Ся Яня «Невольницы», а также произведения молодых литераторов Чжан Тянь-и, Ша Тина, Ай У, Е Цзы, Сяо Хун, Оуян Шаня, Цзан Кэ-Цзя, Тянь Цзяня и других.

К этому времени относится широкая популяризация в Китае произведений русских и советских писателей и поэтов. Книги Л. Толстого, А. Чехова, Н. Гоголя, И. Тургенева, А. Пушкина, М. Горького, В. Маяковского, Ф. Гладкова, А. Серафимовича, А. Фадеева, М. Шолохова, К. Федина и многих других авторов переводились лучшими китайскими писателями и мастерами художественного перевода: Лу Синем, Цюй Цю-бо, Мао Дунем, Цао Цзин-хуа, Гэн Цзичжи и другими. Цюй Цю-бо в письме к Лу Синю в 1931 году, между прочим, отмечал: «Переводить авторов мировой пролетарской революционной литературы и систематически знакомить с ними китайского читателя, в особенности с советскими авторами, которые посредством конкретных образов, посредством художественных обобщений могут донести до читателя героев Великого Октября, гражданской войны и пятилеток,— одна из главных задач пролетарской литературы Китая».

Благодаря активной деятельности китайских прогрессивных писателей и переводчиков в течение двадцатых — тридцатых годов произведения русских и советских авторов, став достоянием китайских читателей, сыграли весьма существенную роль в духовной жизни китайского общества. Переводы художественной литературы послужили важным фактором китайско-советских литературных взаимосвязей, установившихся между широкими общественными кругами Советского Союза и Китая. Книги эти, особенно произведения советских писателей, явились бесценным вкладом в дело воспитания у китайской молодежи революционных традиций, коммунистического мировоззрения, пролетарского интернационализма. Именно двадцатые и тридцатые годы ознаменовались глубоким духовным сближением наиболее передовой китайской интеллигенции с социалистической культурой советского народа, его высокими революционными идеалами, нравственными и эстетическими принципами. Художественные произведения советских авторов, представляющие интернациональный опыт советской литературы, глубоко вошли в сознание китайского читателя, стали неотъемлемой частью его внутреннего мира, духовных интересов и целей. Они вдохновляли неисчислимое множество передовых людей Китая в великой битве за национальное и социальное раскрепощение своего многострадального народа от вековечного угнетения отечественных и иноземных поработителей. Ценность их воздействия непреходяща. Не подвластно оно ни свирепым цензурным гонениям, ни преследованиям мракобесов, ни кощунству хунвэйбиновских орд, пытавшихся предавать книги советских авторов анафеме и сжигать на кострах. Подобные трагедии не впервые разыгрывались на памяти человечества. И на китайской земле не однажды бросались «книги — в огонь», а «учение— в яму». Но ветер истории вместе с дымом костров сметал самих инквизиторов.

В связи с агрессией японского империализма на Северо-Востоке Китая Лига левых писателей выступила 26 сентября 1931 г. с Обращением к культурным организациям международного пролетариата и трудящихся о поддержке борьбы китайского народа. На это обращение Лиги вскоре откликнулось Международное объединение революционных писателей, решительно осудив захватнические действия японского империализма.

Позднее, в 1932 году большая группа писателей — Лу Синь, Мао Дунь, Юй Да-фу, Ху Юй-чжи и многие другие выступили с Обращением шанхайских деятелей культуры ко всему миру, в котором выражался протест против продолжавшегося расширения японской агрессии в Китае. Это было начало событий 28 января 1932 года, когда японский милитаризм развернул наступление на Шанхай. Именно в связи с этими событиями Международное объединение революционных писателей обратилось с воззванием «Ко всем революционным писателям мира», в котором указывалось: «В Китае бушует война. Целые города сровнены с землей, жизни десятков тысяч женщин и детей, десятков тысяч солдат принесены в жертву империализму. На Дальнем Востоке огонь войны бушует и грозит захватить весь мир...»

В Лигу левых писателей Китая, просуществовавшую шесть лет, входили наиболее одаренные писатели и критики — Лу Синь, Мао Дунь, Тянь Хань, Жоу Ши, Фын Сюэфын и многие другие. Лигой издавались литературные журналы «Вэньсюэ», «Бэйдоу», «Хайянь», «Мэнъя» и другие. И хотя деятельность Лиги не была лишена известных недостатков, ее сторонники сыграли существенную роль в литературном процессе первой половины тридцатых годов. Лиге принадлежит заслуга в популяризации марксистского литературоведения, в утверждении идеи сближения литературы с народными массами, а также воспитании молодых литераторов. В значительной мере благодаря Лиге в китайской литературе появились такие талантливые писатели, как Чжан Тянь-и, Ша Тин, Дин Лин и другие.

Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Конец двадцатых и начало тридцатых годов характеризуются значительными творческими успехами прогрессивных писателей. Именно в эти годы Лу Синем написаны наиболее острые и сильные памфлеты и публицистические произведения, закончены «Старые легенды в новой редакции», обращенные против гоминьдановского предательства и японской агрессии в Китае.

К этому времени относится создание Мао Дунем крупнейшего его произведения: трилогии «Затмение» (повести «Разочарования» «Колебания» и «Поиски»), в которой нашли свое отображение события революции 1925—1927 годов. Вслед за тем Мао Дунем были написаны романы «Радуга» и «Перед рассветом», повести и рассказы, в том числе «Трое» и «Весенние шелкопряды». Эти и многие другие произведения Мао Дуня выдвинули его в число крупнейших художников слова Китая.

Рука об руку с такими опытными уже писателями, как Е Шэн-тао, Ван Тун-чжао, Цзян Гуан-цы, Сюй Ди-шань и Лао Шэ, успешно трудилась плеяда более молодых, внесших весьма существенный вклад в развитие новой реалистической литературы Китая: Дин Лин, Ба Цзинь, Ху Е-пинь, Жоу Ши, Инь Фу, Ли Вэй-сэнь, Фэн Кэн, Чжан Тянь-и, Ша Тин и многие другие.

Характерно, что вызванному к жизни движением «4 мая» и литературной революцией рассказу суждено было стать доминирующим жанром словесного искусства в Китае. И здесь выдающаяся роль бесспорно принадлежит великому Лу Синю, новаторски пролагавшему пути развития революционного художественного творчества и создавшему высшие образцы нового китайского рассказа.

Творчеством Лу Синя знаменуется завершение старой эпохи китайской литературы и вместе с тем начало нового, реалистического искусства, общепризнанным основоположником и классиком которого он является. Яркая социальная окрашенность его произведений, глубокая ненависть к эксплуататорским «верхам», искреннее сочувствие к судьбам закрепощенных «низов» обнаруживают прекрасное знание писателем жизни народа, тяжких его страданий, его вековой мечты о раскрепощении, справедливости, свободе. И здесь, по собственному признанию Лу Синя, вдохновляющим примером ему служила Россия: «Из ее литературы мы поняли самое важное — в мире существует два класса: угнетатели и угнетенные. Тогда это явилось величайшим открытием, равным открытию огня».

Испепеляющим огнем стали и сами произведения Лу Синя, беспощадно обличавшего вопиющую несправедливость полуколониального и полуфеодального режима в Китае, при котором уделом огромного большинства была нищета, а ничтожной горстке угнетателей, праздному классу принадлежали неограниченные права на все блага материальной и духовной жизни. «Я черпаю материал для своего творчества,— говорил Лу Синь в статье «Как я начал писать рассказы»,— главным образом из среды несчастных людей больного общества, стремясь изучить их и привлечь к ним внимание, чтобы излечить их... Мне хотелось силой художественных произведений воздействовать на общество».

Революционная концепция человека и общества весьма существенно повлияла на преображение традиционных жанров в китайском искусстве. В сущности возник новый рассказ, ставший главным жанром в китайской литературе. Новое развитие после революции 1925—1927 годов получил и китайский роман, в котором нашли свое отображение общественные потрясения начала двадцатого века.

Лу Синь — мастер социального рассказа. В «Записках сумасшедшего», которые стали первым творческим успехом писателя, Лу Синь бросил вызов человеконенавистническому произволу, изобличил людоедские нравы феодального строя, реакционную сущность конфуцианской морали.

«Я перелистываю книгу истории...— говорится в этом рассказе.— В ней нет дат, здесь каждая страница вкривь и вкось исписана словами: «гуманность, долг, путь истины, мораль». Я силился уснуть, но не мог, до полуночи внимательно читал и, наконец, увидел, что вся книга между строк исписана одним словом «людоедство». ...Только сегодня я понял, что уже много лет живу там, где на протяжении четырех тысяч лет люди едят людей...

Спасите, спасите детей...».

«Записками сумасшедшего» открылась новая страница в истории китайской литературы. И уже в этом рассказе выявляются черты, характерные не только для творчества самого Лу Синя и его эстетического метода, но и для других передовых китайских художников слова, ставших на новые мировоззренческие позиции.

Вскоре в свет вышел один из наиболее примечательных рассказов Лу Синя — «Кун И-цзи», названный по имени его героя, старого, опустившегося интеллигента в доживавшем свой век феодальном Китае. Кун И-цзи настолько раздавлен, бессилен, унижен, что ему, кажется, и в голову не приходит мысль о сопротивлении, протесте, борьбе за себя, за себе подобных людей. При этом читатель остро ощущает всю неестественность, почти неправдоподобность жизни Кун И-цзи, сознавая, что и его жизнь, и жизнь тех, кому угрожает такая же участь, более невозможна, что должна наступить перемена, должен быть положен конец.

Эти же мысли не покидают нас и при чтении других произведений Лу Синя, в том числе рассказа «Родина», где повествуется о том, что изменения в судьбе простого человека в Китае, в социальном его положении могут произойти лишь тогда, когда наступит «новая жизнь, которой мы не знаем».

У Лу Синя была мечта. И он глубоко верил, что она сбудется. Сбудется его мечта о лучшей участи, которой достойна его родина, истерзанный его народ. И потому особенно значим художественный опыт Лу Синя, направленный на обострение впе-

чатлительности, расширение ее сферы посредством возникающих ассоциаций. Ведь «мечта — это не то, что уже существует, но и не то, чего не может быть. Как на земле — дороги нет, а пройдут люди и проложат дорогу». В этих словах Лу Синя выражены не просто мысли писателя: в них раскрываются наблюдения — жизненные, творческие, все то, что вросло в личный его духовный опыт, опыт великого человека и гражданина.

Выдающееся место в китайской литературе занимает творчество крупнейшего художника слова Мао Дуня, принадлежащего к числу талантливых писателей старшего поколения. Подобно Лу Синю, главное в его произведениях — социальная точка зрения. Романы и рассказы Мао Дуня посвящены художественному исследованию многосложного мира общественных отношений в Китае, революционного процесса в стране, крушению основ феодально-патриархального уклада, раскрепощению народа, рождению нового человека, движимого сознанием борьбы во имя свободы и социальной справедливости.

Создание Мао Дунем «Деревенской трилогии» («Весенние шелкопряды», «Осенний урожай», «Суровая зима») — это не время посева, а пора жатвы, своего рода сбор созревших мыслей и чувств писателя. Зерна этого урожая — наблюдения, раздумья, переживания, опыт жизни — все то, что должно составить сущность, пафос и эстетику нового творения. Это самые яркие его рассказы, в которых с большой художественной силой отображены извечные страдания и нужда китайского крестьянина, его пробуждение от фаталистической покорности и смирения перед помещиком, борьба против гнета и бесправия. И мы видим, как рушится старый мир, уходит в небытие беспросветность существования, нескончаемые страдания и несчастья, которые безропотно сносились старым Тун-бао и миллионами таких же задавленных его собратьев. Поднимаются не только сельские труженики старшего поколения. Перед нами проходят широкоохватные картины пробуждения сознания молодежи, когда восстают их дети, гневно отвергая извечные порядки, царившие в старой китайской деревне.

И чем глубже знания, чем шире круг наблюдений художника, тем больше жизненного опыта, тем точнее понимание действительности, тем обильнее творческий урожай, тем ярче и радостнее вспыхивает и разрастается огонь творчества. Суровые и мужественные краски находит писатель и в рассказе «Комедия», чтобы подвергнуть осуждению тех, кто в обстановке поражения революции 1925—1927 годов отказался от своих идеалов.

Социальным светом проникнуты и рассказы Лао Шэ, тонкого психолога, глубоко знающего общественную и частную жизнь в старом Китае. Способность Лао Шэ видеть мир острым глазом сатирика — не только и не исключительно дар природы. В значительной мере у него это — результат культуры, жизненных наблюдений, художнического опыта. Вне сомнения, культура восприятия у Лао Шэ находится в сложном взаимовлиянии с культурой мысли и эмоций. Примечательно, что само начало творческого пути писателя восходит к юмористическим повестям, в которых отображены смешные стороны человека, его поведения, манеры держаться и говорить. Позднее юмористическое начало у Лао Шэ переходит в разящую социальную сатиру, это не невинное зубоскальство веселенького остроумца, а то, что В. Г. Белинский называл громом негодования, грозой духа, оскорбленного позором общества.

Рассказ Лао Шэ «Благодетельница» — остро обличительное повествование о ханжестве и лицемерии людей «праздного класса», богатеев, стремящихся выдавать себя за благодетелей, которые будто только и заняты тем, чтобы собственную свою жизнь бескорыстно принести на алтарь общечеловеческого блага, в жертву обществу. Прекрасен и рассказ «Серп луны», в котором с волнением и болью правдиво и сильно автор изобразил трагическую историю женщины в старом Китае.

Реалистические рассказы выдающегося писателя двадцатых годов Е Шэн-тао привлекают нас убедительностью трактовки жизненных обстоятельств, выразительностью языковых средств изображения. Им созданы многочисленные произведения о китайской интеллигенции, преимущественно провинциальной, о выходцах из мелкой буржуазии, о людях нелегкой судьбы, тяжких их лишениях и каждодневных заботах о хлебе насущном. В рассказах «Горький рис», «В городе», «А-фэн», «Ночь» и других перед читателем проходят картины беспросветного существования неудачников в китайской деревне и обитателей нищенствующих городских кварталов.

И Е Шэн-тао отнюдь не ограничивается простым бытописательством или живописными зарисовками наблюдаемых явлений. Писатель обладает проницательным взглядом, зоркостью глаза, позволяющей ему проникнуть в самую сущность социальной действительности, обнаружить скрытые корни и политические первопричины творимого зла и человеческих бед. Чувство щемящей жалости вызывает образ обездоленной сироты в рассказе «А-фэн», несчастной девочки, с самого детства обреченной на непосильную работу няньки в доме своего будущего мужа. Но вместе с глубоким сочувствием и состраданием к жертве унизительных для человеческого достоинства домостроевских традиций читатель испытывает чувство глубокого отвращения к блюстителям этих человеконенавистнических обычаев, присущих самой природе существовавшего в старом Китае социального уклада.

В острообличительном рассказе «Ночь», переносящем нас в черную ночь разгула гоминьдановских палачей, опустившуюся над Китаем после поражения революции

Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

1927 года, Е Шэн-тао создал образы революционеров — мужа и жены, подвергшихся казни за свои вольнолюбивые убеждения и революционную деятельность. Однако страшная эта расправа воспринимается нами отнюдь не как поражение, не как пессимистическая трагедия, но как яркое доказательство мужества и несгибаемой воли человека, в бесстрашии своем устремленного к утверждению новой жизни, к грядущему раскрепощению китайского народа.

Социальная окрашенность характерна и для произведений Ба Цзиня, творчество которого снискало писателю широкую известность в Китае и за его рубежами. Автор многочисленных и популярных романов и повестей («Семья», «Весна», «Осень», «Гибель»), Ба Цзинь завоевал признание и как талантливый мастер рассказа. Среди написанных им ранних произведений наибольший успех выпал на долю рассказа «Дождь», в котором созданы яркие образы революционеров. И хотя герои погибают во имя торжества свободы, в битву вступают тысячи других борцов, ведомых неукротимой волей продолжать дело павших. Мотивами справедливой борьбы проникнуты рассказы «Сердце раба» и «Кинжал».

Чжан Тянь-и вошел в китайскую литературу как писатель оригинальный и самобытный. Уже первые его рассказы «Сон трех с половиной дней» и «Двадцать один» принесли ему признание и славу. Литературная критика отмечала новизну форм произведений Чжан Тянь-и, смелый отход от старой традиционной манеры письма, от пассивности, индивидуализма, пессимистических настроений. Ясность авторского взгляда, критическая острота, внутренняя убежденность — привлекательные особенности творчества Чжан Тянь-и. Писатель говорил, что созданные им рассказы «проникнуты любовью и глубокой ненавистью... Я хотел помочь людям разобраться, где правда, где ложь, что достойно любви и что — ненависти, говорил читателям — преимущественно молодой интеллигенции,— какой следует выбирать путь в жизни, куда идти и к чему стремиться».

Весьма плодотворными для Чжан Тянь-и были 1928—1936 годы, когда в свет вышли сборники его рассказов «Пчелы», «Маленький Питер», «Переезд», «Финал», большая книга «Рассказы о странных людях», повести «Праздник поминовения усопших» и «Записки из мира духов», романы «Один год» и «В городе».

Рассказы «Ненависть», «Могущество бодисатвы», «Дорога» и «Усатый Бэй» принадлежат к наибольшим творческим удачам писателя. Сильно и убедительно автором показано классовое возмужание китайского трудового крестьянства, восставшего против деревенских мироедов и помещиков; раскрыты высокие душевные качества простых людей, готовых предпочесть смерть капитуляции перед завоевателями.

Сам писатель так охарактеризовал цель своей работы над рассказами: «Я писал их с одной лишь мыслью — принести пользу родине, надеясь, что они будут способствовать борьбе за уничтожение мрачного режима, что они сыграют какую-то, пусть незначительную, роль в общем поступательном движении китайской истории».

Яркий сатирический талант Чжань Тянь-и проявился в рассказе «Усатый Бэй», в котором автор остро обличает людей мелких, трусливых, подлых, способных изменить священному патриотическому долгу, отказаться от борьбы с японскими интервентами.

Писательница Дин Лин, выступившая со своими первыми произведениями на страницах журнала «Сяошоюэбао», принадлежит к той группе китайских художников слова, которые пришли в литературу в конце двадцатых годов в Шанхае. Наставником их был великий Лу Синь. Среди сподвижников писательницы были Ху Е-пинь, Жоу Ши, Инь Фу, Ли Вэй-сэнь, Фэн Кэн — пять мужественных революционеров, казненных февральской ночью 1931 года в Лунхуа под Шанхаем. Лу Синь писал о них: «Тяжким горем и вечной памятью почтим мы наших товарищей, павших в строю, и крепко запомним, что первая страница истории пролетарской революционной литературы написана их кровью...»

В первом рассказе Дин Лин «Мын-кэ», который относится к периоду исканий писательницы, автор пытается осветить одну из наиболее острых проблем того периода — судьбу китайской женщины. Дин Лин создан запоминающийся образ девушки по имени Мын-кэ, которая, как и многие ее сверстницы, стремилась проложить себе дорогу в жизни. Участь ее оказалась печальной. Вместо свободы и счастья, ради которых она решилась на многое: покинула родительский дом, отвергла замужество по принуждению,— героиня оказалась в пучине обмана и цинизма, попала в руки грязных дельцов шанхайской черной биржи. Так замкнулся круг власти страшной социальной действительности старого Китая над судьбой человека. Разоблачению этого мира и посвящен рассказ «Мын-кэ».

При всем различии писательской манеры и стилевого своеобразия черты определенного сходства в социальном видении китайской реальности двадцатых — тридцатых годов обнаруживаются в творчестве таких мастеров рассказа, как Ван Тун-чжао, Сюй Ди-шань, Ван Лу-янь, У Цзу-сян, Цзян Гуанцы, Ай У, Ша Тин, Жоу Ши, Ояун Шань, Е Цзы и др. В их творчестве в различных аспектах и проявлениях, но с неизменной правдивостью и реализмом отображена истинная картина жизни и борьбы китайского народа в бурные революционные десятилетия, поднимаются многочисленные проблемы времени больших общественных потрясений, созданы живые портреты мужественных и неустрашимых людей той эпохи.

Лучшие из произведений, написанных прогрессивными китайскими писателями в двадцатые — тридцатые годы, и теперь продолжают волновать нас правдивостью и непосредственностью своей, благородством и гуманностью мысли, неповторимостью образов, яркостью выразительных средств и формы. Все достигнутое в эти революционные десятилетия получило долговременное значение и вошло в сокровищницу словесного искусства XX века.

◆

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ТРАГЕДИИ И ФАРСЫ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ

Представьте себе ребенка, родившегося совершенно нормальным. Но потом за 7 лет он проходит стадию детства, юности, зрелости и старости. Через 7 лет он умирает. Умирает от одряхления.

Этот парадоксальный образ нашел молодой писатель Ганы А. Квеи Арма в своем талантливом романе «Красивые еще не родились». Метафора, которая должна выразить стремительное, но вместе с тем и противоречивое, и, с его точки зрения, болезненное развитие стран Тропической Африки за короткий срок после получения политической независимости.

Образ ребенка-старика, конечно, эффектный, но неточный. Африка, разумеется, не умирает. И дисгармоничность ее развития связана не с его чрезмерной стремительностью, а, напротив, с тем, как медленно и трудно преодолевается отсталость.

Исторический рубеж, когда ушли иностранные поработители и колониальная эра, казалось, уступила место новой эре, во всем противоположной, пробудил в Африке множество надежд и множество иллюзий. Эти надежды отразила африканская литература. Надежды на то, что все обещания лидеров, приведших их страны к независимости, исполнятся. На то, что все страдания уже позади и дальше открывается легкий путь свободы. На то, что африканцы, наконец, станут хозяевами в своем собственном доме.

Однако, даже провозгласив необходимость «прыжка из средневековья в XX век», можно ли было за короткий срок изменить глубокую структуру стран, искалеченных длительным развитием в условиях колониализма? Могли ли народы, только что освобожденные от колониального рабства, от каторжного труда, понять, что надо пройти через новый тяжелый и самоотверженный труд, без которого невозможен выход из нищеты? Население бурно росло, и это только увеличивало трудности. Отсталость деревни, внезапные падения цен на сельскохозяйственное сырье на мировом рынке вели к разорению крестьянства. Крестьяне тронулись в большие города. Однако не было того бурного индустриального развития, которое бы втягивало их и обеспечивало им работу. Число безработных росло, составляя «дно» больших городов.

Все это создавало политическую нестабильность в молодых государствах. Частые военные перевороты, одни, осуществленные реакционной военной верхушкой, другие же — молодыми, прогрессивно настроенными офицерами, создавали чувство неблагополучия и неустойчивости.

В той острой разоблачительной критике, которой Франц Фанон[1] подверг африканскую буржуазию, был особенно подчеркнут ее паразитарный, бюрократический характер, ее неспособность обеспечить индустриальное развитие стран Тропической Африки. Квеи Арма в статье «Африканский социализм, утопический или научный»[2] также пишет, что африканские лидеры — не капитаны промышленности, но большей частью политические боссы. Подобно Фанону, Арма также понимал, что развитие африканских стран не может быть связано

[1] О Ф. Фаноне см. мою статью в «Иностранной литературе» № 10, 1970. Хотя мы далеко не во всем согласны с воззрениями Фанона, однако, по общему мнению, критика африканской буржуазии принадлежит к наиболее сильным сторонам его книг. *(Прим. автора.)*

[2] Журнал «Презанс африкэн» № 64, 1967.

только с переворотами, меняющими лишь людей верхушки, но предполагает глубокие революционные изменения экономических и социальных структур.

Казалось бы, нет никакого смысла в литературной статье говорить о том, что сказано в многочисленных трудах историков и экономистов. Но нельзя не размышлять над этими вопросами, если хочешь понять истоки того психологического шока, тех разбитых иллюзий, тех тяжелых разочарований, которые лежат в основе ряда современных произведений Ганы или Нигерии, Уганды или Берега Слоновой Кости.

После романов 50-х и самого начала 60-х годов, занятых еще в основном разоблачением колонизаторов и утверждением права африканцев на собственную культуру, возникли романы и пьесы, где уже отразились новые конфликты, вызревавшие в молодых государствах. «Венок Майклу Удомо» П. Абрахамса, кажется самый ранний из этой серии, остался характерным романом тех лет, когда еще сохранилось романтическое и восторженное отношение к лидерам, которые своей борьбой привели народы Африки к новому рубежу, открывавшему развитие самостоятельных государств. И вместе с тем наиболее прозорливые писатели уже предвидели будущие конфликты, трагические противоречия. «Венок Майклу Удомо» был издан в 1956 году, когда К. Нкрума уже был премьером Золотого Берега, но за год до того, как родилась независимая Гана. Характерно, однако, что трагический конфликт романа воплощался в судьбе Удомо, в судьбе Лидера и Героя. К нему относились слова Сенгора о трагическом одиночестве героев [1]. И дальше, во втором романе Абрахамса на ту же тему «Наш остров сегодня», в «Трагедии короля Кристофа» Сезэра герои их остаются Героями с большой буквы, которые ради выполнения того, что они считают своей исторической миссией, ради будущего своей страны жертвуют очень многим. Для авторов — это Герои высокой трагедии.

Прошло несколько лет. И снова в литературе настойчиво возникают те же темы. Образы лидеров, вопросы власти, контрасты верхов и низов, богатства и нищеты, морали и политики. Но многое изменилось. Гораздо отчетливее выявились социальные противоречия. Если раньше писатели понимали объективную историческую невозможность для новой власти за такой срок осуществить чаяния народа и с этим был связан трагизм образа лидера, то теперь акцент ставится на другом. На первый план выходят мотивы коррупции, продажности, политического цинизма и лицемерия верхов; персонажами романов и пьес становятся «рыцари наживы»; в романах видно, как нравы буржуазного общества потребления вторгаются в жизнь африканских городов и вносят разложение нравов тем бо́льшее, чем меньше возможностей утолять эту страсть к роскоши, к вещам, особенно к «престижным вещам». Это смещает жанровые особенности произведений. В драматургии появляются сатирические шаржи, сатирические персонажи возникают и в романе.

От трагедии к фарсу

Ярким примером трактовки темы власти в жанре буффонады и гротеска явилась пьеса Бернара Дадье, известного у нас поэта и романиста Берега Слоновой Кости, «Голоса сквозь ветер» (1970). Она также носит подзаголовок «Трагедия», но трагической в ней является только судьба подданных, «герой» же ее — царь — персонаж сатирического фарса.

Дадье переносит действие в некую условную страну Африки и, более того, видимо, нарочито стирает, размывает социальные приметы ее строя, она может быть выбравшей и капиталистический и некапиталистический путь. Ей придаются черты какой-то восточной деспотии, средневековой африканской империи. Ее суть — диктатура, рождающая произвол. Драматург, видимо, хотел подчеркнуть, что всякая, никем и ничем не ограниченная власть, как бы она ни называлась, превращается в тиранию.

Центральный персонаж шаржа, носитель власти царь Нахубу I из племени кваквабуэ (само название племени звучит пародийно), ничем не напоминает героев трагического одиночества — Чаки из поэмы Сенгора «Чака» или Удомо Абрахамса. Вначале это обыкновенный нищий крестьянин, который, как и весь народ, страдает от нищеты, голода, поборов властей. Это рядовой ничтожный человек, которого поедом ест его жадная крестьянка-жена, заставляя его «быть как все». Фраза, которая, видимо, стала в Африке ходячей поговоркой, потому что мы встретимся с ней и в талантливом романе Квеи Армы. «Быть как все» означает утратить совесть, забыть традиционные нормы морали, стать жадным, жестоким, готовым на любое преступление. И он идет на это. Легендарная сюжетная линия Чаки накладывается здесь на ничтожного крестьянина. С помощью колдовства он преступает через кровь, убивая, наподобие Чаки, своих близких — мать и брата. Став как все, он легко добивается трона. В отличие от трагических героев он преступает через кровь не ради высокой цели, не потому, что роковые обстоятельства вынуждают его убить в себе человека. Убивать-то, собственно, нечего. Его цель — просто деньги, богатство, золото и власть, дающая это золото.

Он — парвеню, выскочка, окружающий себя грубой роскошью и людьми, столь же грубыми и жадными. Лесть растлевает царька, все придворные склоняются перед ним, все повторяют его слова, и, веря им, он провозглашает себя божеством. Упоенный тщеславием, своей властью над людьми, возможностью безнаказанно устранять, карать, убивать, он объясняет в финале: «При виде этих согнутых спин, этого леса рук, воздетых ко мне, слыша эти восхваления, кто на моем месте не счел бы себя богом,

[1] В предисловии Л. Сенгора к французскому изданию романа Абрахамса.

кто?» Нахубу, конечно, ничтожество, но, говорит фарс Дадье, ничтожество, обладающее властью, страшно.

Выборные советники царя пытаются робко напомнить о стране и о народе, говоря, что одна голова хорошо, а две лучше. Их прерывают: пословица устарела, теперь одна голова может править миром. «Без народа нет и Макаду (титул царя)»,— говорят советники. Он отвечает: «Рядом со мной должны быть люди, которые будут говорить то, что я хочу, будут делать то, что я решил. Мне нужны те, кто работает, а не те, кто думает... Мой лозунг: слуги, а не люди...» Попытки советников высказать свои мнения кончаются их казнью. «Правду» изгоняют из дворца [1].

Согласно традициям лубка, народного действа, нарочито огрубленного сатирического фарса, нужно, однако, предоставить слово и защитникам справедливости и даже обеспечить им в пьесе победный финал. В пьесе Дадье эту роль главным образом выполняют женщины. Быть может, в этом есть какой-то отголосок реальной африканской ситуации. И в пьесе утверждается, что золото не всегда всесильно. Красивая девушка отказывается от предлагаемой ей роскоши дворца. Она предпочитает своего бедного жениха и бежит с ним за пределы империи. Взбешенный правитель, в лучших традициях если не Троянской войны, то пародийной оперетты «Прекрасная Елена», начинает из-за красивой женщины кровопролитную войну. Но и здесь женщины — самая независимая и смелая часть населения в пьесе — выступают против войны и против царя. Разгневанную толпу расстреливают. Однако народ в финале сметает тирана, последний вынужден признать свое поражение и каяться. Все заглушают «Голоса, доносящиеся сквозь ветер» — голоса замученных, казненных людей, голоса жертв, от которых некуда убежать. И «Правда», торжествуя, возвращается во дворец.

Было бы, конечно, странно рассматривать такую пьесу как трагедию. Она написана и, вероятно, ставилась по законам другого жанра. Морализирующая концовка, в которой добродетель побеждает, может напомнить нам Петрушку, побивающего полицейского. Эпизоды войны, приводящие тирана к печальному для него концу,— просто буффонада. Грубость и утрированность ситуаций и персонажей, плоскостной характер изображения — все это вносит элемент шутовского в самые кровавые эпизоды. Впрочем, в «Трагедии короля Кристофа» Сезэра черты буффонады также вторгаются в текст. А пьеса Дадье, возможно, написана не без оглядки на трагедию Сезэра.

И все же африканские зрители едва ли могут воспринимать такое представление только как развлекательное зрелище. Условность ситуаций, стертость социальных примет позволяют легко подставлять современные фигуры самых разных африканских правителей вместо царя-тирана, верхи различных африканских государств — вместо наживающихся льстецов Нахубу и современную коррупцию — вместо деспотических нравов африканского средневековья.

Фарс-предупреждение

Политическим фарсом, трагикомической буффонадой можно назвать и пьесу нигерийского драматурга Воле Шойинки «Урожай Конги». Построенная на весьма современном материале, она написана в тот же тревожный для Западной Нигерии 1965 год, когда были созданы наиболее значительные произведения Шойинки — трагедия «Дорога», роман и поэма «Иданре». Впрочем, жанр социального или политического фарса характерен для его творчества. Наряду с известными нам крупными опубликованными пьесами он ставил на сцене небольшие злободневные фарсы-ревю.

«Урожай Конги» близок к фарсам народного театра, персонажи его лишены психологической глубины, трехмерности. Это плоскостные фигуры, почти марионетки. Сюжет быстро развивающийся, крепко сбитый, с неожиданными эффектными эпизодами: реакционный заговор, бегство из тюрьмы, смертная казнь, самоубийство и даже отрезанная голова, поданная в закрытом блюде (очевидно, пародируется «Саломея» Уайльда) диктатору Конги,— все кончалось скандалом, в результате которого Конги оказывался свергнут. Вся эта буффонада вызывала бурную реакцию африканских зрителей. Но эта реакция, вероятно, еще больше относилась к острой и злой сатире пьесы.

Едва ли можно сказать, что этот фарс отражал ситуацию того времени в Западной Нигерии и его персонажи имели нигерийских прототипов. Скорее, это фарс-предупреждение. Данлола, феодальный вождь, и Конги, ультрасовременный премьер-министр, главные персонажи сатиры, отнюдь не противостоят друг другу, как положительный и отрицательный герои. Оба они хуже.

Но сатира гораздо больше заострена против Конги. Думается, потому, что время Данлолы явно истекло. Заключенный в тюрьму, он понимает, что стар не только годами, он уже просто пережиток. Он готов к тому, чтобы уйти с политической сцены, хотя его приближенные и запутаны в заговоре против Конги.

В первую очередь злой гротеск пьесы относится к премьеру Конги. В 1965 году положение в Западной Нигерии могло окончиться переворотом; вскоре так и случилось. Однако автора фарса, видимо, занимала мысль: какой же может быть власть *после* переворота? Феодальные силы, видимо, думал автор, будут сметены. Но

[1] «Правда» в этом фарсе — персонаж, образ, встречающийся и в книгах Дадье, посвященных африканскому фольклору.

что после? Во всяком случае, отвечала пьеса, не диктатура, которая называет себя социализмом, а на самом деле является каким-то странным строем, где все причудливо формализовано. Так, сам Конги совершенно изолирован от реальной жизни, он живёт среди условных лозунгов, его многочасовые речи, пустые и рассчитанные на чисто внешний эффект, написаны его секретарями. При Данлоле был Совет старейшин; он упразднен, но создан новый Совет старейшин. Назначение их в том, чтобы писать книги для Конги и спать на заседаниях Совета (очевидная карикатура на африканские парламенты). Излюбленное занятие Конги и его приближенных — создание «имиджа» (то есть «образа») премьера, он должен восприниматься подданными как «Добродушный Отец Нации». Недаром ключевой лозунг Конги — «Гармония». Основная черта Конги — тщеславие, любовь к жестам. Тщеславие почти исчерпывает его облик. Обычное празднество урожая должно стать не только необычно торжественным. В этот день Данлола должен передать Конги право первым отведать ямс нового урожая (это символ власти). В этот день «должна начаться новая эра», «эра Конги», и новый, отсчет времени будет вестись с этого дня. Все вместе превращается в странный спектакль, где все роли заранее известны, все речи заранее написаны. Издательство в своей рекламе этого фарса упоминало, что он похож на «Диктатора» Чаплина. Едва ли это так. В пьесе Шойинки слишком явно выражены черты африканской ситуации.

К тому же некоторые детали довольно явно намекали на Гану. Об этом говорили и слова о пятилетнем плане, и упоминания о научном социализме, о книгах Конги...

Есть в шарже Шойинки еще один персонаж, и едва ли не самый удачный. Это Секретарь-Организатор Конги. У него нет имени. Да и зачем ему имя, когда у него есть великолепный дар интриг и безошибочное умение воровать и наживаться, обдуривая всех, начиная с хозяина и кончая его противниками? В конце пьесы и Данлола и Конги сходят со сцены в результате политического скандала. А Секретаря мы видим на границе страны бодрым и готовым к новым жульничествам. То ли герой плутовских романов, то ли вполне современный проходимец и герой коррупции, имеющий уже сейчас много родственников в современной африканской литературе (министр культуры в романе Ачебе, министр Комсон в романе Армы и другие).

В фарсе Шойинки, может быть, наиболее существенна мысль, что там, где нет глубокого преобразования экономических и социальных структур, там общественные институты, нравы, лозунги, получив новые названия, не обретают, однако, нового содержания; они выхолащиваются, становятся мнимыми и формальными. Несмотря на легкий жанр сатирического фарса, это наблюдение весьма серьезно для Тропической Африки, где термином «социализм» оперируют очень широко и слишком часто без достаточных оснований.

Назад, к истокам

О повести Камары Лэя[1] «Драмусс» трудно говорить всерьез, настолько низок ее художественный уровень; кажется даже, что две его первые книги «Черный мальчик» и «Взгляд короля» были написаны другой рукой. «Драмусс» — отнюдь не фарс. Скорее это просто пасквиль на новую, независимую Гвинею в форме полуфантастической страшной сказки, обращенной к молодому поколению. Лэй призывает гвинейскую молодежь восстановить «истинно африканский образ мысли», возродить древние ценности африканских цивилизаций.

К чему же сводятся африканские идеалы Лэя? Это призыв отказаться от всяких попыток модернизации страны и вернуться в средневековье. Идеалом остается деревенская община, ее моральные нормы, непререкаемый авторитет ее старейшин. И прежде всего, конечно, религия: смесь традиционных африканских культов, магии и ислама. Именно религия наиболее полно воплощает для Лэя духовное начало человеческой жизни. В современной Гвинее он видит вырождение традиционных ценностей. Упадок ремесел, когда изделия мастеров заменяются дешевыми машинными товарами. Искусство резчиков и ювелиров теряет религиозно-магический характер и становится чисто декоративным. То, что было раньше тотемом, превращается в простое украшение. Исчезает вера, и общество, ставшее бездуховным, живет только ради материальных благ. Автомобиль вытеснил бога, но бог покарает преступников.

В 1957 году, вернувшись из Парижа, Лэй попал на политический митинг и воочию увидел победы прогрессивной Демократической партии Гвинеи, которую с энтузиазмом поддерживало население, и прежде всего молодежь и женщины. Новая партия призывала к мирному труду. И все предлагаемые меры горячо обсуждались жителями и только потом становились законами.

Но Лэй уже предвидел кровь, насилие, диктатуру. Его простоватый автобиографический рассказ переходит здесь в полуфантастический и пророческий сон о грядущих кошмарах, ожидающих Гвинею. Лэй видит во сне новое, независимое государство Гвинеи как чудовищную тюрьму, где заключенные приговорены к казням и пыткам. Доброта карается как преступление. Люди стали роботами. Хозяин и начальник тюрьмы Великан-Садист — это почти мистический «Великий Зверь». Описывая зверские пытки, льющуюся кровь, животный ужас пленников, Лэй видит в этом неизбежное следствие отречения от бога, от духа. Но, обращаясь мыслью к средневековым африканским традициям, он с благодарностью вспоминает и более близкие времена колониализма (казалось бы, столь бездуховные!). Он уверяет, что влияние колонизаторов было благодетельным и что в дни новых дикта-

[1] Камара Лэй (Camara Laye) — писатель Гвинеи. В некоторых советских изданиях его имя писалось как Лайе.

тур о колониализме будут еще вспоминать как о рае. В тоне пророка Лэй предвещает спасение, которое принесут сверхъестественные силы, грядет богом ниспосланный «Черный лев». Тогда и восторжествует идеал Лэя — «жить созерцанием, молиться богу, вместо того чтобы работать».

Книга Лэя написана с отчетливо реакционных позиций в ее позитивной части и примитивна в критической. Может быть, не стоило бы упоминать о ней, если бы идея возвращения к истокам, идеализация обычаев и моральных норм патриархальной общины не имели в современной Африке столь широкого распространения, не встречались в столь различных идеологических явлениях, более того, в многочисленных вариантах так называемого «африканского социализма».

В статье «Африканский социализм, утопический или научный» Квеи Арма иронически критикует консервативный романтизм африканцев, идеализирующий бегство назад — в «Детство», в примитивный рай прошлого. Арма видит в подобных идеях разновидность современного утопического социализма. Это идеализация патриархальной деревенской общины, ее обычаев и человеческих отношений, общины, в которой находят не только демократию, но и социализм. Так, лидер Кении Джомо Кениата считал непременными чертами африканского социализма религию и древнюю мораль. Арма приводит известные слова президента Танзании Джулиуса Ньерере: «Африке нечего учиться социализму и демократии — они есть в ее прошлом».

Тесно связаны между собой «африканский социализм» и теория негритюда, политическое и философское выражение родственного комплекса идей. Теперь, когда вопросы расовых отношений для независимых государств Тропической Африки потеряли свою остроту, в негритюде отодвинулись проблемы «черной кожи» или «своеобразия психики негра». Зато усилилась другая сторона: противопоставление патриархального прошлого — научно-индустриальной цивилизации, деревни — большому городу, природы — машинам. Консервативное почвенничество? Но нужно учитывать следующее. Теоретики и просто интеллигенты Африки провели годы своего формирования в столицах метрополий. Индустриальное общество в их жизненном опыте было обществом Лондона, Парижа, Нью-Йорка, современная цивилизация представала в ее капиталистическом варианте. Модернизация... не означало ли это в их представлении повторять злоключения Запада, догонять ушедшего вперед по ложному пути к ложной цели? Такой ход мысли мог быть у некоторых идеологов негритюда уже в годы его расцвета, то есть в 50-е и начале 60-х. Сейчас, когда массовая информация Запада полна панических криков о тупике современной цивилизации, о том, что в своем безудержном и бурном развитии научно-техническая революция якобы увлекает цивилизацию к крушению, идеи негритюда еще более сближаются с позициями европейской консервативно-романтической мысли.

Подобные идеи предстают у африканских авторов то в открыто реакционной форме, то в виде сознательной демагогии, то в виде наивных иллюзий и мечты о возврате к целостному «Я» в чистоте Детства, то в глубоко пессимистической оценке судьбы африканцев и африканских государств вообще.

Такой, очень искренней и очень безнадежной книгой человека, не видящего выхода из современного тупика, представляется роман ганского писателя Кофи Авунора[1] «Земля, брат мой».

Не будем неосторожно приписывать слова ее героя, биографически во многом близкого автору, самому Кофи Авунору. Но вот что он говорит в своих стихах и в интервью. Он не скрывал, как это видно, например, из интервью 1967 года, что вся программа К. Нкрумы, его убеждение, что Африка должна совершить прыжок из средневековья в XX век,— глубоко чужда ему, Авунору. Впрочем, он и против того, чтобы без основания называть древние обычаи общины «африканским социализмом». «Зажатый между молотом и наковальней в кузнице новой жизни, преобразуя муки рождения в радость новых песен»,— говорит он о себе и сочувственно цитирует слова поэта К. Брью: «Наши предки, возвращаясь, узнают нас, видя, что мы ни в чем не изменились. Все, что мы приобрели, это пару железнодорожных линий и портов, но у нас те же пляски, те же песни...»

Авунор вторит ему:

Устремляясь к звездам, мы остановились
в доме Луны
И медлим, чтобы вновь обрести мудрость
наших отцов.

Но, считая патриархальный быт, религиозное сознание единственно человечными и справедливыми, он, человек современного образования и западного жизненного опыта, не мог не понимать, что они несовместимы с современностью. Отсюда острое ощущение трагического тупика, которое пронизывает роман.

«Земля, брат мой» — своеобразная аллегорическая повесть. Место действия — Гана, уже ставшая независимой. Это история молодого интеллигента Амаму, вернувшегося из метрополии, где он получил блестящее образование. Он был полон обычных иллюзий о том, что теперь, когда африканцу

[1] Кофи Авунор (первые произведения выходили под именем Авунора Вильямса), род. в 1935г., окончил университетский колледж в Лондоне, преподаватель университета в Нью-Йорке. В 1967 г.— директор кинокорпорации Ганы. Сборники стихов «Второе открытие» (1964), «Ночь моей крови». Составитель антологии ганской поэзии «Весть», первый роман — «Земля, брат мой», Лондон, 1972.

возвращен его дом, его родной язык и обычаи, воплотится наконец мечта о подлинной свободе, братстве и всеобщем благоденствии. Композиция книги сложна. Куски настоящего перемежаются с воспоминаниями разных лет. И такой обратный взгляд делает все более поэтичными детство, юность, первую любовь и все грязнее, кошмарнее, трагичнее реальный мир. Амаму — интеллигент с обостренной совестью. Ни внешнее благополучие его жизни известного адвоката, ни уважение людей, ни комфорт, ни даже любимая женщина не могут устранить нарастающий в нем внутренний конфликт. Со все большим ужасом он ощущает противоречие между своими надеждами и окружающей его жизнью. Жизнью, в которой циничное благополучие верхов куплено ценой нищеты и страданий низов. Через всю книгу проходит контраст двух символических образов:

«Куча навоза» (dunghill) — грубый, резкий образ, которым обозначен реальный мир: нищий и страдальческий, грязный и голодный мир бедняков, наглый, жадный, циничный и холодный мир богачей.

И контрастный ему образ мечты: залитое солнцем поле в золотых подсолнечниках и пестрых бабочках, образ ушедшего, невозвратимого детства, и всплывающий вместе с ним далекий образ умершей девочки, его первой любви, превращенной его фантазией в сказочный облик прекрасной морской Девы. Образ Гармонии, образ Родины. Характерно все же, что мечту в этой книге представляют не религия или магия, но образ природы и любви — гораздо более бесспорные и естественные для современного человека, интеллигента.

Столкновение этих двух сторон в сознании Амаму все обостряется, пока не приводит его к катастрофе, к безумию. И нарастающее безумие героя кажется автору лишь отзвуком того хаоса, того безумия, которым охвачена страна. Атмосфера как перед концом света: «Осталось только одно — отчаяние и смерть». Он умирает. Фигура адвоката Амаму, без сомнения психологически близкая автору, воплощает процесс отчуждения личности, характерный для колониального общества и оставшийся в последующие годы как последствие колониальной ситуации. Одинокий в Лондоне, Амаму одинок и в Аккре. Ему кажется, что ничто не изменилось, все осталось как при англичанах. Город с барами и ночными клубами, проститутки, безработные, бастующие рабочие, высшие чиновники и специалисты, занятые только своей карьерой и пьянством, репрессии сначала против консервативной оппозиции, а потом и против своих.

Все чуждо Амаму в новой власти. Провозглашается стремление строить социализм, а страна остается полной социальных контрастов. Брошен лозунг: каждому по автомобилю (one man, one car), но нищих вывезли на автомашинах из столицы, чтобы их не видели иностранные дипломаты, прибывшие на празднество независимости. Дети на базарах просят милостыню, пока знатные люди играют в гольф на площадках Ачимоты. Новые заводы дают превосходное пиво, но на севере не хватает питьевой воды. Народ беден, а деньги идут на вооружение армии. И даже то, что правительство обосновалось в Замке, бывшей резиденции колониальных властей, воспринимается Амаму как символ: ничто не изменилось. Последние главы книги, относящиеся к годам после переворота 1966 года в Гане, нагнетают эти контрасты до предела. Контрастно сопоставлены пригород Аккры, обиталище бедноты — грязь рынка, кучи навоза, омерзительные уборные, уродливая нищета... и рядом богатые кварталы Канды, новые государственные дома, где живут политики, депутаты, директора корпораций, партийные деятели времен Нкрумы, а позже чиновники и высшего класса проститутки, обслуживающие отели и аэропорты...

Роман фактически превращается в список преступлений новой власти. И без сомнения, некоторые упреки Авунора были справедливы. Надо отметить и его интонацию — это не пасквиль, не злые издевки человека равнодушного, но тон отчаяния и нарастающей безнадежности. Советского читателя, однако, удивляет многое. Внимание автора направлено односторонне, оно предвзято. Видно, что уже в момент установления новой власти он априорно, заранее знал, что все сложится как нельзя хуже, и само понятие «научный социализм» раздражало его, будучи никак не связано с его патриархальными идеалами. И всякое упоминание о социализме он воспринимает как холодное и жестокое лицемерие верхов, равнодушных к народу. Удивляет, однако, то, что писатель не сделал никакой попытки доискаться до причин нищеты, не счел нужным вспомнить, в каком положении была страна в момент получения независимости. Автор как бы забывает об общей политической ситуации в мире и в Гане, о враждебности империалистических государств, о многочисленных покушениях на Нкруму, об упорной борьбе против него реакционной оппозиции. И главное —автор, в сущности, не попытался углубить свой анализ, отделив явления, которые были объективными последствиями уродливого колониального развития, от коррупции правительственных чиновников, от судебных репрессий, уже не вызывавшихся необходимостью, от ряда ошибок, которые привели Гану в 1966 году к реакционному перевороту. Впрочем, даже у Авунора не было, видимо, иллюзий, что после этого переворота что-либо может измениться к лучшему. Роман «Земля, брат мой» оставляет поэтому двойственное впечатление. Несмотря на его подкупающую искренность и в ряде случаев справедливость его критических замечаний, в нем не хватает глубины. Ведь внешние контрасты трущоб и красивых домов мог бы заметить любой заезжий журналист. Не предлагая никаких наивно-консервативных выходов — и в этом скорее достоинство книги, — она оставляет читателя в полной безнадежности.

«Сухая скорбь разуверенья»

Эта строка Баратынского, кажется, лучше всего могла бы передать атмосферу романа Квеи Армы[1] «Красивые еще не родились», одной из сильнейших книг африканской прозы. Это попытка подвести некоторые итоги за немногие годы после завоевания независимости. Талант писателя и острый глаз социолога создали стиль, в котором соединились точность описания, злой шарж в адрес бюрократической буржуазной верхушки и глубокая, щемящая, безысходная тоска. Эта тоска непохожа на несколько мелодраматическое отчаяние Кофи Авунора. В тоске Армы, составлявшей как бы подтекст романа, ощущается постоянное противопоставление разобщенности и одиночества человека нынешнего дня ранним дням революции, дням побед, надежд и товарищества.

Гана середины 60-х годов. Вполне реально описание ее будней; названа страна, названы ее улицы. И все же автор не случайно назвал своего героя человеком, не с большой буквы, а просто человеком. Как бы намекая, что здесь кроется обобщение большее, чем обычная типизация реалистического романа. (Африка, а может быть и весь третий мир?)

Итак, человек. Мы начинаем вместе с ним его предрассветный путь на работу (он мелкий служащий железнодорожного управления), его скучный, одинокий, безрадостный день. И все напоминает не южный приморский город, а скорее мрачный, грязный Петербург «Бедных людей» Достоевского — все вокруг бедное, липкое, вонючее, душное, усталое, полуголодное. Запоминается очень обстоятельное описание грязной уборной. Человек работает честно и точно. Вечером путь домой. Дом не трущоба. Но все скудно до крайности, рассчитано до гроша. Дети не едят досыта. Мебель убогая. И опять общая, отвратительная, грязная уборная во дворе — символ нищеты и унижения. Жена человека — важный персонаж в романе. Общество потребления проникло в этот дом и подтачивает его изнутри. Жена, Ойо — воплощение зависти, зависти к тем, наверху, к их роскоши, машинам, тряпкам, духам, ко всему богатому миру дорогих вещей, без которых она чувствует себя обделенной и униженной. Трещина в семье все время растет, растет рознь людей, любивших друга друга.

Зависть обострена еще и тем, что эта роскошная жизнь почти рядом. Комсон, муж ее сестры и школьный товарищ мужа, начал с докера, стал партийным боссом и вышел в министры. «Руководит», произносит речи о морали и загребает деньги. В его доме, почти дворце, не только высший комфорт, но напоказ выставленная роскошь, вещи, смысл которых не в их полезности или красоте, но исключительно в их престижной ценности. В утверждении богатства, положения и власти их хозяина. Для этого — огромные дорогие машины с шоферами в белых ливреях, дорогие рестораны и гостиницы с женщинами, оплачиваемые государством. И хотя законы запрещали членам правительства заниматься бизнесом, Комсон покупает себе рыболовное судно, оформив его на имя родственников жены. Разумеется, золото Коммерческого банка он рассматривает как свои собственные сбережения.

Вся книга Армы пропитана презрением к буржуазному обществу потребления, к культу вещей, столь характерному для него, и к мещанской зависти ганцев ко всей заграничной роскоши и модам. Комсоны — это буржуазное перерождение людей, начинавших как члены Народной партии конвента, людей, которые, используя власть для личного обогащения, сами издеваются над революционными лозунгами.

Но перерождение захватывает не только тех, кто наверху. Зависть и страсть к наживе ползет вниз, разъедает, как рак, тело города. Коррупция проникает во все слои — железнодорожный служащий берет взятку от лесоторговца, чтобы его груз прошел экспрессом; полицейский берет пару монеток у водителя, пропуская его автобус; женщины ради заграничных духов продаются кому угодно и где угодно. Работник лесопилки списывает грузовики ценного леса и продает их «налево», а другой продает так же государственную нефть. Казначей в государственной школе ворует, но увольняют протестующих студентов; посыльный, выиграв в лотерее, надеется, что чиновник, получив большую часть денег, отдаст ему хотя бы остаток. Женщина мечтает купить себе в Лондоне роскошный «ягуар», и министр обменивает ей деньги на валюту, хотя это запрещено законом...

В романе Армы рассыпаны десятки таких упоминании, говорящих, что взятки берутся на всех уровнях, что дух наживы пропитывает людей самых разных профессий и положений. Было много разговоров о том, чтобы очистить страну от коррупции, размышляет человек, но сеть, как всегда, была сплетена так, что крупные мошенники проскочили и попались только мелкие рыбешки.

И другая сторона — равнодушие. Человек в своем управлении видит, как его же сослуживцы растягивают ничтожную работу на целый день и большая часть ее — просто средство убивать время.

Таков фон, на котором развертывается драма человека и его жены Ойо. Чем острее в Ойо зависть к роскоши Комсонов, тем

---

[1] Квеи Арма (Гана) род. в 1939 г. Окончил Агимота-колледж в Гане, колледж и Гарвардский университет в США (социальные науки). После 1962 г. — англо-французский переводчик в Алжире. Работал в редакции «Жён Африк» в Париже. Автор ряда статей и рецензий. Роман «Красивые еще не родились» издан впервые в Бостоне (США) в 1968 г., дважды переиздан в Лондоне (1970 г.). В 1969 г. изданы «Фрагменты», в 1972 г.—«Почему нам так везет?».

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ТРАГЕДИИ И ФАРСЫ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКИ

ненавистнее ей убожество ее дома. А главное, все могло бы быть иначе. Надо только быть как все. Кто же он, заставляющий страдать своих близких, думает о себе человек, трус или дурак? Трус, боящийся рискнуть, или глупец, упрямо отстаивающий свою честность и чистоту? Хотя его личная честность ничего не меняет в общем стиле города. Да и честность ли это, если она в сущности пассивна? Такие, как он, целый день тупо и честно трудятся, презираемые всеми. Да, он трус, а Комсон — посмел! И все же человек остается самим собой, очевидно, революционная молодость слишком глубоко вросла в него, но все большее отчаяние охватывает его; он уже не верит, что можно что-нибудь изменить: покончить со взятками, построить социализм.

И человек идет к своему единственному другу, единственному, кто может понять его. Это Учитель.

В маленькой скромной комнатке лежит на кровати обнаженный человек и читает книгу. Лениво откладывает ее и как бы нехотя начинает разговор со своим другом. Сразу ясно, что он совершенно отрешен от общества, от людей. Он совсем одинок. Да так и есть. У него нет семьи, нет любимой женщины. Он не может и не хочет себе позволить это. Потому что все в нем — безнадежность. Живы только воспоминания о тех первых годах — «было что-то такое хорошее в замученном, задавленном народе, который просыпался и стремился снова обрести свою цельность. Столько всего, что переполняло сердце дружбой и надеждами в те первые дни». И он вспоминает. Вспоминает, как красивая девушка повела их, тогда еще молодых ребят, на политический митинг, где выступил впервые увиденный ими лидер, увлекавший массы народа и увлекший также и их. Это была их молодость и молодость чувств, вера в будущее. Несколько лет, прошедшие с тех времен, кажутся ему теперь столетиями. Страна изменилась, и изменились люди, бывшие в той же шеренге борцов. Они стали Комсонами. Ирония в том, что этим людям дали власть, так как они громко кричали против порабощения европейцами, и они же употребляют свою власть ради такого же порабощения. Что же изменилось со времен вождей, продавших своих людей в рабство за европейские побрякушки? Но он вспомнил о власти новых побрякушек и неудержимых желаниях, которые они вызывают.

Человек пытается снова пробудить в Учителе желание действовать, может быть, повидаться с бывшими друзьями, занимающими сейчас большие посты? Но тот отводит эту мысль — зачем? Того, что он хотел бы, все равно не добиться. Он ни в кого больше не верит. Никогда не было и не будет спасителей, которые хотят спасти кого-нибудь, кроме себя.

Когда-то в Учителе еще жила надежда, но потом он стал говорить, что бессилие и разложение — это вечное проклятие Африки. И он спрашивал себя: спим ли мы, потеряв надежду, или, может быть, мы уже мертвы?

Он видит кругом только тех, кого называют apes of the apes — обезьянами, подражающими обезьянам. Раньше элита — адвокаты и торговцы — подражали белым. Потом Комсоны стали подражать адвокатам. Что же впереди? Даже если изменится власть, придут новые люди, все останется по-прежнему. Значит, спрашивает он, в этом и есть последняя истина?

Все это объясняет странный на первый взгляд финал романа — конец режима Комсонов. Конец неожиданный для героя романа. Арма дал великолепный гротескный портрет поверженного Комсона, который пытается спрятаться в доме человека. Раньше он был сплошная наглость, цинизм и самодовольство, теперь, дрожащий от страха, что его арестуют или убьют, он только трус, наполняющий вонью все вокруг. Человек спасает Комсона, выводя его через отверстие грязной уборной, и физическое отвращение, охватывающее читателя от всех подробностей этого бегства, кажется, не имеет равных в современной сатире. Арма поистине дал здесь волю своему отвращению к коррупции.

Но почему же человек, так презирающий Комсона, спасает его, помогает ему бежать? Ради своей жены, ради восстановления семейного счастья? Но есть и другое объяснение: глубокое равнодушие, убеждение, что конец этого режима вовсе не приведет к появлению лучшего... «В жизни нации это может быть лишь смена растратчиков... Жалкое отступление от тех дней, о которых еще вспоминал Учитель, когда один разум был полон чаяниями всего народа. Жалкое отступление к дням, когда люди у власти использовали власть целого народа, чтобы набить себе брюхо. Бесконечные, однообразные дни, уходящие в будущее, которым не видно конца».

«Красивые еще не родились» — утверждал Арма названием романа. И читатель может подумать, что они едва ли когда-нибудь родятся.

Между тем в упоминавшейся выше статье Арма, отвергнув концепции «африканского социализма» и воздав должное только Фанону, предполагал, что в будущем буржуазно-бюрократические верхи лишатся массовой базы и их время кончится. По его словам, классы в Африке есть, есть и резкое имущественное неравенство, а значит, «есть динамит». Однако пониманию того, что необходимо революционное изменение социальных структур, нельзя научить в школе. Только факты и факты рождают в людях это осознание. И только тогда для революционного агитатора имеет смысл говорить о том, чтобы высечь искру. Видимо, свою книгу Арма рассматривал именно как действие, способствующее пониманию фактов массами.

Эти строки в какой-то степени отвечают на неизбежно встающий вопрос: почему, ненавидя коррупцию, человек и Учитель, люди честные, бескорыстные, предан-

ные идеалам своей революционной юности, даже не пытаются бороться против ненавистного им стиля жизни? Достаточно ли не воровать и не брать взятки, чтобы оставаться честным человеком в истинном смысле этого слова? Не превращается ли их тягостное одиночество в какую-то форму бегства?

Интеллигент на изумрудно-зеленом диване

Именно на этот последний вопрос о моральном бегстве африканских интеллигентов попытался ответить Роберт Серумага [1] в небольшом романе «Возвращение к теням». Эта книга, гораздо менее яркая, чем роман Армы, отчасти повторяет его тему — интеллигенты в независимом африканском государстве, пораженном болезнью коррупции. Но акцент здесь — на психологии молодых интеллигентов-специалистов. Издательство подчеркнуло в этой книге юмор, цинизм и злость. Юмора и цинизма не видно, злость, пожалуй, есть, но больше всего в этой книге самокритики.

Действие происходит в момент военного переворота. Какого, в чью пользу — едва ли могут сказать и автор, и его герои. Одного из многих переворотов, видимо обычных в нестабильном, хаотическом государстве «Аднагу». (Это, конечно, Уганда, но события книги не похожи на реальную ситуацию этой страны.) Жестокий террор, разгул солдатни, более напоминающей штурмовиков Рема, чем обычные войска; разгул бандитов в солдатской форме, использующих общий хаос и шаткость власти для грабежей, насилий и убийств.

В стране с некоторой претензией на социализм (по крайней мере, на словах) в действительности царит дух наживы, «европейский индивидуализм». Политики и военные стоят друг друга. Резко обозначены социальные контрасты и социальные границы: богатые кварталы верхов и специалистов, дома средних служащих, трущобы бедноты, безработных. Именно это дно большого города поставляет политических гангстеров, солдат, бандитов, воров, которые порой даже повторяли слова об антиимпериализме, но в действительности наслаждались садистской властью над безоружным населением.

Крупным планом даны два молодых интеллигента: адвокат Джо и инженер Мозес. Оба они живут, непрестанно обличая коррупцию верхов, дух наживы и садизм военщины. Но что представляет собой их собственная жизнь? Основное качество Джо — трусость. При каждом новом перевороте он уезжает в свой загородный дом. Потом, переждав опасность, возвращается и извлекает выгоды из переворота. Как юрист-эксперт пишет статьи, выступает в судах, где судят свергнутых политиков. В подражание «Государю» Макиавелли он даже написал для главы правительства записку «О методах захвата и удержания власти». Однако на этот раз, убежав в провинцию, он находит там всю свою родню вырезанной солдатами.

И этот шок внезапно пробуждает в нем не только жажду мести, но и чувство ответственности. Едва ли не символом его жизни представился ему столь комфортабельный бархатный диван изумрудно-зеленого цвета, украшающий его городскую квартиру, его дом с прекрасным розарием и преданным слугой. Джо вернулся из Европы, якобы полный революционного духа, но, увидев ряд «всегда бесплодных» переворотов, разочаровался во всем. Теперь его одевает броня цинизма. Он пускается в спекуляции с импортным мясом, наживается на судебных процессах, но одновременно строит себе удобное, спокойное гнездо — деньги, диван, уют, музыка...

У Джо появляется друг, молодой инженер Мозес, вернувшийся из США. Мозес — обладатель «мерседес-бенца» и роскошного дома, выстроенного на весьма сомнительные доходы от краденых материалов. В его доме — красные обои, золотистые портьеры, светлые кресла, африканские картины и редкие нигерийские скульптуры, дорогие европейские вина. Все это должно говорить о благополучии и богатстве. Мозес умело использует и контрабанду, и связи с посольствами. Легко берет взятки и так же дает их. Другими словами, делает все то, что делают люди наверху, которых он же считает ворами. Джо называет вором его самого. Но в ответ Мозес обрушивается на Джо, говоря, что революцию нельзя делать на изумрудном диване. Он зло упрекает Джо в моральном бегстве, в лживом интеллектуализме, в коррупции мысли, наконец, в социальной безответственности.

И оба, адвокат и инженер, начинают горько упрекать себя. В том, что сами они заражены пороками их общества, его верхов. Признают свое нечестное отношение к своей стране. Признают себя виновными в трусливой пассивности. Что мы делаем? Бежим. Не хотим умирать... Да мы уже мертвы. Если бы больше таких людей, как мы, выполнили свой долг, сколько дураков не могли бы стать политиками! Но вместе с тем Мозес возражает и против полной потери надежды, быть может полемизируя с настроениями интеллигентов из романа Армы. Такая утрата тоже может привести к полной покорности. Перестав надеяться, мы можем копать себе могилы. Следует вывод: надо надеяться. Действовать. Против зла. Против коррупции. Против эскепизма.

Вспоминая, что роман Армы появился в 1968, а Серумаги — в 1969 году, можно

[1] Роберт Серумага, род. в 1939 г. в Уганде, окончил колледж в Дублине. По образованию — экономист. Драматург и актер. «Пьеса» и «Слоны» поставлены в Кампале. Там же он организовал радиостудию и театральную труппу. «Возвращение к теням» (1969) — его первый опыт в прозе.

предположить в них и некоторый отзвук той бури студенческих волнений, которые прокатились в те годы в США и Европе. Ведь обоим авторам было тогда по 30 лет.

Романы и пьесы, о которых шла речь, конечно, односторонни. Если сегодня говорят о тупиках и перспективах Тропической Африки, то эти писатели отразили преимущественно тупиковые стороны. Мы не находим у них глубокого, а главное — всестороннего анализа африканских обществ, развивающихся столь сложно и дисгармонично. Не находим и анализа того, какие последствия оставили в Тропической Африке десятилетия колониального развития и воздействия неоколониализма. Хотя в сущности описанные в этих книгах черты перерождения и являются в большой степени последствием и результатом колониализма.

Разумеется, есть и иные писатели, и иные настроения. В странах Тропической Африки появилась новая молодежь—образованная, с широким кругозором, ищущая ответов на вопрос о выборе пути. И если некоторые из них, по словам Серумаги, становятся равнодушными «интеллектуальными наемниками», то другие упорно доискиваются до причин трудностей, переживаемых их странами.

Быть может, эта ищущая молодежь, отвергающая разложение и лицемерие буржуазных верхов, отчасти и явилась почвой, на которой выросли реалистические разоблачения Армы или Серумаги.

Писатель пишет о том, что он видит внутренним взором, что им пережито. Неслучайно Авунор, Арма или Серумага не отображают ни крестьянства, ни рабочих. Объекты их изображения — в основном так называемые средние слои города, отчасти бюрократическая верхушка, в которой они видят своего врага, главным же образом — интеллигенция. Но, как отмечают многие исследователи, эти средние слои играют в странах Тропической Африки значительную роль. И, отражая их жизнь и настроения, эти книги уже имеют право на наше внимание.

Позитивные взгляды Кофи Авунора, Квеи Армы, Роберта Серумаги, Воле Шойинки или Бернара Дадье весьма различны. И все же их произведения в чем-то могут быть сближены: вопреки неясности или даже консервативности идей (как у К. Авунора) их книги сильны самой логикой антибуржуазной критики. Они могут привести читателя к выводу, что капиталистический путь, обостряя социальное неравенство и нищету низов, не сможет облегчить трудное развитие молодых государств.

Эти книги резко, непримиримо заострены против проникновения в независимые государства Африки буржуазного духа стяжательства и наживы, культа вещей, присущего обществу потребления, циничной коррупции. Из этих книг видно, что модернизация таких стран не может, не должна состоять в обеспечении роскоши для буржуазно-бюрократической верхушки, но требует действительно глубоких социальных преобразований.

Наконец, эти книги говорят о том, что различные антидемократические формы политической и социальной жизни стоят препятствием на пути африканских народов. Тем самым читатель подводится к мысли, что, только разбудив сознание, энергию, инициативу широких демократических слоев и передовой молодежи, можно осуществить ту коренную перестройку общественных структур, к которой призывают свои народы революционные демократы Африки.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

НОВЫЙ ПОДХОД К СТАРОМУ НАСЛЕДИЮ

Среди проблем, которые в последние годы привлекают особое внимание общественности в арабских странах,— проблема традиционного и современного в арабской культуре, или, как ее предпочитают называть арабские авторы, «проблема самобытности и новаторства» («аль-асаля ва-т-тадждид»).

Этой теме посвящаются многочисленные статьи, специальные номера журналов, книги, конференции арабских литературоведов и специалистов по вопросам культуры.

Проблема наследия и современности — не новая для арабов. Она возникла более ста лет тому назад, с тех пор как арабские народы впервые столкнулись с европейским колониализмом.

Несмотря на то что колониализм нес ограбление, мучения и гнет арабским народам, передовые представители общества уже тогда призывали не отвергать целиком европейскую цивилизацию, а заимствовать те ее передовые научные и культурные достижения, которые помогут вывести арабские страны из состояния крайней отсталости. В этом плане чрезвычайно важной была деятельность таких просветителей, как Рифаа ат-Тахтави, который еще в первой половине прошлого века много сделал для развития светского образования и изучения точных наук в Египте; ливанец Бутрус аль-Бустани — автор первого арабского энциклопедического словаря; Сулейман аль-Бустани — первый переводчик «Илиады» на арабский; как страстный борец за освобождение египетской женщины курд Касем Амин или его последователь в Тунисе Тахар аль-Хаддад.

Эти и десятки других арабских патриотов смело пошли против господствующих взглядов и традиций, не побоявшись оскорблений, лишений и преследований, и зажгли зарю «Ан-Нахды» — арабского возрождения в конце XIX — начале XX века.

Теперь арабские страны, освободившиеся от колониализма, переживают новую эпоху в своем культурном развитии, которую на Арабском Востоке называют «культурной революцией» и которая тесно связана с большими экономическими и социальными преобразованиями во многих из этих стран, происшедшими за последние двадцать лет.

В этих условиях проблема соотношения веками накопленных старых культурных традиций с идеями современной эпохи стала одним из главных вопросов идеологической жизни в арабских странах.

Особую остроту вопрос о старом наследии и современности приобрел после июня 1967 года, когда поражение в войне заставило арабов по-новому взглянуть на многое из того, что прежде считалось вечным и незыблемым. Видный ливанский критик Хусейн Мурувве в статье «Наше отношение к религиозному и философскому наследию», опубликованной в специальном номере журнала «Аль-Адаб» — «За арабскую культурную революцию» — подчеркивает:

> «В настоящее время мы переживаем подлинно революционный период истории арабского освободительного движения, период, когда проблема идейного наследия и его связи с нашей современной национальной культурой становится

одним из тех основных вопросов, которые ставит перед нами само наше будущее на предмет их пересмотра в свете нового бурного развития событий».

Отвергая «ультралевый», нигилистический подход к старому наследию, прогрессивные деятели арабской культуры в то же время указывают на опасность другого, противоположного направления, сторонники которого провозглашают, что все неудачи и поражения проистекают вследствие отхода от исконных традиций, и прежде всего традиций ислама. (К сожалению, в некоторых странах это направление пользуется официальной поддержкой, что создает благоприятные возможности для всякого рода шовинистических элементов, прикрывающих свою реакционную деятельность лозунгом «защиты чистоты ислама».)

В чем состоит «самобытность» и «современность»? Каким образом совместить древнее арабское наследие, богатую самобытную арабскую культуру с требованиями обновления, предъявляемыми современной эпохой? Как все это должно претворяться практически в различных областях духовной жизни — в философии, литературе, искусстве? Вот основные вопросы, на которые сейчас пытаются ответить арабские деятели культуры.

В этой связи немаловажны, на наш взгляд, две статьи известного египетского критика Гали Шукри о проблемах наследия и современности, опубликованные в конце прошлого года журналом «Ат-Талиа», особенно первая из статей — «Пересмотр наследия», которая посвящена общей постановке вопроса.

«Из поколения в поколение,— пишет Гали Шукри,— современная арабская мысль находилась в плену мнимого, формального противоречия, которое якобы существует между нашей самобытной национальной сущностью и современной мировой цивилизацией. Наши писатели и мыслители из лагеря традиционалистов видели в старом наследии укрытие от ветров, дующих из-за моря. Напротив, так называемые «обновители» видели в этих ветрах единственную силу, толкающую парус, безжизненно повисший много веков назад. Умеренные же говорят, что если мы поставим одну ногу здесь, а другую там, то одновременно и жизнь свою сохраним на земле, и воздухом свежим дышать будем».

По мнению египетского критика, основная ошибка представителей всех этих направлений состоит в том, что они смешивают «самобытность» с «наследием», а «современное» — с «европейским». Поэтому он предлагает рассматривать проблему в ином аспекте:

«Можно подойти к этой проблеме по-революционному и считать, что самобытность — это действительность со всеми ее компонентами, в том числе и наследием, а современность — использование научных методов в мышлении. Если бы мы считали, что самобытность — это «действительность» во всей ее полноте, то мы отбросили бы из наследия многое из того, что мешает поступательному движению жизни, и наша самобытность означала бы сознательный отказ от отрицательных сторон наследия.

Если бы мы рассматривали самобытность как живую «действительность» в ее прошлом, настоящем и будущем, то мы взяли бы у других, не испытывая «комплекса неполноценности», то, что может вывести наше настоящее к более широким горизонтам, и мы, возможно, нашли бы у других народов, которые опередили нас на пути прогресса, такое, что открыло бы нам глаза на отдельные стороны нашего собственного наследия, которое мы не можем увидеть без найденных другими современных средств научного исследования».

Действительность — вот тот единственный критерий, который, по мнению Г. Шукри, позволяет определить, что принять и что отбросить из старого наследия в ходе поступательного движения к новой жизни. Как призыв возвратиться к старому наследию, так и слепая приверженность к западной культуре были, считает он, панической реакцией на новые веяния и бегством от действительности, независимо от того, что при этом избирали — «волшебный ковер-самолет традиционалистов или современный европейский парашют». Сторонники же третьего, промежуточного, направления, призывавшие к механическому соединению старого и нового, смотрели на вещи поверхностно, лишь с количественной точки зрения. Все три направления были далеки от реальной действительности, следовательно, далеки как от подлинной самобытности, так и от современности.

«Как самобытность, так и современность — это новое качественное содержание, которого мы добиваемся путем «вертикального», идущего в глубь познания нашей действительности, проникая во все ее социальные, исторические и психические пласты, во все содержимое ее недр...

Проникновение в глубины глубин нашей действительности путем ее анализа и пересмотра под новым углом зрения, исходя из объективных потребностей в старом наследии или западной культуре,— это созидательный, творческий процесс, который хотя и потребует от нас большого труда, но зато прибавит к человеческому опыту что-то новое».

Г. Шукри выступает против узконационалистических взглядов на культурное наследие, против смешения понятий «наследие» и «национальный характер». Он указывает, что арабское национальное единство выковалось на определенном историческом этапе в борьбе против империализма, в то время как наследие нельзя ограничить каким-то определенным историческим периодом:

«Оно предшествует национальному формированию народов и одновременно следует за ним, являя собой совокупность материальной и духовной жизни нации с древнейших эпох до нашего времени».

По мнению египетского критика, господствующий взгляд на арабское культурное наследие характеризуется в одно и то же время и узостью и чрезмерной абсолютизацией вопроса:

«Это узкий, частный взгляд, так как согласно ему «рождение» нашего наследия совпадает с эпохой арабских завоеваний. Один лишь ислам становится при этом всем нашим наследием. Это также и абсолютизирующий взгляд, так как он не берет за основу период великого расцвета, который знала мусульманская цивилизация, а мешает все в одну кучу...

Наше наследие выходит за рамки какой-либо одной цивилизации. Нам досталось огромное богатство от Вавилона и Ассирии, от фараонов, финикийцев и других создателей древних цивилизаций, от иудейства, христианства, ислама и прочих религий, от великих духовных, социальных и идейных движений. Это наследие, к сожалению, так и не оказалось предметом достойного рассмотрения и изучения за весь период нашего национального возрождения».

Любая цивилизация, подчеркивает далее Г. Шукри, включает элементы многих других цивилизаций и носит поэтому общечеловеческий характер. Так, например, цивилизация Запада — своего рода высшая точка, венец других цивилизаций, в том числе и арабской, что не отрицают и сами европейские ученые.

«Когда европейцы брали что-то у древних ассирийцев, египтян, финикийцев и арабов, то никто из них не страшился и не называл это «иностранным товаром», как это делали и продолжают делать некоторые из нас. Цивилизация в основе своей общечеловечна и состоит из взаимно связанных периодов, когда больше берут или, напротив, отдают».

Взгляд на цивилизацию как на общечеловеческое достояние, продукт коллективного творчества многих народов служит противоядием от национализма и расизма, с одной стороны, и национального нигилизма — с другой.

По мнению Г. Шукри, мировая цивилизация на протяжении веков восприняла все самое лучшее и ценное в арабском наследии.

«И если нынешний центр цивилизации переместился на Запад, то это не значит, что мы не участвовали в ее создании. Однако мы сможем внести в нее творческий и весомый вклад, только если возьмем на себя труд открыть для себя заново наше наследие и наследие всего человечества. Пока что этого «диалектико-исторического взаимодействия» между арабской теоретической мыслью и наследием нет, несмотря на то что средневековая арабская цивилизация пришла в упадок около тысячи лет назад и вот уже почти два века, как забрезжила заря нашего возрождения».

Арабская культура, считает Шукри, должна творчески использовать наследие других народов, восполнив тем самым то, что ей недостает. Однако это усвоение чужого наследия должно опираться на познание действительности, которая определяет «что и откуда брать», иначе говоря, на научный метод мышления.

Хороший пример такого творческого, подлинно научного подхода к наследию других народов, указывает египетский критик, дают классики марксизма-ленинизма. Так, Маркс и Энгельс при создании своего революционного учения критически использовали достижения английской политической экономии, французского утопического социализма и немецкой классической философии. При выработке своего научного метода они руководствовались новейшими открытиями эпохи. Взаимодействие этих двух великих сынов Германии с английским и французским наследием, усвоение ими достижений науки своего времени и тесная связь с действительностью привели их к созданию научного революционного метода познания.

«Ленину с его соратниками,— продолжает Шукри,— не приходило в голову, что они «ввозили» иностранный товар, когда применяли марксизм к условиям русского общества, но они не выходили за пределы действительности, а только руководствовались методом ее вертикально-глубинного видения. Используя этот метод, Ленин заново ознакомился со старым наследством и национальными традициями своего народа, увидел — и в этом его исторический вклад,— что (даже.— Л. С.) отсталую царскую Россию можно превратить в социалистическую страну».

Величие Ленина, считает критик, в том, что он по-революционному познал действительность, горячо, до самозабвения жил этой действительностью, не пытаясь подменить ее красивой, но умозрительно построенной утопией.

Величие Октябрьской революции в России и других социалистических революций состоит в том, что

> «они смогли обогатить человеческий опыт новым наследством, опираясь на собственное творчество, вдохновляясь своей историей и своими национальными традициями и умело применяя научный метод».

В своей статье Гали Шукри подробно останавливается на выдающейся роли лучших представителей современной арабской литературы в практическом решении векового спора между старым наследием и современностью:

> «Уравнение, которое не удалось решить нашей экономической, социальной и политической мысли, успешно решается в наиболее значительных произведениях литературы и искусства».

Вот что говорит Шукри в этой связи о выдающемся египетском писателе и драматурге Тауфике аль-Хакиме:

> «Мне часто кажется, что историческое значение творчества Тауфика аль-Хакима состоит в том, что он первый пошел неизведанным путем. Создавая новые виды творчества на арабском языке, он не останавливался долго перед вопросом, знали ли эти жанры наши предки или нет. Он глубоко вгляделся в египетскую действительность и обнаружил, что некоторые формы западной литературы и искусства, такие как роман и драматургия, способны воплотить эту действительность, даже если старому наследию не были известны те или иные из этих форм. Вместе с тем Тауфик аль-Хаким не просто «импортировал» с Запада готовую художественную форму. Объективная действительность, независимо от субъективных чувств художника, была тем компасом, который направлял его на Запад в поисках формы, к древнеегипетскому, христианскому и мусульманскому наследию — в поисках символов, к национально-демократической революции — в поисках содержания».

Такие произведения Тауфика аль-Хакима, как романы «Возвращение духа» и «Записки провинциального следователя», пьесы «Жители пещеры» и «Шахразада», несмотря на то, что в них объединились разнородные по происхождению элементы, способствовали формированию качественно нового этапа в арабской литературе, знаменовали собой рождение национального египетского романа и драматургии.

Верность жизни, действительности лежит и в основе творчества молодых египетских драматургов — последователей Тауфика аль-Хакима, во многом опередивших своего учителя. Это прежде всего Нуман Ашур, Альфред Фараг, Юсуф Идрис, Михаил Руман и Махмуд Дияб, которых Шукри называет «представителями второй революции» в драматургии. Их произведения испытали огромное влияние мировой драматургии на всем протяжении ее истории и такое же влияние арабского классического наследия и египетских народных театральных представлений. Однако «настоящая мать» этого нового направления — реальная действительность, потребности нового этапа национальной революции, на котором все больше выдвигаются на первый план социальные задачи. Те же самые причины вызвали к жизни в конце сороковых годов движение за обновление арабской поэзии. Не является случайным, что подавляющее большинство основоположников «новой» поэзии активно боролось за свободу своих народов, томившихся в оковах колониализма. Сторонники нового течения не побоялись отказаться от основ старого арабского стихосложения, кодифицированного более тысячи лет тому назад филологом Халилем, и усвоить опыт Элиота и Сен-Жон Перса вместе с опытом Назыма Хикмета, Арагона, Элюара и Пабло Неруды. Однако это не помешало глубокому взаимодействию «новой» поэзии со старым поэтическим наследием Ближнего Востока, ассиро-вавилонским, древнеегипетским, коптским и арабским, а также со всем древним и новым поэтическим наследием человечества.

Гали Шукри заключает свою статью общими выводами:

> «Нельзя быть,— пишет он,— только самобытным или только современным. Самобытность и современность неразрывно связаны, хотя и отличаются друг от друга: первая — одна из частей уравнения, а вторая — его другая часть. Не рассматривая их в диалектическом единстве, нельзя правильно решить уравнение. Отсюда критерием в оценке самобытности и современности любого явления: социального, идеологического или художественного — должна быть, с одной стороны, степень соответствия этого явления действительности во всей ее широте и, с другой — соответствие его научному методу мышления».

К этому главному выводу Шукри добавляет несколько частных критериев, касающихся оценки наследия. Первый из этих критериев — классовый подход к наследию, будь то «все еще скрытые в старых фолиантах» знания древних или продолжающие жить в повседневном быту народные пословицы и песни.

Второй критерий Шукри называет «национальным взглядом на наследие», подразумевая под этим рассмотрение арабской истории и истории древних народов «классического» Востока в неразрывном единстве, в качестве этапов общей истории одного народа. Выделять лишь один из этих этапов и не обращать внимания на другие этапы, составляющие его исторический и этнический фон,— это значит, по мнению Шукри, препятствовать подлинному и всестороннему усвоению наследия, искусственно обедняя его. Необходимо, пишет он, добиться, чтобы араб-христиане считал мусульманскую культуру существенной частью своего наследия, чтобы курд и ассириец считали арабскую цивилизацию частью своего культурного достояния, а араб-мусульманин, в свою очередь, считал Вавилон, Ассирию, Древний Египет, коптскую и финикийскую цивилизацию неразрывной частью своего наследия. Только при этом условии исчезнет повод для национальных и религиозных распрей.

В настоящее время в арабских странах уже предпринимаются отдельные попытки утвердить такой широкий взгляд на национальное наследие. Так, мысль о преемственности древнеегипетской и арабской культурной истории проводится в книге писателя и историка Хусейна Фавзи «Египетский Синдбад» и в труде молодого писателя Мухаммеда аль-Азиба Мусы «Единство египетской истории». В Ираке вышло несколько переводов на арабский язык шумеро-вавилонского эпоса о герое-богоборце Гильгамеше, ценные исследования древнего вавилонского наследия. Однако всего этого, по мнению Шукри, недостаточно.

> «Мы должны иметь полное представление о культурном наследии всего региона в его исторической преемственности. Поистине странно, что до сих пор нет арабского перевода древнеегипетской «Книги мертвых», которая переведена на различные языки мира. Более того, такая чрезвычайно важная книга, как «Описание Египта», созданная учеными, сопровождавшими египетскую экспедицию Бонапарта, до сих пор не нашла переводчика, и это в то время, как типографии арабских государств обрушивают на нас ежедневно тонны печатной продукции, большинство которой не стоит израсходованных на нее чернил».

Третий критерий — это отношение к культурному наследию как к общечеловеческому достоянию. Однако при таком подходе к наследию не следует забывать и о двух других критериях — классовом и национальном.

> «Мы, например,— пишет Шукри,— не нуждаемся в колониалистском наследии Западной Европы и США, но зато испытываем громадную потребность в наследии научного социализма, как в теоретическом, так и практическом отношении. Это наследие снабдит нас в идейном отношении средствами глубокого, научного, объективного познания действительности. Это наследие снабдит нас в практическом отношении средствами революционного изменения нашей действительности».

Статьи Гали Шукри о наследии ценны, на наш взгляд, тем, что в них по-новому, оригинально и, в общем, методологически правильно ставится важный и актуальный для современной арабской культуры вопрос, хотя некоторые положения этих статей, как, например, чрезвычайно расширенное толкование понятия «национальное наследие», носят спорный, дискуссионный характер.

Несомненно, основные выводы Гали Шукри будут иметь значение при окончательном решении сложного и запутанного вопроса о соотношении наследия и современности как на родине критика, так и в других странах, перед которыми стоят те же проблемы.

Л. СТЕПАНОВ

◆

Очерки

АЛЬБЕРТО МОРАВИА

КАКОГО ТЫ ПЛЕМЕНИ?

Главы из книги

Африка в суждениях европейского писателя

Когда крупный писатель пытается понять другой народ, другую страну, другую расу — это всегда интересно. И в наши дни важнее, чем когда-нибудь раньше. Революция в науке и технике настолько развила хозяйственные, культурные и вообще всевозможные связи между странами, что размеры нашей планеты как бы сократились. Именно сейчас-то она и становится плоской — из каждой точки обзор уже не на несколько километров, до видимого горизонта, а почти бесконечный. Страны сблизились, расстояния между ними сократились, и небывало возросла их взаимная зависимость.

Когда-то, вероятно, и можно было довольствоваться слухом, что живут за тридевять земель султан Махнут турецкий и султан Махнут персидский. Сейчас знать и, куда больше, понимать друг друга — даже не просто нужно. Это жизненно необходимо. И тут очень важна роль писателя — он умеет подойти с новой, часто неожиданной стороны, увидеть то, чего не заметит другой глаз.

Альберто Моравиа, как он сам пишет, стремился в своих путешествиях «открыть Африку познавательно, то есть хотел увидеть ее и понять». И поясняет: «Познавательное открытие предполагает, главным образом, опыт, расширяющий наше представление о мире».

Такое познавательное открытие Моравиа противопоставляет другому открытию — агрессивному. «Путешественники XIX века — все эти Стэнли, Ливингстоны, Бейкеры, Спики, Бёртоны — «открыли» истоки Нила в агрессивном смысле. В их книгах ничто не дает повода предполагать, что исследование Африки обогатило их с точки зрения культурной, эстетической, нравственной и проч. В самом деле, они отправлялись в Африку вовсе не для того, чтобы увидеть ее и понять, а для того, чтобы аннексировать и завоевать. Речь шла прежде всего об аннексии, о завоевании, так сказать, психологическом, а затем политическом, военном, управленческом».

Выражение «познавательное открытие», пожалуй, не очень удачно, но сама постановка вопроса современна. Больше того — обращена в будущее. Для познавательного открытия у Альберто Моравиа возможности, несомненно, большие. У него за плечами почти полувековой литературный опыт. Большинство его повестей и романов — психологические, основаны на познании самого сложного, что есть в человеческой жизни.

Африку он видел не в однонедельной

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — ALBERTO MORAVIA (род. в 1907 г.).

Видный итальянский писатель, автор многих романов, сборников рассказов, пьес, эссе, путевых заметок. Большинство его произведений переведено на иностранные языки, ряд романов и рассказов экранизированы. «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством А. Моравиа, опубликовав романы «Чочара» (№№ 1—3, 1958), «Презрение» (№№ 9—10, 1963), рассказы из его сборников «Автомат» (№ 1, 1964), «Вещь это вещь» (№ 12, 1967), «Рай» (№ 8, 1971). В русском переводе вышли также «Римские рассказы».

Мы публикуем отдельные главы из книги дневниковых записей А. Моравиа разных лет «Какого ты племени?». «A quale tribú appartieni?». Milano, Bompiani, 1972.

туристской поездке (немало авторов умудрялись и на таких впечатлениях возводить целые книги). Он в течение многих лет бывал в африканских странах: в Гане, Камеруне, Кении, Уганде, Судане, Танганьике, на Занзибаре... Очерки о своих поездках в 1963—1972 годах он и выпустил книгой, назвав ее «Какого ты племени?» — такой вопрос ему задал один из жителей Уганды. Моравиа смотрел на эти страны глазами, повидавшими уже очень многое. Книгу он выпустил в год своего 65-летия.

Время, которым «датировано» знакомство Моравиа с Африкой, сделало для него задачу проникновения в африканскую жизнь все-таки менее трудной, чем для тех, кому он себя противопоставляет и к кому он не всегда справедлив. Спику, Бёртону, Ливингстону и даже Хемингуэю, который ездил в Африку за три-четыре десятилетия до Альберто Моравиа, обстановка для этого куда менее благоприятствовала.

Поездки Моравиа не были подчинены заданию властей предержащих, как у многих его предшественников — например, у Дюма-отца, которого когда-то послали в Африку, чтобы он своими путевыми очерками склонил французскую публику в пользу расширения колониальной империи.

Среди крупных писателей Запада Моравиа одним из первых путешествовал по Африке уже в послеколониальную эпоху, когда он не выступал в качестве посланца колониальной державы — и соответственно воспринимался местными жителями. И хотя прежние преграды еще не вполне исчезли в сознании как той, так и другой стороны и до взаимной раскованности еще далеко, все-таки Африка куда больше раскрывалась перед Альберто Моравиа, чем перед теми европейскими писателями и путешественниками, которых он упоминает.

Моравиа стремился полнее использовать эти возможности. Его интересует не быстротечная информация, не сенсации газетного толка. По мнению Витторио Спинаццолы, автора опубликованной в газете «Унита» рецензии на книгу, «Моравиа пишет в манере хроникера, но хроникера, который делает акцент не на живописных и фольклорных эффектах; он хочет, опираясь на факты, обрисовать обстановку, ситуации, нравы». Это верно. Моравиа противопоставляет себя не только известным путешественникам колониальной поры, но и нашему современнику — этакому бойкому репортеру, суматошливо носящемуся из страны в страну в поисках «непочатого края информации», где «только копни, и новости фонтанируют, как нефть в пустыне».

Альберто Моравиа в этой книге, как и в других, совсем не чужд политики. Он интересно и убежденно говорит о пагубном влиянии колониализма. Находит очень емкое определение неоколониализму: «Насилие остается, хотя и не так бьет в глаза. Как оно теперь называется? Тоже насилием — насилием экономическим, туристским, культурным». Правда, претендовать на глубокий анализ современного положения черного континента книга его не могла бы — прав рецензент газеты «Унита», указывая, что для такого анализа существен факт установления отношений Африки не только с Западом, но и с социалистическими странами, не нашедший отражения в книге.

Все же главные интересы Альберто Моравиа, как справедливо говорится в этой рецензии, больше относятся к психологии, чем к чисто социально-политической сфере. И действительно, в своих на первый взгляд весьма беглых зарисовках он пытается под пленкой сегодняшних событий определить глубинные слои, показать дыхание природы и давних традиций.

На эту мысль автор наводит своего итальянского читателя уже суперобложкой. На ней повторен рисунок переплета, где черным по белому изображены ломаные линии шкуры зебры. Знакомясь с книгой через витрину магазина, читатель может полагать, что автор рассказывает и об исконно древних, биологически сущих особенностях природы и жизни этого материка. Автор как бы дает понять, что и нынешняя жизнь Африки как-то, вероятно, истекает из ее глубин, от тех же элементов органической жизни, какие в давности так своеобразно выразились в обманывающих зрение зебристых линиях.

Моравиа, вероятно, хотел сразу же показать, что в этой книге, касаясь современности, лежащей на поверхности Африки тонким пока слоем, он пробует врыться в подпочвенные глубины, поднять и показать ту давнюю силу, создавшую, как испарения своей бездонности, еще зыбкое, не очень прочное африканское сегодня. Может быть, поэтому автор в первом же приведенном здесь очерке с такой категорической резкостью отрывает от современности очерки Хемингуэя и отводит им место в историческом прошлом, датирует их эпохой, уже прошедшей. И те ситуации, и те хемингуэевские персонажи уже не существуют в Африке, они начисто стерты с африканского плоскогорья еще при жизни самого Хемингуэя.

Насколько же Моравиа справился со своей очень нелегкой задачей, насколько сумел он разглядеть подлинное лицо Африки, понять ее, открыть ее для себя и для других?

Критика единодушно хвалит страницы, посвященные собственно путешествию. Соотечественник автора итальянский публицист Энцо Рава писал в нашей «Литературной газете»: «Очень привлекательны люди, природа, животные, обычаи, культура, описанные Моравиа с присущими его перу блеском и основательностью. Кое-кто даже находит, что эти страницы — самое лучшее из всего

созданного писателем за последнее время: столько в них воздуха, красок, свободы».

Упреки критиков вызваны концептуальными идеями автора, которые нередко далеко не бесспорны, а к тому же подчас изложены сбивчиво и противоречиво. В. Спинаццола даже счел, что отправной точкой зрения у Моравиа тут был «антропологический критерий, основанный на утверждении коренной противоположности двух континентов», Европы и Африки; что такое противопоставление «сводит на нет исторический динамизм, так изменивший Африку»; и, наконец, что «автор как будто оплакивает ту Африку, которая сто лет назад была «загадочной», а теперь оказалась просто «отсталой». Выражение «как будто» свидетельствует, что рецензент не столько намеревается предъявить претензию автору, сколько опасается, как бы книга не была превратно понята читателями. (И Энцо Рава, говоря о некоторых спорных соображениях Моравиа, подчеркивает в то же время, что «продиктованы они самыми лучшими чувствами автора».)

Собственно, когда Моравиа прямо ставит вопрос: «А какими должны бы быть отношения между Африкой и Европой?» — он отвечает совершенно определенно: «Надо исходить из того, что африканец не сделан из иного теста, чем европеец, они не «инородны». Нарекания вызывает дальнейшее рассуждение — о том, что порабощение Африки Европой было насилием «истории» над своей непременной спутницей — «антиисторией».

Конечно, по меньшей мере спорно противопоставление истории и «антиистории», которая, по словам автора, есть «сама природа, то есть нагота, неизменное, вневременное».

Думаю, что все это связано с отголосками идей о «целомудренной наготе», первозданной простоте и чистоте — идей, восходящих ко временам Руссо и даже античного мира. Ведь и в наше время в такой оболочке нередко выражается протест художников, чьи представления об этике глубоко задеты ростом преступности и лицемерия, а эстетические чувства бунтуют против униформы пиджаков, шляп и туфель на «платформе».

Иные суждения автора, даже будучи не вполне справедливыми, вынуждают задуматься. «Сегодня, наконец, стало ясным, что «открытие» Африки на самом деле было не чем иным, как следствием наивной, неодолимой биологической потребности более сильных народов сблизиться с народами более слабыми — во вред им. Но травма была нанесена необратимо»,— пишет Моравиа. Так ли случайны эти его слова, чтобы от них можно было отмахнуться? Нет. Ведь никуда от этого не деться, в странах Африки, Азии, Латинской Америки немало людей примерно так и рассуждают. Считают тождественными понятия «колонизатор» и «белый человек». И «необратимой» — нанесенную травму. А среди «белых людей» разве совсем уже вывелись такие, кто считает «цветного» объектом подавления, угнетения или хотя бы просто насмешки? Так ли просто достичь взаимопонимания, как получается в иных корреспонденциях не очень далеких журналистов?

Или другое. Вряд ли можно согласиться с Моравиа, когда он объявляет католическую культуру гуманистической, универсалистской, а протестантскую — националистической, расистской. Но и этой крайностью он заставляет задуматься над немаловажным вопросом. Действительно, многое в характере колониальных империй определялось характером той религии, которая насаждалась метрополией. А особенности быта и духовной жизни в каждом из молодых государств «третьего мира» еще долго будут носить на себе отпечаток той империи, куда эта страна еще так недавно входила.

На Тропическую Африку Европа за всю историю человечества смотрела с особым вниманием, пожалуй, три раза. Первый — в эпоху великих географических открытий. Это привело к работорговле — из Африки были вывезены миллионы людей. Второй связан с империалистическим «разделом» Африки. Третий, в наше время,— с ее освобождением. Но от провозглашения независимости до подлинного равноправия среди народов мира дистанция еще немалая.

Альберто Моравиа выпустил интересную книгу. Помимо всего прочего, она показывает, насколько сложно и трудно писать о чужих народах, если стремиться к подлинному пониманию, а не просто скользить по поверхности и пересказывать истины, ставшие уже банальными.

А. ДАВИДСОН

КОНЕЦ МУЖЕСТВУ

Аруша, май 1963 г.

Хемингуэевское изображение Африки — с концом империализма, с одной стороны, и с наступлением неоколониализма, с другой,— не выдержало испытания временем. Путешествуя по черной Африке, понимаешь, до чего африканский Хемингуэй «датирован», то есть привязан к определенному этапу исторического развития черного континента. Хемингуэй «датирован» не только потому, что в его африканских рассказах выведен узкий круг снобов, богачей, несостоявшихся интел-

лектуалов, ныне более не существующий, но и потому, что до странности устарел весь образ мыслей, пронизывающий эту хемингуэевскую прозу, будто она писалась в прошлом веке. В таких рассказах, как «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», отражен момент, для колониализма полный горечи и разочарования, но mutatis mutandis — как бы то ни было, Хемингуэй мыслит теми же понятиями, что и Киплинг. Я имею в виду прежде всего личное мужество; пусть во фрейдистском понимании этого слова, но для Хемингуэя, как когда-то для Киплинга, это — главная добродетель белого человека. В наше время в Африке наметилась другая тенденция: личное мужество вытесняется другими качествами, гораздо более необходимыми. Вернее, мужество необходимо и будет необходимо всегда — быть может, даже в большей мере, чем раньше, но это уже будет не мужество охотника Уилсона из «Недолгого счастья Фрэнсиса Макомбера», застрелившего льва на расстоянии двух шагов; это будет другое мужество, менее картинное, более гражданское, а главное, оно перестанет быть исключительной чертой белого человека, им будут обладать все — и белые и черные, всякий, кто стремится сегодня изменить облик континента.

И все-таки есть в Восточной Африке места, где хочешь не хочешь непременно вспоминается Хемингуэй. Надо отдать ему должное: места, которые напоминают о нем,— самые лучшие на всем черном континенте. Я говорю о так называемых заповедниках, или естественных парках, где богатые европейцы в погоне за сильными ощущениями устраивают «сафари» — охоту на крупного зверя.

В своих африканских рассказах Хемингуэй не раз описывал сафари, и снобистский дух этой довольно вульгарной и пустой туристской забавы в известной степени обусловил ограниченность его африканского опыта.

На языке суахили, самом распространенном языке всей Восточной Африки, исходное значение слова «сафари» — «путешествие». В этом смысле приобщился к сафари и я: в одно прекрасное утро сел на острове Занзибар в самолет и, следуя тамошнему авиационному маршруту, добрался до Аруши на склоне величественной горы Меру. В Аруше — поселке швейцарского типа, примостившемся на краю леса,— я застал грузовую машину с припасами, высланную мотелем, находящимся оттуда в сотне километров. Грузовик, подпрыгивая на ухабах скверных дорог и троп, доставил меня через степное плоскогорье к озеру Маньяра.

Спать я лег в тревожной тьме африканской ночи. В темноте мне показалось, что номера мотеля расположены вкруговую, по краю какой-то пропасти, которую полная луна наводняла тихим, туманно-серебристым светом. Когда на следующее утро я вышел из комнаты — солнце уже припекало,— меня инстинктивно потянуло пройтись вдоль тропинки среди акаций. Тропинка вела к невысокой каменной ограде, за которой угадывалась пустота. Подойдя, я перегнулся посмотреть, что внизу.

Передо мной предстало необозримое, поистине африканское, то есть доисторическое, зрелище, при виде которого воображение тотчас начинает рисовать допотопных чудовищ — динозавров, мамонтов, летающих драконов. Гладкое озеро серостального цвета, там и сям освещенное смутным, слепящим светом, простиралось до самого горизонта. Его со всех сторон обступали горы в форме стола или пьедестала без статуи. Склоны гор, густо, до черноты поросшие лесом, круто спускались к широкому, плоскому, сизо-белому берегу с узкой полоской камыша. Приземистые горы, отливающая металлом водная гладь, заболоченный берег, даже небо с высокими неподвижными облаками — все создавало впечатление, будто перед нами немой, безгласный, пока безлюдный мир, гигантские подмостки, где действующие лица — одни лишь растения и животные.

Я посмотрел вниз: в двухстах метрах от меня зеленели джунгли — нечто вроде густого щелока в состоянии непрерывного бурления.

То были африканские джунгли — черные, густые, мясистые, пышные, тяжелые, глянцевитые. Потом мне вдруг показалось, что они шевелятся... Присмотревшись, я понял, почему мне так показалось: подо мной, на склоне горы, хорошо замаскированное листвой деревьев, паслось стадо слонов. Теперь я различал слоновьи уши, похожие на большие болотные листья, бочкообразные спины, коренастые столбообразные ноги, вздернутые хоботы, опущенные свиные хвостики. Слоны брели, обгладывая с деревьев листья, и была в них удивительная смесь бесхитростности и мощи, характерная для всех чудищ, рождаемых природой. Я смотрел на них, бредущих сквозь лесную чащу, далеко-далеко, и спрашивал себя, какая это отдаленность, пространственная или временная, не принадлежат ли эти существа к другой геологической эпохе.

В тот же день на одной из специальных машин с отверстием в крыше, какими пользуются для охоты на крупного зверя, я отправился вниз, к озеру. Сначала мы долго ехали через лес, тот самый, который я видел сверху, потом, наконец, выбрались в саванну. Вокруг — высокая трава невыразительного, бледно-зеленого цвета, круглые кусты, низкорослые узловатые акации... Между кустами поблескивает серая гладь озера. Но ни львов, ни леопардов, ни их добычи — травоядных, ни зебр, ни диких кабанов не видать. Не видно также буйволов и носорогов, обычно встречающихся в этих местах. Саванна казалась необитаемой, она тянулась, насколько хватал глаз, освещенная ровным желтым светом, блеклая, как выцветшая от времени фотография.

Тогда я сказал водителю — молодому негру с выражением усердия и насторо-

женности на лице,— чтобы он ехал в ту часть парка, где можно видеть зверей. Он с улыбкой ответил, что именно в этой части мы и находимся. Машина остановилась. Я встал на сиденье и через отверстие в крыше выглянул наружу. Дул горячий вялый ветер, в котором мне почудился запах Африки, не сильный, но терпкий запах, как бы исключающий чистоту. Неподвижное солнце жгло кусты, акации, озеро. И тут в траве что-то зашевелилось. Внезапно среди тонких зеленых стеблей возникла огромная рыжая голова льва. Лев глядел в сторону озера. Потом он встал и, беззвучно растягивая губы, обнажая крупные белые клыки, разинул пасть. Казалось, он набирает силу, копит ярость, чтобы придать своему рыку подобающе грозное звучание.

В самом деле, в следующее мгновенье лев подал голос — раздалось глубокое, хриплое рычание. Лев продолжал стоять. Туловище у него по сравнению с головой — небольшое и стройное, он весь устремлен вперед, каждый мускул отчетливо вырисовывается, длинный хвост с темной кисточкой на конце свисает до земли. На рев откликнулась львица — сначала я ее не заметил; она не спеша поднялась с травы и встала рядом так, что ее безволосая круглая голова оказалась чуть позади головы самца. Наконец, рев стих, и лев со львицей пошли прочь — медленно, с ленцой, явно раздосадованные тем, что их потревожили, полные решимости не обращать на нас внимания. Они отошли метров на десять, к другому кусту, и снова растянулись в высокой траве — совершенно исчезли из глаз. Я присмотрелся — опять ничего не видно. Но я знал, что львы тут, что они меня видят.

Машина снова тронулась в путь, теперь мы выехали на берег озера. Видели ли вы сюрреалистические картины, на которых нарисованы в вихревой перспективе плоскости, усеянные какими-то блестящими, четко очерченными предметами? Таков был берег этого озера. Грязновато-белый, шелудивый, он был усыпан, насколько хватал глаз, какими-то обломками скелетов, костяками, черепами. Машина подъехала к одному из таких костяков, и я обнаружил, что это ствол дерева с несколькими ветвями, добела обглоданный, изъеденный солнцем и песком.

Дерево напоминало скелет человека, погибшего в этой пустыне от голода и жажды; оно наверняка рухнуло само, от старости, после чего его пригнало сюда ветром или прибило озерной волной во время прилива. И вот оно лежит, сверкает белизной на солнце. Это тоже типично африканская черта: деревья здесь умирают от старости — падают, разлагаются. И все это без участия человека, ибо его рядом нет.

Машина пошла дальше, и я увидел еще одно из этих скелетообразных, ослепительно-белых деревьев, но когда мы подъехали ближе, я, к своему удивлению, обнаружил, что это в самом деле скелет, скелет животного — видимо, буйвола, судя по огромным черным рогам, торчавшим из полузасыпанного песком черепа, и по валявшимся среди камней крупным дугообразным позвонкам.

Растерзали львы? Умер от старости? Кто знает... Так на этом берегу выявилась еще одна характерная черта здешней безлюдной природы: соседство неодолимой, предоставленной самой себе смерти с жизнью. Человек не любит, чтобы смерть соседствовала с жизнью. Кладбища, фургоны для мусора, свалки на окраинах городов — все это он придумал, дабы тщательно убирать с глаз всякий след умирания, внушая самому себе, что в мире, в котором он живет, существует только жизнь.

Мы проехали по берегу, усеянному скелетами, еще с полкилометра; свернули в сторону, и вдруг эта усыпальница животных ожила. Перед нами вдоль кромки воды бежали, тряся тюками черных перьев под длинными шеями, большие страусы; чуть подальше линовало пространство своими белыми и черными полосами стадо упитанных, толстых, жирных зебр; еще дальше убегали вскачь — нет, брызнули врассыпную в сторону саванны мириады желто-черных газелей; наконец, совсем вдали, на фоне подернутой дымкой саванны, разгуливали тонконогие тучные черные буйволы.

В кустах мелькали другие животные, поменьше — по всей видимости, лисы, или кабанчики, или карликовые антилопы. Оказывается, заповедник кишит разной живностью, и вот что поразительно: львы и травоядные, то есть те, кто пожирает и кого пожирают, живут бок о бок, не замечая друг друга, чуть ли не в мире и согласии.

Как я уже говорил, я стоял на сиденье машины и — видимо под действием окружающей обстановки — ловил себя на том, что перевоплощаюсь в одного из персонажей Хемингуэя; мне казалось, будто в руках у меня карабин и я целюсь в буйвола, во льва, в газель или зебру. Но вот что я обнаружил: стараясь представить себя на месте охотника, я не мог отделаться от ощущения, что убить одно из этих животных — значит совершить преступление, совершенно такое же, как убить человека. Под конец я, кажется, установил, в чем дело. Чтобы увлечься охотой, надо влезть в шкуру современного человека. Мы живем в обществе потребления, слоны и львы для любителей сафари, в сущности, то же, что автомобили и холодильники — предметы, подлежащие потреблению, то есть уничтожению,— надо же освобождать место для других, более качественных или более дешевых! Значит, мне попросту не удается быть современным, иными словами, избавиться от мысли, что если автомобили и холодильники легко заменяемы, то львы и слоны после «потребления» исчезают навеки.

КУЛЬТУРА, МЕШАЮЩАЯ ПОНЯТЬ ДРУГИХ

Момбаса, июль 1963 г.

Я вспоминаю ресторан большой гостиницы в Момбасе: белоснежные скатерти, блеск хрусталя и приборов, кондиционированный воздух, венский оркестр, официанты в белых пиджаках с атласными лацканами, буфет со всевозможными западными деликатесами. За столом неподалеку от нас сидела мужская компания: их было человек десять, все зрелого возраста, между сорока и пятьюдесятью, все плотные блондины, на всех короткие брюки, точнее, длинные трусы и белые рубашки с короткими рукавами. Я долго смотрел на них с тем смешанным притягательно-отталкивающим чувством, какое испытываешь, соприкасаясь с чем-то совершенно непостижимым, особой симпатии не вызывающим, и про себя отметил: вот они, почти безукоризненные образчики человеческой породы, которую я назвал бы homo victorianus [1]. Таких редко встретишь теперь даже в самой Англии.

У англичан нынче редко увидишь такие геркулесовски толстые ноги, такие монументальные ляжки, такие тугие, как барабан, животы, такие мускулистые торсы, такие массивные затылки, такие выдающиеся вперед подбородки, такие усы щеточкой; англичане, особенно из правящего класса, теперь поджарые, длинноногие, гибкие, элегантные, интеллигентные. Дело в том, что в промежутке между викторианской эпохой и нашей произошла политическая, экономическая и социальная, а следовательно, и — как бы это точнее выразиться — физиологическая революция. Но там, где атмосфера викторианского империализма целиком или частично сохранилась — например в Кении,— наблюдается и соответствующий тип человека.

У меня не особенно чуткое ухо, а вот мой сосед по столу слышит даже то, что говорят в другом конце зала. Так было и в этот раз. Смотрю, он перестает есть и как бы настраивает свои ушные раковины на круглый стол с мужской компанией. Я, наконец, не выдерживаю, спрашиваю:

— Кто это?

— Скоты.

— А поточнее?

— Землевладельцы, коммерсанты, фирмачи.

— И о чем они толкуют?

— Об африканцах, конечно.

— Что они говорят?

— Ругают.

— Кого?

Мой приятель умолк еще на некоторое время, прислушался. Потом, не переставая слушать, пробормотал:

— Разве передашь во всех подробностях разговор, который ведется по-английски! В нем столько оттенков, полутонов, намеков, особо расставленных акцентов... Помимо слов следовало бы переводить покашливания, осечки, запинки, хрипотцу, повторения. Стало быть, передать все, что они говорят, я не могу. Могу лишь сделать краткое резюме.

— Давай резюме.

— Вкратце речь идет вот о чем: африканцам, видишь ли, будет не под силу самим управлять административной, экономической и социальной машиной, созданной в Африке европейцами. Как только белые уйдут, все рухнет. Причем не столько потому, что африканцы не обладают определенными знаниями— знания со временем можно приобрести; оказывается, африканцы по природе своей не способны к некоторым вещам в силу своей расовой неполноценности.

— Какие же приводятся доказательства?

— Никаких. Эти люди заведомо убеждены в своей правоте. Именно на этой посылке, без слов разделяемой всеми, и основана беседа.

— А что они говорят еще?

Мой сосед по столу опять обращается в слух, в глазах — лукавая ухмылка. Наконец он сообщает:

— Теперь они разговаривают о некоем Харрисоне, который разошелся с женой, чтобы жениться на какой-то Мод.

— Ладно, хватит, это меня не интересует.

Homo victorianus, десять экземпляров которого сейчас у меня перед глазами, встречается по всей Африке и поныне, но с каждым днем — по мере того как колониализм старого типа заменяется неоколониализмом — все реже и реже. Надо признать, что расистские взгляды homo victorianus основаны не только на корысти, как может показаться с первого взгляда. Эти десять упитанных мужчин в шортах по сути — невольные носители определенной культуры, той националистической, индивидуалистской, буржуазной, протестантской культуры, которая показала свое лицо в Европе сразу после реформы. Иначе и быть не может. Облик европейца всегда

[1] Человек викторианской эпохи *(лат.)*.

определяется его историей, в своих отношениях с народами иных культур он всегда, умышленно или невольно, пользуется теми весьма сложными и тонкими орудиями культуры, которые выковывались столетиями. Но не все европейцы в Африке являются носителями культуры протестантского происхождения.

Я имел случай убедиться в этом несколько дней спустя при совершенно иных обстоятельствах. Мы ехали по Южной Кении. В одном месте водитель посоветовал нам свернуть с главной дороги на боковую, что, по его словам, намного сократило бы путь. Правда, на развилке мы увидели дощечку с надписью: «Дорожные работы, сквозного проезда нет», но водитель нас заверил, что надпись старая и что дорогу давно закончили. Мы последовали его совету и свернули. Боковая дорога была неасфальтированная, грунтовая, кроваво-красного цвета и пролегала в местах совершенно сказочных, удивительных, фантастических: вокруг, насколько хватал глаз,— холмы, между холмами глубокие долины и кое-где, на большом расстоянии один от другого, огромные, гигантские, одинокие баобабы. Мы долго кружили меж холмов, то и дело останавливались полюбоваться странным пейзажем. Стояла глубокая тишина, разбросанные там и сям баобабы, будто в отчаянии вскинувшие свои безлистные ветви, и впрямь походили не на деревья, а на живые существа; казалось, они вот-вот закричат или, приподнявшись на корнях, двинутся в путь. За очередным поворотом дорога внезапно оборвалась. Перед нами — разрытый бок зеленого холма, ярко-красная площадка; на площадке сгрудились, застыли на солнцепеке выкрашенные в желтый цвет экскаваторы; в ближайшей долинке стоял стандартный домик.

К нему мы и направились. Навстречу нам тотчас вышли двое: один, пожилой,— мастер и второй, помоложе, — рабочий. Они сторожили строительную площадку. Остальные рабочие, поскольку день был воскресный, уехали в город. Мастер оказался итальянцем из Лигурии, рабочий — из Пьемонта. Они пригласили нас в домик, скудно обставленный случайной мебелью, угостили выпивкой. Мы разговорились.

После расспросов о дороге, о строительных работах, о семьях разговор, как водится, перешел на африканцев. Он неминуем: нет для европейцев в Африке более жгучей проблемы, ничто их так не волнует, как африканцы.

Мастер из Лигурии был немногословен, он ограничился несколькими сдержанными, хотя явно недоброжелательными замечаниями, при этом улыбался и горестно качал головой.

Рабочий из Пьемонта оказался разговорчивее. Он разразился такой пространной речью по поводу недостатков африканских рабочих, работающих на строительстве дороги бок о бок с белыми, словно мы были инспекторами, присланными некой международной организацией для сбора сведений — отрицательных фактов, замечаний, жалоб. Не стану приводить его доводы, по большей части сводившиеся к избитым фразам, хотя на первый взгляд они могли показаться убедительными, так как подкреплялись ссылкой на личный опыт.

В сущности, этот рабочий вменял в вину африканцам то, что они ведут себя — на стройке и в других местах — не так, как должно. А образцовое поведение — это поведение белых, иными словами, рабочий-итальянец ругал африканцев за то, что они не ведут себя как европейцы. Обрушив на них лавину обвинений, он в заключение глубоко убежденным тоном изрек:

— Что вы хотите, главная беда этих людей — невежество.

Немного погодя, распрощавшись с соотечественниками — оставив их в прежнем одиночестве, среди баобабов,— мы поехали дальше. Однако я всю дорогу помнил об этой встрече и не мог не сопоставить слова итальянского рабочего с беседой, которую вела компания англичан в гостинице в Момбасе. Бессознательно в своих суждениях об африканцах рабочий тоже стал рупором определенной культуры. Устами англичан говорила культура протестантская; устами итальянца — культура католической страны. В самом деле, англичане по-расистски корили африканцев за то, что они африканцы; рабочий-итальянец осуждал их за другое — за то, что они «ведут себя» как африканцы. Большая разница: в первом случае у африканцев безвыходное положение; во-втором они при желании могут найти выход, то есть вести себя по-иному. Если с точки зрения англичан отсталость африканцев — это вопрос крови, наследственности, то по мнению итальянского рабочего она объясняется невежеством.

Невежество — вот слово, в котором нашел наиболее полное выражение бессознательный гуманизм рабочего. Их беда — невежество; это значит, что африканцы такие же люди, как мы, только невежественные, они *не знают*. Как только они наберутся решимости покончить с невежеством, никакой разницы между людьми, родившимися на пустынном берегу дикого озера Рудольфа и на цветущем берегу очаровательного озера Комо, не будет. Или та же мысль, но в более изощренной и резкой форме: если бы африканцы *знали*, они бы перестали быть африканцами, то есть не были бы чернокожими людьми с выступающей вперед нижней челюстью и курчавыми волосами. Такова гуманистическая концепция, претендующая почти на чудо.

Само собой разумеется, что ни националистическая, расистская, ни гуманистическая, универсалистская концепции не в состоянии помочь нам понять африканцев, установить с ними безыскусственные отношения. Как ни странно, первая, наиболее враждебная африканцам, опирается на большее число научных данных; вторая имеет чисто

нравственный и религиозный характер. Но и та и другая являются орудиями культур, с помощью которых предполагается установление контакта с народами, не обладающими культурой в том смысле, в каком это слово понимается в Европе.

Африканская культура существует, это бесспорно, но опосредствованных, интеллектуальных, рационалистических черт она лишена, она порождается неизменной биологической потребностью, а не изменчивой эволюцией истории. Эта столь радикальная разноплановость африканской культуры и культуры европейской и объясняет, по нашему мнению, затрудненность, чтобы не сказать невозможность, наших взаимоотношений. Невежество, приписываемое пьемонтским рабочим африканцам, в несколько ином плане может быть отнесено и к европейцам. Чем больше эти последние будут знать, тем большему смогут научить. Иначе говоря, невежество европейцев — вот первопричина невежества африканцев.

КРЕСТ НАД АФРИКОЙ

Уджиджи, январь 1969 г.

Машина медленно движется по красной дороге — будто кровоточащей, бледно-красной и влажной, как если бы грунт был замешан на крови. Мы проезжаем полосу обработанных земель между плоскогорьем и озером Танганьика. Повсюду пористая, лоснящаяся зелень огородов, полей, садов; то тут, то там, словно подвешенные в воздухе, темнеют шары манговых деревьев. За двое суток езды по лесистому плоскогорью мы видим обработанную землю впервые. Эта часть Танзании, близ границы с Бурунди,— дикая; но вместе с тем живописности и подлинной экзотики она лишена. Кое-где здешний лес похож на густые заросли, покрывающие склоны Апеннин. И только свет — обильный, беспощадный, а после ливня слепящий — напоминал нам, что мы в Африке.

А вот и озеро Танганьика. Возникает оно неожиданно, между двух холмов. Потом оно раздвигает, разводит холмы в стороны, становится все шире, шире и заполняет все пространство вплоть до горизонта. Оно черное под крышей из черных туч — ведь сейчас сезон дождей. Ни конца ни края его пустынным водам не видно (по ширине и длине озеро Танганьика почти равно Адриатическому морю), и все-таки чувствуется, что перед тобой именно озеро. Не веет от него тем неуемным, вольным ветром, каким веет от моря. Более того, говоря по правде, при виде этого озера одолевает клаустрофобия. В действительности же озеро Танганьика — это пуп Африки, пуп глубиной в полторы тысячи метров в самом чреве континента, и от Индийского, так же как от Атлантического, океана его отделяют многие сутки езды по бездорожью. Тревожное чувство, что попал в cul de sac[1], не проходит и после того, как пересечешь озеро из конца в конец — окажешься на противоположном его берегу. С той стороны — Конго, те же необитаемые леса, те же кроваво-красные дороги.

Согласно местной легенде, там, где сейчас раскинулось озеро Танганьика, был когда-то небольшой глубокий колодец, принадлежавший супружеской чете. Боги наполнили колодец вкусной рыбой; то была тайна, и разглашать ее не полагалось. Но вот жена завела себе любовника, рассказала ему про рыбу и дала отведать. Разгневанные боги сделали так, что колодезная вода перелилась через край и затопила всю округу. Муж, жена и любовник утонули, а вода из колодца все лилась и лилась, пока не превратилась в Танганьику, третье по величине озеро мира. Одни усмотрят в этой легенде структурный элемент тайны и женской болтливости. Я же вижу в нем прежде всего африканскую нищету. Кто знает, быть может, супружеская чета — это племя банту, первым обнаружившее озеро, очень богатое рыбой. (По мнению ихтиологов, оно содержит сто сорок шесть видов рыб.) Понимая, как ему посчастливилось, племя намеревалось сохранить свое богатство в тайне. Но явилось другое племя, и тайна была раскрыта.

А вот Уджиджи. Здесь, как значится в нашей (то есть написанной европейцами) истории, 10 ноября 1871 года доктор Ливингстон — его, больного, несли на носилках верные слуги-негры — встретился со Стэнли, которого директор газеты «Нью-Йорк геральд» Беннетт послал на поиски миссионера. Именно в Уджиджи между двумя исследователями Африки состоялся столь же знаменитый, сколь и комичный своей викторианской высокопарностью диалог.

— Полагаю, передо мной доктор Ливингстон? — спросил Стэнли.

— Да.

— Я благодарю бога за то, что он позволил мне увидеть вас.

— А я благодарю вас за то, что вы здесь. Добро пожаловать.

Встреча и разговор, если верить прочитанной мною в детстве толстой книге с многочисленными иллюстрациями под названием «В поисках истоков мира», произошли в густой чаще девственного леса. Теперь место встречи выглядит совершенно по-иному.

---

[1] Тупик *(франц.)*.

Наша машина съезжает с основной трассы на второразрядную, между двумя рядами четырехугольных глинобитных хижин шоколадного цвета с проржавевшими железными крышами. Подпрыгивая на неровностях дороги, напоминающей высохшее речное русло, машина спускается к небольшому озерному порту — вдали видны мол и несколько лодок в камышах. Однако на полпути машина вдруг притормаживает и въезжает на пригорок.

Как ни странно, здесь, в этом убогом и безликом месте стоит небольшой памятник в форме усеченной пирамиды, из крупных каменных плит горчичного цвета. На одной плоскости пирамиды выгравирован тупоугольный, массивный африканский континент, который так похож на самого тупого и массивного африканского зверя — носорога. А поверх него, как бы перечеркивая очертания континента, наложен черный христианский крест; верхняя точка его касается Триполи, нижняя — мыса Доброй Надежды.

Я нагнулся, чтобы разобрать, что написано на мемориальной доске, и прочел: «Здесь росло манговое дерево, под которым 10 ноября 1871 года Генри Мортон Стэнли встретил доктора Дэвида Ливингстона».

Я огляделся. Надо сказать, что африканцы, видимо, не придают знаменитой встрече того значения, какое ей приписывают европейцы. Вокруг все загажено, кишит черными, голубыми, зелеными мухами. Трава грязная, затоптанная.

Стайка полуголых ребятишек уставилась на нас с ошалелыми от испуга и удивления лицами. Должно быть, мало кто из европейцев попадает в Уджиджи. Мы снова садимся в машину и едем в порт. Там, среди высокой осоки, сидит на мели бездонная баржа, наполненная вонючей водой, стоят на причале выдолбленные из стволов деревьев пироги, удят рыбу рыбаки. При виде наших фотоаппаратов рыбаки принялись строить нам рожи, грозить кулаками. Мы сфотографировали озеро; летящие фламинго, тонкий зеленый камыш неожиданно напомнили старинный китайский рисунок.

После этого мы уехали. Прощай, Уджиджи.

Но христианский крест, столь уверенно наложенный на весь африканский континент, наводил на размышления. Помимо всего прочего эта символика не точна. Христианская религия — может быть, потому, что это религия европейских захватчиков, — отнюдь не завоевала Африку. Очевидно, что гораздо больших успехов добился здесь ислам, хотя эту религию исповедуют арабы, издавна проливавшие кровь африканских народов. Но ислам — религия более простая, чем христианство. Отношения с богом у нее более прямые, без посредников. Наконец, ислам «неподвижен», в то время как христианство «в движенье»; всегда, с момента своего возникновения, оно только и делало, что «двигалось». Вот почему ислам, оставшийся религией в традиционном смысле слова, привлекает африканцев больше, нежели христианство, которое зачастую сводится к философии морали. Однако главный объект моих раздумий совсем иной.

В конце концов, основной вопрос таков: надо или не надо «открывать» Африку? И в чем подлинный смысл этого глагола «открывать»? Давайте разберемся. Один ученый, одержимый своей идеей, после долгих исследований и поисков «открывает» древний текст; другой, неоавангардист, благодаря поздно появившемуся переводу «открывает» тридцать лет спустя после его первого появления в печати «Улисса» Джойса. Первый скромен: он работает, сливается, отождествляет себя с книгой, которую читает; второй тщеславен: «открывая» Джойса, он воображает, что создает его заново, придумывает; таким образом, вместо того чтобы «открыть» Джойса, он его подчищает, прячет. Так вот, «открытие» Африки — явление второго порядка.

В сущности, что открыли путешественники девятнадцатого века? Ничего поистине африканского — разве что реальную топографию местности. Так мало, что есть все основания утверждать: они не столько «открыли» Африку, сколько «прикрыли» ее. Прикрыли европейской «цивилизацией», чтобы дать возможность тем, кто шел за ними следом — генералам, авантюристам, коммерсантам,— нахлынуть, оккупировать, поработить, без стыда, без совести поделить между собой злополучный континент.

Сегодня, наконец, стало ясным, что «открытие» Африки на самом деле было не чем иным, как следствием наивной, неодолимой биологической потребности более сильных народов сблизиться с народами более слабыми — во вред им. Но травма была нанесена необратимо. Неизвестно почему, в отличие от всеми осуждаемых варварских нашествий в средние века или подчинения исламом Индии, надо считать европейскую экспансию прошлого века в Африке в основном положительным фактом. В действительности эта экспансия нанесла болезненную травму, вторглась грубо, как инородное тело, не в добрый час и, быть может, навсегда сбила континент с его пути.

Африке надо было дать время. Сделать так, чтобы племенная культура, одновременно широчайшая и очень раздробленная, перестроилась бы, встала на общеконтинентальные рельсы. А вместо этого ее искусственно загнали в произвольные границы надуманных, никогда не существовавших наций, по европейскому образцу, со всеми сопутствующими этому образцу бедствиями — бюрократической централизацией, разгулом национализма, армиями, границами, таможнями, полицией.

Джулиус Ньерере, президент Танзании, как-то сказал: «Танганьика — страна совершенно искусственная. У нас сто десять племен. Могло бы быть еще больше или меньше. Я никогда не мог понять, почему, начиная с определенной точки, люди пере-

стают быть танганьийцами и становятся кенийцами, конголезцами, угандийцами». Добавим, однако, другое: теперь у него уже нет уверенности и в правильности такого решения, как панафриканизм, настолько все перепуталось, смешалось, застлалось туманом, пеленой, столько возникает разнообразных и огромных трудностей. Единственное, что можно сказать наверняка, это что Африка — вся, целиком — находится во взрывчатом состоянии действующего, огнедышащего вулкана.

СТЕКЛЯШКИ И ТУРИЗМ

Абиджан, апрель 1970 г.

Вначале были португальские форты, разбросанные вдоль побережья, были гарнизоны, солдаты в железных касках, в тех странных нелепых касках, какие сегодня можно увидеть на бенинских скульптурах. Они стояли на страже первой наглости европейцев: побрякушки, стеклянные бусы в обмен на золото, драгоценные камни, редкие специи. Но африканцы не знали, что стекляшки ничего не стоят, а золото и драгоценные камни стоят очень дорого. Их шкала ценностей измерялась воображением, в то время как в основе шкалы ценностей европейцев лежала нажива. Позднее, в последующие два столетия, приезжали работорговцы, одетые в бархат, шелк и парчу, в коротких панталонах и чулках, со шпагой на боку, и в обмен на побрякушки и стеклянные бусы африканцы отдавали нечто еще более дорогое — своих братьев. С ведома и согласия местных царьков африканцев ловили, сажали на цепь, грузили на суда и увозили в Америку — продавать, как скот. Африканцы и на этот раз не ведали, каким бесценным был их товар — человеческий товар, которым они снабжали европейцев в обмен на стекляшки. Но европейцы прекрасно знали ему цену, христианство учило их этому на протяжении многих веков; то, что они прикидывались, будто, подобно африканцам, не знали, что человек не вещь, было величайшим преступлением, и совершали его европейцы ни мало ни много — целых два столетия. После того как были проданы в рабство два десятка миллионов человек, торг кончился — наступила эпоха колониализма. И снова неравенство между европейцем, знавшим цену тому, что он приобретал, и бесценок того, что он давал взамен, и африканцем, с его детским неведением, вылилось в непрекращающееся насилие первого над вторым.

Колониализм в обмен на свободу дал нечто такое, что поначалу именовалось «цивилизацией», а именно: административную, полицейскую, военную, бюрократическую машину, принудительный труд, поставки пушечного мяса для европейских войн и тому подобное. И так вплоть до наших дней. Когда же наступил конец колониализма, на смену ему пришел неоколониализм; возник разговор о так называемом «сырье», выторговываемом за иллюзорную национальную независимость. Но в отношениях между европейцами и африканцами никаких изменений не произошло. Насилие остается, хотя не так бьет в глаза. Как оно теперь называется? Тоже насилием — насилием экономическим, туристским, культурным.

Может возникнуть вопрос: а какими должны были бы быть отношения между Африкой и Европой? Отвечаем: надо исходить из того, что африканец не сделан из иного теста, чем европеец, он не «инородный», он попросту другой аспект европейца, его дополнение, его альтернатива. Эксплуатируя, порабощая, угнетая африканца, европеец по сути эксплуатировал, порабощал, угнетал свое второе «я». Иными словами, история чинила насилие над своей непременной, незаменимой спутницей — антиисторией. Символом этих отношений могут служить, с одной стороны, каски, броня, шелка и парча, в которые облачались португальцы, и с другой — целомудренная нагота африканцев. История облачается, все время меняет одежду, антиистория нага и остается обнаженной. История одевается и переодевается, ибо ей, чтобы быть и развиваться, надо идти против природы, то есть наготы; антиистория—это сама природа, то есть нагота, неизменное, вневременное. То, что одна человеческая ситуация дополняет другую, не нуждается в доказательствах. Видя в африканце не дополнение себе самому, не свою альтернативу, а нечто неодушевленное, незначительное, чем можно пользоваться, торговать, помыкать, европеец, по сути, унижает еще в большей степени, чем африканца, естественную, изначальную часть самого себя.

Я упомянул об экономическом, туристском и культурном насилии, творимом сегодня. Гостиница в Абиджане, столице Республики Берег Слоновой Кости, где мы сейчас находимся, представляет собой стихийно образовавшийся музей, где это новое насилие экспонировано. Построенный на небольшом холме напротив порта, этот отель являет собой обычный нью-йоркский небоскреб, перенесенный без всяких изменений на почву Африки. Первое насилие — уже в самих его пропорциях. Гигантские размеры отеля не вяжутся ни с городом, ни со страной, они соответствуют лишь гигантским интересам туристской промышленности Запада, для которой Берег Слоновой Кости — один из многих рынков солнца и экзотики, куда можно направлять на отдых жителей «метрополии» (или, как говаривали во времена классического империализма, «материродины»). Стало быть, перед нами, как встарь,— колониальная затея, с той лишь разницей, что четыре столетия тому назад это была крепость, оснащенная бронзовыми

пушками, а теперь — гостиница с сотнями номеров и кондиционированным воздухом.

Второе насилие — это превращение африканской культуры в boutique — сувенирный киоск. Взгляните на эти просторные залы, извивающиеся коридоры, необъятные холлы... То, что полвека назад произвело одну из величайших революций в западной культуре — я имею в виду открытие негритянского искусства,— то, что художники и искусствоведы долгие годы разыскивали, изучали, наконец поняли и впитали, вылилось в манерную, фальшивую и кичащуюся своей фальшивостью декоративность. Речь идет о насилии эстетическом, имя которому прежде всего тупость. Вместо того чтобы понять секрет ритуальных масок, их предпочли изготовлять в колоссально увеличенных размерах и «для экзотики» развешивать на стенах. Вместо того чтобы вжиться в магию тотемов, предпочитают употреблять их в виде подпорок в барах и экзотических ресторанах; вместо того чтобы проникнуть в тайну мгновенного синтеза статуэток религиозного и эротического содержания, предпочли воспроизводить их в гигантски увеличенном виде и водружать посреди гостиничных холлов, чтобы приезжие ставили вокруг них свои чемоданы. Правда, надо признать, что эти неоафриканские украшения нередко бывают забавны и изящны. Но тем хуже. Значит, к этому делу, в угоду потребительскому обществу, приложили руку не только вездесущие популяризаторы, но и настоящие художники, специалисты, тонкие мастера.

Третий аспект туристского насилия — это изоляция, в какой живет африканская деревня, расположенная в Hinterland [1], изоляция, столь сильно контрастирующая с оживленностью шикарных отелей.

Оторванность деревни объясняется отсутствием дорог и средств передвижения. Гостиница с Африкой не связана, она связана только с Западом, она его порождение и его аванпост. До нее из Парижа можно долететь за пять часов, но добраться до деревень, находящихся в сотне километров от Абиджана, зачастую вообще невозможно. Если вдуматься, то в тесной связи между первоклассным отелем и Римом, Парижем, Лондоном, Нью-Йорком кроется причина полного отсутствия связи между отелем и деревней.

Мне вспоминается поездка в одно из этих близких и вместе с тем недоступных селений. Сперва мы ехали на машине по красной и мрачно-унылой дороге, через экваториальные джунгли, по направлению к границе с Ганой. Затем пересели на катер. Берег Слоновой Кости... Здесь, параллельно морю, между дюнами и лесом, тянутся на сотни километров многочисленные лагуны; их можно принять за каналы, настолько они прямы, неподвижны, геометрически правильны. Можно плыть по ним часами — пейзаж остается неизменным.

Эта монотонность или, если угодно, бесконечное повторение одного и того же мотива, одной и той же детали — типично африканская особенность. Наконец, у выхода из лагуны, за узким проходом между двумя высокими дюнами блеснула вольная, буйная пена морской волны. Мы подъехали к берегу. Здесь нас ждала роскошная хижина на декоративных сваях, где позднее, под звуки радио, мы будем есть блюда, приготовленные по лучшим кулинарным рецептам Парижа. На другом берегу — деревня, с виду самая настоящая, нетронутая. Мы пошли на нее взглянуть. В тени высоких тонких пальм стоят хижины из старого темного дерева, напоминающие альпийские «байты» — горные приюты. Вокруг каждой хижины забор, за забором роются в пыли куры, валяются свиньи, ковыляют голые ребятишки с торчащими пупками; возле каждой хижины, перед дверью,— груда кокосовых орехов. В деревне никого нет: скоро вернутся с моря рыбачьи лодки; для местного населения, почти полностью отрезанного от внешнего мира, это самое крупное событие в жизни. Выходим на берег. Женщины, старики, дети стоят у самой кромки воды. Когда длинноносые пироги показались над волнами, лица осветились радостным возбуждением. Лодки подплыли к берегу, их вытащили на сушу. И тут, когда толпа, смеясь и крича, ринулась к рыбакам, мне подумалось: мы трое — европейцы; деревня, как я уже говорил, живет у себя в дюнах, почти полностью лишенная возможности общаться с внешним миром; и тем не менее эти люди, имеющие все основания считать нас чужаками, делают все, чтобы приобщить к своей радости. Они улыбаются, показывают на лодки, вынимают и демонстрируют нам рыбу — словом, хотят, чтобы мы радовались вместе с ними. Я поневоле сравнил этот прием с другим, совершенно противоположным, какой оказали бы нам в подобной ситуации индейцы Боливии, у которых я побывал за три недели до этого. И я понимаю причину разницы. У индейцев была своя история, потом пришли испанцы и нарушили ее, уничтожили; индейцы этого не забыли, они по сей день считают испанцев узурпаторами и инстинктивно возводят между собой и ими некую социальную преграду. Африканцам же ведома лишь антиистория, то есть природа, а она слишком сильна, чтобы ее одолеть, это она одолела их, помимо истории. Не исключено, что они настрадались еще больше, чем индейцы: их эксплуатировали, угоняли в рабство, угнетали, но в противоположность индейцам африканцы все забыли или помнят трагедии прошлого, как помнят стихийные бедствия, не тая исторического зла, с безмятежностью, которая в конечном итоге и есть забвение.

Вот о чем я думал, глядя на оживленных, веселых людей, сгрудившихся вокруг

---

[1] В глубинке *(нем.)*.

рыбачьих лодок. Рыба на берегу, несколько женщин уже принялись соскабливать ножами чешую. В этот момент я почувствовал в своей руке чью-то маленькую руку: ее силком просовывал малыш лет четырех; он был совершенно голый, если не считать нитки голубого жемчуга, опоясывавшей талию и пропущенной между ног наподобие набедренной повязки.

Вот еще один из тех, кто все забыл, кто не помнит зла, кто живет в антиистории. Малыш улыбнулся и сказал:

— Moi et toi, camarades ![1]

ТИМБУКТУ

Тимбукту, май 1970 г.

В Африке с самолета можно увидеть больше, чем из автомобиля, потому что Африка однообразна, она повторяется; с самолета монотонность и повторения смотрятся, а из окна машины угнетают. Например, саванна с ее миллионами акаций на миллионах песчаных дюн — что может быть монотоннее, однообразнее! Так вот, с воздуха можно объять ее во всей ее абсолютной дикости куда лучше, чем с автострады. А теперь потянулось одно из тех бескрайних болот, где скапливаются и стоят внутренние воды Африки. В данном случае речь идет о болоте, образовавшемся как бы вследствие неспособности вод обрести форму реки Нигер к северу от ее большой излучины. Над нигерским болотом мы летим почти целый час, и нет ему ни конца, ни края. Оно бледно-голубое, прозрачное; выступы и перешейки бледно-зеленой земли дробят его на множество водоемов меньшей величины — лужи, каналы, протоки, озера, болотца. Это мир земноводный; даже с самолета видно, что четкой границы между землей и водой там нет. Время от времени на кончике языка зеленоватой земли можно рассмотреть темное пятнышко: это деревня. Так, после часового полета над водным центром Африки мы прибываем в Тимбукту.

Слов нет, Тимбукту — место грандиозное, прославленное. (В действительности никаких исторических событий здесь никогда не происходило, если, конечно, не считать историческими распри между двумя племенами — фульбе и туарег.) Но теперь от него осталось одно название. Было время, когда Тимбукту — караванный город того же типа, как те, которые Ростовцев изобразил в своей монографии о Памире,— отправлял и принимал караваны из Туниса, Алжира, Марокко, Берега Слоновой Кости, Нигерии. Нынче товары идут морем, а от тимбуктских караванов осталась лишь горстка верблюдов, на которых перевозят похожие на розовый мрамор плиты каменной соли; ее добывают каторжане из Мали в шахте, находящейся в самом центре Сахары, в тысяче километров от города. Короче говоря, Тимбукту стал поселком, живут в нем от силы пятнадцать тысяч жителей. Самое большее, на что он может рассчитывать в будущем, это превратиться в туристский центр. Чтобы объехать его на машине, понадобилось немногим более получаса, несмотря на все старания нашего чичероне, из патриотических соображений пытавшегося растянуть поездку часа на два или на три.

Что можно посмотреть в Тимбукту? Современный памятник независимости; дом с мемориальной доской, увековечившей память французского путешественника Кайе, который жил тут в 1828 году, первым после легендарного Ибн-Батуты; базарчик на берегу Нигера; обычные административные здания и, наконец, мечеть.

Она поменьше, чем мечети в Дженне и в Мопти, но составляет гордость этого сонного африканского городишка. На его безлюдных улочках, постоянно засыпаемых песком из близлежащей пустыни, нет даже обычных для других мест лавчонок, хотя бы подтверждающих древность здешних ремесел.

Мечеть же хороша, она действительно свидетельствует о том, что городишко составляет часть древней и обворожительной суданской культуры, столь схожей с саванной, прямым выражением которой она является. Саванна — это симбиоз леса и пустыни, а Судан был и остается симбиозом магометанского арабского пастушеского мира с негритянским крестьянским, анимистическим.

Очарование исторического Судана легче почувствовать, нежели проанализировать. Сильно упрощая, можно сказать, что оно состоит в принятии африканцами, мирными и оседлыми, но примитивными землепашцами, такой странствующей и воинственной религии, как ислам, религии, которая, вместо того чтобы бороться с их примитивностью (как это делало и делает христианство), поступает как раз наоборот: видимо, из каких-то своих соображений старается эту примитивность расковать, дать ей выход. Ислам содействовал переходу суданских негров от патриархального общинного строя к относительно более современному феодальному. В то же время, разжигая монодеистический фанатизм, он ликвидировал подспудные анимистские страхи.

Суданская мечеть в Тимбукту служит архитектурной иллюстрацией этого приобщения «негритюда» к магометанству. Название «Судан» происходит от арабского

[1] Мы с тобой товарищи! *(Франц.).*

«Билад-эс-Судан», что означает «страна негров». Но, глядя на мечеть в Тимбукту, сразу понимаешь, что речь идет о «стране негров», подвергшейся коренной исламизации.

В этом сооружении нет ничего языческого, магического, бесовского, ничего такого, что есть в хижинах шаманов в экваториальных джунглях. Нет в них и ничего мистического или культурно-изысканного, как в мечетях Марокко и Египта. Мечеть в Тимбукту напоминает крепость варваров. Крепость эта возведена не из камня и не из кирпича, а из обожженной на солнце глины, той самой, которую французы называют «pisé», а испанцы «adobe». Это самый дешевый материал, дешевле не существует, его применяют слаборазвитые страны всего засушливого пояса земного шара: Персия, Турция, Мексика, Судан, Аравия. Но он очень выразителен.

Что же выражает «adobe»? Бедность, нужду, но одновременно и нежелание приспосабливаться, своеобразную гордость, а в более монументальных сооружениях, как, например, в суданских мечетях,— варварскую агрессивность, фанатичную воинственность, иными словами, негритянскую примитивность, освобожденную от анимизма и доведенную до крайности исламским фанатизмом. Стены мечети, похожей, как мы уже сказали, на крепость, кружевные, а по углам вместо стройных минаретов — четыре приземистые конические башни. Варварский характер придает зданию и декоративный элемент в виде многочисленных черных выступов, торчащих из стен и из башен, как иглы дикобраза. Это всего лишь концы балок, составляющих несущую конструкцию здания, но заостренные черные выступы на фоне светлой глины придают мечети вид воинственный и грозный, отнюдь не настраивают на религиозный, созерцательный лад. Впрочем, впечатление это еще более усиливают голые, угрюмые, пыльные помещения мечети, ее лестницы и коридоры. В сущности, кружевные стены и утыканные иглами башни — это и есть суданская мечеть. Как оно впечатляет, это искусство зодчих, воздвигших мечеть в Тимбукту, при всей его грубости и неизощренности!

Когда я увидел эти башни, мне тотчас пришли на память исламские негритянские цари и воины, с которыми сталкивались в прошлом, на путях войны и мира, европейцы. Упоминания об этих могущественных властителях имеются даже в бурлескных перечнях Дон Кихота и Неистового Роланда. Они еще доживают свой век в феодальной структуре общества саванны.

Осмотрев Тимбукту, мы возвращаемся в гостиницу и усаживаемся на террасе. Перед нами — уголок суданской Африки, миниатюрный, но хорошо представленный. Нигер образует здесь небольшое озеро. По берегам его склонились высокие общипанные пальмы. За пальмами высятся дюны — начинается пустыня. На дюнах расположился целый табун верблюдов. Внезапно эта застывшая картина пришла в движенье. Верблюды один за другим встают и спускаются к озеру, на водопой. Одни тянут шеи к воде, другие поднимают морду — и раздается протяжный хриплый рев. Одновременно что-то происходит и на террасе. Здесь суетится troupe [1] из трех парижских манекенщиц и двух фотографов; они намерены запечатлеть — на фоне озера, пальм, дюн и верблюдов — последние летние модели. Девицы принимают нелепые, вызывающие позы — у них теперь так принято. Фотографы в лихорадочной спешке — чтобы не упустить верблюдов — щелкают фотоаппаратами.

Фотографии появятся в Европе в журналах мод, на атласной бумаге, и кто-нибудь, разглядывая их, наверняка подумает: «Как только не изощряются! Чтобы разрекламировать несколько тряпок, изобразили даже уголок Африки!» В действительности ни к каким ухищрениям никто не прибегал. уголок Африки — вовсе не имитация. Все обстояло гораздо проще: манекенщицы побывали в Тимбукту (пять часов лета), использовали его как готовую декорацию, иначе говоря, «потребили». Мы знаем, слова «потреблять, потребление, потребительский» навязли в зубах, стали избитым местом. Но именно в поисках избитого места манекенщицы и летали в Тимбукту.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ НИЛ

Кампала, февраль 1971 г.

Когда заходит речь об очередном «открытии» Африки, африканцы пожимают плечами. Нечего было открывать, говорят они, Африка существовала испокон веков, как и Азия, со своей цивилизацией, со своими культурами. «Открытие» — слово, придуманное с позиций европоцентризма. Совершенно верно. Но факт таков, что слово это в отношении черной Африки применялось, в то время как никому бы не пришло в голову употребить его в применении к Индии или к Китаю. Почему? Возможно, потому, что тогда еще не наступило время африканских культур, антропология делала

[1] Бригада *(франц.)*.

свои первые шаги. L'art nègre[1] еще не оказало своего влияния на европейских художников.

Как бы то ни было, нам бы хотелось предложить два толкования слова «открытие»: одно агрессивное, другое познавательное. Путешественники XIX века — все эти Стэнли, Ливингстоны, Бейкеры, Спики, Бёртоны — «открыли» истоки Нила в агрессивном смысле. В их книгах ничто не дает повода предполагать, что исследование Африки обогатило их с точки зрения культурной, эстетической, нравственной и проч. В самом деле, они отправлялись в Африку вовсе не для того, чтобы увидеть ее и понять, а для того, чтобы аннексировать и завоевать. Речь шла прежде всего об аннексии, о завоевании, так сказать, психологическом, а затем политическом, военном, управленческом. Я же, едучи на автомобиле к истокам Нила, собирался открыть Африку познавательно, то есть хотел увидеть ее и понять. Познавательное открытие предполагает главным образом опыт, расширяющий наше представление о мире.

Вот он, Нил. Машина взбирается на вершину холма, и оттуда внезапно открывается вид на знаменитую реку. Нил не очень широк, но одну из наиболее характерных его особенностей замечаешь сразу: он тих и величествен.

Полноводный и словно бы мускулистый — столько в нем водоворотов, течений,— он образует широкую плавную излучину, течет меж невысоких и поистине живописных берегов. Однако не следует думать, что это та же беспечная, ухоженная живописность, какую мы наблюдаем на берегах Арно или Сены. Африканская живописность всегда тревожная, дикая. Например, очаровательные пляжики, разбросанные вдоль нильских берегов, несомненно, привлекательны. Как живописно растут обрамляющие их высокие густые деревья, какой романтичный вид у зеленеющих вокруг холмов... Но никому даже в голову не приходит отправиться на один из этих привлекательных пляжей полежать на солнце, ибо в лучшем случае вас там тяпнет крокодил или боднет буйвол, затопчет слон или одним махом перекусит надвое гиппопотам. Живописно — да, но на расстоянии. На таком расстоянии, на каком держится от этих берегов катер, который везет нас к водопаду Мерчисон.

Перед нами треугольная долина, наполовину песчаная, наполовину поросшая травой; на склонах ее растут папирусы и тростник, а дальше, в глубине, где она вклинивается между желтыми размытыми холмами,— деревья. Как на цветной иллюстрации в учебнике зоологии, впритык, не замечая друг друга, каждый сам по себе, здесь обитают звери. Мы застаем их в наиболее характерной для каждого позе: слон поднял хобот — объедает листья с дерева, буйвол разлегся в грязи, гиппопотам выходит из воды на берег, крокодил неподвижно лежит на песчаной отмели, пасть разинута, зубы — как пила. Среди папирусов вырисовываются силуэты птиц на длинных тонких ногах, с большими клювами.

Берега Нила — настоящее наглядное пособие. Не хватает только латинских названий: под слоном — loxodonta africana; под буйволом — bubalus syncerus; под гиппопотамом — hippopotamus amphibius; под крокодилом — crocodilus niloticus.

Нил — река слишком «историческая», слишком «освоенная», чтобы наше впечатление от него было, если можно так выразиться, впечатлением первооткрывателей. Между нами и знаменитой рекой множество «культурных» перегородок, это бесспорно. Скажем, вспоминается мозаика Палестрины; правда, у Палестрины Нил египетский, но в Египте он совершенно такой же, как в Уганде,— те же острова, папирусы, скалы, водовороты. Те же звери, и все это — в едином измерении, именно напоминающем иллюстрации к учебнику зоологии.

Чаще всего на нильских отмелях можно видеть двух земноводных — крокодилов и гиппопотамов. Есть что-то комичное в гиппопотаме. Комична, во-первых, сама его огромная туша (весом в две, а то и три тонны) — нелепый, необъятных размеров цилиндр, чуть не лопающийся от жира, покрытый толстой, безволосой, темной кожей, короткие, кривые, как у таксы, ноги, непомерно большая голова с пастью в форме башмака. Много смешного и в гиппопотамьих повадках. Пасутся гиппопотамы только по ночам. Забавно наблюдать, как бродит в темноте, на берегу Нила, гиппопотамье семейство, уткнувшись головами в высокую траву, не выходя из круга, предварительно очерченного струей мочи, и горе пришельцу, отважившемуся перейти этот своеобразный обонятельный рубеж.

Днем же гиппопотамы от этой идеи собственной территории-пастбища отрешаются и вперемежку, как овцы, стадами по два-три десятка, лежат в воде, мокнут; лишь кое-где высовываются архипелажиками их глаза-перископы, лошадиные уши и темные голые крупы.

Есть африканский анекдот, очень хорошо отражающий психологию гиппопотама. Бог не хотел, чтобы такая махина, как гиппопотам, был земноводным,— боялся, что он сожрет всех рыб. И гиппопотам обещал богу, что будет исключительно травоядным, в доказательство чего, отправляя естественную нужду, всякий раз будет показывать ему, что рыбы не ел. Вот чем объясняется, что гиппопотам, сделав свои дела, коротким хвостом старательно расшвыривает вокруг себя и, естественно, на погруженных в воду сородичей свои экскременты. Таким образом, бог может удостовериться, что гиппопотам действительно ел только траву, до рыбы не дотрагивался.

[1] Негритянское искусство *(франц.)*.

Любовь у гиппопотамов тоже комичная. Два сцепившихся рогами быка или горных козла — это понятно и логично. Но соперники в любви — гиппопотамы, наставившие друг на друга свои огромные разинутые пасти,— это смешно. Они простаивают таким образом, уткнувшись друг в друга мордой, часами. Сила толчка с каждой стороны равна двум тоннам. Наконец, один из соперников пересиливает, побежденный убегает. Иногда победитель догоняет его и кусает до смерти. Мертвый гиппопотам долго не залеживается: из ближней деревни приходят люди, свежуют тушу и все мясо уносят. В грязи, на берегу, остается лишь скелет, своими необъятными ребрами напоминающий остов лодки.

Кто действительно ужасен — это крокодилы. Принято говорить: крокодил — это лишь увеличенная копия нашей изящной и безобидной ящерицы. Как бы не так! Ведь дело не только в величине. Например, гиппопотам — это увеличенная копия обыкновенного борова, но он не ужасен. Крокодил же наводит страх. Длина его достигает порой семи-восьми метров, он лежит на берегу Нила не шевелясь, как бревно. Хвост устрашающий, если ударит — каюк. Так же страшна и крокодилья морда, с вылезающими из десен зубами и странной, прерывистой, змеиной линией длинной пасти.

Мы приближаемся к крокодилу. Он не шелохнется. Только по глазам видно, что живой: веки наполовину приподняты, беспощадный, стеклянный взгляд устремлен в нашу сторону. Вот медленно открывается пасть, все шире, шире и — так и остается разинутой. Насколько мне известно, крокодил — единственное животное, способное часами лежать с разинутой пастью. До крокодиловой пасти дотягивается лучами солнце, на крокодиловы зубы садятся птицы, ковыряются в них клювами в поисках сгнивших остатков пищи. Крокодил не шевелится, потому что это — самка, она высиживает яйца. О крокодильем яйце тоже страшно думать. Из куриного яйца вылупливается хорошенький цыпленок, а из яйца крокодила выскакивает пресмыкающееся, уже готовое пустить в ход зубы. Мы знаем, что такая точка зрения не научна, что и крокодил, как и всякое животное, если смотреть на него, как говорится, объективным глазом, может быть, по-своему хорош. Но так уж повелось, крокодилов не любят — по крайней мере, люди.

Тем временем, по мере того как катер продвигается вверх по течению Нила, на зеленой поверхности воды все чаще появляются какие-то странные пузырьки беложелтой пены. Сам не знаю, почему меня это так тревожит, настораживает,— стоило немного подумать, и догадался бы, в чем дело.

Пены становится все больше, вскоре весь Нил усеян белыми пятнами. Мне вспоминается появление в море «белых предметов», когда Гордон Пим, герой романа По, мчится к полюсу. Наконец, мы подъезжаем к острову, перегородившему всю реку, причаливаем. По ту сторону острова весь Нил бурлит, клокочет, пенится, быстрым течением пену уносит прочь. А еще дальше, за кулисами в виде двух-трех лесистых выступов, предстает и источник странных белесых пятен: между двух черных скал — огромный далекий и бесшумный взрыв белоснежной пены — водопад Мерчисон.

Мы возвращаемся назад, слезаем с катера, садимся в машину и едем в горы — смотреть водопады. Быстро одолеваем сто километров мертвого леса: деревья, деревья и деревья, превратившиеся в почерневшие пни, в вилы с выбитыми зубьями, в зазубренные лопаты. Лес убили, чтобы убить мух цеце, укрывавшихся в листве. Но опасность распространения сонной болезни не миновала, об этом свидетельствуют сторожевые посты, где два-три человека с сачками, какими ловят бабочек, обыскивают наш автомобиль на предмет поимки коварной мухи.

Когда взбираешься на гору и смотришь на водопады сзади, впечатление, будто происходит взрыв, усиливается. В действительности Нил обрушивается с большой высоты в расщелину шириной не более двадцати метров. А впечатление создается такое, будто его непрекращающимся взрывом взметает ввысь. Облака белоснежной пены вздымаются к небу, их все время пронизывает радуга. Невольно приходит мысль, что, устремляясь к небу, Нил возвращается к своим подлинным истокам, хотя известно, что вытекает он из озера Виктория. Но ведь в период дождей воды его в самом деле падают с неба...

КАКОГО ТЫ ПЛЕМЕНИ?

Мбале, март 1971 г.

«Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes» [1] — так начинается «Le voyage» [2] Бодлера. Слова эти хорошо отражают притягательную силу, заключенную в географических картах и в некоторых географических названиях или в отсутствии таковых. Кто знает, о чем грезили, скажем, дети, жившие в средние века, рассматривая карты с большими белыми пятнами, на которых было написано: «Hic sunt leones» [3]...

Во время путешествия по Уганде такую притягательную силу имела для меня

[1] «Для ребенка, который любит географические карты и картинки» *(франц.)*.
[2] «Путешествие» *(франц.)*.
[3] «Здесь львы» *(лат.)*.

полоса земли вдоль всей границы с Кенией. Называется эта область Карамоджа. Красная линия шоссе, точнее, грунтовой дороги ползет вверх по карте все выше, выше, через белое пятно без единого названия — населенных пунктов там нет до самого Кидепо на границе с Суданом.

Кидепо — это недавно открытый национальный парк. Там имеется lodge[1] — место, где можно переночевать; правда, пообедать негде. После некоторых разногласий притягательная сила белого пятна взяла верх — решили ехать в Кидепо.

Наш африканский водитель Джонни, сопровождавший нас и в другие набеги,— парень расторопный и бывалый, но слишком уж осмотрительный,— моего восторга по поводу предстоящей поездки не разделяет. Сам он родом из Кампалы, то есть столицы. Он во всех отношениях типичный представитель современной Африки, Африки неокапиталистических городов, появившихся в последние два десятилетия. В том, что он истый горожанин, мы лишний раз убедились, заехав к нему перед отъездом. Джонни живет в стандартном доме — все дома такие на его улице под насыпью автострады. Жена Джонни, красивая молодая женщина в ярком, цветастом платье (сплошные буфы, сборки, оборочки — так одеваются все преуспевающие простолюдинки, переходящие в разряд мелкой буржуазии), вынесла ему в дорогу фибровый чемоданчик. Джонни представил нам жену — показал в ее сторону рукой, попрощался с ней (но не обнял), и мы тронулись в путь.

Я наблюдаю, как Джонни ведет машину. Джонни очень элегантен: на нем зеленые, травяного цвета брюки, рубашка в желто-голубую клетку. Яркие, броские тона отлично сочетаются с его кожей цвета жареного кофе. У Джонни очень выразительное лицо, но это не скульптурная выразительность африканца, живущего в лесу, а «психологическая» выразительность горожанина. Первый имеет дело преимущественно с природой, второй — с другими людьми, такими, как он сам.

От Кампалы до Джинджи едем по автостраде, ведущей в Найроби, затем сворачиваем на вышеупомянутую грунтовую дорогу, которая идет на север, параллельно границе с Кенией, до самого Судана.

Кончились чайные и хлопковые плантации, начинается встрепанный, неказистый, недобрый лес. На горизонте появляется странная красно-голубая гора в форме многобашенной крепости; возможно, это Элгон, самая высокая гора во всей области Мбале. Только после этого я заговариваю с Джонни:

— Вы, кажется, не в восторге, что мы едем в Карамоджу?

Он отвечает легкой улыбкой, которую трудно истолковать:

— В Карамодже не очень хорошие люди.

— Почему не очень хорошие?

— Они обидчивые и не жалуют приезжих. Без оружия не ходят, всегда при копье. Пустить копье в ход им ничего не стоит.

— Но ведь они угандийцы, как и вы?

На этот раз Джонни не ответил. Я знаю, что бы он сказал, если бы знал о некоторых социальных преобразованиях, произошедших в его стране. Он бы сказал: «Я из такого-то племени, а обитатели Карамоджи — из другого. Правда, все мы угандийцы, а Уганда — единая нация, со своими границами, столицей, правительством, флагом. И при всем при том у моего племени с племенем карамоджа отношения неважные».

Но вместо того чтобы сказать правду, Джонни дает следующее объяснение:

— Вот приедем в Кидепо, сами увидите. У нас там целый полк стоит. И все из-за этих карамоджа.

— А в чем дело?

— Чтобы они не ходили через границу, в Кению, воровать коров у масаев и у других кенийских пастухов. А то перейдут границу, заберут коров, перебьют пастухов и назад, в Карамоджу. Кенийцы в отместку отвечают им тем же. Вот наши солдаты и смотрят, чтобы таких вещей не было.

Мы едем по дороге, которая то устремляется прямо через бескрайние, поросшие лесом равнины, то вьется вокруг каких-то странных, разрушенных, полуобвалившихся наскальных замков. Ни дома, ни хижины, ни сломанной ветки — ничего, что говорило бы о присутствии человека. Это как раз и есть одно из тех мест, которые на географической карте обозначены белым пятном — без населенных пунктов.

Несмотря на зловещую, угрюмую дикость этого края, ни львов, ни других зверей, некогда подразумевавшихся под надписью «Hic sunt leones», не наблюдается. Единственное дикое животное, повстречавшееся нам по пути, на небольшой придорожной поляне, был страус. Долговязый, с крошечной головой, с большим, круглым, во всю голову глазом, с длинной, покрытой редкой растительностью шеей, с телом, похожим на тюк, кое-как пристроенный на жилистых голых ногах марафонца, страус — это диковинное пернатое, не умеющее летать,— глянул на нас, развернулся, показал копчик и понесся в лес.

Едем дальше. Пейзаж становится все более необычным, безжизненным, настораживающим. Будь на луне вода и растительность, именно так выглядел бы, наверное, лунный ландшафт: бескрайняя равнина, поросшая мрачной темно-зеленой чащей, необъятное небо, а в вышине — длинные перистые облака, по форме напоминающие

[1] Охотничий домик *(англ.)*.

сигару; горизонт замыкается горной цепью: конусообразные вершины гор наводят на мысль о погасших вулканах.

Ага, вот наконец и «не очень хорошие люди», о которых говорил Джонни.

Они идут небольшими группами по двое, по трое или в одиночку, появляются на обочине дороги неведомо откуда: лес у них за спиной и лес перед глазами. Они нагие, лишь небольшой кусок ткани, похожей на мешковину, с разрезами по бокам, прикрывает грудь и плечи. Кожа — угольно-черная, никакой растительности ни в паху, ни под мышками, ни на груди, только острые бородки и на голове — подобие капора из множества косичек, начинающихся ото лба и доходящих до затылка. Они нагие, но вооружены копьями. На вид это пастухи, некоторых сопровождают по несколько коз.

Однако насчет наготы необходимо сделать оговорку. Это нагота первобытных людей, а не шведских или американских нудистов. У тех нагота абсолютная, поскольку она «цивилизована»; здешняя же архаична, она украшена, я бы сказал, почти одета. Это оголенность преобразованная, принаряженная, ее наполнили значением, она говорит: говорит языком татуировок, надрезов, бус, браслетов, серег, колец, воткнутых в косички перьев, белой меловой краски, покрывающей половину лица. Они ходят нагими, это так, но их нагота заключает в себе совершенно отчетливую идею: идею грозной, вольнолюбивой, одинокой гордости.

А вот и женщины. Их три; с ними двое мужчин, как и все прочие, вооруженных копьями; мужчины шагают на большом расстоянии впереди.

Мы останавливаемся, мужчины проходят мимо, сворачивают на тропинку, ведущую в лес, скрываются из глаз. Женщины замедляют шаг — похоже, ждут, чтобы мужчины углубились в чащу, после чего останавливаются. На них тоже нагрудники, но прикрыты только плечи, грудь и живот обнажены. Каждая придерживает одной рукой большую тыкву с водой. Голова запрокинута назад; многочисленные нагроможденные одно на другое железные ожерелья подпирают подбородок, из-за этого кажется, что женщину обезглавили, а голову положили на поднос.

Они молоды, лица у всех необыкновенно чистые и выразительные, но в отличие от лица Джонни не «психологические», а «скульптурные». Их полуприкрытые веками, недобро поблескивающие глаза устремлены на нас — впрочем, может быть, нам это лишь показалось оттого, что на веках у них что-то вроде ссохшегося гноя. Вдруг женщины заулыбались широкой белозубой улыбкой, совсем наивно, по-детски, и протянули к нам руки. Они заметили у одного из моих спутников фотоаппарат и теперь просили уплатить за то, что их сфотографировали.

Джонни все это не по душе, он ворчит, что не надо их фотографировать, здешние мужчины этого не любят, а они, того гляди, вернутся со своими копьями. Однако его не послушали. Фотограф приготовился сделать еще один снимок. Но тут ситуация резко изменилась. Женщины протянули руки за следующим ублажающим шиллингом и, когда им было отказано, стали злобно грозить кулаками, после чего гордо удалились. Они шли, придерживая тыквы, грудью вперед, запрокинув головы, неприступные, недружелюбные, враждебные.

Джонни победоносно ухмыльнулся и, включая зажигание, заметил:

— Не очень хорошие люди. Конечно, женщинам деньги всегда нужны. И все равно не надо фотографировать. Опасно.

Проехали еще пятьдесят миль по лесу. Наконец, вот первое селение карамоджа, где, к явному неудовольствию Джонни, мы решили остановиться. Окна в машине не открываем, но вокруг очень людно, подходят вооруженные копьями голые люди, заглядывают, рассматривают нас. Трудно сказать, что выражают их взгляды. Любопытство? Вряд ли. Скорее строгий, придирчивый контроль. У некоторых лица вымазаны белым. Странно: когда цвет кожи европейца накладывается на африканскую кожу, это производит впечатление какой-то таинственной и чуть зловещей пародии.

Под хмурыми, подозрительными взглядами Джонни ежится, словно контрабандист при таможеннике. Рука его лежит на рычаге переключения скоростей — дескать, если что не так, дам ходу. Один из карамоджа спрашивает его о чем-то сквозь стекло. Джонни смотрит на него в упор, лицо одеревенело, и — не отвечает. Я интересуюсь, почему он отмалчивается. Джонни, со смятением в голосе, объясняет:

— А почем я знаю, что он говорит? Я по-ихнему не понимаю.

Наконец, к его великому облегчению, мы отправляемся дальше.

В Кидепо добрались к заходу солнца. Вот и холм, на котором стоит небольшое здание — lodge. С одной стороны отсюда видна плоская степь, где вокруг шеста с вымпелом ровными рядами — совсем как в лагере христиан на иллюстрации к «Освобожденному Иерусалиму» — выстроились палатки угандийской воинской части; с другой стороны — необъятная ширь национального парка, дремучая, застланная дымкой, обрамленная причудливыми скалистыми горами.

В Кидепо Джонни ведет себя уже совсем как иностранный турист. Он заходит вместе с нами в магазин при гостинице и, покуда мы запасаемся традиционной corned beef[1] и кирпичиком хлеба на ужин, приобретает железный наконечник копья, просит завернуть — «в подарок жене».

После этого мы отправляемся в бар ужинать. Из окон видно, как по опушке леса, в багровой дымке заката, разгуливает множество громадных антилоп.

[1] Солонина (*англ.*).

В зале бара занят только один столик: три африканца в европейской одежде сидят вокруг подноса. На подносе — зажаренный целиком козленок; едят его руками. Немного погодя, заметив, что я ем мясо, пользуясь своим охотничьим ножом, один из трех африканцев на хорошем английском языке просит одолжить ему нож. Я встаю, даю ему нож. Он берет и, оглядев меня, вежливо, но с пристрастием спрашивает:

— Какого ты племени?

ВИКТОР И СЛОНЫ

Яунде, февраль 1972 г.

Наш шофер Виктор — ему лет под тридцать — выходец из племени, которое живет неподалеку от Нгаундере, в центральном Камеруне. Это высокий, крепкий парень атлетического сложения, длинноногий, широкоплечий.

У Виктора красивая голова африканца, но черты карикатурно упрощенные, что придает его лицу сходство с маской. Огромные глазищи, эдакие глазенапы с беспокойной тенденцией вращать зрачками; короткий, широкий, крючковатый нос; рот всегда кривится пренебрежительной гримасой. Цвет кожи темный, но не черный, во всяком случае, редкая отелловская бородка клинышком, которую Виктор отрастил во время поездки, выделяется своей чернотой на кофейной черноте кожи. У него красивые руки, худые и сильные, с длинными пальцами, белые, по-волчьи острые зубы, свободная, легкая, кошачья поступь. Наконец, голос: не голос — голосище, чрезмерно мужественный; тон всегда недовольный, злой, угрожающий.

До недавнего времени Виктор работал на грузовике. По тому, как он водит машину, как оценивает расстояния, сразу чувствуется, что это чернорабочий руля и что три тысячи километров, отделяющие Дуалу от Форт-Лами, ему ничего не стоит покрыть за три дня; с нами же придется телепкаться две недели. Как истый водитель грузовика, отчаянный пожиратель километров, Виктор совершенно бесчувствен к красотам природы и к случайным дорожным знакомствам. Наша манера путешествовать, наверное, кажется ему чудачеством — известное дело, все они, белые, немного того, с приветом. Но мы — clients [1], мы ему платим, и этим все сказано.

Виктора, надо думать, в годы ученичества нещадно эксплуатировали. Но, хлебнув горя, он обрел не то, что принято называть классовым сознанием, а твердую решимость самому стать эксплуататором. Заветная мечта его — он часто заводил с нами разговор на эту тему — разбогатеть, приобрести собственный грузовик, поначалу хотя бы один, и выжимать соки из других викторов, других крепких и простецких парней, приехавших, как он, из глубинки, с самой что ни на есть brousse — лесной стороны.

Виктор — совершенно бальзаковский персонаж, только появившийся с опозданием на полтора столетия, своего рода Цезарь Бирото за баранкой. Возможно, что он и разбогатеет. А может быть, непредвиденное развитие неоколониализма в Африке пресечет его стремления, направит к другой цели.

Виктор, сторонник старых традиций, хотел бы жениться. По его словам, для того чтобы жениться, ему надо скопить сто тысяч франков. На эти деньги можно приобрести и молодого бычка приличного веса, и жену. Сначала он, видимо, намеревался взять себе девушку из Дуалы. Но его шеф — француз, директор транспортного агентства, в котором Виктор работает, отговорил его, объяснив, что городским девушкам или девушкам, пожившим в городе, доверять нельзя. Лучше жениться на своей соплеменнице, еще не испорченной цивилизацией. Виктор покорно внял совету шефа, в котором он, в силу своего утробного конформизма, видит чуть ли не родного отца. Значит, где-то в отдаленном селении Камеруна живет сейчас девушка и ждет, когда явится к ней с сотней тысяч франков в кармане и с упитанным бычком в придачу Виктор.

Кстати, по поводу шефа. Отношение Виктора к нему весьма сложное, совершенно такое же, как его отношение к французам вообще. Виктор учился в миссионерской школе, он прекрасно говорит по-французски, явно и безоговорочно восхищается французами, которых некоторым образом выделяет, отличает от других белых. Как-то раз я высказал предположение о том, что некая дорога может оказаться непроезжей. Виктор не моргнув с полной уверенностью возразил:

— Этого не может быть. Ее строили французы.

В то же время, забавно противореча самому себе, Виктор вечно зол — убежден, что его «roulé», то есть обвели вокруг пальца. Наряду с восхищением он питает к французам совершенно иное чувство: подозревает, что они в итоге эксплуататоры. Что это, воздействие левой пропаганды? Или зачатки национализма? Трудно сказать.

Однажды Виктор удивил меня: презрительно отозвался о «горе-колониалистах», которым, после того как Камерун добился независимости, пришлось бросить прибыльные места в Дуале, уехать во второразрядные городишки и там пробавляться кто чем может. Об участи этих «пустынников» Виктор говорит с мстительным сарказмом.

[1] Клиенты *(франц.)*.

Такое же двойственное отношение, как к колониализму, у него к религии. Он католик и как-то по-странному, самодовольно и угрюмо, этим гордится, что, впрочем, не мешает ему со смешанным чувством ужаса и глубокой, почти ироничной фамильярности верить в магию.

Приведу наш с ним разговор на эту тему:

— Виктор, вы верите в магию?

— Конечно. Как же не верить? У меня четырех друзей околдовали и погубили.

— А в чем оно заключается, колдовство?

— Тебя вводят в хижину шамана. Темно. Ничего и никого не видно. Раздается чей-то голос. Тебя просят назвать человека, чьей смерти ты добиваешься. Если скажешь имя и выполнишь все, что шаман потребует, твой недруг через несколько дней умрет.

— Лично вы кого-нибудь отправили на тот свет?

— Я — нет. Я боюсь. И потом это очень дорого. Шаман требует денег, все больше и больше денег. В заколдованный круг только попадись, из него не вырвешься.

— Почему? Шаман шантажирует?

— Ни за что не вырвешься.

Но, с другой стороны, христианских чувств у Виктора ни на грош. Он не любит ближнего как самого себя, регулярно причиняет людям то, что не хотел бы испытывать сам. Виктор — стихийный дарвинист: с его точки зрения, пусть в жизни побеждает наиболее сильный, наиболее приспособленный.

Во время нашей поездки он это свое мировоззрение демонстрировал не раз. Для него нет лучшего удовольствия, чем увидеть грузовик, лежащий колесами кверху в кювете,— насмешливый, издевательский, лающий смех его звучит тогда особенно смачно. Чужая беда его радует, особенно если речь идет о дорожном происшествии, поскольку он, как бывший водитель грузовика, умеет точно определить серьезность последствий. Смех его надо понимать так: «Вчера — я, сегодня — ты».

И еще: он очень сурово обходится с многочисленными пешеходами, которые в этих безлюдных и диких местах надеются на попутную машину.

Едем мы как-то по бескрайней равнине, поросшей высокими травами. Седовласый старик с перекошенным от усталости лицом, с узлом на голове и копьем в руке подает знак — умоляет подвезти. Мы приказываем Виктору остановиться и взять путника в машину. Виктор нехотя подчиняется, но потом, уже на ходу, начинает старику выговаривать: мол, запачкаешь «мне» «лендровер», вон сколько натащил на сандалиях песка, разобьешь «мне» стекло — ткнешь невзначай железным наконечником копья. В этой ситуации Виктор отождествляет себя с транспортным агентством, ретиво защищает его собственность. Когда старик вышел из машины и стал униженно нас благодарить, Виктор ничего не сказал — лишь бросил на него презрительный взгляд и швырнул под ноги копье.

В другой раз мы подобрали потерпевшего аварию молодого водителя, торчавшего на солнцепеке возле своего свалившегося в канаву грузовика. Первым делом Виктор задал ему вопрос, сколько он зарабатывает, а узнав, накинулся, стал с издевкой, безжалостно упрекать, что при таком заработке можно подохнуть с голода: «Сам сдохнешь и семью уморишь, никогда из нужды не выберешься, как был, так и останешься вьючным животным, прислужником, рабом». Бедняга как мог отбивался, но Виктор не оставлял его в покое: пока тот с нами ехал, твердил, что он плохо кончит.

Только один-единственный раз Виктор выказал при мне иное чувство, чем злость или презрение,— при встрече с дикими зверями Африки. Помню, однажды мы остановились перед истоптанной поляной, со множеством следов гигантских ног. Деревья и кусты вокруг были обглоданы, переломаны, там и сям валялись огромные кубической формы экскременты. Слоны наверняка не успели уйти далеко. И в самом деле: выйдя из машины и углубившись в лес, мы тотчас увидели великанов. Они шагали в туче пыли — направлялись к каким-то им одним ведомым пастбищам или укрытиям. Сквозь пыльную мглу проступали очертания хоботов и бивней, ушастые головы; к толстым ногам слоних жались симпатичные увесистые слонята. Время от времени из стада раздавался пронзительный трубный слоновый крик. Тогда-то я и обратил внимание на Виктора: нервно, трепетно смеясь, он бежал к слонам, бежал легко, едва касаясь земли, бежал и размахивал руками, будто призывал их: подождите, я с вами!

Казалось, сам того не сознавая, в эту минуту он изливал тоску африканца по Африке доколониальных времен, по Африке лесных селений и саванн, о которых, говоря с нами, отзывался с таким пренебрежением.

КАМЕРУНСКИЕ НИМФЫ

Реи-Буба, март 1972 г.

Обычно, путешествуя по чужой стране, чувствуешь себя неуверенно, беспокоишься — не знаешь людей, не знаешь мест и, естественно, боишься попасть впросак, заблудиться. Напротив, если ты местный и сопровождаешь иностранца — на правах гида или друга,— ты спокоен и уверен, ведь ты у себя дома. В Африке дело обстоит иначе —

по крайней мере, так было с нами. Покуда город близко, наш водитель Виктор — лев; в джунглях же он превращается в кролика, хотя, казалось бы, кому, как не ему, знать джунгли, ведь он оттуда родом! Безлюдье его настораживает, выехав на развилку, он теряется, состояние дороги — предмет его постоянного беспокойства.

Мне часто хочется у него спросить: в чем дело? Откуда такая неуверенность? Ведь ты в своей стране, должен бы ее знать! Но я удержался, не спросил, подумал: а что, если он беспокоится и робеет именно оттого, что хорошо знает свою страну? Мы, приезжие, потому и пребываем в безмятежном спокойствии, потому и полагаемся на дорожный атлас и на безотказность мотора «лендровера», что ничего не знаем об Африке.

В Африке все основные дорожные магистрали проходят по местам, где, несмотря на своеобразие природы, ощущается та же историческая эпоха, какую переживает Европа. Автотранспорт, мотели, бензоколонки, телеграф, школы, полиция и прочее и прочее свидетельствуют о том, что здесь тоже, в большей или меньшей степени, наступил 1972 год. Но стоит съехать с главной магистрали на второстепенную дорогу, как совершаешь многовековой прыжок вспять, к феодализму или варварству, а то и в доисторический период. Эти многовековые прыжки вспять — волнующая штука. Тот, кто наблюдал, как, охотясь в лесу на кроликов, африканский мальчик натягивает лук — точь-в-точь тем же движением, что стрелки на ассирийских барельефах,— или как под кружевной стеной суданского селенья трусит на лошаденке всадник, вооруженный мечом и копьем, тот понимает, что путешествие по Африке это не столько смена мест, сколько смена времен, что достаточно переехать реку или одолеть небольшой горный перевал, чтобы из мира современного перейти в средневековье или в бронзовый век.

Но именно этих скачков вспять и боится наш водитель Виктор. Уроженец джунглей, он ненавидит магическую анимистскую первобытность, а исламский феодализм, видимо, будит в нем атавистическое воспоминание о бесчеловечной охоте за рабами. Ему нравится современный мир с его машинами и отсутствием тайн. Вот почему, когда на развилке я говорю ему, что надо ехать по правой дороге, в город Реи-Бубу, он смотрит на меня с недоумением.

— Зачем нам Реи-Буба? Мы ведь должны ехать в Форт-Лами, а это налево.

Не могу же я ему сказать: мне хочется в Реи-Бубу потому, что в дневнике Андре Жида приводится фраза из письма капитана Коста, которая гласит: «Султан Реи-Бубы владеет всеми богатствами всех людей». Виктор бы меня не понял, решил бы, что я спятил. А раз он все равно расценивает всякий культурный интерес как каприз, то лучше уж сделать вид, будто наша тяга в Реи-Бубу — чистейшее чудачество, с этим ему легче будет смириться. И я сухо отчеканиваю:

— Мы хотим ехать в Реи-Бубу. Зачем? Ни за чем. Просто так.

Разговор этот происходит в полдень, после того, как мы проехали сотню километров по пустынному краю, на перекрестке, который со всех сторон обступила высокая и очень густая трава. Вокруг — ничего, только белесое от зноя небо и медленно парящие в вышине черные коршуны. Правда, на перекрестке есть покосившийся указатель со стрелкой «На Реи-Бубу», но вокруг так пусто, что не верится в его реальность.

Виктор стоит на своем:

— Это даже не дорога, а так, что-то непонятное. Ее и не видно вовсе, так заросла. Куда приведет, неизвестно.

— Но она значится на карте.

— Да, однако изображена не красной линией и не белым и красным пунктиром, а только белой полосой.

— Но, Виктор, вы же сами знаете, что в Африке всего две категории дорог: асфальтированные и неасфальтированные.

Не промолвив больше ни слова, обозленный Виктор включает скорость, и наш «лендровер» ныряет в траву.

Мы мчимся вперед, как моторка, разрезающая в шторм высокие валы. Трава, как морская пучина, расступается перед радиатором, чтобы тотчас вновь сомкнуться позади багажника. На поверку дорога оказалась тропой для скота: на пыльной земле то и дело попадаются еще свежие, дымящиеся, поблескивающие коровьи лепешки.

Чтобы успокоить Виктора, я говорю:

— Здесь прошли коровы. Там, где прошли коровы, может пройти и «лендровер».

Виктор злится, отмалчивается: по тому, как он крутит баранку, чувствуется, что он не просто недоволен, он боится.

Проехали с десяток километров. Наконец, Виктор нарушает молчание — длинным костлявым пальцем показывает на приборы:

— Бензина осталось самое большее на двадцать километров.

— Скоро трава кончится, приедем в деревню.

— Здесь нет деревень.

Тут, как по заказу, трава кончилась, и перед нами неожиданно возникла бескрайняя равнина. Трава на ней, как и положено в это время года, уже сожжена, кое-где даже проглядывают коричневые полосы земли; насколько хватает глаз — сплошное черное пепелище с обуглившимися остовами кустарников, до самого горизонта совер-

шеннейшая пустыня. В Африке часто так бывает: видны следы человека, а самого человека нет. Ясно, что траву сожгли крестьяне, но хоть все глаза проглядишь, никакого жилья не увидишь. Виктор язвительно спрашивает:

— Ну, где ваша деревня?

Я несколько раздраженно отвечаю:

— Взгляните вон на те три-четыре темных шара, там, на горизонте. Это манго, а манго — по крайней мере в этой части Камеруна — растут только в деревнях. Где манго, там и деревня.

Мой довод на Виктора не подействовал, но он все же поехал дальше. Мы пересекли выжженную равнину, и я наконец насладился своей скромной победой. Темные шарообразные кроны манго обрели четкие очертания, и показались распластанные в тени деревьев хижины. Еще несколько минут — и мы въезжаем на площадь небольшого селения. Обычная картина: манговые деревья укрывают в густой тени женщин, примостившихся на корточках возле своего товара — разложенных мизерными кучками фруктов и клубней; детишки со вздутыми животами поглощены своей молчаливой игрой; осел, стреноженный, чтобы не удрал, прыгает с места на место, щиплет траву в канаве. Хижины огорожены, как и везде, стеной из циновок; из-за стены выглядывает традиционная крыша в форме сахарной головы.

Мы подзываем мальчишку — подбегает целая дюжина. Увы, Виктор говорит только на языке своего племени, живущего в окрестностях Яунде, и ребятишки, сколько ни старались, при всем желании не смогли понять ни слова. Тут один из них подает мне знак следовать за ним. Я выхожу из машины и иду по песчаным тропкам, протоптанным между хижин. Старая-престарая старуха — годы согнули ее пополам, длинные, плоские груди обвисли — открывает дверь одной из хижин, с трудом вытаскивает плетеную корзину, прикрытую белой тряпицей, наглухо пришитой к прутьям. Старуха разрезает шов и извлекает... запечатанный в целлофан кирпичик хлеба английской выпечки. Хлеб, должно быть, из Нигерии; кто знает, на скольких перекладных — грузовиках, ослах — везли его в эту деревню. Все равно я его покупаю, хлеб нужен всегда, и возвращаюсь к машине. Там за время моего недолгого отсутствия произошло радостное событие: проехал на автомобиле белый человек и сообщил данные о бензоколонке. Едем дальше.

Вот мы снова в самой гуще леса. Африканский лес я ненавижу; уж лучше пустыня — та, по крайней мере, откровенно мертва — или саванна — та, по крайней мере, пьянит своим однообразием. А лес живет, но как-то мелко, будто натыкано бесконечное множество саженцев, которым никак не удается разрастись в джунгли. Он однообразен, но беспорядочно, бесформенно, хаотично. Поневоле производим смотр миллионам деревьев — можно осатанеть, но вот наконец и награда: лес редеет, кончается, мы в открытой местности, на влажной земле, поросшей зеленой блестящей травой. Неподалеку мерцает широкое, величественное и одинокое зеркало воды — темная, неподвижная гладь большой реки. Берег усеян огромными черными камнями, они громоздятся один на другой — похоже, что забавлялись великаны. Один, овальный, самый большой, настолько совершенен по форме, что невольно задумываешься: сколько же тысячелетий его обтачивало? Наверное, с доисторических времен...

На другой стороне реки живописно и романтично — совсем как на картинах Пуссена или Клода Лорена — зеленеют высокие раскидистые деревья. Они стерегут травянистый бережок; так и ждешь, что появится на нем, как на картине с мифологическим сюжетом, белая фигурка обнаженной нимфы. Но мы в Африке, здесь безмолвную природу населяют последние на земле звери: гиппопотамы, жирафы, львы, антилопы, слоны. Это они — истинные нимфы, нимфы из крови и плоти, укрывшиеся в пустыне и воплощающие в себе реальность наивной тайны, то счастье, что не наблюдает часов, символом которого были нимфы классической мифологии.

На этой безымянной реке тоже есть своя нимфа. У нее необъятное цилиндрическое туловище, короткие кривые ноги таксы и голова карнавальной маски в виде башмака. Зовут ее гиппопотамом. Не подозревая, что мы за ним подглядываем, он появляется из-под тенистых деревьев, подходит к берегу, секунду поколебавшись, соскальзывает в воду и бесшумно, не взбаламутив темной речной глади, исчезает. Наступает долгая глубокая тишина. Присутствие погруженного в воду гиппопотама, уже отплывшего далеко от берега, теперь выдает лишь небольшой фонтанчик. Но вот появляются его глаза-перископы, маленькие лошадиные уши, часть толстокожего крупа. Раздается странное, довольно пронзительное ржание, будто откуда-то вырывается сжатый воздух. Вслед за первым подает голос второй гиппопотам, третий. Из зеркально гладкой воды высовываются другие крупы, другие перископы. Нимфы купаются.

БАЗАР В ФОРТ-ЛАМИ

Форт-Лами, апрель 1972 г.

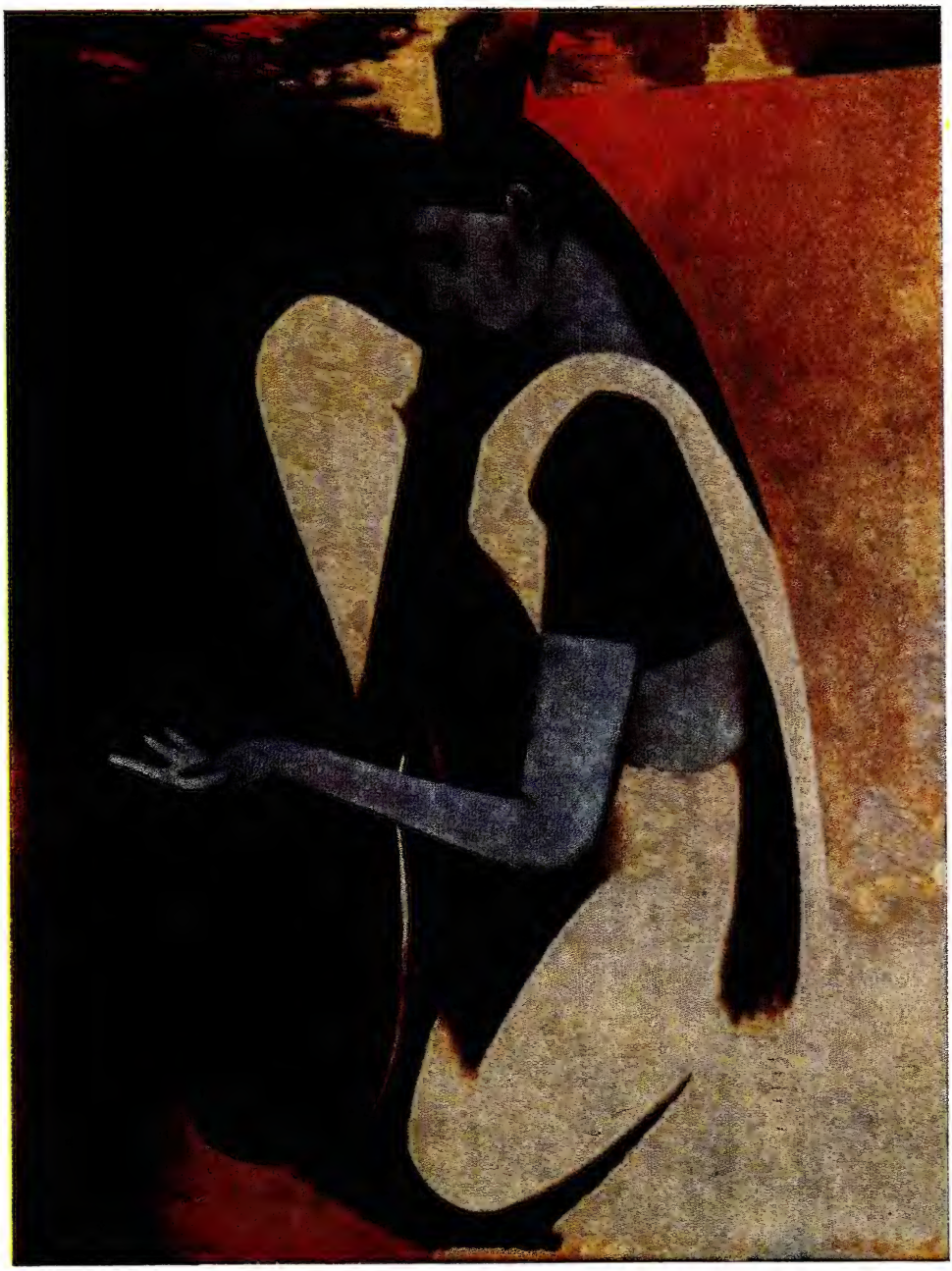
Шари — большая африканская река; в Форт-Лами она очень широкая и почти стоячая, как озеро; берега пологие, голые; в этот сумеречный, предзакатный час она представляется мне громадным безжизненным темным зрачком в глазу без ресниц и без брови.

П. Ганеш. Мать и дитя.

Современные художники Индии

Дж. Сабавала. В раджпурской деревне.

К. Хеббар. Танцовщица.



Н. Бендре. Девушка, играющая на тампуре.

С. Панчал. Кони.

Я сижу в саду гостиницы на берегу и рассматриваю огромный багровый диск солнца, висящий над противоположным берегом, настолько близко, что кажется, можно дотронуться до него рукой. По реке, наперерез солнцу, движется черный силуэт пироги и гребущего человека — совершенно как на наскальных изображениях доисторических времен. Как они красивы, эти африканские реки! Берегов у них, можно сказать, не существует, а если глядеть вдоль реки вдаль, вода сливается с небом... Они апатичны, глубоки, задумчивы. Африканская река — царство гиппопотамов. Днем эти добродушные громадины не вылезают из воды, мокнут — видны только перископы глаз и толстокожие крупы; ночью они легко выбираются на берег и пасутся, травоядные полуночники, среди папирусов и тростника, при свете луны, семьями: отец, мать и один или два малыша, выстроившись соответственно весу, многотонные и вместе с тем смирные и миролюбивые, как козлята.

Рядом со мной появляется специальный корреспондент какого-то иллюстрированного журнала. Он тоже давно сидит на террасе, но рассматривает не закат, а меня. Наконец, не выдержав, он берет стакан, бутылку пива и подсаживается к моему столу:

— Мы с вами сегодня утром уже встречались. Разрешите?

— Пожалуйста.

— Вы в Тибести поедете?

— Хотел бы, да нельзя: там воюют.

Спецкорреспондент — малорослый, большеголовый очкарик; волосы развеваются, как у человека, высунувшегося из окна мчащегося поезда полюбоваться природой. Он, торжествуя, сообщает:

— А я поеду. У меня есть знакомый полковник-француз, добуду через него пропуск. А если нет, то поеду в Триполи, я знаком с Кадаффи, проберусь в Зоуар из Ливии. Что вы скажете о Республике Чад?

— Я еще мало ее знаю, я только вчера приехал из Камеруна.

— Интереснейшая страна эта Чад! Смешение рас, скрещивание интересов. Земноводная страна: сплошь вода или же сплошь песок. Страна, поделенная между исламизированными африканцами и африканцами-христианами. Сейчас верх взяли последние — конечно, с помощью французов. Потому-то исламизированные африканцы и ведут антиимпериалистическую, националистическую борьбу.

— Партизанское движение сильное?

— Есть отряды и по двести — триста человек. Угадайте, кто их поддерживает?

— Затрудняюсь сказать.

— Прежде всего, естественно, Ливия. А кроме того, вы не поверите, Западная Германия.

— Неужели?

— Уверяю вас! Оружием, материалами. И знаете почему?

— Нет, не знаю.

— Из-за урана. Нигерские залежи здесь, неподалеку. Французы целый город в пустыне возвели. В общем, старая история: борьба империалистических интересов. Если Томбалбей уйдет, вся эта затея насчет союза с Францией рухнет. Вот почему французы не скупятся на помощь...

— А кто руководит партизанами?

— На поле боя или за кулисами? Главные вожаки, по-моему, в Форт-Лами. И я должен с ними повидаться, даже если ради этого мне придется проторчать тут месяц. Здесь, в Форт-Лами, непочатый край информации. Только копни — и новости зафонтанируют, как нефть в пустыне. А если не докапываться, с виду все нормально, безмятежно-спокойно.

В это время спецкорреспондент пришел в страшное волнение, начал размахивать во все стороны руками.

— Война с москитами. Этого я не выдерживаю! — шутливо воскликнул он.— Ухожу!

Он встал, попрощался и ушел.

На следующий день я понял, что спецкорреспондент был прав. Если эти залежи информации, именуемые Форт-Лами, не копнуть, то с виду действительно все выглядит нормально — как в любой горнорудной зоне до начала работ: светит солнце, покой, порядок.

Вот французский квартал, задуманный градостроителями с парижским размахом: просторные круглые площади, украшенные большими декоративными фонтанами, широкие тенистые бульвары, вдоль бульваров зеленеют сады красивых вилл, шикарных гостиниц. А вот африканский квартал: глинобитные стены, лабиринт песчаных дорожек между хижинами, крытыми соломой, непрерывно снующие туда-сюда люди. Но и в малолюдном, тихом французском квартале, и в густонаселенном, шумном африканском все спокойно, все нормально, по крайней мере внешне. Разумеется, надо бы копнуть поглубже. Но пусть этим занимается спецкорреспондент. На то они, спецкорреспонденты, и существуют.

Знаменитый огромный базар — центр торговой жизни Республики Чад — разделен большим тенистым бульваром на две половины: слева, преимущественно женщины, торгуют продуктами питания, а справа, по большей части мужчины,— прочими то-

варами. Видимо, такое деление отражает соответствующие хозяйственные функции, выполняемые теми и другими в семье и в племени, где женщины заняты обслуживанием, а мужчины производством.

Мы начинаем с женского сектора. Здесь скоропортящиеся продукты укрыты от беспощадного африканского солнца в просторном и светлом павильоне, битком набитом покупателями. Делая вид, будто что-то выискиваем, мы бродим в толпе, наблюдаем. Вот великолепные свежие овощи и фрукты; вот насыпаны небольшими пирамидками, точно сухие краски в красильне, семена, мука, пшеница — разнообразие сортов и оттенков неописуемое. А вот рыба, выловленная в Шари и в Логоне,— она уже зажарена, уже попахивает; вот мясо — оно потемнело, усеяно мухами; вот птица, козлята, барашки — живые, но в каком плачевном виде: валяются, связанные, прямо на полу, у ног покупателей. Откровенно говоря, продукты те же, что везде, на всех базарах мира, зато торговки особенные, неповторимые.

По большей части это молодые красивые женщины со множеством тонких косичек, падающих на лоб, на щеки, на затылок. У некоторых кольцо в носу. Туго запеленутая от груди до щиколоток в яркое полотнище, она сидит на корточках возле своего товара не шевелясь, похоже — дремлет; но стоит объявиться покупателю, как она тотчас просыпается и берется за дело так ретиво и самозабвенно, что невольно думаешь: нет, тут не погоня за наживой, тут, видимо, что-то другое — стремление властвовать. И становится понятным, почему, после того как в «третьем мире» происходит революция, эти самые женщины, но уже без кольца в носу, без косичек и без ткани несусветной расцветки, с той же истовостью и самоотдачей занимаются в современных учреждениях с кондиционированным воздухом оптовым сбытом этой самой снеди, тех же фруктов и мяса, которые здесь, при пока еще слаборазвитой экономике, они стараются продать в розницу.

Как ни странно, в той части рынка, где торгуют мужчины, мне это соображение в голову не приходит. Этих коммерсантов, задрапированных в белые одежды и расположившихся около товаров, разложенных на прилавках по образцу восточного «сука», труднее представить в роли деловитых служащих за европейскими письменными столами в кабинетах учреждений. Странно, но именно в силу того, что женщины живописнее или кажутся более живописными, веришь, что они переменятся радикальнее. Может быть, веришь в это еще и потому, что к революции социальной и экономической добавится «женская» — раскрепощение женщины,— для «третьего мира» особенно новая и ошеломляющая.

Конечно, при переходе от свободной торговли к планируемой кое-что неизбежно будет утрачено. Например, чудесные витрины. Мы уже не увидим сверкания бесчисленных, украшенных невероятными серебряными этикетками бутылок, очень напоминающих флаконы парижских парфюмеров, изготовлявшихся несколько десятилетий тому назад. Не исключено, что эти самые флаконы были скуплены, а затем в Каире или в Ливане наполнены лосьонами и местными духами в расчете на африканскую клиентуру.

Мы возвращаемся на бульвар. Натыкаемся на группу женщин поистине необычайного вида: косички на макушках бритых голов торчат, как воткнутые в подушечку булавки; на щеках — какие-то любопытные симметричные рубцы. Женщины сидят рядком, на корточках; у них очень усталый вид, они уже не торгуют — по-видимому, ждут разболтанного автобуса, который повезет их за тридевять земель домой, в глухое лесное селение.

Как водится, сговариваемся с ними насчет фотографии, платим вперед. Но едва мы приготовились фотографировать, как раздается окрик:

— Зачем вы их снимаете? Небось в своей стране вы бы себе этого не позволили!

Перед нами стояли три парня — вероятнее всего студенты — и отчитывали нас с поистине националистической суровостью. Мы возразили, что в нашей стране разрешается фотографировать кому угодно и кого угодно. Парни пожали плечами и обозвали нас «неоколониалистами».

Тут, неведомо откуда, вынырнул специальный корреспондент.

— Фотографируем? Недалеко же вы ушли! Я с вами прощаюсь. Уезжаю. Тут, в Форт-Лами, делать нечего. Еду в Триполи. Говорят, там — непочатый край информации. Только копни...

Перевод с итальянского Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ

◆

С. ПОТАБЕНКО

КРАСКИ ИНДИИ

Работы индийских художников, публикуемые на этих страницах, принадлежат мастерам разных поколений и разных манер. И в то же время у них много общего: всем им свойствен лиризм, их привлекает тема жизни индийской деревни, образы крестьян, жанровые сценки, подвиги героев легенд и преданий, а главное — они стремятся перенести на холст краски Индии.

Эти лирико-романтические сюжеты, мотивы, краски рождаются в студиях Бомбея, где живут эти художники. Их искусство — в какой-то мере полемическая антитеза городу серых небоскребов, вырастающих с каждым годом над лабиринтом неширо-ких улиц, по которым течет нескончаемый поток машин.

Картина Дж. Сабавалы приобщает нас к жизни крестьян Раджастхана. Раджастхан — это бурая, выжженная солнцем земля под ослепительным небом, это тени от ветвей низкорослых деревьев на глинобитных стенах хижин. Крестьянки пришли на деревенскую площадь — настал день праздника. Все в картине верно передает самый дух Раджастхана. Она построена на подчеркнутом контрасте освещенного цвета и затененной поверхности. Сабавалу уводят от тусклых тонов города красочные созвучия желтых, оранжевых, пестрых шалей и юбок; беспокойный ритм городской жизни заставляет художника глубже чувствовать атмосферу деревенского покоя и тишины.

Н. Бендре тоже связывает свое творчество с миром индийской деревни — все его сюжетные вещи посвящены ее людям, их благородству и достоинству, их умению видеть в однообразии будничной повседневности краски окружающего их мира, слышать его музыку. В картине «Девушка, играющая на тампуре» мы как бы слышим звуки этого удивительного инструмента, тихо звенящего в вечерних сумерках. Решенная в условно-декоративной манере, она передает настроение, вызванное мелодией вечерних красок Индии, когда все тона синего, постепенно сгущаясь, сливаются в силуэт темно-индигового цвета.

Декоративизм присущ индийской живописи по самой ее природе и имеет давние традиции. В «Танцовщице» К. Хеббара графичность и плоскостность живописи перекликаются с древними стенописями Индии. В то же время художнику всегда импонировала изысканная легкость и лаконизм матиссовского рисунка и письма, что особенно ясно выражено в многочисленных листах, выполненных пером и тушью. Графический характер живописи Хеббара составляет одну из самых существенных сторон его творчества.

В декоративной манере решена и картина П. Ганеша «Мать и дитя». Художник продолжает (правда, более упрощенно) линию знаменитого Джамини Рая, чья живопись вдохновлялась народным искусством. Примитивизм Ганеша восходит к бытующим и в наши дни народным стенописям Бихара и Раджастхана, к ярким орнаментальным сюжетным росписям «ранголи». Но это не механическое перенесение на холст мотивов народной живописи, а своя интерпретация известных сюжетов, свое характерное композиционное и колористическое их решение.

Сатиш Панчал — представитель младшего поколения художников Индии. Может быть, он острее других чувствует бег времени, те перемены, которые происходят в независимой Индии. Как живописец он формировался именно в это время. Оттого так стремителен бег его коней. Идея картины из цикла «Кони» нашла точное художественное воплощение: кони с распущенными по ветру гривами вылетают на огромное свободное поле из стесненного краями холста пространства. Это движение усиливается интенсивностью цвета в ограниченном пространстве, откуда начинается бег коней.

Индийское изобразительное искусство представляется современнику отражением красочного мира его родной страны, жизни ее людей во всем многообразии и сложности этой жизни.

Среди книг

ПУТИ, ВЕДУЩИЕ К СВОБОДЕ

Катеб Ясин. Неджма. Роман. Перевод с французского Мориса Ваксмахера. Предисловие Галины Джугашвили. Москва, «Прогресс», 1971. 208 стр.

«Алжир — это прежде всего Алжир! Не существует берберского Алжира, французского Алжира. Есть только один Алжир... Алжир многонационален, и эта многонациональность как раз и составляет его национальное богатство. Нужно постараться постичь Алжир в его целостности»,— говорил еще десять лет назад Катеб Ясин в своем интервью корреспонденту еженедельника «Леттр франсэз».

Это высказывание — при всей его полемической категоричности — содержит высокий процент истины. А художественное постижение Алжира в его целостности — требование, предъявляемое Катебом прежде всего самому себе,—составило как исходную позицию, так и конкретный итог его творческих исканий и находок.

Поэт, прозаик, драматург, публицист, твердый противник колониализма, Катеб Ясин был удостоен в этом году международной премии «Лотос». Писатель в своем творчестве сумел показать мучительную сложность процесса деколонизации, драмы, которые разыгрывались не только на открытых пространствах общественных схваток, но и в тайниках индивидуального бытия. Катеб осознает и приемлет неразделимость личных и общенародных судеб, но он ценит специфику личного, свободно и смело в ней ориентируется, открывая, вернее, распахивая рывком, двери внутреннего мира своих братьев алжирцев.

Это мир, в котором царит боль. Попранная национальная честь и униженное человеческое достоинство — вот ее источники, и все разновидности духовной анестезии (а их много!) здесь бессильны. Только постоянное собственное сопротивление, неустанное противодействие гнету, растущее изнутри,— вот путь, возвращающий порабощенного человека к самому себе. И отображение этого пути составляет содержание вышедшего семнадцать лет назад в Париже романа Катеба Ясина «Неджма».

Роман труден. Его нужно перечитывать несколько раз. Захлебывающиеся внутренние монологи. Поэтические, пронизанные пульсирующим ритмом панорамы алжирских городов и нагорий. Экскурсы в историю, политику, этнографию. Штрихи быта. Воспоминания детства. Голоса из прошлого и будущего.

Что же это? Исповедь алжирского юноши, получившего французское образование? История неравной борьбы горного племени кетлутов против колониальных карателей? Рассказ о горькой любви четырех друзей к Неджме — воплощению женственности и жизненной силы? Повесть о первых шагах алжирского национального сопротивления?

Все это есть в романе. Но главное — путь его героев к свободе. Через все соблазны, житейскую суету, собственную инертность, слепую силу случая. И не в одиночку, а со всеми вместе. Не случайно Катеб переходит на жесткий ритм коротких маршевых фраз, рисуя одну из ключевых сцен «Неджмы» — картину майской демонстрации алжирцев в 1945 году, в которой участвуют персонажи романа — юные Мустафа и Лахдар:

«Сегодня, восьмого мая, действительно наша победа?

Впереди бойскауты, за ними идут студенты.

Лахдар и Мустафа шагают плечом к плечу.

Толпа растет.

По четверо в ряд.

Прохожие расхватывают флажки.

Полиция оттеснена.

Дети запевают гимн:

От наших гор поднимается к небу—
Голос свободных людей».

Именно этот голос—лейтмотив всей столь полифоничной книги. «Ничто не может усмирить гневной ярости угнетенного»,— говорит Ясин. Он не боится показывать трудности созревания характеров тех, кто примет участие в предстоящей борьбе за освобождение,— их неустойчивость и импульсивность, их послушное следование традициям и чрезмерное доверие к собственным инстинктам. И вместе с тем писатель ценит их внутреннее богатство и душевную открытость, их алжирскую — национальную и многонациональную — неповторимость, их социальную схожесть со всеми обездоленными мира.

Ведь они — из числа тех, о ком рассказывал Катеб Ясин в уже упоминавшемся интервью для «Леттр франсэз»: «...Герой той пьесы, которую я видел в Константине во время праздника Независимости, не имел ничего общего с передовым борцом и вовсе не представлял образец для подражания. Это был бедняга без всякого политического сознания, не знающий даже — алжирец он или марсианин. Теперь он это знает. Вот это и есть революция».

Таковы и герои «Неджмы». Их голоса, нестройные, резкие, перебивающие друг друга,— в конечном счете голоса свободных людей. Проникая в самую сердцевину тревог, болей, скорбей, страстей и надежд Рашида и Неджмы, Лахдара и Мустафы, мы учимся понимать, благодаря каким внутренним силам, резервам человеческого духа алжирский народ победил в почти восьмилетней войне, завоевал право на самостоятельную жизнь и ныне прокладывает свой путь в будущее.

МИХАИЛ КУРГАНЦЕВ

РЕАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ — РЕАЛИЗМ В ЛИТЕРАТУРЕ

Ngugi Wa Thiong'o. Homecoming. London—Ibadan—Nairobi, Heinemann, 1972.

Каждому, кто сколько-нибудь внимательно следит за процессами, происходящими в сумме явлений, объединяемых многими африканскими и некоторыми западными исследователями под общим названием «негро-африканской» культуры, очевидна нарочитая перекличка названия сборника статей видного кенийского писателя Нгуги «Возвращение на родину» с книгой литератора из Гайаны И. Брайтвэйта «Возвращение на родину. Где она?».

Прежде чем разбирать богатую профессиональными наблюдениями и обобщениями публицистику Нгуги и его литературно-критические работы, отметим, что за определенностью самого названия, избранного писателем, стоит определенность идейно-политических и эстетических воззрений автора.

И. Брайтвэйт, уроженец бывшей Британской Гвианы, вернувшись на землю Африки в поисках пристанища для «души черного человека» («Кто я был до сих пор в мире — англичанин, вест-индец, африканец?») и осмысливая такое ведущее для африканской интеллигенции наших дней понятие культурного возрождения континента, как панафриканизм, приходил к мысли, что «вся Африка его исконный дом и он свободен избрать ее в с ю своей родиной». Нгуги, опираясь на философию панафриканизма (лишь в том смысле, что признает общность исторического прошлого негро-африканских стран и как следствие — наличие своеобразных особенностей «черного мира»), поднимается до ответа на вопрос: «Единство? Но каково должно быть его содержание и каков путь к нему?».

Вопрос отражает суть переходного для многих стран Африки периода, то есть постепенного, начиная со второй половины 60-х годов, «отрешения от иллюзий», по выражению нигерийского литератора О. Мезу, в условиях сохранившегося буржуазного общества; и ответ — не публицистически декларативный: ведь попытки ответить на него Нгуги делал прежде всего в романах «На разных берегах», «Не плачь, дитя», «Пшеничное зерно» (два последних переведены на русский язык). Смысл же ответа в том, что в поисках утраченной праотцами Африки Нгуги исходит не из идеи негро-африканского единства, оказавшегося мифом, но из объективной реальности: «В мире осталось лишь два племени — имущие и неимущие, и возвращение родины — это прежде всего такое переустройство общества, при котором труженик, независимо от цвета кожи, утративший дом, займет в нем место хозяина».

Четкость классовой позиции Нгуги здесь тем более существенна, что по представлениям большинства деятелей африканской культуры рождение политически независимых государств создало новую историческую ситуацию, требующую от художника занятия «новых позиций»,— ситуацию, в которой многие увлеклись негритюдом как «совокупностью культурных ценностей черного мира» (Леопольд С. Сенгор). Оценка же африканской ситуации у Нгуги неотрывна от диалектического понимания расстановки классовых сил в мире и в этом смысле является новым элементом в современной африканской литературе и эстетике.

Очевидно, это дает право рецензенту крупной кенийской газеты «Дейли нейшн» написать, что «...здесь Нгуги простирает панафриканское видение, столь четко прослеживаемое в его романах, до своего рода марксистского гуманизма... каковой для него и является формулой, необходимой для угнетенных неимущих всего мира». Заметим эту оценку газеты как реакцию на позицию писателя той аудитории, к которой, собственно, обращена книга, сделав, однако, ссылку на вольное иногда обращение с терминологией, к сожалению свойственное пишущей интеллигенции развивающихся

стран (в понятие социализм, в частности, не всегда вкладывается научное его содержание). Главное же заключается в том, что книга Нгуги — это прежде всего изложение его взглядов на модель современного общественного устройства обретших независимость стран.

Подытоживая, скажем: не отрицая своеобразия исторического опыта человека с черным цветом кожи, Нгуги видит тем не менее модель общества будущего в лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»— «поскольку,— пишет он,— мы, будучи черными, испытали двойной гнет: колониализма и капитализма, но прежде — как часть трудящихся масс всего мира, а затем уже — как черные».

В работах теоретиков и публицистов «негро-африканской» культуры линия размежевания в обществе слишком часто затушевывалась гипертрофированными представлениями об исключительности «мира черного человека». Негритюд, родившись как концепция сопротивления «белому присутствию в Африке», по выражению Нгуги, привел к тому, что среди большей части африканской интеллигенции, работников искусств и политических деятелей существовало (и существует) убеждение, что «культурное освобождение есть основное условие политического освобождения...». «Но неправильно,— пишет Нгуги,— считать культуру первоэлементом в сравнении с политикой. Наоборот, именно политическое и экономическое освобождение является основным условием для культурного раскрепощения... Только тогда, когда весь народ вовлечен в разрушение старых, основанных на угнетении, социальных структур и в строительство нового общества,— только тогда он как бы вновь открывает самого себя. Только тогда происходит его второе рождение».

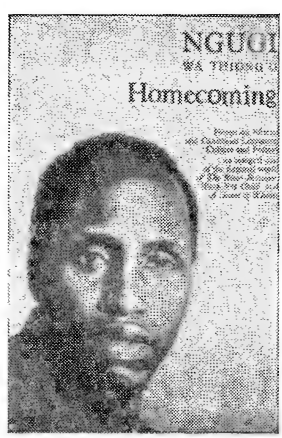
Не случайно книга открывается статьей «Создание национальных культур». Она вся — подтверждение второго тезиса идейно-эстетической и политической концепции Нгуги: линия размежевания в мире проходит отнюдь не между Востоком и Западом,— тезиса, развиваемого затем в эссе «Какого я цвета, какой я расы?», где писатель, размышляя о творчестве вест-индских прозаиков негритянского происхождения, скажет: «Создавать религию на основе общности цвета кожи значит обрекать на поражение самое идею социальной справедливости».

Книга не дает оснований для выводов о методах борьбы, каких придерживается автор в осуществлении предлагаемого им социального переустройства. Тем не менее эссе «Чинуа Ачебе: человек из народа», «Писатель и его прошлое», «Воле Шойинка, Алуко — сатирические голоса», «Церковь, культура и политика» дают основание полагать, что писатель радикален в критике национальной бюрократической буржуазии как тормоза общественного развития. («В самом деле, что изменилось в стране, где не проведена аграрная реформа, где один владелец шестисот акров земли, белый, просто-напросто заменен неким другим, черным владельцем тех же шестисот акров?»)

«Существует немало иных факторов, из-за которых кровь наших братьев льется куда больше, чем из-за различий между чернокожими и светлокожими жителями Африки»,— писал в свое время видный ученый и общественный деятель из Верхней Вольты Жозеф Ки-Зербо, имея в виду трайбализм (от «трайб»—племя) и, возможно, в еще большей мере классовую борьбу. Вспомнив волнения в Мали в 1963—1964 годах, подогревавшуюся империалистическими кругами межплеменную вражду в Нигерии, приведшую к гражданской войне 1967—1970 годов, многолетние кровопролития на юге Судана, этнические разногласия (опять не без участия бывших колонизаторов), стоившие жизни ста тысячам жителей Бурунди, мы глубже поймем выводы Нгуги на этот счет, определенно противостоящего теоретикам «трайбализма как нормального стремления народов к самоопределению». «Трайбализм — специфическое порождение колониальных режимов»,— пишет Нгуги. И далее: «Вся история трайбализма в Африке на самом деле есть форма гражданской войны между «имущими» за объедки от пирога хозяев, восседающих в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Париже, Бонне и Копенгагене».

Вряд ли новая книга Нгуги написана в расчете на широкие круги африканского населения. Она адресована прежде всего тем, кто пытается понять позиции африканской интеллигенции, состояние и перспективы развития «негро-африканской» культуры в период «отрешения от иллюзий». Задача Нгуги — ориентировать прогрессивную интеллигенцию на уважительное отношение к научному осмыслению процессов, происходящих в «черном мире».

От внимания специалиста не ускользнет тот факт, что в последовательном антикапиталистическом и антиимпериалистическом умонастроении Нгуги сказывается определенное влияние Франца Фанона. Не часто цитируемый, Фанон тем не менее присутствует в эссе Нгуги в самом главном — в цели, преследуемой писателем,— то есть в последовательной борьбе против колониализма и неоколониализма во всех его изме-



рениях: политическом, экономическом и культурном, и в конечном результате — в убежденности, что капиталистическая модель общества не может удовлетворить надежды развивающихся стран. Впрочем, Нгуги идет дальше своего единомышленника и, очевидно, учителя, преодолевая заблуждения Фанона, продиктованные, вероятно, в свое время характером специфической алжирской ситуации пятидесятых годов, в частности, в вопросе о роли рабочего класса в антиимпериалистической революционной борьбе некоторых стран Северной Африки. У Нгуги термин «промышленные рабочие» неотделим от понятия «трудящиеся массы», а в отличие от нигерийца Ч. Ачебе трудящиеся массы у Нгуги — это движущая сила социального развития, а не лишь «толпа».

«Модернизации Африки», то есть освоению национальной интеллигенцией суммы научных и технических знаний нашего века, как очередной в цепи всеафриканских проблем Нгуги уделяет также значительное внимание. При этом писатель отвергает попытки сохранить экономические и социальные институты колониальной эпохи (еще бытующая тенденция), привить к ним африканскую культуру. «Мы уже неоднократно убеждались,— пишет Нгуги,— что колониальные институты могут породить только колониальный образ мышления. Именно в силу этого значительная часть африканской буржуазии искала соглашения с белыми колонизаторами и старалась приглушить революционные требования большинства крестьян и рабочих».

Литературно-критический разбор Нгуги некоторых произведений современной африканской и вест-индской литератур убеждает, что писатель связывает характер развития литературы с тем путем, по которому идет государство; в странах, вставших или близких к становлению на некапиталистический путь развития,— это «революционный реализм»; содержание же литературного процесса периода «отрешения от иллюзий» — это критический реализм с классовой, а не расовой или родо-племенной линией размежевания общества.

Примечательна книга не только содержанием. «Это первая литературно-критическая работа автора-африканца»,— пишет газета «Дейли нейшн». Не будем определять жанр книги таким образом, она глубже и шире, и ее следовало бы рассматривать в ряду, скажем, с недавним сборником южно-африканской публицистики «Апартеид», изданным под редакцией Алекса Ла Гумы, или с политическими и философскими эссе Льюиса Нкози «На родине и в изгнании». Трудно сказать, связано это с содержанием сборника или нет, но «Возвращение на родину» — первая книга Нгуги, которую он подписал не христианским именем Джеймс, под которым он известен как беллетрист, а своим исконным: Нгуги ва Тионго (Нгуги из Тионго).

Сам же Нгуги, давая в интервью западногерманскому журналу «Африка хойте» оценку тому, что было опубликовано в Кении в последнее время, говорил: «Заслуживает похвалы, я думаю, диапазон творческой деятельности восточноафриканских писателей. Они затрагивают не только проблемы Восточной Африки, но и пишут ...об актуальных событиях наших дней, что позволяет нам, жителям Восточной Африки, видеть верную перспективу развития мировой истории и международных событий».

Закончим обзор последней по времени книги Нгуги мнением о писателе, высказанным журналом «Веймарер байтреге» (№ 11, 1971): «...Нгуги довольно близок к идеям марксизма. Практическое становление материалистических общественных взглядов и марксистско-ленинских идей является,— пишет журнал,— значительной движущей силой дальнейшего национально-революционного развития в Африке».

А. КЛЫШКО

ГОРДИСЬ СОБОЮ, ЧЕЛОВЕК!

Из современной пакистанской поэзии. Джош Малихабади. Амир Хамза Шинвари. Ахмад Надим Касми. Переводы с урду и пушту. Составитель и автор комментариев А. Сухочев. Редакция переводов и предисловия М. Тарасовой. В подготовке настоящего издания принимали участие Л. Васильева, А. Герасимова, Н. Глебов. Москва, «Прогресс», 1973. 311 стр.

Народ осознает себя в песне — народной или принадлежащей перу поэта. Слово поэта есть неопровержимое свидетельство существования народа, оно сопрягает в себе его прошлое, настоящее, будущее. Знать народ — значит знать его поэтов.

Я знал страну великого Галиба и Икбала — этого блестящего поэта и философа, закрепившего за собой место в истории литературы сборниками «Тайны своего Я», «Крылья Гавриила», «Жезл Моисея». Знал судьбу истерзанного Пакистана. Жуткий образ бесконечной дороги человеческого горя потряс меня и сегодня:

Узоры на этих дорогах оставила поступь столетий,
И все беспощадней событья, и кровью бесчисленных трупов
Обагрены дороги, обагрены дороги.

Строки эти принадлежат Ахмаду Надиму Касми. Сегодня мы стали намного ближе к Пакистану, чем вчера. Приблизили нас к своему Пакистану Джош Малихабади, Амир Хамза Шинвари, Ахмад Надим Касми, чьи стихи можно прочесть в этом сборнике в переводах Ю. Александрова, В. Сикорского и С. Северцева.

Неистовый Джош... Сколько первозданной мощи, силы в его стихе, настоянном на беспокойстве гражданской совести. Слово этого поэта-трибуна, пакистанского Маяковского, звучит призывным набатом, ре-

шительно и властно — «от слов таких срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек». Красноречивы уже названия стихов: «Приглашение в революцию», «Клятва сильных», «Создай», «Помни!». Поэт обнаженно-эмоциональный, верный пафосу революционной целеустремленности («Сваи старых устоев я вырву, не медля, из топкого дна»), Малихабади тяготеет к слову-выкрику, к интонации энергичного, откровенного высказывания, предпочитает строить стих в ударном ритме, преимущественно в форме прямого обращения:

Вставай! Зажги во мраке кровавый свет зари!
От бездны к высям неба дорогу протори!

В поэзии Малихабади покоряет какая-то обостренная, незамутненная чуткость к человеческому в человеке. Он слишком хорошо знает, что это за существо — человек, чтобы проходить мимо торжествующего натиска несправедливости. Лишь свободный человек способен осознать в себе человека, и Малихабади не устает его воспевать. Потому-то столько возмущения и горечи вкладывает он в стих, когда видит рядом с собой не человека-победителя, а человека униженного, оскорбленного действительностью в лучших своих чувствах:

Если ты человек — сделай осень весной,
Чтобы утренний мир поскорее возник!

Поэтому в поэзии Малихабади не мог не зазвучать мотив ответственности поэта за происходящее в мире. Он верит в мобилизующую силу поэтического слова. Этой уверенностью пронизан программный «Манифест поэтов»:

Хватит, брат мой, блуждать в лабиринтах любви —
Человечество другом своим назови!
Мы с тобою служить обязуемся людям
Каждым делом своим, каждой вспышкой в крови.

Гражданственность — нерв поэзии Малихабади. Он знает силу слова, обращенного к слушателю, но он силен и в сфере стиха элегического, далекого от шумных деклараций и громких признаний. Проникновенная достоверность переживания, «законченный лиризм настроения и выражения» (фраза Овсянико-Куликовского) отличают его стихи, запечатлевшие сокровенный пульс любящего сердца: «Все брожу, брожу воображеньем по улице прелестных губ и щек!»

Сосредоточен и раздумчив поэт перед ликом природы, «ощущение родства» с которой он переживает как каждодневный праздник. Он «всей дрожью жилок» чувствует живое, трепетное начало природы. Прекрасен цикл «Голоса природы». Отказываясь от взгляда на природу со стороны, поэт как бы самоустраняется, предоставляя «право голоса» самим природным явлениям, вслушиваясь в зов реки, утренней звезды. Каждый «зов» кончается строкой: «Ко мне, певец мой, поскорей сюда!» Красота разлита вокруг, «одарять собой не устает», и поэтическое мировидение есть не что иное, как мгновенная реакция на ее существование. Надо не лениться слушать и видеть мир. И страдать от сознания своего бессилия до конца постичь тайнопись природных явлений.

Другой поэт, представленный в книге, пишет на языке пушту. Стихотворение «Солнце и атом» свидетельствует о приверженности Шинвари к философической значимости поэтического выражения. Стих его не поддается поверхностному ленивому восприятию. В нем ощутимо пульсирует мысль, его пронизывает ток пытливых, глубоких раздумий:

Мир на противоречиях построен.
Без темноты ты не познаешь света.
Чтобы излить, сперва наполни душу.
Бессмертия без умиранья нет.

Это из стихотворения «О противоречиях». Читая его, как и стихи «Спичка», «Человечность», трудно хотя бы на миг усомниться в высокой поэтичности строк Шинвари. Я всегда считал надуманными, высосанными из пальца рассуждения о поэзии философской и нефилософской. Существо поэзии нельзя уложить в прокрустово ложе схематической выкладки — этой и любой другой. И пастернаковское «во всем мне хочется дойти до самой сути» для меня всегда было знаком того, что вне напряженной работы мысли поэзии нет и быть не может. «Мысль с чувством сшита в нем, шов — Млечный Путь»,— так Шинвари аттестует истинного поэта. Как и Малихабади, Шинвари активно размышляет над тем, какой должна быть поэзия, какова она, роль поэта в сегодняшнем мире:

Ты — поэт, и пульс народов и времен
от тебя зависит, словно подключен
мир весь к сердцу твоему навечно.

Цветами страдания и любви называет свои стихи третий в этой книге поэт — Касми: «Смотрите: из-под этих строк сочиться стала кровь». Касми также свято верует в авторитет поэтического слова, дорожит достоинством поэта, и потому из-под его пера выходит гневная филиппика по адресу «одного известного поэта», который «из своих вдохновений... сделал модный товар», успокоился в самодовольстве, пригретый лучами славы. «Мой напиток — не сок виноградных лоз, он из желчи, огня и слез»,— вызывающе и броско начинает Касми стихотворение «Чаша гнева», чтобы тут же, в следующем стихотворении «Запрет» продолжить: «Продажной жемчужиной, жалкой игрушкою ветра я быть не желаю». Поэты такого накала, как Касми, пишут книги, которые воспринимаются как обнаженная совесть.

Поэзия Касми исполнена драматизма, ощущение трагической подосновы существующего в высшей степени присуще ему. Он далек от самоцельного демонстративного пессимизма. В его поэзии много горечи, но той естественной, выстраданной горечи, которая, по словам Блока, «облагораживает, пробуждает в нас новое знание жизни»:

Сочувствие друзей всегда ценил я,
Внять их советам был готов всегда,
Но как чужда им подлинная мука
И подлинная верность как чужда!

Хочется выделить стихотворения «Безумец» и «Истина». В первом есть что-то от духа гениального лермонтовского «Проро-

ка» — та же безысходность одинокого человеческого страдания, та же трагедия непонятого разума. Во втором зафиксирован процесс безостановочного духовного поиска.

Потрясает баллада «Осенние цветы» — рассказ о зловещей неограниченности деспотического произвола. Великолепный мастер сюжетного стиха, Касми поведал страшную историю о грозном шахе, возжелавшем осенью «ароматных, смеющихся, ярких цветов». Вечером ко дворцу согнали толпы людей, лица и плечи которых, казалось, покрывали яркие розы. «Одного не пойму,— недоумевает деспот,— столько роз предо мною багряных, почему же не чувствую свежего их аромата?» И слышит в ответ:

Это стража дворцовая нас подгоняла бичами,
Чтоб в осенние дни мы цветы для тебя отыскали.
Но цветы наших ран — хоть они и багряны, как розы,—
Только ярко пылают, а дать аромата не могут!..

Обращает на себя внимание интонационное разнообразие поэзии Касми. Газель и восьмистишия, баллады и лирические миниатюры, триолет и развернутые циклы — Касми одинаково хорошо чувствует возможности разных поэтических форм.

Если бы надо было подыскать эпиграф ко всему сборнику, можно было бы остановиться на строке Мухаммада Икбала «Гордись собою, человек!»:

Гордись собою, человек! Ты вечных звезд счастливей,
Ты — вольный странник, а они — в плену своих орбит.

Каждый из поэтов, представленных в книге,— яркая творческая индивидуальность. Революционная страстность Малихабади. Углубленная сосредоточенность Шинвари. Драматическая напряженность строк Касми. Но всех их объединяет одно, самое главное: любовь к свободному человеку, борьба за человеческое достоинство, вера в высокое предназначение человека.

Круг любимых моих поэтов расширился— я познакомился сегодня со стихами трех больших пакистанских поэтов.

КАЗБЕК СУЛТАНОВ

НОВЫЙ НИЛ

Абд ар-Рахман аш-Шаркави. Феллах. Роман. Перевод с арабского В. Шагаля (гл. 1—8) и Л. Медведко (гл. 9—16). Предисловие Е. Примакова. Редактор Р. Грецкая. Москва, «Прогресс», 1973. 222 стр.

Еще совсем недавно к югу от города Асуана до самой суданской границы на протяжении сотен километров лишь изредка можно было встретить жилье человека — бедную нубийскую деревушку или шатер кочевника. Кругом раскинулась зловещая пустыня, не знавшая от века ни травинки, заваленная огнедышащими темно-красными камнями. Высотная Асуанская плотина бросила вызов этой пустыне, образовав огромное водохранилище. От него голубыми рукавами оросительных систем расходится живительная вода, и каменные просторы — колыбель горячих ветров — впервые за тысячелетия стали зелеными полями.

Не без гордости египтяне называют Асуанскую плотину восьмым чудом света, которое в отличие от пирамид — гигантских усыпальниц фараонов — служит благу человека. Оно создано во имя жизни, олицетворяя собой рукотворный символ дружбы советского народа с народами арабских стран.

На этой земле встретились две силы: старое, уходящее в глубь тысячелетий, и новое, возникшее в недрах старого. Исторический поток, выйдя из старого русла, избрал новое направление. Он меняет лик земли, неся с собою социальные преобразования, подмывая ветхие стены отжившего свой век старого здания несправедливости, неравенства и нищеты.

Этому посвящен роман Абд ар-Рахмана аш-Шаркави «Феллах». Борьба за землю определяет сюжетную канву произведения. Действие происходит в шестидесятые годы. Антиимпериалистическая революция 1952 года положила начало глубоким социальным преобразованиям в Египте, однако многие ее мероприятия не были до конца последовательными. Так, законы об аграрной реформе лишь частично отвечали чаяниям широких масс феллахов. По справедливому замечанию Е. Примакова, автора предисловия к роману «Феллах», реформа «не привела к ликвидации полуфеодальных элементов в египетской деревне, где они сохранили значительные экономические, а в ряде случаев и политические позиции».

Претворение в жизнь декретов новой власти носило нередко верхушечно-бюрократический характер и зачастую возлагалось на самих помещиков, ярых противников любых преобразований. В их руках оставалась львиная доля обрабатываемой земли. В стране насчитывалось около трехсот крупных феодальных семей, они по-прежнему были вершителями судеб в деревне. На другом полюсе — два миллиона мелких собственников, довольствующихся в среднем одним федданом [1], плюс огромное количество обездоленных крестьян, странствующих в поисках куска хлеба. Вот это и составляло противоборствующие силы.

Роман Абд ар-Рахмана аш-Шаркави «Феллах» можно назвать документальным, ибо сюжетной основой в нем служат действительные события, которые в свое время получили широкую известность. Авторский домысел превратил факты жизни в факт литературы, придал им большую убедительность, наполнил эмоциональной силой.

Среди литературных персонажей выделя-

[1] Около 0,42 га.

ется феодал Ризк-бей. Чувствуя негласную поддержку отдельных представителей местных властей, он выступает против социальных перемен в деревне. Ризк-бей привык к роли полновластного хозяина и не хочет считаться с феллахами, объединившимися в кооператив.

«Я в деревне главный, и созывать собрание никто, кроме меня, не имеет права»,— заявляет Ризк-бей, когда члены кооператива, на свой страх и риск пославшие представителя в Каир, хотят послушать, с чем вернулся ходок Абдель-Азим, этот крестьянский правдоискатель.

Борясь против новых веяний, Ризк-бей не очень-то разборчив. Хитрый и коварный, он умело использует религиозный фанатизм и невежество феллахов, воспитанную веками привычку быть всегда покорным своему господину. А с теми, кто не поддается, он расправляется просто—нанимает убийцу... Для Ризка нет законов: на его полях работают машины, принадлежащие кооперативу, вода прежде всего идет на орошение его собственных посевов, правдами и неправдами, в обход новых постановлений, он заставляет крестьян подписывать документы, по которым они «добровольно» отдают ему свои земли в аренду, да еще вынуждает их платить ему за пользование сельскохозяйственным инвентарем, приобретенным на средства кооператива.

Но Египет уже не тот, каким его привыкли видеть эксплуататоры. Вчерашние безропотные батраки обрели дар речи, во весь голос заговорили о своих правах на жизнь. Революционные идеи завладевают их сердцами. Такие люди, как учитель сельской школы Абдель-Максуд, отец которого, по словам того же Ризк-бея, «бывало, не то что сидеть — и стоять-то в присутствии Ризка не смел», стали вожаками масс.

Абдель-Максуд не одинок. Его поддерживает и поборник переустройства деревни Абдель-Азим, весь устремленный в будущее, и совсем еще юный, но познавший немало горя Салем, и его мать, старая крестьянка Инсаф, живо откликающаяся на новые веяния. Даже школьники пытаются заглянуть в завтрашний день своей страны. Они рисуют на скатерти Асуанскую плотину — с ней они связывают свое будущее, а рядом — египетскую деревню со всеми атрибутами устоявшегося тысячелетиями старого быта.

Абдель-Максуд и Абдель-Азим преисполнены решимости вести обездоленных феллахов по новому пути. «Город и деревня должны действовать сообща. Цель-то у нас общая, одна у нас цель. А с дурацкими предрассудками надо решительно бороться»,— говорит Абдель-Максуд.

В течение веков город олицетворял для феллаха жестокую власть и грубое насилие. Оттуда шли приказы о трудовой повинности, об отчуждении земли, конфискации имущества, поборах. Теперь город протянул руку деревне. Соединился труд горожан и феллахов. Как в городских, так и в сельских школах учащиеся выводят одни и те же слова, дорогие каждому из них: «Наша цель — социализм».

Поэтому злобствует, негодует и Тауфик Хасанейн, темная личность, самозванец, неусыпный страж интересов феодалов. Феллахов, пришедших на собрание, он пытается запугать: «Распустить собрание! Приказываю всем разойтись. Вы не имеете права его проводить, поскольку не получили на то соответствующего разрешения от органов безопасности...»

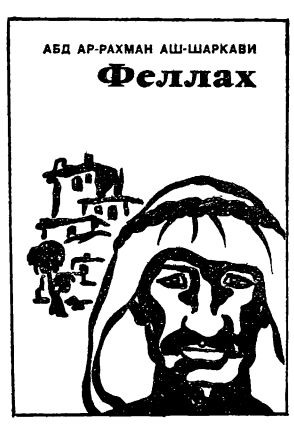
Абдель-Максуд, Абдель-Азим и другие «зачинщики» попадают в тюрьму. И аш-Шаркави переносит читателя своего романа в город. Появляются новые действующие лица. Здесь не только прогрессивные люди, ведущие борьбу с пережитками старого, но и оппортунисты всех мастей, окопавшиеся на различных постах. Последние, прикрываясь левыми фразами, вносят разлад в ряды борцов за новую жизнь. Один из них — адвокат Бараи, характер которого обрисован весьма убедительно.

Когда в поисках виновников ареста Абдель-Максуда и его друзей Омар Шабини, начальник цеха ткацкой фабрики, член комитета АСС, приходит к своему старому знакомому Бараи, тот его начинает поучать: «Ты... настоящий революционер! Единственное, что тебе мешает,—это излишняя горячность... Истинный революционер должен быть выдержанным, хладнокровным...»

Омар понимает, что он встретился с тем, кого именуют внутренним врагом, наиболее опасным в развернувшейся борьбе, что своими действиями Бараи подрывает у людей веру в социальные преобразования, пытается запугать людей террором.

Такой ревнитель «социализма», за которого выдает себя адвокат Бараи, способен на диверсию против всего нового, прогрессивного. Это такие люди, как он, вывешивают на дверях полицейского участка лозунг: «Полиция на службе народа», а сами чинят произвол, арестовывают ни в чем не повинных активистов кооперативного движения и содержат их в тюрьме без суда и следствия.

Пока искатели справедливости ищут правду у полицейских чиновников, Ризк-бей, опираясь на поддержку реакционных эле-



ментов, пытается расправиться со своими противниками в деревне. Он негодует: «Убрали Абдель-Максуда — так теперь в командиры вылез учитель Райан, схватили щенка Салема — так гавкает эта собака Бухейри. Арестуем этих — вместо них появится еще десяток бунтарей». Ризк-бей призывает своих подпевал: «Чуть кто поднимет голову, сразу надо бить его по башке, чтобы другим неповадно было. Иначе нам не удержать бразды правления в своих руках».

И в самом деле, подобно тому как берега не удержали Нил и его голубые воды разлились во всю ширь нового моря, когда появилось чудо века — Асуан, феодалам стало невозможно удержать власть над феллахами, сердцами которых овладели идеи социальных преобразований.

Абдель-Максуд, Абдель-Азим, Салем и Хиляль освобождены. Их встречает вся деревня. Победил народ. Стихийно возникает митинг, радостно взволнованные люди приветствуют своих земляков, исхудавших и побледневших в полицейских застенках.

Вскоре в деревне узнают: сегодня в восемь часов вечера в здании комитета кооператива состоится отчетно-выборное собрание. Речь пойдет о новом председателе кооператива. Кто усидит дома в такой день, когда деревня должна впервые за все времена решать голосованием, кому доверить свою судьбу?

Ризк-бей и его сообщники тщетно стараются сорвать собрание. Ни шантаж, ни подкуп — доселе испытанные средства — не помогают. Председателем кооператива избирается Абдель-Максуд. Его опору составляют Абдель-Азим, Инсаф и Салем. Деревня ликует. На площади люди толпятся около сельскохозяйственного инвентаря: пробуют лемеха — не притупились ли, ощупывают зубья борон — не погнулись ли. Ведь самая пора пахать.

Девушки и женщины, взявшись за руки, повели хоровод. Парни на радостях готовы померяться силами, устроить соревнование. «Эх, сюда бы настоящий большой барабан!» — восклицает один из феллахов, и как бы ему в ответ в пляс пускается Инсаф, напевая:

Усы себе подбрили. На выборы пришли...
Победу одержали и Ризка потрясли.
Чего нам не хватает, чего недостает?
Всего лишь барабана! Аллах его пришлет!..

Абд ар-Рахман аш-Шаркави создал роман, в котором показаны глубинные социальные процессы, затрагивающие интересы всех слоев египетского общества. Назревшие проблемы, продиктованные историческим ходом общественного развития, переплетены в нем с судьбами людей. Они сведены в единый узел, как этого требуют законы жанра.

Художественный строй романа иному читателю может показаться несколько упрощенным, это вызвано тем, что аш-Шаркави адресует свое произведение широкому арабскому читателю, который в большинстве своем еще только приобщается к просвещению, преодолевая вековую неграмотность. С ним, с этим читателем, и ведет задушевную беседу автор книги, которая так много говорит о жизни сегодняшнего Египта. Недаром до появления книжного издания роман «Феллах» печатался из номера в номер в центральной прессе Египта.

Не помню, кто сказал крылатую фразу: когда у нации нет вождей, ее вождями становятся поэты. Пожалуй, правильней было бы сказать: когда нация выходит на новую дорогу, ее глашатаями становятся поэты. Полагаю, роль одного из таких глашатаев масс, мудрого и знающего собеседника, подходит автору романа «Феллах».

Советский читатель знает Шаркави как поэта, теперь он впервые знакомится с его романом.

Прочитав его последнюю страницу, понимаешь: арабские народы начинают брать свою судьбу в собственные руки. Нил изменил извечное русло, и никакая сила не заставит его повести вспять свои могучие, щедрые воды.

АЛИМ КЕШОКОВ

СОЛДАТЫ ПРАВОГО ДЕЛА

Вьетнам в борьбе. Стихи и очерки. Составитель В. Коткин. Предисловие Г. Янаева. Москва, «Молодая гвардия», 1972. 280 стр.

В год Буйвола по вьетнамскому календарю двум советским писателям — Еремею Парнову и мне — выпала высокая честь: мы были первыми из наших коллег, литераторов Советского Союза, побывавших за 17-й параллелью, за рекой Бенхай, в освобожденных районах Южного Вьетнама. Это было в апреле, когда героический и славный Вьетнам праздновал весну победы.

Вместе с библиотечкой избранных произведений советских писателей на русском и на иностранных языках мы вручили нашим друзьям — руководителям Союза вьетнамских писателей в Ханое—сборник «Вьетнам в борьбе». И надо сказать, что наши вьетнамские коллеги сразу обратили внимание на эту книгу, объединившую стихи и прозу писателей многонационального Советского Союза и других социалистических стран — Польши, Югославии, Венгрии, Кубы, Болгарии. Тем более что со многими авторами: К. Симоновым, А. Сурковым, Е. Долматовским, М. Варненской, В. Жукровским, И. Левченко, И. Куприяновым, М. Ткачевым, А. Аркановым, А. Николаевым, Ю. Семеновым — они лично знакомы, принимали этих посланцев дружбы у себя в Ханое, Хайфоне, Халонге.

Пожалуй, со времен войны в Испании не овладевала с такой силой умами и страстями народов трагедия далекой страны. «Чужого горя не бывает». Этими точными словами Симонов метко определил наше

отношение к одной из важных сторон этой героической трагедии. Но главная, центральная ее грань — всенародный порыв Сопротивления. Вожди Сопротивления вели сознательную, планомерную, беспощадную борьбу с горем, грозившим сломить волю и дух народа. Несмотря на огромные лишения, переживаемые людьми, революция — это светлый, радостный праздник, звездный час народа. Эту идею взяли на вооружение поэты и писатели Вьетнама. Она же пронизывает лучшие произведения, посвященные Вьетнаму его друзьями, своими глазами видевшими поразительную твердость духа, которую враг не мог сокрушить ни сверхкрепостями Б-52, ни другой ультрасовременной техникой войны.

Мой старший товарищ дважды Герой Советского Союза А. Ф. Федоров писал с помощью Евг. Босняцкого свою книгу «Подпольный обком действует» не специально для Вьетнама, но умная, обстоятельная, раздумчивая эта книга бывшего командира славного Черниговского, а затем Волынского партизанского соединения стала учебником для бойцов Сопротивления. И перевел ее еще в те годы на вьетнамский язык Хо Ши Мин! Партизаны Вьетнама творчески приспособили кровью оплаченные уроки нашей партизанской борьбы к своей войне в джунглях. Значит, не умерли мои товарищи-партизаны, павшие в Клетнянских лесах, на берегах ледовой Ипути, при штурме Ковеля, раз стали они, герои книги Федорова, как бы инструкторами, советниками партизанских отрядов Вьетнама. И не умер мой товарищ по части Зоя Космодемьянская, раз песня о ней звала в бой партизан Куангчи!.. Вот оно, подлинное бессмертие героев всемирной народно-освободительной армии воинов правого дела.

Сборник «Вьетнам в борьбе» — яркая веха в истории международной солидарности с борьбой народа-героя. Сборник этот — коллективный труд писателей стран социализма, выражение братского интернационализма.

Один вьетнамский писатель, глядя на карту Вьетнама, сравнил узкую ее срединную часть с талией грациозно изогнувшейся вьетнамской красавицы. Река Бенхай тогда — голубой поясок. Впрочем, река Бенхай, когда мы ее увидели после пронесшихся над страной тайфунов с водопадами тропического дождя, была не голубой, а мутной, цвета солдатского кофе.

С волнением оглядывались мы, переезжая реку по шаткому понтонному мосту. Совсем недавно маленькая коричневая птичка бимбип, всегда возвещающая протяжным криком приливы и отливы моря, вспучивающие устья вьетнамских рек, просигналила отлив в экспансии империалистических кругов сильнейшей державы капиталистического мира. Отлив экспансии оставил за собой выжженную землю, двадцать миллионов бомбовых воронок, целые залежи искореженного взрывами металла в израненной земле, разорение, горе и нищету.

Мы видели плоды «кратеризации» — ландшафт Куангчи походил на лунный пейзаж, видели пепелища без признаков жизни, видели минированное предполье планировавшейся «линии Макнамары». Мы осмотрели две разгромленные воинами армии Освобождения военные базы, на которых сначала развевались флаги интервентов, а затем — их сайгонских марионеток. Над опрокинутым танком М-48 с белой звездой на броне летали похожие на стрекоз огромные бархатистые бабочки, 105-миллиметровая гаубица беспомощно уткнула в землю разбитый ствол.

Пушкам было приказано молчать. Но на Юге Вьетнама умолкли тогда далеко не все орудия. Собственными ушами слышали мы ожесточенную канонаду где-то под столицей провинции Куангчи. Представители народной власти рассказывали нам с тревогой и возмущением о бессчетных нарушениях Парижского соглашения сайгонскими войсками.

А мир вступал в свои права. Вовсю шла уборка риса. Тоненькие, изящные вьетнамские красавицы несли с рисовых полей падди в корзинах на бамбуковом коромысле. Урожай выдался на редкость богатый, да то ли еще было бы, если бы война не отняла у крестьян столько земли, столько рабочих рук. С Севера все ехали и ехали на попутных грузовиках по Дороге № 1 возвращавшиеся на родину беженцы.

— Что вы оставили дома? — спросили мы одну пожилую крестьянку, окруженную стайкой смуглых ребятишек.

Ответ ее был удивительно емок:

— Ничего, кроме Родины.

Но в глазах женщины, прекрасных миндалевидных агатовых глазах сияла радость. Она ехала домой не с пустыми руками. В братской провинции Куангбинь ее снабдили рисовой рассадой, курами и черными поросятами в корзинах из пальмового листа. Мужа она не видела много лет, но он остался жив, передал недавно весточку из Долины тростников.

В деревне «Добрая весна» я познакомился с партизаном, который только что повесил в хижине-времянке на месте спаленного карателями родного дома свой верный автомат АК. Тием пропартизанил в общей сложности... двадцать пять лет! Мне, бывшему партизану Великой Отечественной, трудно представить себе такое. Ну, три-четыре года в партизанах, в разведке... но четверть века! К концу войны я был убежден, что нахожусь на пределе человеческих возможностей.

Наша дружба с Тиемом была дружбой с первого взгляда. У партизан — особая солидарность. Разговаривая, мы ощущали себя бойцами единой и неделимой всемирной армии Освобождения. Нас столько объединяло: костер в лесу, огонек в ночи на пути к связному, засада на врага. Не так уж существенно, что Тием изнывал от жары в джунглях, а я обмораживал ноги в заблокированном, заснеженном лесу, что он варил в походном котелке рис, а я — немо-

лотое жито. Главным было то, что мы оба были солдатами одного и того же правого дела.

Многим в мире победа Вьетнама кажется чудом. Но воинам Вьетнама — бойцам вьетнамской Народной армии и Освободительной армии Юга — ясны ее истоки. Знают они и о громадном значении советской помощи. Они считали себя бойцами переднего края всего социалистического лагеря, свято верили в поддержку своих побратимов. И они победили.

На заброшенных французских дотах, на обугленной коробке дома, на опаленном остове железнодорожного вагона под откосом читали мы гордые слова Хо Ши Мина: «Нет ничего дороже независимости и свободы!» Свет ленинских идей проникал в самые темные джунгли. Самоотверженность сынов и дочерей Вьетнама не знала предела. Бессмертной славой ныне сияет золотая звезда на алом знамени.

Обо всем этом я думал, читая книгу мужества — сборник, посвященный народу-герою Вьетнама.

Разум победил безумие, правое дело одолело неправое, и война кончилась. Прекрасное стихотворение Николаса Гильена, помещенное в сборнике, называется «Маленькая ода Вьетнаму». Вера в победу — вот основной ключ сборника «Вьетнам в борьбе». Мы знали, что Вьетнам выиграет войну. Знаем, что он выиграет и мир.

О. ГОРЧАКОВ

ПЛОДОТВОРНОСТЬ КОНКРЕТНОГО ИСТОРИЗМА

Интернациональное и национальное в литературах Востока. Сборник статей. Москва, «Наука», 1972. 304 стр.

Соотношение интернационального и национального в творчестве писателей современности стало одной из важнейших литературоведческих проблем. Проблема эта в силу своей объективной значимости привлекает внимание научных кругов, тем более что она составляет одну из важных областей современной идеологической борьбы. Духовная жизнь народов являет нам ту сферу, где национальная форма обретает особенно четкие очертания. Вместе с тем повседневно расширяющееся общение между народами ведет к утверждению интернациональных начал в литературе — как в содержании, так и в форме. При этом именно здесь в ходе идеологической борьбы наиболее наглядно выступают антигуманистические тенденции различных крайних форм буржуазного национализма и маоизма, этой шовинистической, великодержавной идеологии. Как эстетическая категория, интернациональное четко бывает выявлено там, где преодолеваются националистические устремления, где боль другого народа вызывает не только сочувствие, но и стремление стать рядом, помочь преодолеть эту боль и сделать жизнь лучше; там, где возникает сознание единства общественных идеалов, необходимости и неизбежности социализма как объективного условия торжества гуманистических идеалов. Именно тогда поэтическое сознание художника озаряется светом интернационального и оказывается способным вызвать соответствующий отклик и в эстетическом чувстве читателя.

Одним из наиболее ярких примеров такого озарения могут служить произведения многих индийских писателей, в творчестве которых интернациональное проявляется в разработке темы героической борьбы народов Азии и Африки против империалистической агрессии, неоколониализма и расизма, за мир и социальный прогресс.

Почти одновременно в нашей стране вышли два сборника статей о проблеме интернационального и национального в мировом литературном процессе и в литературном развитии отдельных стран. Один из них, подготовленный ИМЛИ, «Национальное и интернациональное в советской литературе» (1971) уже получил оценку в печати. Сборник, рецензируемый нами, представляет собой коллективную работу Института востоковедения АН СССР, Института мировой литературы им. А. М. Горького, Института востоковедения АН УзССР. В ее основе лежат материалы совещания на тему «Интернациональное и национальное в литературах Востока», состоявшегося в Ташкенте.

Сборник содержит статьи, характеризующие методологию и историографию проблемы, ее состояние в современных национальных литературах зарубежного и Советского Востока и, как это сформулировано в заметке «От редколлегии», исследование вопроса в истории литератур Востока (до формирования отдельных национальных литератур). От турецкой литературы до литературы Японии, от литератур Советского Востока до специфических межнациональных литературных общностей народов Индии, от древнейших межлитературных связей до разоблачения маоистской антиэстетики — таков географический и хронологический диапазон материалов сборника.

Эти материалы позволяют выявить в общих очертаниях структуру самой проблемы, определяют самые важные направления ее исследования. Наиболее обстоятельно изложена она в статьях Л. Е. Черкасского и И. С. Брагинского. Из хода мирового литературного процесса и — шире — мирового общественного развития вытекает необходимость постановки проблемы интернационального в литературном и вообще культур-

ном развитии общества в конкретные исторические рамки. Эта категория, на наш взгляд, вообще невозможна в донациональный период, хотя и заложена потенциально как в гуманистических идеях, так и в развитии международных литературных связей. Признание необходимости такого рубежа ощутимо и в заметке «От редколлегии», и в статьях И. В. Боролиной, Н. А. Вишневской, Д. Н. Воскресенского.

Вопрос о таком рубеже есть прежде всего вопрос о действительном содержании проблемы, об условиях возникновения в эстетическом сознании категории интернационального. Самая идея интернационального, поскольку порождена она исторически определенной общественной практикой, органически связана со становлением мировой литературы, которое в свою очередь обусловливается возникновением и развитием нового типа экономических, политических и культурных связей, четко и ясно охарактеризованных К. Марксом и Ф. Энгельсом в Коммунистическом манифесте. Идея интернационального обладает своей предысторией, охватывающей весьма и весьма длительный исторический период, характеризующийся сложным диалектическим процессом становления, взаимодействия и взаимовлияния разнотипных литературных и культурных общностей.

Существенное место в сборнике отведено вопросу о национальном своеобразии литературы. Среди материалов, посвященных этой теме, хотелось бы выделить статью В. А. Новиковой «О национальном своеобразии бенгальской просветительской литературы». В статье убедительно показано, что развитие бенгальской поэзии, при всей ее национальной специфике, не может рассматриваться вне связи с общелитературным процессом, протекавшим в странах Западной Европы, в частности в Англии. И вместе с тем специфической особенностью этой литературы является то, что «эволюция эстетической мысли в Бенгалии происходила в столь сжатые исторические сроки, что уместнее, очевидно, говорить о сосуществовании различных художественных методов, чем об их последовательной смене».

К вопросам национальной специфики обращаются и другие авторы, решая их на основе анализа творчества отдельных писателей и поэтов или отдельных наиболее выдающихся произведений (статьи Л. О. Алькаевой, Л. Г. Шехоян, Н. А. Айзенштейн, А. Н. Сенкевича, В. И. Семанова). Попытку дать обобщенную картину соотношения интернационального и национального в индийских литературах предпринял Е. П. Челышев. Особый интерес представляет статья Е. Я. Калинниковой «О национальной специфике творчества англоязычных писателей Индии», содержащая полезные наблюдения над тем, как национальные черты проявляются в творчестве писателей, пишущих не на родном языке.

Трагедия современной китайской литературы получила обстоятельное отражение в статье А. Н. Желоховцева «Авангардистские претензии китайской «новой литературы и искусства». Характеризуя маоистские эстетические установки, автор убедительно показал, что маоизм, отвергая опыт мировой литературы, опыт советской культуры и литературы, вместе с тем отказывается и от собственно национального опыта. «Национализм «нового» китайского искусства вкупе со всемирными притязаниями исключает равноправное сотрудничество»,— отмечает А. Н. Желоховцев. При подобной ориентации, в условиях беспредельной «изоляции китайского народа от внешнего мира» интернациональное замещается националистическими и шовинистическими тенденциями.

В сборнике имеет место некоторая методологическая разноголосица. И. С. Брагинский, подводя итоги дискуссии, отмечает, что в ее ходе «...выявилось, что некоторые ее участники смешивают понятия «интернациональное» и «национальное» в литературе с понятием «пролетарский интернационализм» и «буржуазный национализм», неправильно отождествляя первое — с интернационализмом, а второе — с национализмом» (стр. 266). И, конечно, с ним нельзя не согласиться. Но разве не о том же «смешении» говорят некоторые тезисы самого И. С. Брагинского (стр. 19—21), в которых понятия перенесены из сферы политической в сферу эстетическую, в частности, когда речь идет «о примате интернационального»? Не уместнее ли говорить о единстве интернационального и национального?

Опыт советского литературоведения позволяет, как нам думается, отчленить проблему интернационального от проблемы межлитературных связей, как проблему эстетическую от проблемы собственно историко-литературной. Это существенно и историографически и методологически и позволяет использовать также опыт домарксистского литературоведения в области исследования межлитературных связей. Вряд ли следует забывать о той роли, которую сыграли труды таких литературоведов, как А. Н. Веселовский, большое внимание уделявший вопросам межлитературных связей и типологии литературного развития, или о тех, кто впервые подходил к осознанию мировой литературы, как таковой (Гердер, Форстер, Гёте).

В наши дни, в условиях упрочения идей социализма, все более актуальное значение приобретает проблема становления национальных литератур в развивающихся странах Азии и Африки, а вместе с ней и эстетическая проблема соотношения интернационального и национального. Материалы сборника помогают уяснить предпосылки выявления интернациональных начал в литературах зарубежного Востока, идеологическую борьбу вокруг этого вопроса и содержание категории интернационального как соответствующей нашей эпохе формы выявления национальных литератур. Они помогают уяснить, что исследование проблемы интернационального тем успешнее, чем конкретнее историзм.

И. СЕРЕБРЯКОВ

ИСПОВЕДЬ БЕЗЫМЯННОГО

Кэндзабуро Оэ. Опоздавшая молодежь. Роман. Перевод с японского В. Гривнина. Предисловие Виктора Маевского. Редактор А. Клышко. Москва, «Прогресс», 1973. 342 стр.

То, что происходило в зале, было похоже не на митинг, а скорее на спокойное деловое собрание. Правда, по-английски «митинг» как раз и означает «собрание», но в русском языке два этих слова потому и сосуществуют, что обозначают вещи совсем разные. А мы с моим спутником, переводчиком русской классики на японский язык, говорили по-русски. И он сказал совершенно определенно и недвусмысленно: «Идем на митинг».

Арендованный для митинга зал был заполнен примерно на три четверти. Понемногу подходили запоздавшие, бесшумно скользили в проходах, церемонными поклонами приветствуя знакомых. Те отвечали приветливыми улыбками.

И человек на трибуне тоже время от времени улыбался, поблескивая очками. Менее всего напоминал он пламенного оратора. Казалось, он мирно беседует с аудиторией о каких-то житейских вопросах, лишь порой переходя на интонацию мягкого убеждения.

Да, так казалось.

Казалось, пока мой спутник не начал переводить мне речь оратора. За внешней мягкостью обнаружилась железная логика, за спокойствием — страсть. И тишина в аудитории «услышалась» вдруг по-иному, чем прежде. Нет, это было не собрание, это был митинг — митинг протеста против незаконного ареста полицией группы участников мирной молодежной демонстрации.

— Да, я забыл назвать выступающего,— склонился ко мне мой спутник.— Это господин Оэ, Кэндзабуро Оэ, один из самых популярных писателей Японии...

Моложавый, с негромким голосом и приятным лицом, Оэ и сам походил на студента. А может быть, это правда, что сверстники всю жизнь кажутся друг другу молодыми? Мы ведь родились в одном и том же году — тридцать пятом. Тогда же, наверное, родился и тот, от чьего имени написан роман Оэ «Опоздавшая молодежь».

В романе у него нет имени. Только «я». «Я такой же, как ты»,— говорит он в финале своей исповеди, обращаясь к читателю — сверстнику и соотечественнику. Справедливо замечает в предисловии к русскому изданию романа В. Маевский: делая своего героя безымянным, писатель лишний раз подчеркивает его типичность.

Автор предисловия пишет, что поколение, которое Оэ называет «опоздавшим», правильнее было бы назвать «обманутым», и это тоже верно. Еще можно было бы назвать его — по некоторой, далеко не полной и весьма условной аналогии с европейскими историческими реалиями — «потерянным». Куда же опоздало это поколение, кем обмануто, что потеряло и в каких дебрях потерялось и заплуталось само?

«Потерять сознание и упасть бездыханным, погибнуть, как храбрый солдат, зарывшись лицом в горячий песок,— как соблазнительна была бы такая смерть!.. Мне хочется умереть под этим жарким солнцем, упасть, как падают замертво старые собаки». «Ваше императорское величество, я еще маленький, но я умираю за вас...» — это из горячечных грез, почти бреда, школьника, героя романа, на самых первых его страницах. Только что он узнал новость: война проиграна. Новость, по его представлениям, самая ужасная. «Война окончена. Я опоздал, теперь все, поздно»,— с отчаянием повторяет он про себя.

Это страшно читать, но такова жестокая правда истории. Так воспитывало, так растило детей этого поколения тоталитарное самурайское государство. Отталкивающие и жалкие, написанные с чувством прямотаки физической неприязни образы школьного директора и учительницы как бы воплощают в себе одну из тех сил, на совести которых — систематическое, массовое уродование юных сердец и душ: силу официального «народного» образования.

«Жестокая проза» Кэндзабуро Оэ позволяет сделать вывод: вина подобных «воспитателей» — а точнее, системы, их породившей,— не просто в исповедании и пропаганде ложных по своей сути идей. Их вина больше и глубже. Это их стараниями фанатическая любовь к императорской власти, слепая вера в национальную исключительность и непогрешимость, культ воинских добродетелей, включающих безусловное, до самоуничижения, повиновение (вспомним противоестественное с нашей точки зрения соседство: «погибнуть как храбрый солдат...» — «как падают замертво старые собаки...» в исступленных мечтаниях десятилетнего мальчишки), заменили их воспитанникам все, что только можно: философию и мораль, эстетику и этику. И когда в один солнечный день — именно в один день, потому что ни о какой постепенной подготовке, ни о каком допущении, что такое может случиться, раньше и речи быть не могло,— рухнули старые представления, юнцы оказались перед лицом жизни опустошенными, голенькими и безоружными, лишенными каких-либо нравственных опор, каких-либо устойчивых критериев добра и зла. Мы различаем в душе героя слабые, недоразвившиеся ростки естественных добрых начал: вот он, преодолевая страх, пробирается ночью через рощу, чтобы помочь беглецам, преследуемым американскими оккупантами; вот его захлестывает прилив умиления и восторга перед красотой природы; вот, уже взрослым человеком, он бросается на розыски друга детства — корейца Кана; вот неожиданно срывает провокационную передачу по телевидению, в которой должен был участвовать.

Но все это — разрозненно, импульсивно, герой — во власти случайностей, случайны его связи с людьми, его поступки, его намерения и их результаты. И недаром весь мир предстает в его исповеди недобрым, отталкивающим, хаотичным.

«Японцы, все до одного — мои враги. И я проучу своих врагов. Раздену догола и изобью... А когда выйду из колонии, всех вас поставлю на колени. Как Гитлер и Муссолини, я один всю страну поставлю на колени!» — таковы грезы героя, еще недавно думавшего, что «не быть японцем, не быть сыном императора — это самое страшное», а теперь оказавшегося по стечению обстоятельств в колонии для трудновоспитуемых. Но и эти озлобленные мечты для него случайны и мимолетны. Случайно сводит его жизнь с семьей преуспевающего политикана Тоёхико Савада, случайные обстоятельства приводят его, студента Токийского университета, в левацкое «Общество сражающейся Японии», случайно вызывает он у своих новых «соратников» подозрение в шпионаже и подвергается самосуду — избиениям и пыткам...

Страницы романа, на которых рассказывается о нравах левацкой (преимущественно троцкистской) студенческой молодежи Японии, читаются с особым острым интересом. Прошло несколько лет со времени выхода романа Оэ на родном языке, еще больше — со времени тех событий, отзвуком которых он явился. Многое изменилось в мире, в том числе и в Японии, но многое из того, о чем говорится в романе, остается и посейчас актуальным.

Образы левацких вожаков, написанные Оэ, достаточно сложны. Эти люди умеют при случае держаться с достоинством — как Наоси Омори во время судебного разбирательства. Они готовы наложить на себя руки, чтобы уйти от разоблачения и позора,— как Митихико Фукасэ. Ёсио Китада в поисках «настоящего дела» устремляется на Ближний Восток, в Египет, но гибнет по пути в случайной портовой драке. Однако самое существенное в характеристике «левых», претендующих на роль «профессиональных революционеров»,— политическое фразерство, инфантильная безответственность, сочетание легкомысленной доверчивости (удивительно легко «вовлекли» героя в «Общество»!) и патологической подозрительности. И наконец, крайняя нравственная неразборчивость, жестокость, доходящая до садизма: заподозренного в «шпионаже» подвергают пыткам, не только тяжким физически, но и предельно унизительным, с прямым расчетом на то, чтобы он постеснялся рассказать о них.

Читаешь — и вспоминаешь страшные газетные сообщения недавнего времени о зверствах, чинившихся членами одной из японских левацких группировок над своими же единомышленниками, вспоминаешь особую болезненную популярность, которую обрел в Японии роман Достоевского «Бесы». И еще думаешь о том, что между палачами и их жертвой, в сущности, много общего. Такие же «опоздавшие», обворованные и обманутые, лишенные глубоких нравственных основ...

Вправе ли мы упрекать Кэндзабуро Оэ в том, что он не увидел в молодежном движении здоровых, достойных поддержки сил? В том, что «не увидел» — едва ли вправе: я слышал речь Оэ на митинге в Токио. В том, что не нашел для них даже малого места на страницах своего романа,— может быть, и вправе. Могут возразить: это не входило в художественную задачу автора. Вероятно, так оно и есть. Но ведь в романе, в его нынешнем виде, получается так, что делец Савада, при всей его беспринципности и политиканстве, да и его распутная дочь Икуко, на которой в конце концов женится герой, выглядят едва ли не привлекательней, чем окружающая героя студенческая молодежь.

Впрочем, все это — дело тонкое. Главное же — книга, при возможных издержках перевода, помогает нам кое-что понять в одной из самых сложных и драматичных сторон современной жизни Японии. Да и только ли Японии касаются проблемы, затронутые Кэндзабуро Оэ?

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ПЕРСИДСКИЙ ПОЭТ БАБА ТАХИР

Баба Тахир. И небу, и земле... Четверостишия. Перевод с персидского Дм. Седых. Подстрочный перевод, предисловие и примечания Г. Алиева. Москва, «Наука», 1971. 95 стр.

С выходом этой книги советский читатель впервые получил столь полное представление о творчестве одного из выдающихся персидских поэтов XI века — Баба Тахире, очень популярного и сейчас в Иране, Афганистане и у нас в Таджикской ССР. Предшественник великого

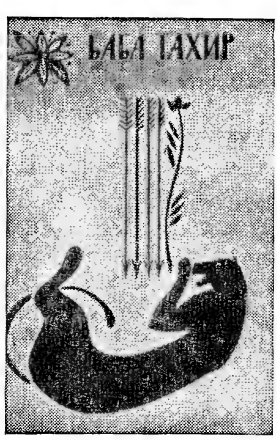
Омара Хайяма, Баба Тахир был наиболее типичным представителем раннего суфизма — весьма сложного общественно-идеологического явления внутри ислама. Первоначально суфизм выражал недовольство низших, преимущественно городских слоев феодального общества существующими условиями жизни. Суфийская поэзия в Иране вовлекла в свою сферу народную любовную лирику — газель и четверостишия. К суфийскому направлению в поэзии принадлежали многие иранские поэты древности, в том числе и такие, хорошо известные нашему читателю поэты, как Саади и Хафиз.

Творчеству Баба Тахира свойственна двуплановость, вообще типичная для суфийской поэзии,— жизненность, глубокое общечеловеческое содержание и мистическая, пантеистическая окраска. Поэт одновременно обращается и к небу и к земле. Так, в любовной лирике Баба Тахир, говоря о муках и радостях любви, имеет иногда в виду вполне реальную возлюбленную, а иногда — небесную. Часто в его поэзии звучит мотив жестокой судьбы:

Да разве это жизнь, когда ночлега нет,
Когда не раздобыть лепешки на обед?

Этот мотив станет потом характерным для многих поколений персидских поэтов. Однако не только с жалобами и мольбами обращается Баба Тахир к тому, кого он считает вершителем своей судьбы, в его стихах слышится едва ли не прямая угроза и вызов небосводу:

Коль изловчусь схватить за горло небосвод,
Не отмолчится, нет, открою силой рот.
Пусть скажет: почему одним дает лепешку,
Другим же — сотни благ и тысячи щедрот?



В других же стихах гнев поэта против неустроенности мира звучит в полную силу:

О, сколько ты сердец ограбил, точно тать,
И кровью вновь багришь и грабишь их опять!
Но сочтено не все, что ты во зло содеял,
И что не сочтено, считать не сосчитать!

Говоря о себе, поэт неоднократно подчеркивает: «Я ринд [1] и я бунтарь. Что мне дворцы и храмы?»

Эпиграфом к сборнику четверостиший Баба Тахира можно было бы поставить слова: «Без мук любви душа сухой травы мертвей» — большая часть стихотворений сборника посвящена этому вечно юному чувству.

Любовь к тебе слепит и жжет сильней огня,
Лишь горсточку золы оставит от меня,
Но даже если ты любовь под корень срубишь,
Побеги прорастут немедленно из пня.

К старости поэта одолевает одиночество, он все чаще останавливается на мысли о неизбежном конце, с горечью вспоминает о друзьях, оказавшихся неверными:

Я шел, и вдруг земля разверзлась под ногами:
Я в яму угодил, прикрытую снопами.
Опомнясь, принялся на помощь друга звать,
Но друг давно отстал. Он знал об этой яме.

Однако, сетуя на приближающуюся старость, Баба Тахир философски относится к необходимости покинуть этот мир.

Четверостишия Баба Тахира — прекрасный образец изящной любовной и философской лирики, насыщенной непременными атрибутами средневековой восточной поэзии: упоминаниями героев известных поэтических произведений, библейских и коранических легенд, географических названий, связанных с древней историей Ирана, названий музыкальных инструментов и т. п. Все это, естественно, создавало дополнительные трудности для переводчика. Дм. Седых удалось передать размер и ритм персидского оригинала, сохранив при этом, по возможности, и принципы авторской рифмовки, и здесь нельзя не отметить заслугу автора подстрочника Г. Алиева. Четверостишия Баба Тахира зазвучали как произведения русской поэзии, они музыкальны, напевны, богаты выразительной лексикой.

А. РОЗЕНФЕЛЬД
Н. РЫЧКОВА

[1] Ринд — кутила, гуляка, человек, не считающийся с предписаниями религиозной этики и морали.

Из месяца в месяц

АЛЖИР

Национальный союз художников Алжира устроил в муниципальной галерее столицы выставку-продажу произведений разных жанров изобразительного искусства. В ней приняло участие сорок семь мастеров.

На снимке: портрет работы художника Табиуша.

(Газета «Аль-Муджахид»)

АНГЛИЯ

РОМАН-САТИРА

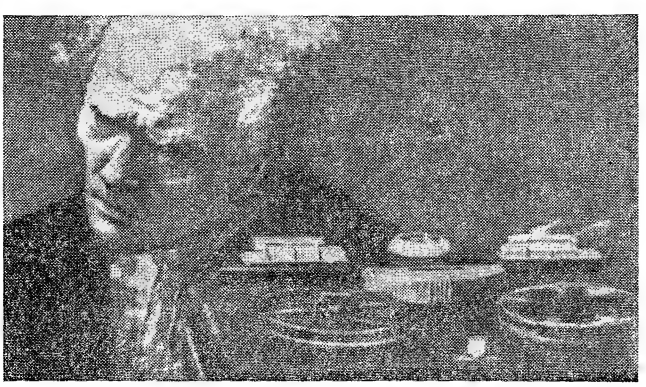
Критика дает высокую оценку новому роману одной из старейших английских писательниц Сторм Джеймсон «Передышка будет короткой».

Действие романа происходит в 30-е годы, однако критика полагает, что книга отражает настроения, характерные для сегодняшних современников Сторм Джеймсон. По мнению рецензентов, ей удалось выйти за рамки как характерного для 30—40-х годов «женского» любовного романа, так и современных произведений писательниц, повествующих о неравноправии женщин в буржуазном обществе. Главная тема произведения — проблема отцов и де-

Режиссер Энтони Пейдж поставил в «Роял корт» спектакль, который состоит из двух одноактных пьес Беккета: это «Не я», созданная недавно, и «Последняя лента Крэппа», написанная ранее. В «Последней ленте Крэппа» герой прослушивает пленку с записью своего голоса, сделанной тридцать лет назад. От этой записи его отделяет целая жизнь, он сознает пустоту этой жизни и думает о смерти.

На снимке: Альберт Финни в роли Крэппа.

(Газета «Таймс»)



тей. В центре повествования — внешне благополучная жизнь семьи университетского профессора истории. Персонажи — люди разных поколений и взглядов. Мать профессора — известная писательница — интересуется только своим успехом и заранее позаботилась о том, чтобы после смерти была написана прославляющая ее биография. Она крадет письма внука к любимой женщине, которые нужны ей для нового романа.

Внук и его возлюбленная отвергают все, что олицетворяет современное буржуазное общество, однако сами они лишены каких-либо идеалов. Мать и сын презирают профессора за либерализм и мягкотелость. Занятый борьбой за место заведующего кафедрой, профессор сознает, что не любит свое дело и ненавидит коллег. Он вообще никого не любит: занятия историей убеждают его в том, что человечество вырождается.

По мнению рецензента «Манчестер гардиан», писательнице удалось мастерски передать присущее сегодня в Англии многим трагическое ощущение бессмысленности существования и невозможности что-либо изменить. Роман — сатира на современную Англию, в нем есть реалистическая достоверность сюжета и образов. Рецензенты единодушно пишут, что «это — сильная и горькая книга».

Жак Брель.

(Журнал «Ле фильм франсэ—ля синематографи франсэз»)

БЕЛЬГИЯ

ЖАК БРЕЛЬ — КИНЕМАТОГРАФИСТ

Завершив блестящую карьеру шансонье, Жак Брель целиком посвятил себя кино. Советские зрители видели его в главной роли в фильме французского режиссера Андре Кайатта «Профессиональный риск».

Жак Брель — бельгиец, и хотя живет главным образом во Франции, где началось его творческое восхождение как автора и исполнителя песен, он никогда не порывал с родиной, пишет рецензент журнала «Ле фильм франсэ — ля синематографи франсэз».

В этом году на XXVI Международном кинофестивале в Канне было представлено два бельгийских полнометражных художественных фильма. Сценарист, режиссер и исполнитель главной роли фильма «Far West» — Жак Брель.

В фильме рассказывается о том, как некий Жак отправляется на поиски Far West — воображаемой страны детства. По дороге к нему присоединяется золотоискатель Габриэль, и они вместе идут навстречу мечте, которая будет постепенно рассыпаться, сталкиваясь с реальной действительностью.

БОЛГАРИЯ

К ЮБИЛЕЮ АНТИФАШИСТСКОГО ВОССТАНИЯ

Болгарская мемуаристика пополнилась воспоминаниями видной представительницы революционного движения в Болгарии, члена Политбюро ЦК БКП Цолы Драгойчевой, сообщает газета «Работническо дело». «Веление долга» — так озаглавлена эта книга, рассказывающая о большом периоде в истории страны и коммунистической партии. Цола Драгойчева вспоминает о подъеме народных масс и первом в мире антифашистском восстании в сентябре

1923 года — 50-летие его отмечается в этом году в Болгарии,— временном поражении и тяжелой борьбе против фашистского террора в последовавшие за восстанием годы.

«В книге,— пишет «Работническо дело», — рассказано о людях, верных своему долгу перед революцией и отечеством, об известных и безвестных героях, прошедших вместе с народом и партией путь борьбы и испытаний, путь, приведший к свободе. «Веление долга» — яркое и увлекательное повествование о мужестве коммунистов».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Союз болгарских писателей присудил ежегодные премии за лучшие произведения, вышедшие в 1972 году. Премий удостоены Д. Вылев за сборник рассказов «Поздние плоды», Б. Димитрова за книгу о Вьетнаме «Подземное небо» (опубликована в «ИЛ» № 3, 1973), К. Странджев за книгу «Водовороты», Е. Багряна за сборник стихов «Контрапункты». В области критики премия присуждена С. Султанову за монографию о болгарском сатирике «Наедине со Светославом Минковым», в области драматургии — Л. Стрелкову за пьесы «Человек из досье», «Горящие угли» и «Обжалованию не подлежит». Среди книг для детей премией отмечена книга С. Ц. Даскалова «Урок о Болгарии».

ГДР

«СЕМЬ ПОХОЖДЕНИЙ ДОННЫ ЖУАНИТЫ»

В конце 1972 года вышел роман Эбергарда Паница «Семь похождений донны Жуаниты». Книга имела большой успех, издание было быстро распродано. Недавно Эбергард Паниц и режиссер Франк Бейер создали по этому роману телевизионный фильм в четырех частях. Так же, как в нашумевшем фильме ДЕФА «Третий», созданном тоже на основе рассказа Паница (см. «ИЛ» № 6, 1972), главная героиня — женщина.

«В своих книгах я рассказываю о повседневной жизни людей, об их так называемой «личной жизни»,— заявил Эбергард Паниц в интервью корреспонденту газеты «Нойес Дойчланд». — Архитектор Анита Нахтигаль, получившая прозвище донна Жуанита, — фигура выдуманная, но, чтобы ее «выдумать», я много наблюдал и изучал. Моя героиня— образ собирательный, она — дитя нашего времени и нашего общества. Рассказ о ней — это рассказ о женской эмансипации, о борьбе женщины за свое «я». Те преобразования, которые произошли в нашей жизни, повлекли за собой большие перемены в судьбах людей, особенно в женских судьбах. В нашей литературе и в наших фильмах до последнего времени мало рассказывалось об отдельных людях, а тема эта важная и, на мой взгляд, заслуживает внимания. Я очень рад, что такой известный режиссер, как Франк Бейер, согласился экранизировать мою книгу. Вместе со мной он работал и над сценарием, ему принадлежат многие идеи. Я считаю его заслугой создание той особой атмосферы, благодаря которой история десяти лет жизни Ани-

Кадр из телефильма «Семь похождений донны Жуаниты». *(Газета «Нойес Дойчланд»)*

ВЕНГРИЯ

«СТРОКИ, ОБОШЕДШИЕ МИР»

Вышла в свет книга воспоминаний Антала Гидаша «Строки, обошедшие мир». События, о которых рассказывает писатель, охватывают последние пятьдесят лет.

Критик Дердь Тибор Немет пишет на страницах бюллетеня «Кёнывлаг», что воспоминания Антала Гидаша — писателя и революционера — имеют большое значение, потому что воскрешают события целой исторической эпохи и создают образы ее выдающихся деятелей и представителей венгерской и советской культуры: со многими из них Антал Гидаш был связан не только знакомством, общей работой, но и большой личной дружбой, поэтому созданные им портреты этих людей преисполнены теплоты и сердечности.

Новая книга А. Гидаша свидетельствует о том, что через все жизненные испытания он пронес страстную убежденность борца за передовые идеи века и в семьдесят с лишним лет сохранил романтический пафос молодости, подчеркивает Дердь Тибор Немет.

ты Пахтигаль приобрела на экране пластичность. Запоминающиеся эпизоды, интересные детали, которые нашел Бейер, помогли показать зрителю широкую панораму нашей современной жизни».

Телевизионный фильм «Семь похождений донны Жуаниты» — сочетание комедийности, иронии, занимательности и глубокого смысла», — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

ФРГ

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ

Новый роман западногерманского писателя Мартина Вальзера «Падение» — заключительная часть трилогии, начатой романами «Половина игры» (1960) и «Единорог» (1966). Главный герой трилогии Ансельм Кристляйн, некогда рекламный агент, затем неудавшийся писатель, в последней книге терпит полный крах. Разорившись на финансовых операциях, чувствуя себя духовно и физически опустошенным, он обдумывает возможные способы самоубийства.

Критика сразу обратила внимание на то, что финал романа прямо противоположен финалу недавней повести Вальзера «Болезнь Галлистля», главный герой которой находит возможность обновления в солидарности с друзьями-коммунистами. В интервью гамбургскому еженедельнику «Ди цайт» писатель подтвердил преднамеренность такого противопоставления. «Сквозная тема романа — «зарабатывание денег», — отметил он. — Когда я оглядываюсь на свою жизнь, на впечатления детства, на своих родителей, я вижу, как постоянная необходимость «пробиваться» вела к разрыву с остальными людьми. Это условия, неблагоприятные для человеческого существования... Кристляйн больше был способен страдать, чем развиваться... Он должен был пасть, чтобы Галлистль мог жить».

«ТАКОЙ МИР — НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Это — название фильма режиссера - документалиста Эрвина Лейзера (автора антифашистского фильма «Майн кампф»).

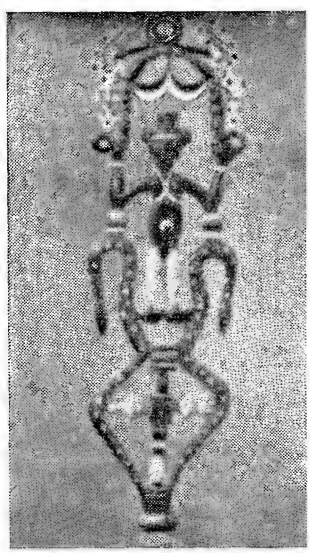
Новая работа Лейзера — кинорепортаж, в котором показаны трагические судьбы бездомных детей, обреченных на голод и болезни. Фильм, снимавшийся главным образом в странах Азии и Латинской Америки, представляет собой, по мысли его создателя, призыв о помощи, обращенный к общественности разных стран.

ДАНИЯ

Национальный музей в Копенгагене выпустил книгу-альбом «Искусство Центральной Африки», положив в основу издания обширную коллекцию этнографического отдела.

На снимке: танцевальный шест племени даула (Камерун).

(Газета «Ланд ог фольк»)



ДРВ

ВСТРЕЧА ХУДОЖНИКОВ

Впервые после восстановления мира в стране собрался пленум Правления Союза художников. В отчетном докладе Секретариата были подытожены достижения мастеров разных поколений за последний год, отмечены воспитательное значение, острота и злободневность многих произведений, определены задачи на будущее. Выступавшие в прениях художники говорили о новых формах в таких традиционных для Вьетнама жанрах, как графика и живопись на шелке, о творческих поисках и успехах в сравнительно «молодых» жанрах масляной живописи и скульптуры, об авторитете, который вьетнамское искусство завоевало за рубежом.

К предстоящему съезду художников ДРВ предполагается приурочить общенациональную выставку лучших работ 1973 года, намечен состав оргкомитета и жюри. Рассмотрен также вопрос о строительстве новых мастерских, выставочных залов и т. п.

Ю. ВЬЕТНАМ

СТАТЬИ ВОЕННОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Южновьетнамское издательство «Освобождение», выпустившее ранее три антологии — поэзии, публицистики и прозы (1960—1970), опубликовало книгу, в которой собраны лучшие статьи военного десятилетия, посвященные патриотической литературе Юга. Среди авторов — крупнейшие писатели, критики и поэты ДРВ и Южного Вьетнама: Те Лан Виен, То Хоай, Хоанг Чунг Тхонг, Хоай Тхань, Чан Хиеу Минь, Нгуен Чунг Тхань и др. Всего в книге около 30 статей, эссе, литературных портретов, рецензий.

ЕГИПЕТ

ПРЕМИЯ ЛУЧШЕМУ РАССКАЗУ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», Высший совет по делам искусств и литературы совместно со «Стори-

клаб» в Каире присудили первую премию за лучший рассказ молодому новеллисту Габриэлю Вахбе, который удостоен также золотой медали, вручаемой от имени «старейшины» арабской литературы доктора Тахи Хусейна. Премированный рассказ «Развод» — яркая сатирическая зарисовка из жизни современной египетской семьи.

О СОВРЕМЕННОМ КИНО

Журнал «Ат-Талиа» поместил материалы о кино под общим заголовком «Египетское кино между прошлым и будущим».

Современному состоянию египетской кинематографии посвящена статья кинокритика доктора Рафика ас-Саббана; по его мнению, несмотря на внешние признаки процветания и успех в прокате Египта и соседних арабских стран, она переживает застой.

Звездой на египетском кинематографическом небосклоне критик считает режиссера Юсуфа Шахина — автора кинокартины «Борьба в долине» (1954) и выпущенного не так давно в содружестве с советскими кинематографистами фильма «Люди Нила». Большим творческим достижением Ю. Шахина критик называет его последний фильм «Пташка» — рассказ о современной египетской молодежи.

Среди произведений молодых режиссеров критик отмечает «Походную песню» Али Абд аль-Халека — первый египетский фильм, рассказывающий об июньской войне, а также две вышедшие недавно на экраны кинокартины — «Посетитель на заре» Мамдуха Шукри и «Тени на другой стороне» Валида Шаита.

«Почти одновременное появление трех фильмов — «Пташка», «Посетитель на заре» и «Тени на другой стороне» — заставляет нас задать себе радостный и нетерпеливый вопрос: не возникло ли в Египте яркое направление политического кино?» — пишет доктор Рафик ас-Саббан.

Кадр из фильма «Возвращение из Англии».
(Еженедельник «Линк»)

ИНДИЯ

ФИЛЬМ О МОЛОДЕЖИ

Новый художественный фильм «Возвращение из Англии» — дебют критика и исследователя кино Чидананда Дасгупты в качестве автора сценария и режиссера. Картина значительно превышает общепринятый национальный стандарт, пишет рецензент еженедельника «Линк» Ашиз Барман.

Фильм состоит из трех новелл, объединенных общей проблемой: получив образование за границей, молодые индийцы возвращаются на родину и каждый в меру своего характера, понимания и способностей пытается найти свое место. Три новеллы — три варианта возможного решения этой задачи.

Особенно удачными и убедительными, по свидетельству рецензента, получились части фильма, где постановщики, талантливо используя элементы сатиры, бичуют уродливые взгляды и явления, которые до сих пор бытуют среди некоторых слоев современной индийской молодежи.

ИРАК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

По сообщениям арабской прессы, в Багдаде увидела свет книга «Избранное из родников поэзии» классика современной иракской литературы Джамиля Сидки аз-Захави. В нее вошли многие из неизданных стихов поэта. Книгу подготовил к печати и снабдил комментариями литературовед Абд ар-Разак Хиляли.

«Гениальный ученый из Басры» — новая книга Махди аль-Махзуми. В ней рассказывается о выдающемся представителе арабской филологии аль-Халиле ибн Ахмаде аль-Фарахади, жившем в VIII веке в городе Басре, который был одним из центров арабской средневековой учености. Аль-Халиль ибн Ахмад впервые научно разработал систему арабского стихосложения, эта метрическая система, называемая «арудом» («арузом»), господствует и по сей день в поэзии большинства народов Ближнего и Среднего Востока.

ИСПАНИЯ

АРАБСКАЯ ПОЭЗИЯ НА ИСПАНСКОМ

В Мадриде, по сообщению ливанского журнала «Аль-Адиб», вышла книга «Избранные произведения современной арабской поэзии»,

Составитель книги — преподавательница Барселонского университета испанская арабистка Леонора Мартинес Мартин. В книге представлено творчество крупнейших современных поэтов. В обширной вступительной статье рассказывается об этапах развития поэзии в арабских странах. Книга снабжена биографическими справками о поэтах.

ИТАЛИЯ

«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!»

Отмечает 20-летие своей деятельности коммунистическое издательство «Эдитори риюнити» («Объединенные издатели»). С 1953 года оно выпустило полторы тысячи названий книг общим тиражом в 12 миллионов — для Италии цифра весьма впечатляющая. Тиражом в 5 миллионов были изданы произведения классиков марксизма.

Издательство создало 24 постоянные серии — почти каждая выпускаемая им книга входит в какую-нибудь из них, что позволяет читателю легче ориентироваться в новинках, собирать ту или иную серию. Лозунг издательства — «Книга, изданная «Эдитори риюнити», помогает вам идти в ногу со временем!»

К своему юбилею издательство предлагает читателям пять новых книг, пишет газета «Унита». Это «Дневники за 30 лет» старой коммунистки Камиллы Раверы, принимавшей участие в создании ИКП; сборник статей погибшего в годы Сопротивления молодого ученого-антифашиста Эудженио Куриэля; книга Альбино Бернардини «Враждебная школа» — собранные сельским учителем высказывания школьников о их жизни и учебе (на основе этой книги Бернардини написал сценарий популярной в Италии телепередачи); исследование прогрессивного американского писателя Роберта Катца «Смерть в Риме» о периоде гитлеровской оккупации Рима (по этой книге поставлен кинофильм); книга журналистки Габриэлы Парки «Голоса из женской тюрьмы» о положении заключенных в Италии.

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» ПАЗОЛИНИ

Корреспондент газеты «Унита» сообщает, что писатель и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини закончил съемки фильма по сказкам «Тысячи и одной ночи». Съемки велись во многих странах Африки и Востока — в Северном Йемене, Нигерии, Эритрее, Иране: Пазолини хотел, чтобы действие фильма происходило в тех местах и среди тех народов, о которых повествуют арабские сказки.

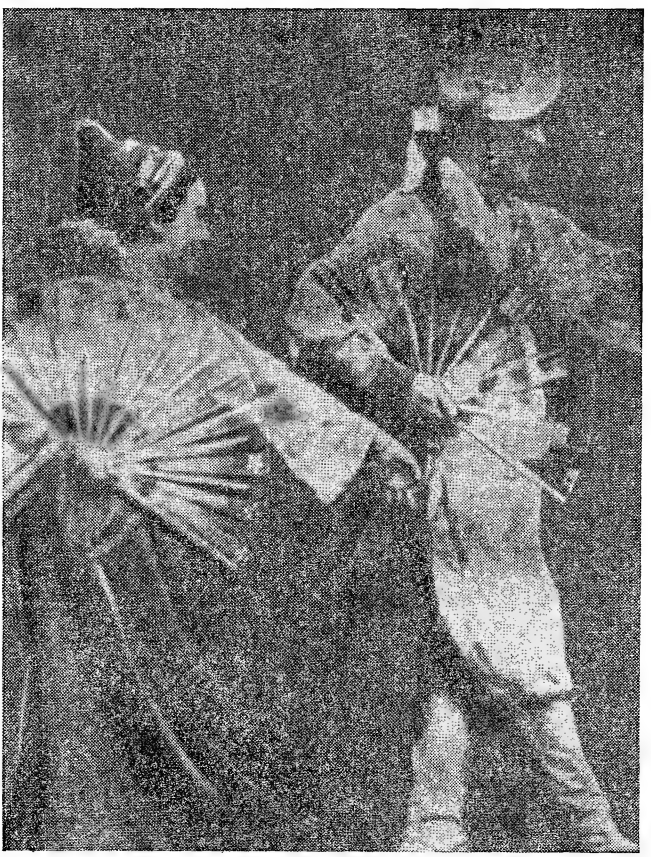
Съемочная группа проделала путь в десять тысяч километров. Натурные съемки велись главным образом в городах Йемена, сохранивших свой старинный облик, а также в Исфагане в Иране. Все персонажи были найдены на местах, за исключением нескольких исполнителей центральных ролей. По словам Пазолини, в его новом фильме «главное действующее лицо — народ».

КНДР

Коллектив народного танца «Мансудаи» известен не только у себя на родине, но и за ее пределами.

На снимке: артисты «Мансудаи» во время выступлений в Лондоне.

(Газета «Морнинг стар»)



КНР

ПЛОДЫ «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Распространяемые пропагандой Пекина заявления об «огромных успехах в области культуры и искусства», достигнутых благодаря «культурной революции», не имеют под собой оснований, утверждает журналистка Малгожата Абкович в статье «Китайский театр сегодня», опубликованной в польском ежемесячнике «Диалог». Единственной областью искусства, которая, несмотря ни на что, еще влачит существование, является театр.

Однако даже театру, при всей его жизнеспособности, продолжает автор статьи, был нанесен огромный ущерб лозунгом об «осовременивании классической драмы» и «революционизировании тематики пекинской оперы». Весь классический и современный репертуар подвергся запрету. На сценах тех театров, где еще время от времени поднимается занавес, разрешено играть только восемь признанных «образцовыми» пьес, причем две из них — «Седая девушка» и «Красный женский батальон» — преобразованы в «революционные балеты».

Содержание признанных «образцовыми» произведений на современную тему построено по одной и той же схеме. Замаскированный до поры до времени враг пытается осуществить диверсию. Под его влияние подпадает молодой рабочий или крестьянин, недостаточно развитый политически. Заканчивается все, разумеется, благополучно: врага разоблачают, а молодой рабочий или крестьянин под влиянием чтения книг Мао Цзэ-дуна осознает свои заблуждения.

Примером может служить пьеса «В порту». Действие происходит в доках Шанхая. При вести о надвигающемся тайфуне рабочие решают перенести на склад мешки с пшеницей, предназначенные на экспорт и находящиеся под открытым небом. Молодой докер Хань Сяо-чень, считая свою работу унизительной, стыдится ее и нерадиво относится к своим обязанностям. Случайно он рассыпает мешок с пшеницей. Воспользовавшись этим, замаскированный саботажник решает «подорвать престиж Китая на международной арене». Он помогает молодому докеру собрать рассыпанную пшеницу, причем незаметно подсыпает в мешок стеклянного волокна. Разоблаченный, он пытается пробраться на корабль, отплывающий в Европу. Однако это ему не удается. Молодого докера ведут на «Выставку классового воспитания», где он осознает свои ошибки.

В пьесы, основанные на эпизодах революционно-освободительной борьбы китайского народа, введены сцены коллективного пения цитат из произведений Мао Цзэ-дуна, причем декоративным фоном для этих сцен служит обычно изображение восходящего солнца.

ЛИВАН

НАГРАЖДЕНИЕ СТАРЕЙШЕГО ПОЭТА

Ливанское общество друзей книги объявило о присуждении премий за 1972 год, сообщает журнал «Аль-Адиб».

Высшей премии — Премии президента республики, присуждаемой за совокупность работ, — удостоен старейший арабский поэт Рашид Салим аль-Хури (род. в 1887 г.), известный под псевдонимом Аш-Шаир аль-Каравн (Деревенский поэт).

Выходец из Сирии, аль-Хури большую часть жизни провел в Бразилии, где стал одним из основоположников романтической, так называемой «сиро-американской» школы, сыгравшей большую роль в развитии новой арабской поэзии. В настоящее время аль-Хури живет в Ливане.

МАЛАГАСИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОБЕДА ДЕБЮТАНТА

Впервые в истории африканских кинофестивалей первую премию получила лента кинематографистов острова Мадагаскар: на фестивале 1973 года в Уагадугу фильм малагасийского режиссера Бенуа Рамампи «Дорожное происшествие» признан лучшим на конкурсе короткометражных фильмов.

Создателю фильма 25 лет. С профессиональным кинематографом он познакомился в 1970 году во Франции, где работал на телевидении. По возвращении на родину Бенуа Рамампи был режиссером Малагасийского центра учебных фильмов. В 1972 году его сценарий «Дорожное происшествие» победил на конкурсе сценариев, организованном французским Культурным центром имени Альбера Камю. Рамампи получил необходимую для съемок пленку и небольшую сумму денег.

...Юноша из богатой семьи сбивает на своей машине ребенка, родители которого очень бедны, и тот умирает в больнице, а виновник несчастья улетает в Европу продолжать образование. «Рамампи удалось,— отмечает рецензент журнала «Африк литтерер э артистик»,— отойти от само собой напрашивавшегося показа злых богачей и добрых бедняков. Он сумел интересными мазками создать в своей двадцатипятиминутной ленте атмосферу такого спокойствия, которое предвещает самую страшную грозу. С технической точки зрения работа Рамампи — настоящий подвиг»: на Мадагаскаре нет оборудования ни для проявления пленки, ни для озвучивания фильмов. Одну из ролей он играл сам, оператором был его брат Шарль, редактор газеты. Власти совершенно не помогали съемочной группе— так, Рамампи всего на два часа пустили в больницу, где нужно было снимать

одну из центральных сцен фильма.

Сейчас Бенуа Рамампи работает над полнометражным фильмом, который он надеется закончить к концу этого года... если позволят средства.

МОНГОЛИЯ

РАСЦВЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

В республике 12 профессиональных театров, в их репертуаре преобладают национальные произведения. Рецензент газеты «Утга зохиол урлаг» сообщает, что с успехом идут пьесы на историко-революционные и современные темы известного драматурга, лауреата Государственной премии МНР Д. Намдага, а также Б. Нямаа и др.; балетмейстер Б. Шархухэн показал недавно хореографические композиции «Красавица» и «Всадники».

Гордостью монгольских театров являются также постановки творений мирового искусства — опера Бородина «Князь Игорь» и балет Прокофьева «Золушка» на сцене Государственного театра оперы и балета, «Мамаша Кураж и ее дети» Брехта, «Эдип» Софокла на сцене Государственного драматического театра.

Международная выставка реалистической ангажированной живописи, проведенная в Болгарии,— результат инициативы Союзов художников группы социалистических стран. Главная задача ее, как отмечала пресса,— продемонстрировать роль реалистического искусства в строительстве социалистического общества, в борьбе за гуманизм и социальный прогресс.

На снимке: удостоенная премии картина «Призыв» монгольского художника Цултема Нямосорина.

(Еженедельник «Народна култура»)

НЕПАЛ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОСТУДИЯ

Правительство Непала ассигновало 9 миллионов рупий на строительство и оборудование киностудии в Катманду. В разных странах проходят стажировку 30 кинематографистов — будущих творческих работников непальского кино. В 27 кинотеатрах страны демонстрируются пока главным образом индийские фильмы, однако уже запущен в производство первый игровой непальский фильм.

НИГЕР

ОПЯТЬ ЭКЗОТИКА

Французский кинорежиссер Клод Верморель считается специалистом по Африке: в 1952 году в джунглях Габона он сделал фильм «Одинокие завоеватели», в 1958 году в Гвинее — «Лучшая из жизней», а в 1968 году в Республике Берег Слоновой Кости — «Яо». Хотя все эти фильмы снимались в Африке и в них играли африканцы, предназначались они для европейской публики, были сделаны под углом зрения европейца и совершенно не отражали подлинную жизнь континента.

Недавно Клод Верморель закончил работу еще над одним подобным фильмом— «Амината». Постановщик перенес на африканскую почву сюжет трагедии Софокла «Антигона», в фильме звучит музыка Вагнера, актеры говорят на классическом французском языке. Роль Аминаты — главной героини — исполняет Адама Амаду, одна из служащих столицы Нигера, в других ролях также заняты африканцы. Верморель в стилизованной форме воспроизвел костюмы воинов и обычаи Африки доколониального периода. «В своем фильме, — сказал режиссер в беседе с корреспондентом журнала «Жён

Африк», — я хочу показать европейской публике красочную Африку. Африка привлекает нас скорее простотой, нежели интеллектуализмом, она дает подлинную экзотику — это мир, не похожий на наш».

В рецензии на фильм корреспондент «Жён Африк» отмечает, что общественность Африки обеспокоена, что на экранах континента можно видеть лишь худшие образцы западной кинематографии. Поэтому новая политика больших западных кинокомпаний, цель которых — любыми средствами отсрочить создание национальной африканской кинопромышленности, — дать Африке тщательно стерилизованное «африканское» кино, сделанное ими самими.

«Амината» — детская книжка с красивыми картинками, которую протягивают народу, жаждущему подлинной культуры», — заключает корреспондент.

НИГЕРИЯ

«ЕГО БОГОБОЯЗНЕННОЕ ВЕЛИЧЕСТВО»

В лондонском издательстве «Хейнеман» вышел в свет роман нигерийского писателя Т. Алуко «Его богобоязненное величество». Эта книга повествует о проникновении колониальной администрации в традиционное африканское королевство, в котором безраздельно правил монарх Оба Олайвола. Столкновение двух цивилизаций приводит к крушению власти короля и воцарению нового порядка.

По свидетельству рецензента еженедельника «Уэст Африка», Алуко ярко и увлекательно рисует жизненный уклад племени йоруба и подтверждает свой талант повествователя, проявившийся в четырех предыдущих книгах — «Один мужчина, одно мачете», «Один мужчина, одна жена», «Свояк и десятник», «Вождь, досточтимый министр». Все романы Алуко увидели свет в серии произведений африканских писателей, выпускаемой издательством «Хейнеман».

ПОЛЬША

АНТОЛОГИЯ ЛИТОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Государственное научное издательство Польши выпустило антологию литовской литературы «Там, где сияют красные мальвы». В нее вошли избранные произведения литовской поэзии и прозы: от первых литературных памятников, народных песен — дайн — до произведений современных литераторов. Некоторые главы снабжены краткими историко-литературными справками.

Составитель антологии Зигмунт Стоберский пишет в предисловии к ней, что подобного рода издание выпущено в Польше впервые. Он напоминает, что литовскую литературу, и в особенности поэзию, высоко ценили Мицкевич, Гёте, Лессинг, Крашевский. «Это книга, ближе знакомящая польских читателей со страной, история которой в течение нескольких веков была тесно связана с историей нашего народа», — пишет он.

РУМЫНИЯ

ОБНОВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ

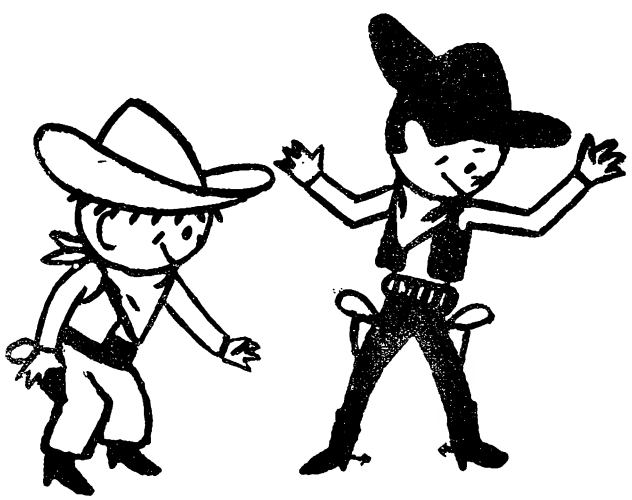
Роман Титуса Поповича «Чужой», знакомый советскому читателю по русскому переводу, вышел в 1955 году. Сейчас издательство «Эминеску» выпустило новый, значительно переработанный автором вариант книги.

Критика отмечала неоднократно, что в «Чужом» совмещены, по сути дела, два романа — история личности (лицеиста Андрея Сабина) и общественных слоев, втянутых в водоворот революционных событий 1944 года. В первом варианте между двумя пластами повествования было слишком мало точек соприкосновения. Чтобы устранить этот недостаток, Титус Попович и вернулся к роману. Рецензент «Ромы-

---

В течение нескольких лет Студия мультипликационных фильмов в Бельско-Бялей, ставшая лауреатом премии Председателя Совета Министров Польши, выпускает очень популярную у детей и даже взрослых серию о приключениях двух неунывающих сорванцов — Болека и Лёлека. Вскоре Студия выпустит на экраны полнометражный фильм об их приключениях.

(Газета «Жиче Варшавы»)



Рецензент «Контемпоранул» отмечает, что в фильме «Туман» Владимира Попеску-Доряну с психологической достоверностью показана борьба подпольщиков во время диктатуры Антонеску,— писатель Александру Шиперко, автор сценария, был участником описываемых событий и сумел придать фильму особую убедительность.

На снимке: исполнители главных ролей Адела Мэркулеску и Эммерих Шеффер в сцене прощания перед казнью.

(Еженедельник «Контемпоранул»)

ния литерарэ» пишет, что более ясными, эстетически оправданными стали поступки главного героя, его отношения с другими персонажами и восприятие происходящих преобразований.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ЛИРИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Вышел первый сборник стихов молодой поэтессы Самиры Лари под названием «Газели молчат», предисловие к нему написал египетский поэт, ныне покойный Абд ар-Рахман Сидки. Как сообщает рецензент журнала «Аль-Адиб», Самира Лари окончила литературный факультет Каирского университета и первой из саудовских девушек поступила учиться в Сорбонну. Ее лирический сборник «Газели молчат» — среди первых книг, созданных в Саудовской Аравии поэтессами.

СЕНЕГАЛ

«Я ОСТАЮСЬ ОПТИМИСТОМ!»

В этом году Сембену Усману исполнилось 50 лет. Родился он в семье рыбака. Был солдатом французской армии, докером в Марселе, участвовал в профсоюзном движении. Стал писателем. И получил мировое признание как один из лучших кинорежиссеров Африки. Корреспондент журнала «Жён Африк» посетил Сембена Усмана в его домике на берегу океана в окрестностях Дакара и взял у него интервью.

К о р р. Почему вы ушли из Ассоциации сенегальских кинематографистов?

С. У с м а н. Причина — политическая: кое-кто хотел, чтобы кинематографисты ходили на поводке. Африка сейчас переживает трудный период своей истории. Я уверен, что положение изменится, и хочу, чтобы этот день настал побыстрее. Я живу в Африке, хочу здесь жить и умереть и буду показывать, как живут африканцы. Я реалист и не хочу делать фильмы, которые противоречили бы действительности. Пройдитесь по улицам Дакара — и вы увидите людей, которых я показываю в своих произведениях.

К о р р. Почему вы решили бросить литературу и занялись кино?

С. У с м а н. Я не бросил литературу. Я продолжаю писать, особенно новеллы. Но я пишу по-французски, а 80 процентов моего народа по-французски не говорит, а из тех двадцати, что говорят, очень немногие тратят время на чтение. В кино же ходит гораздо больше народа. Кино позволяет мне не только делать то, что неосуществимо в литературе, но еще и дать актерам возможность говорить на их собственном языке. Не представляю, как бы я стал делать с африканцами фильмы на французском языке.

К о р р. До сих пор у вас не было ни одного фильма о жизни рабочих?

С. У с м а н. Недавно я по заказу из Женевы сделал документальный фильм о безработице. Я снимал сцены, которые постоянно происходят около Бюро по найму рабочей силы в Дакаре. Когда фильм был сделан и вышел на экраны, мне заказали еще один. Но как только я появился в Бюро по найму, передо мной захлопнули дверь.

К о р р. Вы редактор журнала «Кадду» на языке волоф (см. «ИЛ» № 1, 1973). Что вы ждете от этого журнала?

С. У с м а н. Издавая журнал на волоф, мы имеем возможность охватить большее число людей. «Кадду» должен стать неоценимым орудием культуры.

К о р р. Вы учились ремеслу кинематографиста у хороших учителей. Что они вам дали?

С. У с м а н. Я учился кинематографии в Советском Союзе. Я писал в Америку, Канаду, в другие страны. Повсюду мне отказывали, не оставляя никакой надежды. Потом я обратился во Францию к Жоржу Садулю и Луи Дакену. Они посоветовали мне Советский Союз. Я провел там около года в 1961—1962 гг. и был очень рад, что именно Советский Союз предоставил мне возможность учиться.

К о р р. Что вы думаете о будущем африканского кино? Не превратится ли оно в бледную копию кино европейского или американского?

С. У с м а н. Мы просто тонем в трудностях, но тем не менее с нашими скудными средствами ищем пути самовыражения. Когда я собрался делать «Почтовый перевод», мне сказали: «Мы дадим тебе деньги. Но ты должен показать тело черной женщины». Я отказался. С тех пор — плохо ли, хорошо ли — я стараюсь делать фильмы собственными силами.

К о р р. Вы лауреат многих премий. Вас приглашают участвовать в жюри кинофестивалей. Не боитесь вы стать в конце концов «добрым негром» западного кино?

Сембен Усман на съемках фильма «Эмитай».

(Журнал «Жён Африк»)

С. У с м а н. Посмотрите на меня хорошенько. Разве я похож на человека, которого можно приручить?

К о р р. Вы говорили, что Африка переживает трудное время. Каким вы видите ее будущее?

С. У с м а н. Я остаюсь оптимистом! Думаю, что в Африке завтрашнего дня будет приятно жить. Плохо, что нельзя родиться дважды. Но, с другой стороны, время, в которое мы сейчас живем, такое богатое для художника.

СИРИЯ

РОМАН ОБ ИЮНЬСКОЙ ВОЙНЕ

Война 1967 года, пишет рецензент журнала «Аль-Адаб», оставила значительный след в арабской литературе. Это прежде всего проявилось в поэзии — в частности, в поэзии Сирии. Июньской трагедии посвящено и одно из лучших сирийских драматургических произведений — пьеса Саадаллаха Вануса «Вечеринка по случаю 5 июня».

В сирийской романистике в этом отношении существовал пробел, пока не вышел роман Абд ан-Наби Хиджази «Тяжелая ладья времени». Он написан в форме дневника главного героя — майора Ахмада, демобилизованного после полученного в бою ранения. Ахмад оказался разлученным с женой и детьми, оставшимися в оккупированном израильтянами сирийском городе Кунейтре. После увольнения из армии он работает в одном из гражданских учреждений Дамаска и не может примириться с новым положением чиновника-тыловика, лишенного права принять участие в войне. После многих сомнений и колебаний Ахмад решает пробраться в Кунейтру, чтобы участвовать там в партизанском движении.

Как считает рецензент, в романе правдиво показана обстановка в Дамаске в дни войны и отношение к военным событиям разных групп населения.

СУДАН

КНИГА О ПОЭЗИИ

Издательство «Дар ас-Сакафа» выпустило книгу «Течения современной арабской

поэзии в Судане», написанную египетским литературоведом доктором Мухаммедом Мустафой Хаддарой.

Как отмечает критик в рецензии, опубликованной журналом «Аль-Адаб», египетскими исследователями написано немало работ о суданской литературе. Объемистую книгу доктора Хаддары суданский критик относит к числу серьезных, фундаментальных исследований и отмечает, что «эта книга — одно из немногих исследований, в которых рассматривается реализм в суданской поэзии». Вместе с тем критик выражает сожаление, что египетский ученый использовал не все доступные источники и оставил без внимания творчество некоторых суданских поэтов.

США

«НИЧЕГО НЕ ПРИДУМЫВАТЬ»

В новой книге «Завтрак чемпионов, или Прощай, хмурый понедельник» Курт Воннегут заявляет о решении «остерегаться литературы и больше ничего не придумывать». Он прощается в ней с героями своих прежних книг. Писатель принимает участие в развитии сюжета, комментируя поступки персонажей и картинки, которые он нарисовал. Это необычное для него вмешательство в ход действия вызвано желанием быть услышанным и понятым однозначно. Писатель обсуждает с читателями серьезные проблемы, стоящие перед гражданами Америки на «быстро умирающей планете Земля», и уже во вступлении декларирует отказ от фантастики и желание писать о жизни «как она есть».

Он устраивает встречу двум героям — автомобильному бизнесмену, заболевшему шизофренией, и писателю-фантасту Трауту. Теряющий рассудок бизнесмен в поисках опоры обращается к искусству — и встреча с романом Траута становится для него роковой: поверив в искренность вступления к роману, где говорится, что он один на Земле способен думать, чувствовать, остальные — машины, бизнесмен решает проверить эти «машины» на прочность и увечит всех, кто оказывается рядом. Достается и самому Трауту. Подобный оборот дела так поражает его, что отныне главная идея его жизни — «Мы здоровы настолько, насколько наши идеи человечны».

Человека делает человеком сознание, говорит Воннегут, сознание ответственности за свои слова и поступки, сознание своей причастности к общему процессу жизни на Земле и ответственности за ее сохранение. Идея личной или национальной исключительности позорно скомпрометировала себя. Она привела к трагедии немецкий народ и народы мира, заплатившие кровью за эту варварскую идею.

Рецензент американского журнала «Харперс» называет «Завтрак чемпионов» лучшей книгой Воннегута.

«НЕГРИТЯНСКИЙ» ФИЛЬМ ДЖОНА ФОРДА

Джордж Клейтон был первым негром, ставшим выпускником академии Вест-Пойнт. Известный спортсмен-негр Джим Овингтон исполнит главную роль в фильме «История Джорджа Клейтона». Постановку картины осуществляет ветеран американского кино Джон Форд, пригласивший на съемки популярного негритянского актера Вуди Строуда и постоянных участников своих фильмов — Джона Уэйна, Джеймса Стюарта и Генри Фонду.

ТУНИС

IX СЪЕЗД АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

На съезд прислали своих делегатов все арабские страны, а также Лига арабских государств и Ассоциация писателей стран Азии и Африки.

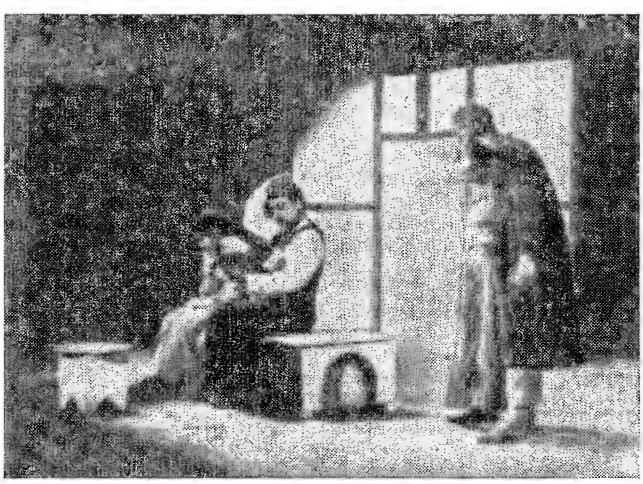
Рецензент журнала «Аль-Адиб» сообщает, что съезд обсудил задачи арабских литераторов в борьбе с мировым империализмом и сионизмом, решительно высказался в поддержку прав арабов Палестины, за полное освобождение оккупированных Израилем арабских зе-

---

Обмен художественными коллективами между странами Северной Африки становится все более частым явлением. Театральная труппа Дома культуры тунисской столицы выступала в одном из лучших залов столицы Алжира «Аль-Муггар».

На снимке: сцена из спектакля «Хаззар аль-Ума», поставленного Нурреддином аль-Касбауи по мотивам «Школы жен» Мольера.

(Газета «Аль-Муджахид»)



мель. Участники съезда выразили поддержку всем национально - освободительным движениям стран Азии, Африки и Латинской Америки и горячо приветствовали победу вьетнамского народа.

Съезд обсудил задачи литераторов в борьбе за развитие самобытной арабской культуры, опирающейся на наследие прошлого и достижения современной мировой цивилизации, и призвал «во имя созидания, прогресса, социальной справедливости, единства арабского народа и мира оказывать сопротивление идеологическому террору и покушению на свободу слова».

ТУРЦИЯ

ПРЕМИЯ ОРХАНА КЕМАЛЯ

В день третьей годовщины со дня смерти турецкого прозаика Орхана Кемаля было объявлено о присуждении ежегодной премии его имени. Лучшим отечественным романом 1973 года был признан «Великий надзор» — первый роман известного публициста, бывшего депутата меджлиса от Рабочей партии Турции Четина Алтана. Как сообщила турецкая печать, в связи с тем, что автор романа находится в тюрьме, куда он был заключен за свои выступления в печати в защиту демократических свобод, премия была вручена его семье.

МЮЗИКЛ АЗИЗА НЕСИНА

Сатирик Азиз Несин более десяти лет выступает также в качестве драматурга (одна из первых его пьес «Пойдите сюда!» была опубликована в «ИЛ» № 8, 1962). В нынешнем сезоне новую пьесу писателя — мюзикл «Король футбола Саит Хопсайт» — поставил недавно созданный, но уже успевший завоевать популярность анкарский театральный коллектив «Петек оюнджулары». По мнению турецких театральных критиков, этот спектакль явился заметным событием в культурной жизни Турции и был тепло встречен публикой не только в столице, но и в провинциальных городах, где театр побывал во время гастролей.

ФРАНЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ АНТИРАСИСТСКОГО ФИЛЬМА

В Париже прошли Международные дни антирасистского фильма. На этом смотре были показаны ленты кинематографистов Европы, Америки, Азии и Африки.

К сожалению, отмечает журнал «Жён Африк», организаторам удалось снять только два маленьких кинозала — «фильмы, разоблачающие расизм, не вызвали энтузиазма у прокатных фирм».

Первый приз за полнометражный фильм получила работа французского режиссера Жана Панижеля «Октябрь в Париже». Картина была сделана более десяти лет назад, но на экран попала только сейчас: она была до сих пор запрещена во Франции, так как в ней показаны преследования алжирских иммигрантов во время национально-освободительной революции алжирского народа. Специальным призом жюри наградило ленту «Конец диалога», сделанную южноафриканскими эмигрантами; этот фильм был тайно снят в ЮАР. Марокканский режиссер Мумен Смики получил специальный приз жюри за короткометражный фильм «Си Мох — неудачник». Особо была отмечена деятельность режиссера Рена Вотье «за большой вклад в борьбу против расизма средствами кинематографа».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

РАЗДУМЬЯ О ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ

Заслуженный деятель искусств Войтех Мигалик ведет работу с молодыми поэтами, регулярно публикующими свои произведения в еженедельнике «Нове слово». Отвечая на вопросы журнала «Творба», он сказал, в частности, следующее:

— Молодым авторам, с которыми я встречаюсь, большей частью еще не хватает мастерства, часто они слишком нестойки и подвержены преходящей моде, но, несмотря на это, многие из них бесспорно талантливы и могут развивать свои творческие возможности. Поэтому крайне важно работать с ними, чтобы вести их по правильному пути, чтобы показать им истинное призвание литературы в социалистическом обществе.

Мы должны учитывать, что молодежь с большим доверием относится к тому, что публикуется, считая это определенным художественным и идейным эталоном. Поэтому ответственность издательств, журналов и газет чрезвычайно велика. В творчестве молодых видны оптимизм, вера в будущее, и мы должны способствовать правильному развитию их взглядов и поддерживать их.

ШВЕЙЦАРИЯ

НОВАЯ КОМЕДИЯ ДЮРРЕНМАТТА

В цюрихском «Шаушпильхаузе» состоялась премьера пьесы Дюрренматта «Соучастник». После спектакля публика встретила знаменитого автора, выступавшего еще и в роли режиссера-постановщика, свистом и улюлюканьем.

«Соучастник» задуман Дюрренматтом как остросюжетная детективная пьеса. Безработного биолога Дока подбирает гангстер Босс: Док открыл химический состав, позволяющий полностью растворять трупы. В дело вмешивается шеф полиции Коп, расправляется с Боссом, берет Дока к себе на службу и намерен использовать его открытие в своих целях. Сопричастность

делам, конечных целей которых не знает большинство рядовых исполнителей — в данном случае людей науки, — представляется Дюрренматту проблемой не только нравственной, но и социально-политической.

Рецензент в «Нойе цюрхер цайтунг» пишет, что Дюрренматт хотел показать жестокость «общества убийц», но сценическая модель его получилась чересчур схематичной. Пьеса разделена на пять актов, каждый посвящен раскрытию образа одного персонажа (Док, его возлюбленная Анн, сын Билл, Босс, Коп). Каждый персонаж произносит монолог, с помощью которого он «мотивирует» свое место в общей конструкции, язык персонажей лишен индивидуальных признаков. В хитроумных интригах, в планируемых и осуществляемых убийствах бесследно растворяется намеченная автором проблема ответственности ученого перед человечеством, отмечает рецензент. В подземной лаборатории Дока поочередно исчезают Анн, Билл, Босс, Коп. Выживает только «соучастник» Док ценой предательства сына и любимой женщины. Беспринципность Дюрренматт заносит в каталог типичных признаков современного западного интеллигента. Может быть, именно поэтому достигло такого накала возмущение цюрихских зрителей, присутствовавших на премьере, пишут рецензенты.

Актриса Андреа Ионассон в роли Анн.

(Журнал «Штерн»)

ЮАР

ЛА ГУМА О ПОЕЗДКЕ В ДРВ

Южноафриканский писатель Алекс Ла Гума посетил Демократическую Республику Вьетнам в составе делегации Всемирного Совета Мира. Делегацию, включающую представителей пяти континентов, возглавлял Генеральный секретарь ВСМ Ромеш Чандра. Делегаты вручили городам-героям Ханою и Хайфону медали имени Ламбракиса, учрежденные ВСМ, за мужество и героизм в борьбе за национальную независимость.

По окончании поездки Ла Гума опубликовал ряд статей, рассказов, очерков и репортажей в органе африканского национального конгресса «Сечаба», в журнале южноафриканских коммунистов «Африкэн комьюнист» и других изданиях, сопровождая их фотографиями, сделанными им во Вьетнаме. В статье «Уроки Вьетнама», напечатанной в журнале «Сечаба», Ла Гума пишет: «Победа вьетнамского народа создает условия для упрочения передовых сил во всем мире. Вьетнам доказал, что народ, борющийся за свободу и независимость, опираясь на помощь и поддержку революционных и прогрессивных организаций разных стран, не может не одолеть противника. Такой народ несокрушим».

ЯПОНИЯ

СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

В Токио основан научно-исследовательский Институт культуры Японии. Его возглавил Сэйити Тохата, почетный профессор Токийского университета, одним из директоров стал американский ученый Дональд Кин, специализирующийся по японской литературе (советские читатели знакомы с его книгой «Японцы открывают Европу»).

Цель Института — распространять внутри страны и за ее пределами информацию о японской культуре и искусстве. Институт будет изучать обычаи и образ жизни народа, религию, культуру и искусство Японии.

В январе 1974 года Институт планирует выпустить в свет первый номер ежеквартального журнала, а весной того же года — Белую книгу исследований, посвященных японской культуре.

ЮНЕСКО

ИМАДЕДДИН НАСИМИ

В сентябре по плану юбилейных мероприятий ЮНЕСКО отмечается 600-летие со дня рождения всемирно известного азербайджанского поэта — гуманиста и мыслителя Имадеддина Насими.

Мировая литература знает много бессмертных имен, но в сокровищнице человеческой культуры Насими стоит рядом с теми, кто не только создавал неувядаемые образцы замечательной поэзии, но и самоотверженно боролся за раскрепощение человеческого разума от оков религиозных догматов и политической реакции.

Насими жил и творил в трагическое время в истории Азербайджана и всего Ближнего Востока: родина поэта была разорвана на куски мелкими феодальными властителями, разорена междоусобицами, подвергалась нашествиям иноземных захватчиков. На протяжении всей жизни Насими его народ был вынужден бороться против монгольского ига.

В таких исторических условиях в 80-х гг. XIV века в Азербайджане возникло социально-философское движение хуруфизм, виднейшим деятелем и величайшим певцом которого впоследствии стал Имадеддин Насими. Хуруфизм по существу был антифеодальным движением, направленным против догм ислама и господства тимуридов.

Основатель хуруфизма — крупный азербайджанский философ и поэт Фазлулах Наими — по приказу Тимура был казнен. После его казни началось гонение на его последователей. Насими уехал в Турцию, затем в Ирак и наконец в Сирию. Смерть настигла его в сирийском городе Халебе (Алеппо).

О мучительной смерти поэта имеется множество легенд и преданий. Наиболее достоверным считается следующая: молодой хуруфист, ученик и друг поэта, на базаре среди толпы читал одну из газелей Насими, воспевающую человека, отождествляющую его с богом. Юношу арестовали, судили как еретика и, так как он признал себя автором газели, приговорили к смертной казни через повешение. Весть об этом дошла до Насими. Он бросился к месту казни, признал свое авторство и спас жизнь молодому другу, но сам заплатил за это страшную цену, он был схвачен и предан мучительной казни: с него живого содрали кожу, а тело выставили на всеобщее обозрение.

В своих произведениях Насими раскрывал враждебную человеку суть религиозных догм, призывал к постижению мира разумом — путем познания, а не слепой веры. Он был энциклопедически образованным человеком, знал основы мусульманской и христианской теологии, астрологии и математики, биологии, географии, философии и логики.

Поэт творил в то время, когда фарси считался литературным языком для многих стран Ближнего и Среднего Востока. Насими впервые создал иемеркнущие шедевры подлинной поэзии на родном языке, заложив этим основы азербайджанского литературного языка. Он наполнил поэтическое слово новым социальным и философским содержанием, обогатил его новыми выразительными средствами. Его поэзия воспевала человека, звучала как гимн ему, тогда как в реальной жизни человеческая личность была унижена и подавлена. Вопреки теологическим учениям, утверждавшим: «человек — ничто, а бог — все!» — Насими провозглашал человека «сердцевиной всего сущего».

О непреходящей любви к Насими, который страстно искал истину, любил, возвеличивал и защищал человека, жаждал видеть его свободным и счастливым, сделать его разум и совесть высшим мерилом всех ценностей, говорит его популярность не только среди народов советских республик, а также и за рубежом.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**
Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 5/VII 1973 г. А 12111. Подписано к печати 13/VIII 1973 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,48.
Тираж 580.000 экз. (1-й завод 1 — 380.000 экз.) Зак. 2238.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К ЧИТАТЕЛЯМ

В 1974 ГОДУ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия).
Тереза Батиста, уставшая воевать.

ЭРВЕ БАЗЕН (Франция).
Крик совы.

РОМУЛО ГАЛЬЕГОС (Венесуэла).
Земля под ногами.

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН (ФРГ).
Местами гололед.

ТАКЭСИ КАЙКО (Япония).
Горькое похмелье.

ГЕРМАН КАНТ (ГДР).
Импрессум.

АЙРИС МЕРДОК (Англия).
Черный принц.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ (ЧССР).
Из моей жизни.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия).
Прощай, друг!

ЯН ПАРАНДОВСКИЙ (Польша).
Петрарка.

АРВИД РУНДБЕРГ (Швеция).
Женщины из Валеросы.

АТ-ТЕЙИБ САЛЕХ (Судан).
Сезон паломничества на север.

ДЖОН ЧИВЕР (США).
Рассказы.

МАКС ФРИШ (Швейцария).
Назову себя Гантенбайн.